

ПУШКИН И ДЕКАБРИСТЫ

Н. ЭЙДЕЛЬМАН

Н. ЭЙДЕЛЬМАН

ПУШКИН И ДЕКАБРИСТЫ



Н. ЭЙДЕЛЬМАН

ПУШКИН И ДЕКАБРИСТЫ

*ИЗ ИСТОРИИ
ВЗАИМООТНОШЕНИЙ*



МОСКВА «ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА» 1979

8Р1
Э 30

Оформление художника
Л. Чернышева

Э $\frac{70202-148}{028(01)-79}$ 239-79

© Издательство
«Художественная литература»,
1979 г.

От автора

Здесь «*вся благая сходятся*», — сказал древний князь о понравившейся ему земле. «Благая» разных времен, стран, характеров, страстей сходятся в Пушкине. Как мощное, негаснущее светило, притягивает нас мысль, гений, образ, личность первого поэта, прожившего неполных тридцать восемь лет, но владевшего веками и тысячелетиями. Специалистам по русской истории и культуре XVIII—XIX веков порою просто приходится в той или иной степени превращаться в пушкинистов: изучая архитектуру XVIII столетия или освободительные битвы XIX, историю государственных учреждений или землепашество, войну 1812 года или дворцовые тайны, народное мнение — историк должен время от времени советоваться с Пушкиным, имея в виду его «умение одной строкой, одним метким выражением определить всю сущность крупного исторического явления»¹.

Разве освоено, исчерпано историческое и художественное богатство таких, например, формул: «Петр I одновременно Робеспьер и Наполеон...»; «По смерти Петра I... действия правительства были выше собственной его образованности и добро производилось ненарочно...»

С многочисленными учеными анализами дворцового переворота 11 марта 1801 года соперничают две пушкинских строки:

Падут бесславные удары...
Погиб увенчанный злодей.

¹ См.: О. М а н д е л ь ш т а м. Стихотворения. Л., «Советский писатель», 1974, с. 314.

В центре нашего повествования Пушкин и декабристы. Взаимоотношения *первого* поэта и первых революционеров. 14 декабря — глава российской истории и важнейшее событие в биографии главного героя этой книги...

Предлагаемая работа представляет собой серию очерков, конечно, не претендующих на полный охват огромной проблемы, но связанных единством темы и в общем хронологически последовательных. Первая часть (четыре главы) в основном относится к южному периоду пушкинской биографии (1820—1824 гг.); вторая часть (V и VI главы) содержит пространное отступление от непосредственной биографии поэта и посвящена событиям с 1820-х до конца 1850-х годов, но это связано с подробной предысторией знаменитых воспоминаний декабриста И. И. Пущина и позволяет затем, в третьей части книги (главы VII—X), основываясь на записках Пущина и других материалах, представить время михайловской ссылки (1824—1826).

Система очерков при описании целого периода или процесса, конечно, может привести к известной неполноте, односторонности. Однако сегодняшний уровень нашего знания о 1820-х годах сам «навязывает» подобное решение: материалов так много, проблемы столь многообразны и расчленены, научные запросы столь возросли, что очерки представляются «наименьшим злом», позволяющим предложить нечто новое без громоздкого, многократно повторения хорошо известного¹.

Заметим, кстати, что «очерковость» присутствует и в большинстве самых систематических историко-литературоведческих работ. Ведь наши знания даже о сравнительно недавних временах во многом определяются состоянием источников — особенно при изучении политической истории, научной биографии, культуры. За примерами недалеко ходить. Стержнем второй и третьей частей нашей книги являются материалы о Пущине и его поездке в

¹ К сожалению, нет возможности упомянуть все труды, в той или иной степени существенные для этой книги. Ведь нет ни одной обобщающей работы о пушкинском времени, где бы не затрагивались связи поэта с русским освободительным движением; в частности, материалы и документы, цитируемые нами по их последним изданиям, в большей своей части публиковались и комментировались многократно.

Отказываясь, за исключением нескольких необходимых случаев, от простого перечисления предшественников, автор надеется, что это вынужденное ограничение будет правильно понято.

Михайловское. Между тем, если бы декабрист случайно не успел завершить своих воспоминаний (а он ведь написал их всего за несколько месяцев до смерти!) — тогда мы, пожалуй, терялись бы в догадках насчет содержания, последствий его поездки и не знали бы того, что сегодня представляется «хрестоматийным»... В то же время из переписки Пушкина и по другим документам видно, что пребывание в Михайловском Дельвига — не менее недели в апреле 1825 года — также повлияло на многие мысли, чувства и строки той поры. Дельвиг, однако, не оставил записок, мы почти ничего не ведаем об этом замечательном свидании — и оттого, конечно, не можем выделить отдельного очерка о событии, того достойного; да и в самых капитальных трудах находим об этой встрече всего по нескольку строк — больше и невозможно!

Чувствуя происходящее в наших трудах невольное «искривление» естественных пропорций, можем лишь повторять за одним замечательным специалистом: «Разведчики прошлого — люди не совсем свободные. Их тиран — прошлое. Оно запрещает им узнавать о нем что-либо, кроме того, что оно само, намеренно или ненамеренно, им открывает»¹.

Естественно, задачу свою автор книги видит в том, чтобы в отдельные очерки о Пушкине и его времени ввести максимум новых или малоизученных материалов; в каждом более или менее частном эпизоде уловить, насколько можно, «типические черты»...

Решение поставленных задач, несомненно, осложняется тем обстоятельством, что Пушкин, вероятно, самый загадочный русский художник. Именно потому, что — самый знаменитый, великий, изучаемый. Да ведь и поэт хорошо знал возможность таких парадоксальных сочетаний, когда писал (о записках Надежды Дуровой): «Судьба автора так любопытна, так известна и так таинственна, что разрешение загадки должно произвести сильное общее впечатление».

С годами в определенном смысле Пушкин делается еще более таинственным. Прежде, когда мы знали много меньше, некоторые вопросы не могли быть даже поставлены, многие загадки еще не были замечены.

Мы подразумеваем два рода «пушкинских тайн». Во-первых, *тайны прямые* — венайденные или вдруг возни-

¹ М. Блок. Апология истории. М., «Наука», 1973, с. 35.

кающие из небытия автографы, новые тексты, документы, биографические материалы о поэте.

Во-вторых, глубокий смысл некоторых хорошо известных произведений поэта, то, что А. А. Ахматова называла пушкинской «тайнописью», и сомневалась, «довольно ли сказано в науке... про эту его особенность и так ли легко довести эту мысль до рядового читателя, воспитанного на ходячих фразах о ясности, прозрачности и простоте Пушкина»¹.

В данной книге использованы материалы десяти архивных хранилищ; выявлены некоторые новые документы о Пушкине и его южных друзьях, об отношениях поэта с декабристами, об угрозах, преследованиях, гонениях... В то же время на страницах этой работы не раз предпринимаются попытки «медленного чтения» хорошо известных текстов, следования за мыслью поэта, проникавшей сквозь таинство своего времени ко всем временам.

Отсюда еще одна особенность предлагаемого исследования. В нем много, может быть, слишком много гипотез... Если бы героями книги были менее известные, менее изучавшиеся фигуры — тогда следовало бы сосредоточиться на выявлении и осмыслении основных документов и фактов. Однако к Пушкину и многим его современникам такие тропы уж проложены; стадия познания настойчиво требует гипотез. Только они одни в ряде случаев могут поколебать, опрокинуть стену, отделяющую известное от неведения...

* * *

До 1870—1880-х годов Пушкин мог бы прожить. в ту пору еще здравствовали некоторые его современники («последний лицеист» канцлер Александр Горчаков скончался в 1883-м, Вера Федоровна Вяземская в 1886-м). Опекушинский памятник в Москве будто отмерил некий рубеж, за которым вместо горьких слов: «Пушкину могло бы быть сорок... пятьдесят... семьдесят лет», — стали говорить: «Пушкину сто лет, сто пятьдесят, сто семьдесят пять».

Пушкинское время все дальше, а Пушкин как будто все ближе. Не от одной же почтительности к *первому*

¹ «Неизданные заметки Анны Ахматовой о Пушкине». — «Вопросы литературы», 1970, № 1, с. 191.

поэту праправнуки перечитывают его, бесконечно находя *своих*, — «Медного всадника», «Онегина», «Пиковую даму», иногда совсем не похожих на «одноименные сочинения», открывавшиеся их отцам и дедам?

Неслабеющий интерес у современного читателя вызывает и одно особенное пушкинское *произведение*, где фрагменты и главы — это лицейские и южные шалости, эпиграммы, записанные в кабинете петербургского губернатора, михайловские роци и «Борис Годунов», свобода, Арзрум, Болдино, холера, оренбургские тракты, Гончарова, Черная речка.

Пушкинская биография. Жизнь, прожитая им самим...

В этой же книге — фрагменты нескольких пушкинских лет — время от начала южной ссылки до окончания михайловской: «*Младости моей мятежное течение*».

Для первых революционеров — это целая историческая эпоха, в начале которой «Союз благоденствия», Семеновская история, а в конце — поражение восстания на севере и юге, казнь пятерых, каторга и ссылка многих.

Мир тайных обществ, мир Пушкина; их совмещение, несовпадение, пересечение, отталкивание, взаимодействие; их великое, сложное, противоречивое историческое единство, — вот о чем будет говорить в этой книге.

ЧАСТЬ
I

ЮГ



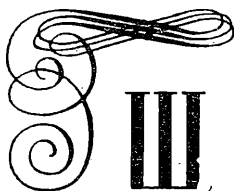
«ГДЕ И ЧТО ЛИПРАНДИ?»

И младости моей мятежное теченье...

Пушкин, 1821

Где и что Липранди? Мне брюхом
хочется видеть его.

Пушкин, 1823



евого мая 1820 года в сопровождении крепостного дядьки Никиты Козлова Пушкин уезжает из Петербурга в южную ссылку. До первой станции его провожают Дельвиг и Павел Яковлев (брат лицейского Михаила Яковлева).

Через двадцать дней автору «Руслана...», «Вольности», «Деревни», «К Чаадаеву», автору сотен элегий, посланий, эпиграмм, поэм исполнится двадцать один год...

31 июля 1824 года с тем же верным дядькой Пушкин отправится обратно — но не на волю а в новую, псковскую ссылку.

Всего четыре года с небольшим составляют южное пушкинское время, вместившее пять европейских революций и восстаний, три русских и немало западных тайных союзов, смерть Наполеона и гибель Байрона; время, получившее «Кавказского пленника», «Бахчисарайский фонтан», «Братьев-разбойников», «Гавриилиаду», первые строфы «Онегина», «Кинжал», «Послание цензору», «К Овидию», «Редет облаков...», «Демона», «Свободы сеятель пустынный...» и десятки других стихов, фрагментов, заметок — законченных, начатых, задуманных...

Юг вводит в биографию юного поэта небывалые контрасты, испытывавшие, закалявшие, обогащавшие его дух.

Резкое удаление от привычного столичного просвещения — глушь, экзотическая окраина, куда почта из Петербурга приходит только на вторую неделю.

Но именно здесь, в Тульчине, Каменке, Кишиневе, Одессе — крупнейший центр вольномыслия, левое крыло декабризма.

Почти три месяца всколыхнувшее весь мир известие о смерти Наполеона будет идти к Пушкину, но зато он первый сообщит столичным друзьям новости о другом вселенском событии — греческом восстании.

В краю, где русская речь звучит недавно и где возраст большинства крупных городов чуть больше пушкинского, возникает мощный очаг русской национальной культуры.

Поэтическая слава Пушкина стремительно растет, но живется все труднее.

Чем больше глубины, ума, зрелости — тем шире слухи и толки о «легкомыслии».

Время важнейших для пушкинской биографии и творчества событий — и малого числа сохранившихся следов тех событий в материалах, документах, воспоминаниях.

О каждом «михайловском годе» поэта дошло до нас примерно вдвое больше информации, чем о каждом южном¹.

Немногие мемуаристы, писавшие о жизни Пушкина в Кишиневе и Одессе, интересны нам и тем, что их биографии, как правило, довольно тесно сплетены с пушкинской; поэтому любые неопубликованные мемуарные фрагменты тех людей, даже страницы записок, где поэт отсутствует, — пушкинисту любопытны.

О Пушкине на юге, пожалуй, больше других рассказывал Липранди.

Про Ивана Петровича Липранди писали и не писали.

Писали потому, что этого человека никак нельзя было исключить из биографии Пушкина, декабристов, петрашевцев, Герцена.

Не писали же в основном по причинам эмоциональным. Вот перечень эпитетов и определений, наиболее часто употребляемых в статьях и книгах вместе с именем, — Иван Липранди: «зловещий, гнусный, реакционный, под-

¹ В «Летописи...» события 1820 г. (после 6 мая) занимают 55 страниц; 1821 г. — 51 страницу; 1822 г. — 47 страниц; 1823 г. — 57 страниц. Между тем Михайловское двухлетие с августа 1824 г. до сентября 1826-го занимает в «Летописи...» 229 страниц.

Список условных сокращений см. в конце книги.

лый, авантюрный, таинственный; предатель, клевет, доносчик, автор инсинуаций, шпион...»

Более мягкие характеристики употреблялись реже: «военный агент царского правительства, точный мемуарист, кишиневский друг Пушкина, военный историк».

По всему по этому задача исследователя применительно к Ивану Липранди казалась простой:

1. Нужно изучать печатное и рукописное наследство этого человека, имея, конечно, в виду, что в юные годы, до 14 декабря, он был еще не тем, кем сделался позже.

2. Изучая, надо извлечь из архивной руды сведения о Пушкине и других примечательных исторических лицах. Все же остальное, то, что касается только самого Ивана Липранди,—это шлак, несущественные подробности, которые «к делу не идут».

Следуя этим двум принципам, автор попытался найти в бумагах И. П. Липранди кое-что новое; однако «удаление» самого Липранди от примечательных людей и обстоятельств получалось плохо: находки крошились, ломались, от шлака не отделялись, настойчиво требовали заняться и личностью Ивана Липранди.

Самый ранний эпизод из жизни и воспоминаний Липранди, заинтересовавший Пушкина, относится к 1809 году.

Только что завершилась последняя в истории русско-шведская кампания (и вообще предпоследняя война с участием Швеции). Мир подписан, и жителям Финляндии сообщено, что отныне их повелитель — не Карл XIII Шведский, но Александр I, император Всероссийский. Шведские войска уходят, русские же отдыхают после побед, пируют с побежденными, веселятся и проказят.

В городе Або по тротуару, едва возвышающемуся над весенней грязью, движется компания молодых русских офицеров. Один из них, поручик Иван Липранди, весьма популярен у жителей и особенно жительниц города: от роду девятнадцати лет, участник двух кампаний, боевые раны. Свободные часы он проводит в университетской библиотеке, читает на нескольких языках и ошеломляет собеседников самыми неожиданными познаниями...

Навстречу по тому же тротуару идут несколько шведских офицеров, среди которых первый дуэлист барон Блом. Шведы не намерены хоть немного посторониться, но Липранди подставляет плечо, и Блому приходится измерить глубину финляндской лужи.

Дальше все как полагается. Шведы обижены и жалуются на победителей, «злоупотребляющих своим правом», русское командование не хочет осложнений с побежденными, и Липранди отправляется в шведское офицерское собрание, чтобы сообщить, как было дело. Шведский генерал успокоен, но Блом распускает слух, будто поручик извинился. Липранди взбешен. Шведы, однако, уходят из города, а международные дуэли строго запрещены...

Договорились так: Липранди, когда сможет, сделает объявление в гельсингфорских газетах, а Блом в Стокгольме будет следить за прессой.

Через месяц президенту (редактору) газеты — за картами — подсовывают объявление: «Нижеподписавшийся <Липранди> просит капитана Блома возвратиться в Або, из коего он уехал, не окончив дела чести, и уведомить о времени своего прибытия также в газетах».

На другой день *вызывающая* газета появляется. Командование с виду рассержено, но в общем — снисходительно.

Барон Блом отвечает в стокгольмских газетах, что 1/13 июня 1809 года прибудет, и просит встречать по гельсингфорской дороге. Весь город Або ждет исхода дуэли; в победе Швеции почти никто не сомневается.

Липранди требует пистолетов, но Блом предпочитает шпаги. Поручик неважно фехтует, к тому же пистолет — более опасное оружие, и поэтому он на нем настаивает: «Если Блом никогда не имел пистолета в руках, то пусть один будет заряжен пулею, а другой — холостой, и швед может выбрать». Блом, однако, упирается. Разъяренный Липранди прекращает спор, хватает тяжеленную и неудобную шпагу (лучшей не нашлось), отчаянно кидается на барона, теснит его, получает рану, но обрушивается на голову противника столь мощный удар, что швед валится без памяти, и российское офицерство торжествует.

Так изложена эта романтическая история, с добрым привкусом времен мушкетерских, в большой тетради, хранящейся ныне в Отделе рукописей Ленинской библиотеки в Москве¹ и озаглавленной: «Записка о службе действи-

¹ ГБЛ, ф. 18 (Н. П. Барсукова), М. 2584; на титульном листе запись: «Подарено Румянцевскому музею Николаем Платоновичем Барсуковым 17 марта 1881 года». Даритель, как видно из его переписки, несомненно, располагал частью архива Липранди; он передал тетрадь музею через десять месяцев после смерти ее автора.

тельного статского советника И. П. Липранди (1860 г.)».

Рассказ о лихой дуэли Липранди со шведским бароном, по свидетельству самого Ивана Петровича, очень понравился Пушкину. Поэт слышал про эту историю еще в Петербурге и «неотступно желал узнать малейшие подробности как повода и столкновения, так душевного моего настроения и взгляда властей, допустивших это столкновение. Александр Сергеевич, будучи почти тех же лет, как и я в 1810 году, находил, что он сам сейчас же поступил бы одинаково, как и я в 1810 году¹. Чтобы удовлетворить его настоянию, я должен был показать ему письма, газеты и подробное описание в дневнике моем, но этого было для него недостаточно: расспросы сыпались...»².

За воспоминаниями бывалых и необыкновенных людей Пушкин охотился: рассказы Арины Родионовны про старых бар, приключения кавалерист-девицы Дуровой, дуэли Липранди — все это были «его сюжеты»; что думает и чувствует человек, идя на смертельный поединок —

Есть упоение в бою,
И бездны мрачной на краю...

Эти впечатления сопутствуют Пушкину и тогда, когда он поставит под пулю своего Сильвио в «Выстреле», и своих Онегина, Ленского... и не раз — себя самого.

Романтическая дуэль (которой Липранди так гордится, что полвека спустя помещает описание ее в своей «Записке о службе»!) открывает нам многое в этом человеке.

Всеми силами он заставлял себя и других верить в свою необыкновенность.

Прежде всего необыкновенность происхождения. Педро де Липранди, чьи испано-мавританские предки в XVII веке перебрались в Северную Италию, в 1785 году бросает насиженные места и отправляется за фортуной в Россию. Испания, Италия, Россия — довольно необыкновенное сцепление мест и обстоятельств, хотя и далеко не столь

¹ В «Записке о службе» дата дуэли указана точнее: июнь 1809 г.

² «Записки И. П. Липранди». — «Русский архив», 1866, стлб. 1445 («Записки И. П. Липранди» теперь опубликованы в кн.: «Пушкин в воспоминаниях...»). Однако в нее вошло не все, что имеется в «Русском архиве». Вместе с тем в книгу включены записи, не публиковавшиеся в журнале. Поэтому в дальнейшем по мере необходимости будут делаться ссылки и на «Русский архив», и на текст, опубликованный в книге «Пушкин в воспоминаниях...» под названием «Из дневника и воспоминаний».

причудливое, как другая «цепочка»: Эфиопия, Турция, Россия; арап Петра Великого— Пушкин...

Педро де Липранди фортуна догнал, она превратила его в Петра Ивановича и посадила начальствовать над казенными заводами. Петр Иванович женился на баронессе Кусовой (в 1790 году рождается сын Иван Петрович), после смерти ее снова женится— на Талызиной (в 1796 году— сын Павел Петрович), затем женится еще раз, после чего все состояние идет в третью семью, а дон Педро умирает, достигнув счастливого возраста— ста шести лет¹. Сыновьям, подобно д' Артаньяну, достается только шпага и доброе имя. Ивана Петровича, правда, записали трех лет в полк, но в 1797 году император Павел грозно требует к себе всех, кто числится в списках. Семилетнему сержанту мудро явиться при всем параде, и он решительно подает в отставку, чтобы десять лет спустя начать карьеру сначала.

В Государственной библиотеке Узбекской ССР имени Алишера Навои хранится 189 томов с надписью «de Liprandy». Полвека назад ташкентский историк и библиограф Е. К. Бетгер описал эти книги и выяснил, как попали они в Узбекистан. Оказалось, что в 50-х годах XIX века библиотека Главного штаба купила у Липранди 3000 томов, «специально относящихся к Турции». После присоединения Средней Азии российское командование попросило Петербург переслать в Ташкент книги по Востоку, и часть приобретенной библиотеки попала туда. Е. К. Бетгер сообщил также, что на многих книгах Липранди стоит печать королевской библиотеки французских Бурбонов в Нэвли.

Кроме того, в Рукописном отделе Ленинской библиотеки хранится несколько тетрадей (с изображенными на обложках бедуинами, крокодилами, янычарами и полумесяцами)— каталог западноевропейских, славянских, арабских, еврейских и турецких книг: «La Bibliothéque de Jean de Liprandy». Разнообразие заглавий весьма впечатляющее— от старопечатных сочинений «Описание Персии» (Базель, 1596), «Сочинение об оттоманах» (Венеция, 1468) до позднейшего специального труда «О свойствах

¹ Была еще сестра, Екатерина Петровна Липранди, жившая позже в Иркутске и переписывавшаяся с С. Г. и М. Н. Волконскими. Среди книг М. А. и Т. Г. Цявловских имелся печатный экземпляр «Замечаний» И. П. Липранди на воспоминания Ф. Виголя с дарственной надписью: «Добрейшей сестре Екатерине Петровне Липранди. 1873 г.»

климата Валахии и Молдавии и так называемой язве, которая свирепствовала во второй русской армии в продолжение последней турецкой войны»...¹

Где сейчас находится основная часть библиотеки Липранди — неизвестно. Между тем книги из этой библиотеки, как видно из записок И. П. Липранди, читал Пушкин.

Недавно скончавшийся внучатый племянник И. П. Липранди, Константин Рафаилович Липранди, сообщил автору этой книги, что примерно в 1909 — 1910 годах он встречался в Петербурге со своими родственниками, прямыми потомками Ивана Липранди;² в их доме, находившемся в Новой деревне, сохранялись книги с пометами Пушкина.

Война 1812 года была лучшим временем в длинной жизни Липранди. Ему нет и двадцати двух, а он уже участник третьей кампании. Начинает ее поручиком, а два года спустя вступает в Париж подполковником. Был при Бородине, Малоярославце, Смоленске (где получил контузию), с небольшим отрядом взял немецкую крепость, за что имел право на высокий орден — Георгия IV степени.

После разгрома Наполеона русский корпус во главе с графом М. С. Воронцовым несколько лет стоит во Франции. Воронцов как будто благоволит к двадцатичетырехлетнему подполковнику, что обещает карьеру в будущем.

Префекту парижской полиции, мрачно-знаменитому Видоку, нужны помощники в борьбе с заговорщиками (бонапартистами, якобинцами и др.). Префект обращается к русскому командованию, которое рекомендует Липранди. Получив должные полномочия, Липранди действует. Заговорщики схвачены. По ходу дела Видок знакомит русского с трущобами и тайнами Парижа, а несколько лет спустя Липранди расскажет близким приятелям о встречах со знаменитым сыщиком. Когда Вяземский и Пушкин (еще через десять лет) станут высмеивать «Видока Фиглярина» — Булгарина, возможно, припомнят и рассказы Ивана Петровича.

Позже, оправдываясь в неразборчивости знакомств и дружбе с первым сыщиком Франции, Липранди будет ссылаться на свою любознательность...

¹ См.: «Отчет Московского Публичного и Румянцева-Музея» за 1866 г., с. 69.

² Речь шла о престарелых детях И. П. Липранди — Александре Ивановиче и Павле Ивановиче, а также о внуке, Александре Павловиче, консервативном литераторе, подписывавшем свои статьи «А. Волынец».

Во Франции девиз Липранди тот же — просвещение и храбрость, книги и дуэли. С книгами была удача: в его руки, очевидно, тогда-то и попали драгоценные тома из старинной библиотеки Бурбонов. Возможно, они были взяты в пустующем замке или Видок поднес в награду за помощь (фолиантам XVI—XVIII веков из королевской французской библиотеки суждено будет, как уже говорилось, позже перекочевать за тысячи верст, в библиотеку Ташкента...).

С дуэлями же вышла неудача.

Перед возвращением русской армии на родину Липранди за какой-то поединок оказывается в опале. Блистательная карьера сразу обрывается. Подполковник генерального штаба, заметная фигура в русском оккупационном корпусе, вдруг оказывается подполковником армейским и попадает в недавно присоединенную Бессарабию.

Примерно в то же время умирает жена Липранди. Об этом сохранилось только лаконичное свидетельство В. Ф. Раевского: «Липранди женат был на французенке в Ретели. Жена его умерла в Кишиневе. У нее осталась мать»¹. Можно смело предположить, что вся история женитьбы была достаточно необыкновенной, в духе других эпизодов, сопровождающих молодость этого человека: Пушкин в программе своих записок среди воспоминаний, которые считал важными, специально отметил: «*Lipr<an-di >2 <...> mort de sa femme*»³ (XII, 310).

Все эти обстоятельства могли отразиться в письмах Липранди. Однако они были, очевидно, уничтожены в ожидании ареста в 1825 году.

Существовал еще и дневник, о котором много лет спустя, 20 ноября 1869 года, престарелый Липранди писал: «Дневник — современные записки, которые Н. П. Барсуков видел; они велись с 6 мая 1808 года по сей день, включая в себя все впечатления дня до мельчайших и самых разных подробностей, никогда не предназначавшихся к печати»⁴.

Но нет и дневника⁵.

¹ ЛН, т. 60, кн. 1, с. 75. Р е т е л ь — город во Франции.

² Выделено Пушкиным. В дальнейшем курсив цитируемого автора не оговаривается.

³ Смерть его жены (*фр.*).

⁴ ЦГАЛИ, ф. 46 (П. И. Баргенева), оп. 1, № 561, л. 401.

⁵ О сложной судьбе рукописного наследия И. П. Липранди см.: Н. Я. Эйде́льман. Что и где Липранди? — «Пути в незнание», сб. 9-й. М., «Советский писатель», 1972, с. 151—158.

21 августа 1820 года тридцатилетний подполковник попадает в Кишинев¹, и к прежним романтическим чертам прибавляется еще недовольство судьбой, одиночество, меланхолия.

Ровно через месяц в Кишинев прибывает высланный из Петербурга Пушкин. Отношения его с Липранди, конечно, привлекали внимание исследователей; размышляя о политических позициях Липранди в те годы, о его связях с декабристами, мы приближаемся и к пушкинским тайнам. Смешно ставить знак равенства между мыслями великого поэта и «рокового» подполковника, но нелепо и отрицать всем очевидную их близость в то время, постоянное общение, немалое сходство в симпатиях и антипатиях. Наиболее ценную работу на эту тему опубликовал перед началом Отечественной войны П. А. Садиков, специалист по русской истории XVI века и вместе с тем пушкинист, погибший в 1944 году².

Читая статью Садикова и другие материалы, можно убедиться в следующем: Липранди быстро стал необходим начальству южного края, соседствующего с Турецкой империей. Делать все хорошо, лучше других — этот самый принцип проявился здесь в том, что вскоре Иван Петрович стал первейшим знатоком Молдавии, славянских государств, подвластных Турции, а также самой Турции. Он все изучает и записывает: и молдавские пословицы, и болгарские песни, и турецкий этикет, и сербскую кухню; быстро осваивает главные языки Оттоманской империи, принимает и отсылает своих собственных агентов, знает через них обо всем, что хочет знать, заводит важные знакомства и связи среди знатных и влиятельных людей в подчиненных султану областях, получает специальные кредиты от своего начальства и подкупает начальство турецкое. без усталости приобретает восточные книги и рукописи...

В колоритном Кишиневе, где встречались Азия и Европа, римские развалины и славянские предания, среди пестрой толпы цыган, молдавских крестьян и бояр, армянских и еврейских купцов, среди греческих гетеристов, готовых к действиям, и российских чиновников, склонных к лени и бездействию, рядом с Пушкиным, рядом с декабри-

¹ Эта дата взята из послужного списка И. П. Липранди (ЦГИА, ф. 1284, оп. 29, № 158).

² П. А. Садиков. И. П. Липранди в Бессарабии 1820-х годов. — «Временник Пушкинской комиссии», т. VI. М.—Л., Изд-во АН СССР, 1941, с. 266—295.

стами-южанами Владимиром Федосеевичем Раевским, Михаилом Федоровичем Орловым, рядом со славными добрыми друзьями — Владимиром Петровичем Горчаковым, Николаем Степановичем Алексеевым, Александром Фомичом Вельтманом (будущим писателем) — в этой обстановке, среди этих людей Липранди, с его средствами, связями, знанием языков, казался особенно таинственным...

Прибавим к его таинственности ущемленное самолюбие (опала и разжалование), обширность самых неожиданных познаний, воспоминания о финской и многих других дуэлях, о Бородинском и многих других сражениях, о парижских трущобах, не забудем о каком-то особенном браке и смерти жены — и мы поймем интерес Пушкина к этому человеку и причину того, что его имя возникает во «второй программе записок» поэта (Болдино, 1833): «Кишинев — Приезд мой из Кавказа и Крыму — Орлов — Ипсиланти — Каменка — Фонт¹ — Греч²евская революция» — Липр³анди > — 12 год — mort de sa femme — le général² — Паша Арзрумский³» (XII, 310).

«Чаще всего я видел Пушкина у Липранди, человека вполне оригинального по острому уму и жизни», — вспоминал А. Ф. Вельтман⁴. Что касается Липранди, то он поэзию не понимал, лишь собирал ее в основном как важные сведения о противнике (песни, фольклор и т. д.), но находил «как нельзя более верно» замечание Бартенева, что Пушкин «был неизмеримо выше и несравненно лучше того, чем даже выражал себя в своих произведениях»⁵.

2 января 1822 года Пушкин вручил Липранди, отправлявшемуся в столицы, письмо, адресованное П. А. Вязем-

¹ Фонт (или «Фант») — может быть, сокращенно «Фонтан», то есть «Бахчисарайский фонтан», или Фантон де Веррайон (офицер, кишиневский знакомый Пушкина. — См.: Л. А. Черейский и Пушкин и его окружение. Л., «Наука», 1976, с. 439).

² Смерть его жены — ренегат (*фр.*).

³ Почти все факты и имена, содержащиеся во «Второй программе», явно относятся к кишиневскому периоду жизни Пушкина. Очевидно, «Паша Арзрумский» — тоже какое-то воспоминание тех же лет, а не из «Путешествия в Арзрум» (1829), как думают некоторые исследователи. В последнем случае было бы непонятно, отчего в «Программе» совершенно отсутствуют заметки о событиях шести лет, разделяющих Кишинев и Арзрум.

⁴ «А. С. Пушкин в воспоминаниях...», с. 279. Интересная характеристика Вельтмана и Липранди как мемуаристов дана во вступительной статье В. Э. Вацура к указанному изданию, с. 12—13.

⁵ «Записки И. П. Липранди». — «Русский архив», 1866, стлб. 1491, «А. С. Пушкин в воспоминаниях...», с. 326.

скому: «Липранди берется доставить тебе мою прозу — ты, думаю, видел его в Варшаве. Он мне добрый приятель и (верная порука за честь и ум) не любим нашим правительством и, в свою очередь, не любит его» (XIII, 34).

О своей поездке и недовольстве властью Липранди писал 2 сентября 1822 года генералу П. Д. Киселеву:

«Будучи в продолжение более трех лет гоним сильным начальником, я нынешний год ездил в Петербург, дабы узнать сам лично тому причины, но во всем получил отказ. Не предвидя ничего в будущем и не будучи в состоянии переносить более унижения, при том расстроенном положении дел моих, болезни и претерпенные мною потери я подал в отставку <...>. Я решительно служить не могу и посему исполнением сией моей просьбы Вы душевно обяжете»¹. Пушкин и Липранди, «гонимые сильными начальниками», конечно, сходились во многих мнениях.

«Где и что Липранди? — спрашивает Пушкин полтора года спустя из Одессы. — Мне брюхом хочется видеть его» (XIII, 379). Вероятно, рассказы Липранди оживляли воображение и поднимали дух в часы одесского уныния и унижения.

Были в нашей литературе попытки доказать, что Липранди уже в 20-е годы служил не только военным, но и политическим агентом и что Пушкин о том догадывался (в упоминавшейся «программе записок» рядом — «Липранди» и «gépégat»). П. А. Садилов все это убедительно опроверг: активная служба правительству Николая I, организация сыска за петрашевцами — все это относится к значительно более поздним временам, когда И. П. Липранди действительно перешел в лагерь своих прежних гонителей. Однако, по многим данным и свидетельствам, в начале 1820-х годов Иван Липранди был недоволен; недовольство, пусть неразрывное с мыслью о собственном превосходстве, сближало с будущими декабристами. Среди них его друзья — Охотников, Владимир Раевский. С этими же людьми связан и брат И. П. Липранди — Павел Петрович, тоже служивший на юге. Оба Липранди были в то время если не формальными членами тайного общества, то людьми, близкими к декабристам или «любителями беседы свободного сужде-

¹ ЦГИА, ф. 958 (П. Д. Киселева), № 315, л. 1. «Сильный начальник» — вероятно, начальник штаба 6-го корпуса О. И. Вахтен, о доносительстве которого Липранди не умолчал и сорок лет спустя. — См.: «Русский архив», 1866, стлб. 1256—1257.

ния» (так наименовал В. Раевского, Охотникова, И. Липранди, Пушкина и П. С. Пущина враждебно к ним настроенный генерал И. В. Сабанеев.)¹

Арестованный в январе 1826 года (на основании «гательных» показаний Н. Комарова); И. Липранди был доставлен в Петербург 1 февраля, но 19 февраля 1826 года освобожден с оправдательным аттестатом.

Из дела Липранди (неопубликованного) видно, что о его причастности было опрошено одиннадцать человек (М. Орлов, Бурцов, А. Н. Муравьев, Пестель, Фохт, М. и С. Муравьевы-Апостолы, Бестужев-Рюмин, Рылеев, Трубецкой, Волконский)². Все они дали благоприятные для арестованного показания. Пестель, в частности, отвечал: «Я совсем не знаком с подполковником Липранди и никогда ни от кого не слыхал о принятии его в общество <...>. Если же он действительно к обществу принадлежит, то догадываюсь, что мог он быть принят в первый «Союз благоденствия» майором Раевским или капитаном Охотниковым, ибо они все трое служили в 16-й пехотной дивизии, когда оною командовал генерал Орлов; долгом, однако же, считаю при сем доложить, что сие есть одна только догадка, ибо, как уже имел честь объяснить, никогда не слыхал ни от кого о принадлежности Липранди к тайному обществу». Волконский показал, что знаком с Липранди по встречам «в Одессах», но что членом тайного общества тот не являлся³, Орлов и Бурцов также отрицали причастность Липранди к тайным союзам. Матвей Муравьев-Апостол

¹ И. Ф. Иовва. Декабристы в Молдавии. Кишинев, изд-во «Карта Молдованяска», 1975, с. 78. И после работы П. А. Садикова делались односторонние, на наш взгляд, выводы (Б. А. Трубецкого, Л. Н. Оганян) о политическом ренегатстве Липранди в 1820-х годах. Однако точку зрения Садикова успешно развил и дополнил М. К. Азадовский на основании воспоминаний В. Ф. Раевского (ЛН, т. 60, кн. 1. М., 1956), а также И. Ф. Иовва («Декабристы в Молдавии», с. 73, 149).

² ЦГАОР, ф. 48 (декабристы), № 191 (дело И. П. Липранди).

³ Между тем именно Волконский позже свидетельствовал: «Липранди <...> состоял при второй армии и, по неприятностям с высшим начальством по роду его службы, перешел в один из егерских полков 16-й дивизии и был — в уважение его передовых мыслей и убеждений — принят в члены открывшегося в этой дивизии отдела тайного общества, известного под названием «Зеленой книги» <...>. Выказывая себя верным своим убеждениям к прогрессу и званию члена тайного общества, был коренным другом Владимира Федосеевича Раевского». — «Записки Сергея Григорьевича Волконского». СПб., 1901, с. 318.

слышал о Липранди от Давыдовых, «ездивших в Кишинев».

Остальные опрошенные утверждали, что вообще ничего о Липранди не знают. Так, М. Бестужев-Рюмин показал: «Я готов безропотно все истязания принять, ежели только я знаю, что существует Липранди»¹. Сам Липранди отрицал свою связь с каким бы то ни было тайным союзом: «С капитаном Охотниковым и майором Раевским я служил вместе в 16-й пехотной дивизии, был знаком, но никогда не слыхивал о тайном обществе».

Признавшись в знакомстве с Бурцовым и Волконским, Липранди настаивал, что «не слыхал об обществе, предводительствуемом Пестелем (которого лично не знаю)»². Казалось бы, вопрос решен: все опрошенные, среди которых были люди, дававшие в то время весьма откровенные показания (Пестель, М. Муравьев-Апостол), подтвердили непричастность Липранди (хотя, как легко заметить, Пестель свой ответ строит достаточно гибко, допуская, что у следствия есть какие-то доказательства). Между тем непосредственный начальник Липранди, граф Воронцов, узнав о его аресте, выразил уверенность, что того взяли не зря. Другой начальник, П. Д. Киселев, писал, что Липранди «при дивизионном командире <М. Ф. Орлове> не скрывал свободомышления своего»³.

В. Ф. Раевский констатировал, что декабристский круг был шире формального членства в тайном союзе: «Многих достойных не принимали только потому, что уверены были в сочувствии их к делу <...> Орлов поручил мне принять двух братьев Липранди <...> и майора Гаевского. Но я отозвался тем, что и без принятия в Общество на них рассчитывать можно»⁴.

«За все время пребывания в Кишиневе, — пишет современный исследователь декабризма, — ни Орлов, ни Раевский не приняли ни одного члена в тайное общество, конспиративная воспитательная работа среди офицеров, казалась, почти не привлекала их внимания, все усилия были обращены на солдат»⁵.

¹ ЦГАОР, ф. 48. № 191, л. 9.

² Там же, л. 16—17.

³ В. Г. Базанов. Владимир Федосеевич Раевский. Л.— М. Изд-во АН СССР, 1949, с. 39.

⁴ ЛН, т. 60, кн. 1, с. 84.

⁵ С. С. Ланда. Дух революционных преобразований. М., «Мысль», 1975, с. 186.

О Липранди — противнике властей говорят и некоторые неопубликованные материалы. В ленинградской Публичной библиотеке имени М. Е. Салтыкова-Щедрина среди бумаг, собранных профессором И. Помяловским, сохранились два черновых письма командира 17-й дивизии генерал-майора С. Ф. Желтухина своему приятелю, начальнику штаба 6-го корпуса и убежденному аракеевцу генерал-майору О. Вахтену: ¹ одно — от 25 января, другое — от 27 января 1826 года. Желтухин был из скалозубов, только чином выше: ему уж «досталось в генералы». Декабрист В. Раевский вспоминал, что Желтухин приказал однажды батальонному командиру: «Сдери с солдат кожу от затылка до пяток, а офицеров переверни кверху ногами, не бойся ничего, я тебя поддержу» ².

По письмам видно, что генерал обеспокоен распространившимися слухами, будто именно его доносы явились причиной ареста Липранди. Трудно в потоке желтухинской ругани, разбавленной подобострастными излияниями по адресу корпусного командира И. Сабанеева, уловить реальные черты старшего Липранди, а также его брата Павла Липранди. Однако при исключительной скудости наших сведений о кишиневских декабристах даже малограмотные, грубо тенденциозные письма Желтухина важны и интересны ³.

Генеральская аттестация братьев Липранди в известной степени характеризует общий взгляд таких людей, как Желтухин и Вахтен, на весь круг кишиневской вольницы. Так мы узнаём о большом (естественно, раздуваемом и пристрастно толкуемом) влиянии Липранди и его круга.

«Нельзя довольно удивиться и тому, — пишет Желтухин, — как можно графу ⁴ поддерживать такого негодяя и верить его ложному и корыстолюбивому перу: ежедневное пьянство, картежная игра по целым ночам, разврат, все исправники и подобные им ищут протекции и отзывы о них, что и делается обо всех не то, что есть, но только, чтобы за сие быть отблагодарену непозволительным образом; берет деньги из казны без счету и не давая отчета; из хоро-

¹ ГПБ, архив И. В. Помяловского, № 71, л. 6—12.

² См. о нем: ЛН, т. 60, кн. 1, с. 12, 86, 117; о различиях между установками Желтухина и командира соседней дивизии М. Ф. Орлова — см.: М. О. Гершензон. Семья декабристов (По неизданным материалам). — «Былое», 1906, № 10, с. 309—311.

³ См.: Н. Я. Эйдельман. Южные декабристы и Пушкин. — «Вопросы литературы», 1974, № 6, с. 207—209.

⁴ Очевидно, М. Воронцову.

ших поделал дороги неудобные, изменил почты, где не надо — тут прибавил, где невозможно — тут убавил лошадей, все из своих с подрядчиками расчетов. Обывателей сею работою замучил — я полагаю и тут злодейский расчет: огорчить и чернь всю, служить примером разврата, бесчестия всем, даже и нашим военным, кого умел ослепить и привязать к себе; кого хочет марают, других хвалит, и зависит Бессарабия от него».

В то же время в письмах есть несколько фактов, существенных для истории декабризма; например, сообщаемые Желтухиным подробности ареста Липранди позволяют понять судьбу его бумаг, очевидно, вовремя уничтоженных или припрятанных:

«Верно, ни одного из бунтовщиков не отправляли так снисходительно, как кишиневского¹, ибо по получении повеления дали ему жить три дня, каждый у него бывал с утра до вечера, хотя и находился полицейский чиновник, но в другой комнате сидел; все его люди находились при нем свободно и в дополнение всех сих послаблений писали у него в комнате при нем и бумаги по секрету, которые он, однако, не видел. Так ли отправляют и берутся за изменников отечества и государя?»

Жалуясь, что Липранди обвиняет его, генерала, в доносах, Желтухин утверждает, будто «сия же выдумка — его и гнуснца брата его обще с Золотаревым и Сафоновым². Первый приезжал с ним прощаться, а последний отправляет. Знаю, к чему клонится: чтобы поставить против меня сколько можно более графа, а через него лишить меня доверенности Ивана Васильевича Сабанеева и тем восторжествовать надо мною. Но я покоен, ибо честность и благородство всегда возьмут поверхность над подлостью, корыстью и изменой, — поверьте: рано или поздно наделает ваш тираспольский неприятностей нашему генералу³, и жаль будет Ивана Васильевича, ибо, не

¹ Составители «Отчета Императорской Публичной библиотеки за 1907 год» ошибочно прочитали это слово: «Вишневского». Из второго письма видно, что речь идет о Липранди.

² Чиновники М. Воронцова.

³ В. Ф. Раевский с 1822 г. сидел в тираспольской тюрьме. Желтухин сквозь льстивые фразы явно намекает на следствие над В. Раевским, в доведении которого до конца был, видимо, не заинтересован инициатор этого дела корпусной командир генерал И. В. Сабанеев. См. об этом соображении М. К. Азадовского. — ЛН, т. 60, кн. 1, с. 55—60, 72—73. Кстати, когда Желтухина позже перевели в другую дивизию, Сабанеев написал Воронцову: «Не все ли равно, где дрянь пи будет?»

льстя ему: он верный подданный своего государя, патриот примерный, который всегда необходим будет отечеству».

До сих пор не было известно также о близости и переписке между Липранди и Сергеем Муравьевым-Апостолом. Между тем Желтухин жалуется, что Липранди «имел наглость говорить при всех, слышал Радич¹ и мой дивизионный доктор, который его свидетельствовал: «Я знаю, что меня берут понапрасну, разве за то только, что я в коротких связях и переписке был с Муравьевым-Апостолом». Это, по его мнению, мало, а сей молодец взбунтовал Черниговский полк».

Свидетельство Желтухина подтверждается поздним (полвека спустя!) мимолетным замечанием И. П. Липранди: «Не только очень хорошо помню, но и нахожу в дневнике своем следы биографии Муравьева-Апостола»².

Упоминаемые в письме «громкие» (очевидно, при многих свидетелях!) восклицания Липранди: «Один Орлов достоин звания генерала, а то — все дрянь в России», — по-видимому, типичны для бессарабского вольнодумства. Параллелью этой желтухинской оценке может служить отзыв о Пушкине П. И. Долгорукова, одного из единомышленников генерала: «Он всегда готов у наместника, на улице, на площади, всякому на свете доказать, что тот подлец, кто не желает перемены правительства в России. Любимый разговор его основан на ругательствах и насмешках»³.

Таким образом, независимо от вопроса о формальном членстве Ивана Липранди в тайном обществе, в начале 1820-х годов он был, несомненно, близок южным декабристским кругам, и это, естественно, придавало определенную окраску его взаимоотношениям с Пушкиным⁴.

¹ Адъютант генерала Сабанеева. В 1822 г. возил к нему на допрос В. Раевского.

² «Чтения Московского общества истории и древностей российских», 1873, кн. II, с. 231.

³ «Дневник П. И. Долгорукова». — «Звенья», 1951, кн. IX, с. 27.

⁴ Имея в виду Липранди и широкий круг свободомыслящих, Желтухин завершил свое письмо-донос от 27 января 1826 г. следующим пассажем: «Точно справедливо, что надобно бы казнить всех варваров бунтовщиков, которые готовились истребить царскую фамилию, отечество и нас всех, верных подданных своему государю, но боюсь, что одни по родству, другие по просьбам, третьи из сожаления и, наконец, четвертые, как будто невредные, будут прощены; а сим-то и дадут злу усилиться, и уже они тогда не оставят своего предприятия и приведут в действие поосновательнее, и тогда Россия погибнет».

Вообще факт прямой или косвенной связи отдельных офицеров или чиновников с конспиративным союзом представляется второстепенным. Зато правомерна и важна для понимания пушкинского Кишинева проблема самого этого союза. Она во многом загадочна, потому что власти ни в ту пору, ни позже так и не смогли до конца узнать о кишиневских декабристах (прежде всего благодаря упорству и выдержке В. Ф. Раевского во время многолетнего следствия по его делу); кроме того, бессарабские «заговорщики», хотя и связанные с главным, тульчинским центром Южного общества, были, по-видимому, достаточно автономны, организационно обособлены. Лидер кишиневских декабристов генерал Орлов, покинув московский съезд «Союза благоденствия» (январь 1821 года), в сущности, отмежевался от его организационных решений, но, вернувшись в Молдавию, отнюдь не свернул деятельность своей ячейки: наоборот, в 1821—1822 годах кишиневцы были особенно активны¹.

Как известно, у В. Раевского в момент обыска находилась «Зеленая книга», или «статут общества «Союза благоденствия».

«На основании этого свидетельства,— пишет М. В. Нечкина,— наиболее простым представляется умозаключение, что кишиневская организация и после 1821 года действовала на основании старого статута «Союза благоденствия» — «Зеленой книги». Она прямым образом упомянута Вл. Раевским как документ программного значения, ее он спас от обыска и поспешно сжег <...>. Признавая известную правдоподобность этого умозаключения, все же надо прийти к выводу, что кишиневская организация уже находилась в процессе выработки новой программы, двигалась далее, вперед от «Зеленой книги»².

Примечательно, что на различных этапах длинного следствия В. Раевский категорически отрицал свою принадлежность к Южному обществу, признавая участие в «Союзе благоденствия». В свою очередь, Пестель в январе 1826 года свидетельствовал, что «майор Раевский 32-го егерского полка принадлежал к «Союзу благоденствия»,

¹ См.: М. В. Нечкина. Движение декабристов, т. I. М., Изд-во АН СССР, 1955, с. 358.

² Там же.

прежде объявления об уничтожении оногo в Москве, но что после того не было с ним никаких сношений»¹.

На близкую преемственность «Союза благоденствия» и кишиневской организации, по-видимому, намекают и цитированные показания Пестеля о Липранди (до сей поры обычно выпадавшие из поля зрения исследователей). Интересно, что Пестель в своем ответе как будто смешивает времена: если Липранди «к обществу принадлежит» (настоящее время!), то «мог он быть принят в первый «Союз благоденствия» (но «Союз благоденствия» ведь распущен в начале 1821 года?)².

Наконец, существует важное свидетельство И. В. Сабанеева, который 28 февраля 1822 года информировал П. Д. Киселева, что «Союз в 16-й дивизии называется «Союзом благоденствия»³.

Л. Н. Оганян, справедливо замечая, что кишиневская управа не принадлежала Южному обществу, предлагает именовать ее «Обществом белой книги» (основываясь на существовании «Белой книги» — сборника приказов и сочинений М. Ф. Орлова)⁴. Это предложение, однако, вряд ли приемлемо: именно традиционное, «старое» наименование «Союз благоденствия» подчеркивало особое место кишиневских декабристов среди других тайных обществ, Северного, Южного, резче отделяющих себя от прошлого уже самими наименованиями.

Все эти соображения представляются важными и для истории декабризма вообще, и для оценки декабристского окружения Пушкина, и, наконец, для характеристики одного из современников поэта, автора ценных записок.

Во всяком случае, в 1822 году Липранди был в открытом конфликте с правительством. Этот конфликт приводит к временной отставке Ивана Липранди (обстоятельства ее не совсем ясны). Он собирается в Грецию или

¹ ЦГАОР, ф. 48 (дело А. Н. и Н. Н. Раевских), № 177, л. 4. См. об этом соображения М. К. Азадовского (ЛН, т. 60, кн. 1, с. 60) и Ю. Г. Оксмана (там же, с. 130—131), а также: Л. Н. Оганян. Общественное движение в Бессарабии в первой четверти XIX века, ч. I. Кишинев, 1974, с. 187.

² Как понимать пестелевский «первый «Союз благоденствия»? Что это — случайная оговорка, или новый союз, намечавшийся после московского съезда (название его не сохранилось), как раз и был «вторым «Союзом благоденствия»?

³ И. Ф. Иова. Декабристы в Молдавии, с. 63.

⁴ Л. Н. Оганян. Общественное движение в Бессарабии в первой четверти XIX века, ч. I, с. 187.

еще дальше — в Южную Америку, к Боливару — сражаться на стороне восставших, в духе лорда Байрона; настроения, мысли, чувства Липранди, как и прежде, созвучны переживаниям Пушкина, который не ладит с Воронцовым, подвергается новой опале и переводится в Михайловское.

5 апреля 1824 года одесский чиновник Михаил Иванович Лекс сообщал своему приятелю И. П. Липранди о невозможности выдать ему заграничный паспорт. Если Франция 1814 года была апогеем успехов Ивана Петровича, то теперь как будто — перигей...

Вскоре Пушкин навсегда расстается с Иваном Липранди; когда грянет 14 декабря — один уже в Михайловском, другой еще в Кишиневе.

Однако и полтора века спустя исследователей пушкинской биографии продолжает чрезвычайно занимать Липранди 1820-х годов, как автор дневника, из которого в 1860-х выйдут его знаменитые воспоминания.

ТЕТРАДЬ ИВАНА ЛИПРАНДИ

Большая переплетенная рукопись записок И. П. Липранди хранится теперь в Отделе рукописей Института русской литературы (Пушкинском доме).

Записки эти появились почти через полвека после первой встречи Липранди с Пушкиным, в журнале «Русский архив» 1866 года, и появились, можно сказать, случайно. Издатель журнала Петр Иванович Бартенов, один из лучших знатоков и собирателей пушкинского наследства, вспомнил о семидесятипятилетнем отставном генерале Липранди и послал ему свою статью «Пушкин в Южной России». Статью эту Бартенов составил по крупицам из документов, отдельных рассказов и воспоминаний нескольких спутников пушкинской молодости.

Липранди отозвался и написал громадный комментарий к бартеновской статье. С истинно военной точностью он поправлял, иногда опровергал, часто значительно расширял и дополнял сведения Бартенева. Он все помнил — и серьезное, и мелочи:

что познакомился с Пушкиным 22 сентября 1820 года, а 23-го обедал с ним у М. Ф. Орлова;

что чиновник Эйхфельдт наливал в чайник рому и позже погиб, сорвнувшись в количестве выпитого;

что знаменитая куртизанка Калипсо Полихрони не могла напеть Пушкину «Черной шали» (как утверждал Бартенев), ибо приехала в Кишинев в середине 1821 года, а «Черная шаль» была сочинена в октябре 1820 года;

что Пушкин надолго брал из библиотеки Липранди — сначала Овидия, затем Валерия Флакка, Страбона и Мальтебрюна;

что Пушкин обучил бранным словам не сороку (Бартенев), а попуга, принадлежавшего генералу Инзову;

что из поездки в Аккерман и Измаил Липранди и Пушкин вернулись 23 декабря 1821 года в 9 часов вечера, а в Измаиле перед сном выпили графин систовского вина, но Пушкин, проснувшись рано, сидел не одетый, «окруженный лоскутками бумаги», и «держал в руке перо, которым как бы бил такт, читая что-то».

Многое в обширной работе Липранди относилось к поэту весьма отдаленно; кое-что явно замалчивалось, обходилось (сказывалось изменение взглядов Липранди с 1820 по 1860-е годы); однако, анализируя эти записки, исследователи находили и находят там бесценные сведения о «трудах и днях» поэта, о его кишиневских друзьях и врагах, о юных шалостях и зрелых размышлениях; «...его Пушкин,— справедливо пишет В. Вацуро,— человек углубленных исторических, этнографических интересов,— даже более чем поэт. Липранди мало говорит о его стихах,— зато упоминает о не дошедших до нас записях молдавских преданий и занятиях историей, политикой, географией края...»¹

Сам Липранди не скрывал, откуда он все помнит: «Заметки эти взяты из моего дневника и в некоторых местах дополнены из памяти»².

Если бы Бартенев не догадался послать свою статью Липранди или сделал бы это слишком поздно, мы, возможно, никогда не узнали бы о столь важных, позже часто перепечатывавшихся воспоминаниях, «мемуарах № 1», о кишиневском периоде жизни Пушкина.

Прошло семьдесят лет, и М. А. Цявловский обнаружил у потомков Бартенева корректурные листы драгоценных записок Липранди. В листах содержалось несколько эпизодов, которые в «Русский архив» не попали:

¹ «Пушкин в воспоминаниях...», с. 13.

² «Русский архив», 1866, стлб. 1213; «Пушкин в воспоминаниях...», с. 285.

очевидно, сам Барте́нев не пропустил их дальше корректуры, найдя «неприличными» и опасаясь цензуры.

Один из таких эпизодов стал особенно знаменит: Пушкин, Липранди и другие 11 марта 1821 года обедают у генерала Д. Н. Бологовского — одного из участников удушения Павла I, каковое состоялось ровно за двадцать лет до того обеда, то есть 11 марта 1801 года. «Вдруг, никак неожиданно, Пушкин, сидевший за столом возле Н. С. Алексеева, приподнявшись несколько, произнес: «Дмитрий Николаевич! Ваше здоровье». — «Это за что?» — спросил генерал. «Сего́дня 11 марта», — отвечал полусололовевший Пушкин.

Вдруг никому не пришло в голову, но генерал вспыхнул¹.

Кроме этих фрагментов, в рукописи, присланной Липранди в «Русский архив», оказались еще строки, не вошедшие ни в корректуру, ни в печатный текст. Из них Л. Б. Модзалевский успел только извлечь для полного академического собрания Пушкина сведения, относящиеся к нескольким озорным стихотворениям, которые в печатном тексте записок Липранди были помещены с пропусками². Но и это еще не все: в целом записки Липранди и сопутствующие им материалы состоят как бы из пяти слоев: 1) статья П. Барте́нева «Пушкин в Южной России»³ 2) комментарий-записки Липранди, вызванные этой статьей и напечатанные (не совсем полно) в «Русском архиве»⁴, 3) дополнения к этим запискам, найденные М. Цявловским в корректуре «Русского архива»⁵, подлинная рукопись Липранди⁶, 5) пометы на этой рукописи, сделанные не рукой Липранди...

Получив его записки, Барте́нев, выражаясь современным языком, отдал их на рецензию Владимиру Петровичу Горчакову, общему кишиневскому приятелю Пушкина и

¹ «Пушкин в воспоминаниях...» с. 300.

² «Бранись, ворчи, болван болванов...», «Накажи святой угодинок...» (см.: т. II, с. 239, 258, 739, 1111, 1115).

³ «Русский архив», 1866, стлб. 1089—1214.

⁴ «Русский архив», 1866, стлб. 1231—1283; 1393—1491.

⁵ «Из пушкинианы П. И. Барте́нева». Публикация и комментарии М. Цявловского. — «Летописи Государственного Литературного музея», кн. 1, «Пушкин». М., 1936, с. 548—588.

⁶ Напомним, что она хранится в Отделе рукописей Пушкинского дома (ПД, ф. 244, оп. 17, № 122).

Лиранди, офицеру и немного поэту. Выбор «рецензента» оказался очень удачным: во-первых, взгляды Горчакова не так переменялись за сорок лет, как у Лиранди; во-вторых, Владимир Петрович успел к этому времени уже составить свои воспоминания о Пушкине, также основанные на кишиневском дневнике (позже исчезнувшем, как и дневник Лиранди)¹. Горчаков испещрил поля лирандиевской рукописи замечаниями (составившими в сумме нечто вроде небольшой статьи). О них речь впереди.

Пока же представим несколько отрывков из воспоминаний Лиранди, прежде не публиковавшихся или печатавшихся неполно.

Понятно, здесь мы найдем строки, относящиеся к конфликту Пушкина с Воронцовым. Вот что писал Лиранди о пушкинских стихах на Воронцова: «Я не мог отыскать их у себя: вероятно, кому-нибудь были отданы и не возвращены. Полагаю, что они есть у В. П. Горчакова. Сколько помню, в них находились следующие выражения: «Полу-милорд, полу-герой, полу-купец, полу-подлец, и есть надежда, что будет полным наконец». Кажется, было еще что-то, не помню, как все это было расположено, но помню положительно, что начиналось: «полу-милорд» и оканчивалось: «и будет полным наконец». Пушкин заверял меня, что стихи эти написаны не были...»² Подразумевается, по-видимому, что эпиграмма (или как ее еще именовали — *подпись к портрету Воронцова*) — не существовала в виде пушкинского автографа, но была произнесена вслух и записана друзьями «со слов»³.

Говоря о плохих отношениях Пушкина с М. Воронцовым, Лиранди замечает: «Но не то Александр Сергеевич думал видеть в графине, заметно сделавшейся холоднее, и, конечно, Пушкин опять-таки имел неосторожность при недоброжелательных ему лицах сказать, что холодность эта происходит «не за подпись к портрету, а за стихи на бал» — и пр.»⁴.

¹ В. П. Горчаков. Выдержки из дневника об А. С. Пушкине. — «Москвитянин», 1850, № 2, 3, 7; М. А. Цявловский. Книга воспоминаний о Пушкине. М., «Мир», 1931. Вступительная заметка П. С. Шереметева.

² Лиранди, л. 192; «Пушкин в воспоминаниях...», с. 342.

³ Об этом эпизоде см.: С. Абрамович. К истории конфликта Пушкина с Воронцовым. — «Звезда», 1974, № 6, с. 197.

⁴ Лиранди, л. 192, об.—193; «Пушкин в воспоминаниях...», с. 343.

Согласно этой записи, поэт хотел сказать, что Е. К. Воронцова оскорбилась не за мужа («подпись к портрету»), а за фривольное описание бала в ее доме. Из всего стихотворения до наших дней дошло только двестишесть («Мадам Ризнич с римским носом, // с русской ж <...> Рено...»). Здесь сами Воронцовы никак не задеты, но, надо думать, они фигурируют в не дошедших к нам строках.

Некоторые другие эпизоды «Записок» Липранди, выпущенные или прежде публиковавшиеся не полно, относятся к проблемам политическим.

Касаясь известного тоста на обеде у генерала Бологовского, произнесенного Пушкиным в честь годовщины убийства Павла I, Липранди, между прочим, писал, что Пушкин сожалел о своем поступке. Однако характер этого сожаления приобретает совсем иную окраску, если учесть несколько строк, не попавших ни в корректуру, ни в печатный текст: «Пушкин <...> не раз раскаивался в наивности своей, по его словам, «связывающей теперь ему язык»¹.

В то время на юге много говорили о предстоящей дуэли бригадного командира И. Мордвинова с начальником штаба 2-й армии графом П. Киселевым: Киселев уличил Мордвинова в служебном упущении и отстранил его от командования Одесским полком. Мордвинов ответил вызовом. Дуэль состоялась. Мординов был убит. Большинство офицеров, в том числе Липранди, не одобряли Мордвинова, так как вызов подчиненным начальника в отместку за служебное взыскание считался неприличным². Пушкин думал иначе. Сравним печатный текст «Русского архива» с рукописью Липранди. «Русский архив»: «Он <Пушкин> предпочитал поступок И. Н. Мордвинова, как бригадного командира, вызвавшего лицо выше себя по службе. *Рукопись*: Он <Пушкин> предпочитал поступок И. Н. Мордвинова <...> вызвавшего начальника главного штаба, фаворита государя»³.

Выделенные строки, конечно, точнее определяют настроение Пушкина, его нелюбовь к Александру I — кому «подсвистывал до самого гроба».

¹ Липранди, л. 204; «Пушкин в воспоминаниях...», с. 349.

² См.: Н. В. Басаргин. Записки. Пг., «Огни», 1917.

³ Липранди, л. 162; «Пушкин в воспоминаниях...», с. 331.

Курсив мой.— Н. Э.

ВЛАДИМИР ГОРЧАКОВ

Рискованно делать широкие выводы о взглядах великого поэта по отдельным фразам, отрывочным дневниковым записям его друзей. Полезнее присмотреться к их позднейшей полемике.

Составляя записки по дневнику более чем сорокалетней давности, Липранди был весьма осторожен и стремился замаскировать декабристские связи своей молодости.

Горчаков, как отмечалось, не утратил прогрессивные идеалы. Этого воспитанника известной московской муравьевской школы колонновожатых¹ прекрасно описал П. С. Шереметев.

«Среди друзей Пушкина есть один, несколько на других не похожий. Это В. П. Горчаков. Он не блистал каким-либо выдающимся талантом или особым дарованием. Близость его к Пушкину чисто нравственная, и недаром поэт дал ему прозвище «душа души моей». В. П. Горчаков человек редкой доброты, и от всей его личности веет теплом и любовью. Он подбирает в сани на большой дороге пьяного замерзающего человека и возвращает к жизни, он жалеет слуг из цыган-молдаван, закабаленных у местных бояр, и называет их «полунеграми» и сам никогда не кричит на свою крепостную прислугу. В трудные минуты ссужает Пушкина 2 т. руб. и выручает поэта <...> С нищими делится последней копеечкой. По натуре пылкий и восторженный, любящий чтение и беседы, он вращался среди тронутой революционными идеями военной молодежи Тульчина и Кишинева и был близок к будущим декабристам. Возможно, что он был на грани, но остался вне заговора, увлекаясь мистической стороной движения, тогда столь сильною. По отзыву современника, Горчаков затрагивал «самые серьезные предметы человеческого мышления», но «понимал их сердцем» — и вот причина, что чужим людям он порой мог казаться каким-то юродивым. Он любил искусство, музыку, писал стихи, из которых иные напечатаны, другие сохраняются

¹ Училище, готовившее офицеров для Генерального штаба, основанное и руководимое генералом Н. Н. Муравьевым и содержавшееся за его счет. Из школы колонновожатых вышло немало передовых, способных военачальников. Среди окончивших оказалось двадцать четыре члена декабристских тайных обществ.

в рукописи; вел дневник, к сожалению, не сохранившийся»¹.

Судя по нескольким заметкам на полях, Горчаков часто спорит с Липранди. Так он решительно не соглашается с мемуаристом, соединившим знание местного языка и обычаев с чванливым превосходством колонизатора и утверждавшим, что перед напыльвом иностранцев «туземное общество ступевалось»².

Липранди рассказывает, что Пушкин был уязвлен, когда один грек пристыдил его за незнание какой-то книги. После этого Липранди предложил Пушкину брать книги из его библиотеки, а греку сказать, что поэт ошибся и на самом деле книгу эту давно знает. Горчаков на полях против этих строк пишет: «И. П., постоянно и явно выражающий свое презрение к молдаванам, валахам и грекам, из участного самолюбия в ограду Пушкину мог придумать подобную хитрость, но принять ее к делу Пушкин мог согласиться только шутя»³. В другом месте Горчаков поясняет: «Благородный Пушкин, чуждый всякого шарлатанства, сам сознавался в ограниченности своих, так сказать, ученых сведений»⁴.

Когда Липранди вспоминает о молодежи, «увивавшейся за Пушкиным», Горчаков замечает: «...Пушкин не любил заискивания, и в этом отношении у него были чувства самые тонкие»⁵.

Липранди пишет о неограниченном самолюбии Пушкина, Горчаков отвечает: «Сознание всех духовных сил едва ли может быть названо самолюбием...»⁶

Тут не лишне вспомнить примечания Горчакова к упоминавшемуся выше рассуждению Липранди о пушкинских стихах на Воронцова. Горчаков пишет: «Не самолюбие, которое нельзя же смешивать с чувством собственного достоинства, с первого дня представления Пушкина гр. Воронцову уже поселило в Пушкине нерасполо-

¹ М. А. Цявловский. Книга воспоминаний о Пушкине. См. введение П. С. Шереметева к «Выдержкам из дневника об А. С. Пушкине» и «Воспоминанию о Пушкине» В. П. Горчакова (там же, с. 52, 59—235). Достоинства и недостатки этих материалов как источника для биографии Пушкина см.: «А. С. Пушкин в воспоминаниях...», с. 494 (комментарии М. И. Гиллельсона).

² Липранди, л. 39.

³ Там же, л. 41; «Пушкин в воспоминаниях...», с. 293.

⁴ Там же, л. 75.

⁵ Там же, л. 198; «Пушкин в воспоминаниях...», с. 345.

⁶ Там же, л. 48, об.; «Пушкин в воспоминаниях...», с. 296.

жение к графу, а далее совокупность различных выходов графа, наведенного другими врагами Пушкина, зажали эту яркую надпись к портрету — подробности этих отношений есть в дневнике моем»¹.

«Пушкин, как строптив и вспылчив ни был...» — пишет Липранди; Горчаков полагает, что строптивость «не принадлежала Пушкину»², после чего Бартечев не пропускает липрандиевское «строптив» в печать.

Пушкин «умел среди всех отличить А. Ф. Вельтмана» (Липранди). А вот что пишет Горчаков об отношениях Пушкина с будущим известным писателем: «В первоначальный период пребывания Пушкина в Кишиневе Вельтман, по свойственной ему исключительной самобытности, не только <не> сближался, но даже до некоторой степени избегал сближения с Пушкиным. О тех же, кто имел бессознательную способность восхищаться каждым стихом, потому только, что это стих Пушкина, и говорить не стоит»³.

Липранди пишет об одной кишиневской даме, что «Пушкин любил болтать с нею, сохраняя приличный разговор, но называл ее «скучною мадам Жанлис» — прозвание, приписанное ей в обществе, чем она, впрочем, гордилась». (Выделенные строки не напечатаны Бартечевым.) Горчаков к этому месту делает следующую поправку: «У губернатора Катакази была сестра, девица некоторых лет, некрасивая, но умная и образованная. Ее-то Пушкин называет «кишиневскою Жанлис» и далее — «Будь глупа, да хороша», и все это говорится в одном шутивном и неизданном стихотворении, написанном Пушкиным в 1821 году: «Дай, Никита, мне одеться...»⁴.

Две стихотворные строки:

Дай, Никита, мне одеться;
В митрополии звонят,—

помещаются сейчас во всех полных собраниях Пушкина. Впервые напечатал эти строки Бартечев еще в 1861 году, воспользовавшись информацией, полученной именно от Горчакова. Пушкинисты искали продолжения стихотворения, хотели узнать, что же произойдет после того, когда

¹ Липранди, л. 192; «Пушкин в воспоминаниях...», с. 342.

² Там же, л. 53; «Пушкин в воспоминаниях...», с. 299.

³ Там же, л. 48; «Пушкин в воспоминаниях...», с. 296.

⁴ Там же, л. 24; «Пушкин в воспоминаниях...», с. 242.

верный Никита «даст одеться» и поэт отправится в «верхний город», где находится храм (митрополия).

И вот Горчаков сообщает, что в этом стихотворении дальше были строки о кишиневской Жанлис — «Будь глупа, да хороша». Но ведь такое стихотворение нам известно! Это сделанная в мае 1821 года ядовитая записочка кишиневского бомонда:

Раззевавшись от обедни,
К Катакази еду в дом.
Что за греческие бредни,
Что за греческий содом!
Подогнув под <...> ноги,
За вареньем, средь прохлад,
Как египетские боги,
Дамы преют и молчат.

Конец стихотворения:

Ты умна, велеречива,
Кишиневская Жанлис,
Ты бела, жирна, шутлива,
Пучеюкая Тарсис.
Не хочу судить я строго,
Но к тебе не льнет душа —
Так послушай, ради бога,
Будь глупа, да хороша.
(«Раззевавшись от обедни...»)

Заметим: у двустипия «Дай, Никита, мне одеться...» и стихотворения «Раззевавшись от обедни...» — размер один и тот же. Да и сюжет тот же самый: Никита «дает одеться», Пушкин едет к обедне, а спать все хочется, и вот —

Раззевавшись от обедни...

То ли Пушкин, переписывая набело стихи в свою тетрадь, снял первые две строки (и по меньшей мере еще две, рифмующиеся), чтобы сохранить «единство места, времени и действия»; то ли был другой вариант стихотворения. Но, видимо, можно считать установленным, что эти два отрывка в какой-то момент составляли одно целое (между прочим, о «воспетои» в этом стихотворении кишиневской Жанлис Пушкин, по словам Липранди, отзывался: «Да и сестра его <Катакази> уж какая микстура!»¹).

¹ Л и п р а н д и, л. 201.

Толкуя о кишиневских дамах, Липранди вспомнил Пулхерию Егоровну Варфоломей («Пулхерица-легконожка...», попавшая в известный «донжуанский список» Пушкина). Горчаков пишет на полях: «В 1823 году еще Пушкин не без восторга выражался о Пулхерице, говоря: «Что наша дева-голубица, // Моя Киприда, мой кумир?» и проч.»¹

Скорее всего Пушкин повторил тут какой-то куплет, не им сочиненный (стихи уж слишком обыкновенные: «Киприда», «Кумир»...).

Но, может, все же это неизвестные пушкинские строки (пародийные)?

Еще любопытная подробность творческой биографии поэта: в печатном тексте Липранди имеются следующие строки о рисунках Пушкина: «В. П. Горчаков <...> должен помнить, что Александр Сергеевич на ломберном столе мелом, а иногда и особо карандашом, изображал сестру Катакази, Тарсису — Мадонной и на руках у ней младенцем генерала Шульмана, с оригинальной большой головой, в больших очках, с поднятыми руками и пр. Пушкин это делал вдруг с поразительно-уморительным сходством». Горчаков отзывается на приведенные строки: «Это действительно так. При этом не лишне сказать, что в сочинении подобного рисунка Пушкин поступал пророчески; тогда еще никому на мысль не приходило рисовать фигуры с головой обыкновенной величины, а остальные части двойного размера, что впоследствии до нашего времени сделалось обыкновенным. Сказав о рисовании, необходимо заметить, что Пушкин имел очевидную способность к рисованию. У меня еще на памяти мне сделанный им рисунок его собственной личности. Он нарисован карандашом во весь рост, в сюртуке, без шляпы, словом, точно такой, каким изображен в статуэтках, появившихся вскоре после его кончины. Это замечательно»².

Рисунка этого мы не знаем.

Как видим, большая осведомленность Горчакова несомненна. Тем существеннее связанный с его именем любопытный эпизод, выходящий за пределы «липрандивских сюжетов» и открывающий неизвестную прежде

¹ Липранди, л. 25; «Пушкин в воспоминаниях...», с. 290.

² Там же, л. 167; «Пушкин в воспоминаниях...», с. 331.

подробность пушкинских радикальных настроений во время кишиневской ссылки.

Известное стихотворение «Наполеон» («Чудесный жребий совершился...») при жизни поэта было напечатано не полностью и впервые опубликовано без купюр в «Полярной звезде» Герцена и Огарева. Одна из строф:

Россия, бранная царица,
Вспомни древние права!
Померкни, солнце Австерлица!
Пылай, великая Москва!
Настали времена другие:
Исчезни, краткий наш позор!
Благослови Москву, Россия!
Война; по гроб наш договор!

Прежде, чем так написать, Пушкин перепробовал много вариантов. Среди них мелькает предпоследняя строка: «В Москве не царь, в Москве Россия» (II, 711, 715).

Во многих списках этого полулегального стихотворения (между прочим, и в том, который был опубликован в «Полярной звезде» Герцена) читается именно: «*В Москве не царь...*»

В архиве Сергея Дмитриевича Полторацкого сохранилась следующая запись, сделанная известным библиографом спустя двенадцать лет после гибели Пушкина:

«Июнь 1821 г. Наполеон. Стихотворение. Написано в Кишиневе.

«*В Москве не царь, в Москве Россия*». Владимир Петрович Горчаков поправил Пушкина: «В Москве наш царь...» (От Горчакова Влад. Петр., Москва, 5 июня 1849 г.)¹.

Горчаков «поправил», вероятно, из желания оградить Пушкина от преследования за строку — «В Москве не царь...», — а может быть, по убеждению, что не следует умалять военных заслуг Александра I (во всяком случае, заметим, что опасная строка Горчакову была известна, с ним обсуждалась). В конце концов Пушкин не принял и варианта, предложенного приятелем, — вообще «вывел» царя из спорной строки и остановился на менее выразительном: «Благослови Москву, Россия...» Учитывая свидетельство Горчакова и Полторацкого, надо, по-видимому,

¹ ГБЛ, ф. 233 (С. Д. Полторацкого), к. 43, № 23.

считать чтение «В Москве не царь...» — основным¹. Так или иначе — крамольная мысль у Пушкина была. Она сродни многим другим репликам поэта в адрес «кочующего деспота...».

Два приятеля пушкинской «младости мятежной» как бы дополняют в наше время, полтора века спустя, свои давние воспоминания о поэте. Третий кишиневский «любитель беседы свободного суждения» прежде почти совсем не делился с потомками...

¹ Незадолго перед тем от членов семьи генерала Н. Н. Раевского Пушкин, несомненно, слышал, как Раевский на совете в Филях процитировал Озерова: «Россия не в Москве, среди сынов она». Рассказ об этом см. в письме А. Н. Раевского Д. В. Давыдову от 1 июля 1838 г. — Цит. по ГПБ, ф. 859 (Н. К. Шильдера), к. 10, № 3, л. 3.

«СВОБОДЫ ДРУГ МИРОЛЮБИВЫЙ...»

Мой милый, как несправедливы
Твои ревнивые мечты...

Пушкин, 1821

...И не видался я
Давно с моим Орестом...

Пушкин, 1822

В 1910 году, по завещанию крупнейшего коллекционера Павла Яковлевича Дашкова, в Лицейский музей поступило больше двадцати автографов Пушкина. Еще через семь лет эти рукописи переехали с Каменноостровского проспекта, где находился музей, на Васильевский остров, в Пушкинский дом Академии наук.

Среди листков с письмами и стихами поэта сохранились шесть больших двойных листов¹, согнутых таким образом, что чистые поля занимают почти половину каждой страницы, в то время как другая половина заполнена летящим, свободным почерком Пушкина. Несколько чернильных пятен не скрывают ясного, набело переписанного текста. Заглавия никакого, только на самом верху рукою Пушкина — «№ 1». Чуть ниже первые строки: «По смерти Петра I движение, переданное сильным человеком, все еще продолжалось в огромных составах государства преобразованного. Связи древнего порядка вещей были прерваны навеки; воспоминания старины мало-помалу исчезали...»

Последние строки на последнем листе: «Царствование Павла доказывает одно: что и в просвещенные времена могут родиться Калигулы. Русские защитники Самовластия в том несогласны и принимают славную шутку г-жи де Сталь за основание нашей конституции: *En Russie*

¹ Размер 215x340 мм, водяной знак: «г.г. Хлюстыны, 1818 год» и лев с мечом в овале.

*le gouvernement est un despotisme mitigé par la strangulation*¹.

2 августа 1822 г.»

В полное собрание пушкинских сочинений эти страницы входят под условным названием «Заметки по русской истории XVIII века» и донныне остаются одними из самых необъясненных. Рукопись ведет в неведомые области пушкинского мира, где «по соседству» создаются и распространяются поэмы и эпиграммы столь определенного свойства, что им еще почти столетие печати не видеть; где от целой главы самой большой поэмы остается лишь зашифрованный лист да черновик трех строф...

Только теперь начинаем догадываться — зачем написаны эти размышления о российской истории, когда задуманы, отчего не распространялись, где сохранялись².

Ни на одной странице этой рукописи не видно красных жандармских чернил, пометивших каждую тетрадь, каждое письмо и каждый клочок бумаги, оставшиеся после кончины Пушкина в его кабинете. Найдя шесть таких листов, начальник штаба корпуса жандармов генерал-майор Леонтий Васильевич Дубельт непременно представил бы их царю, как документ, оскорбительный для предков монарха — от отца до прапрадеда и прапрабабки включительно. Но в день смерти поэта не было в его кабинете этих страниц, и Дубельт мог бы их прочесть (не полностью) в одном московском журнале только через двадцать два года, на покое, в отставке.

Имя человека, который сохранил пушкинский текст от «злого глаза», было осторожно названо еще много лет назад:

Николай Степанович Алексеев.

«Скажи мне, кто твой друг?» — и в сотнях знакомых, десятках приятелей и нескольких ближайших друзьях Пушкина ищем и находим — «кто он...».

В условной иерархии — *знакомый, приятель, друг* — Николай Степанович Алексеев имел около четырех лет самое высокое *дружеское* звание, потому что в Кишиневе

¹ Правление в России есть самовластие, ограниченное удавкой (фр.). — *Перевод Пушкина.*

² Этой пушкинской работе (XI, 14—17) посвящен раздел в кн.: Б. В. Томашевский. Пушкин, кн. 1 (1813—1824). М.—Л., 1956, с. 566—585, а также обстоятельные комментарии Ю. Г. Оксманова (А. С. Пушкин, т. 7. М., Гослитиздат, 1962) и многие страницы в кн.: И. Л. Фейнберг. Незавершенные работы Пушкина, изд. 1—6.

возле Пушкина не было человека более преданного и любящего (к нему обращения — «мой милый», «радость моя»), друзья же первейшего ранга — Пущин, Дельвиг — находились на другом конце двухнедельной дороги.

Вчитавшись в два известных письма, мы узнаем о дружбе Пушкина с Алексеевым почти все:

30 октября 1826 года Алексеев пишет Пушкину из Кишинева (XIII, 300 — 301):

«Во время, когда я думал писать к тебе посторонними путями, любезный Пушкин, через посредство Крупенской, которая бралась доставить письмо к сестре своей Пещуровой, как узнаю, что ты в Москве. Радость овладела мной до такой степени, что я не в состоянии изъяснить тебе и предоставляю судить тебе самому, если разлука не уменьшила доверенности твоей к моей дружбе».

Не виделись и, вероятно, не переписывались два года, с тех пор как Пушкина выслали из Одессы, а писать прямо в Михайловское, сквозь строй непременно читателей чужих писем, Алексеев опасался и хотел передать послание с оказией: Пещуров жил в Лямонове близ Михайловского. Пушкин ездил туда в августе 1825 года, чтобы встретиться с племянником Пещурова и своим лицейским приятелем Александром Горчаковым. Алексеев по «доверенности дружбы» хорошо знал, как не хотелось Пушкину уезжать с юга в новую ссылку, и степень товарищеского огорчения была, верно, тогда не меньшей, чем радость от хороших вестей, которая овладела Николаем Степановичем до «неизъяснимой» степени.

«С какою завистью воображаю я московских моих знакомых, имеющих случай часто тебя видеть; с каким удовольствием хотел бы я быть на их месте и с какою гордостью сказал бы им: мы некогда жили вместе; часто одно думали, одно делали и почти — одно любили; иногда ссорились, но расстались друзьями или, по крайней мере, я так льстил себе. Как бы желал я позавтракать с тобою в одной из московских рестораций и за стаканом Бургонского пройти трехлетнюю кишиневскую жизнь, весьма занимательную для нас разными происшествиями. Я имел многих приятелей, но в обществе с тобою я себя лучше чувствовал, и мы, кажется, оба понимали друг друга; несмотря на название: *лукавого соперника и черного друга*, я могу сказать, что мы были друзья-соперники, — и жили приятно!»

Тут за каждым словом — очень многое: Алексеев воображает «московских знакомых», потому что восемь лет прошло, как Николай Степанович уехал из Москвы, но все оставался типичным москвичом — напоминая Пушкину его московское детство. В Кишиневе жили вместе — около года — не только в одном доме, но и в одной комнате, и, конечно, у Алексеева Пушкин останавливался, наезжая в Бессарабию из Одессы!

О том, что «часто одно думали и делали», — речь впереди; «почти одно любили», «иногда ссорились», «лукавый соперник» — все это о полупуштливом ухаживании Пушкина за женой скучного статского советника госпожой Эйхфельдт, прозванной «еврейка» (за сходство с Ревеккой из «Айвенго») — объектом страсти, и небезответной, Николая Степановича Алексеева. Тогда образовалась ситуация, одна из самых благоприятных для мужской дружбы: двое влюблены в одну, но не слишком; ссорятся, мирятся, один уступает другому — и становятся друг другу дорожке и ближе... Прозвище «*черный друг*» относилось не к душе Николая Степановича, но к его бакенбардам, смуглой коже и одновременно пародировало модные наименования романтического соперника. «Лукавое соперничество» было увековечено не в одном стихотворении; двадцатидвухлетний Пушкин с наслаждением поучал тридцатидвухлетнего Алексеева:

Люби, ласкай свои желанья,
Надежде и еврейке верь.
Как тень пройдут любви мечтанья,
И станешь то, что я теперь¹.

Алексеев не напоминает Пушкину многих подробностей «приятной жизни»: о дуэли с полковником Старовым, где Алексеев был секундантом, и о ссоре с молдавским боярином Балшем, когда Алексеев удержал руку Пушкина с занесенным тяжелым подсвечником; не напоминает — что подарил Пушкину громадные приходе-расходные книги масонской ложи «Овидий», куда рукою Пушкина были занесены сотни всем теперь известных стихотворных строк...

Да Пушкин и сам все помнил.

«Теперь сцена кишиневская опустела, и я остался один на месте, чтоб, как очевидный свидетель всего бы-

¹ Из первой редакции стихотворения «Алексееву» (II, 734).

лого, мог со временем передать потомству и мысли и дела наши. Все переменилось здесь со времени нашей разлуки: *Сандулаки* вышла замуж; *Соловкина* — умерла; *Пулхерия* состарилась и в бедности; *Калипсо* в чахотке; одна *Еврейка* осталась на своем месте; — но *прежних дней уж не дождусь: их нет, как нет!* Как часто по осушенным берегам Быка, хожу я *грустный и туманный* и проч.; вспоминая милого товарища, который умел вместе и сердить и смешить меня. Самая *Madame Вольф* сильно действует на мое расположение, — и если ты еще не забыл этот предмет, то легко поймешь меня.....!»

Отмеченные Алексеевым имена и строки — будто условные масонские символы молчат для непосвященных и не требуют пояснений для своих. Аника Сандулаки, едва известная пушкинистам¹, вероятно, хорошо знакома Пушкину, если идет первой в списке красавиц, перед Соловкиной, которой — как утверждает Липранди — поэт иногда «бредил»; перед прекрасной Пулхерией Варфоломей, которой Пушкин однажды попросил «объявить за тайну, что влюблен в нее без памяти»; наконец, перед романтической гречанкой Калипсо Полихрони, которая прежде будто бы была возлюбленной Байрона. «Одна Еврейка осталась на своем месте», но ее, кажется, променяли на мадам Вольф, что Пушкин должен «легко понять».

Позже, со слов Алексеева, будет записано:

«Обе героини, Эйхвельт и Варфоломей, имели еще по приятельнице, из которых каждая не уступала им самим ни в красоте, ни в жажде наслаждений, ни в способности к бойкому разговору. Между этими молодыми женщинами Пушкин и тогдашний его поверенный по всем делам кн. Шиневской жизни Н. С. Алексеев, к которому он скоро и переселился на житье из строгого дома ген. Инзова, и устроили перекрестную нить волокитства и любовных интриг. Все эти сведения нужны еще и для того, чтоб понимать намеки в некоторых стихотворениях и в последующей переписке Пушкина»².

¹ Липранди пишет, что «Пушкин любил ее за резвость и, как говорил, за смуглость лица, которому он придавал какое-то особенное значение». — «Русский архив», 1866, стлб. 1235; «Пушкин в воспоминаниях...», с. 291.

² П. Анненков. Александр Сергеевич Пушкин в Александровскую эпоху. СПб., 1874, с. 191. Об использовании Анненковым воспоминаний Алексеева см. ниже.

Может быть, Алексеев применяет к своему житью-бытью те пушкинские строки, которые от него сам слышал, или хочет показать, что заметил в печати «Братьев-разбойников» («... Но прежних дней¹ уж не дождусь: их нет, как нет!»), и «К морю» («Как часто по берегам твоим бродил я грустный и туманный...»). Оба эти произведения были впервые опубликованы в 1825 году, одно — в «Полярной звезде» Рылеева и Бестужева, второе — в «Мнемозине» Кюхельбекера. (Алексеев пишет письмо через три месяца после того, как один из этих пушкинских друзей повешен, а двое других до конца дней уходят в ссылку.)

«Место Катакази занял *Тимковской*, ты его, верно, знаешь: он один своим умом и любезностью услаждает скуку. Ты, может быть, захочешь узнать, почему я живу здесь так долго, но я ничего тебе сказать не в состоянии; какая-то тягостная лень душою овладела! счастье по службе ко мне было постоянно: за все поручения, мною выполненные с усердием, полу-милорд наградил меня благодарностью и несколько раз пожатием руки; чины же и кресты зависели от окружающих, коих нужно было просить, а я сохранил свою гордость и не подвинулся ни на шаг. — Теперь его черт взял, он отправился в Англию...»

Снова в алексеевской прозе запрятаны пушкинские стихи: «Тягостная лень душою овладела...» из стихотворения «Война» (1821); тут же — «Полу-милорд, полу-купец...» На полу-милорда Воронцова они давно выработали общее воззрение: Алексеев, как видно, любил своего начальника не больше, чем прежде любил его Пушкин (сохранилась запись Липранди о приезде его с Алексеевым в Одессу в феврале 1824 года, когда они в час дня застали Пушкина, пишущего в постели, и услышали весьма острые суждения о Воронцове и одесском обществе).

Алексеев в службе под Воронцовым не преуспел; надеялся, правда, на могущественного родственника и покровителя П. Д. Киселева, однако Пушкин, по словам Липранди, «пророчил Алексееву разочарование в своем идоле, что действительно этот в полном смысле достойный человек через тридцать лет испытал»².

¹ У Пушкина — «прежних лет...».

² Липранди вспоминал: «В сороковых (и в 1851-м) годах, видевшись почти ежедневно с Алексеевым, когда он после последней поездки своей в Саратовскую губернию, по частному делу Киселева, оконченному самым удовлетворительным образом, не видя по-

«Но я ожидаю способов возвратиться в Москву белокаменную и соединиться с друзьями, но:

Сколь многих взор наш не найдет
Меж нашими рядами!»

Цитируя Жуковского («Певец во стане русских воинов»), Алексеев, конечно, подразумевает декабристов. Многие осужденные члены тайного общества (как и нераскрытые кишиневские заговорщики) были задумчивыми друзьями и Алексеева и Пушкина. Оба они почти одновременно вступили в полузаговорщическую масонскую ложу «Овидий»¹. 26 мая 1821 года Пушкин отметил свое двадцатидвухлетие дневниковой записью: «Поутру был у меня Алексеев. Обедал у Инзова. После обеда приехали ко мне Пущин², Алексеев и Пестель...» Теперь же, в 1826 году Пестеля, кишиневского приятеля Владимира Федосеевича Раевского и многих-многих других уж «взор наш не найдет // «Меж нашими рядами...».

«Меж тем я уверен, что ты меня вспомнишь: удостоенный некогда целого послания от тебя, я вправе надеяться получить несколько строк, а также, если можно, и чего-нибудь нового из твоего произведения. Я имел первую часть *Онегина*, но ее кто-то зачитал у меня; о второй слышал и жажду ее прочесть.— Если вздумаешь писать ко мне, то надписывай прямо в Кишинев, а всего лучше пошли в дом Киселевых, кои ко мне доставят и таким образом будут нашим почт-амтом».

Обыкновенные «почт-амты», имеющие непреодолимую привычку к распечатыванию чужих писем, Алексеев предлагает заменить московской квартирой Киселевых; туда, вероятно, и отправилось это письмо, врученное сначала на юге Павлу Киселеву. Начальник штаба 2-й армии, разумеется, мог переписываться со своими московскими родственниками без жандармско-шпекинского вмешательства. Однако не мог Алексеев предвидеть, что 9 февраля

опрения ни по служебным понятиям, ни за оказываемые по частным делам удовлетворения, вынужден был оставить службу при Киселеве и искать другого ведомства, он как-то в разговоре со мной, с горькой улыбкой, припомнил пророчание Пушкина.— «Пушкин в воспоминаниях...», с. 331.

¹ Недавно И. Ф. Иовва опубликовал расписку в получении денег, выданную правлением ложи «Овидий» одному из членов и подписанную: «казначей Алексеев».— «Декабристы в Молдавии», с. 136.

² Генерал Павел Сергеевич Пущин.

1837 года, разбирая бумаги умершего Пушкина, его письмо прочтет и пометит красным жандармским номером генерал-майор Дубельт. Впрочем, «за давностью» ничего опасного в нем не заметит.

«Я часто говорю о тебе с Яковом Сабуровым, который вместе со мною в комиссии по делам Варфоломея,— он тебя очень любит и помнит.—

Липранди тебе кланяется, живет по-прежнему здесь довольно открыто и, как другой Калиостро, бог знает, откуда берет деньги.—

Прости, с нетерпением ожидаю удостоверения, что в твоей памяти живет еще

Алексеев».

И в последних, и в предшествующих строках находим: «Если разлука не уменьшила доверенности твоей...»; «Расстались друзьями, или, по крайней мере, я так льстил себе...». «Если ты еще не забыл...»; «...меж тем я уверен, что ты меня вспомнишь»; «...ожидаю удостоверения, что в твоей памяти живет еще...».

Равенство дружбы... Но Алексеев не забывает, что его друг — человек необыкновенный, который, конечно, не сможет забыть прежнего, но при том — «прежних дней уж не дожждаться...». «Удостоверение дружбы» — это, между прочим, «несколько стихотворных строк», которых ожидает Алексеев; ведь, кроме опубликованного послания к нему («Мой милый, как несправедливы // Твои ревнивые мечты...»), к старой дружбе-соперничеству относилось, вероятно, еще несколько стихотворений — «Приятелю», «Мой друг, уже три дня...», наконец, «Гавриилиада», где соперничество из-за прекрасной еврейки возведено из «кишиневского масштаба» в космический...

В конце письма снова звучат знакомые обоим имена: *Яков Сабуров*, из старинных пушкинских гусарских приятелей; снова *Варфоломей* — отец Пулхерии; еще недавно он был богатым, откупщиком, но успел разориться (по его делам «комиссия», а Пулхерица «в бедности»). Наконец, *Липранди* — загадочный, «дьявольский», как Сильво из «Выстрела», как «другой Калиостро» — маг, фокусник, шарлатан, добывающий деньги «бог знает откуда» (деньги Липранди получал для организации военной разведки на турецкой территории).

Можно к этому всему только добавить, что письмо Алексеева написано очень живо: «Русская и французская литература не были ему чужды,— вспоминал Липранди.—

Он из гражданских чиновников был один, в лице которого Пушкин мог видеть в Кишиневе подобие образованным столичным людям, которых он привык видеть»¹.

Через месяц Пушкин отвечает Алексееву (XIII, 309).

Еще и трех месяцев не мицую, как поэта освободили. Уже свободным едет из Москвы в Михайловское, но на обратном пути опрокинут ямщиками, отлеживается в псковской гостинице, а 1 декабря взялся написать подряд всем друзьям, которым задолжал ответом: кроме Алексеева, пишет Вяземскому, Зубкову и Соболевскому. Через несколько дней, накануне первой годовщины 14 декабря, напишет еще одному. «Мой первый друг, мой друг бесценный...».

Итак, ответ Пушкина датирован 1 декабря 1826 года:

«Приди, о друг, дай прежних вдохновений, |
Минувшею мне жизньию повея!..»

На лету подхвачен стиль, предложенный Алексеевым, — в письмо влетают подходящие к случаю строки Жуковского.

«Не могу изъяснить тебе моего чувства при получении твоего письма. Твой почерк опрятный и чопорный, кишеневские звуки, берег Быка, Еврейка, Соловкина, Калипсо. Милый мой: ты возвратил меня Бессарабии! я опять в своих развалинах — в моей темной комнате, перед решетчатым окном или у тебя, мой милый, в светлой, чистой избушке, смазанной из молдавского <...> Опять рейн-вейн, опять Шапран, и Пущин, и Варфоломей, и все.....»

Бывало, хотелось из Кишинева бежать куда угодно («Проклятый город Кишенев! // Тебя бранить язык устанет...»). А через четыре года — «Милый мой: ты возвратил меня Бессарабии... Михайловское тоже было тюрьмой («мраком заточенья») — но за несколько дней до этого письма отправилось послание Вяземскому: «Есть какое-то поэтическое наслаждение возвратиться вольным в покинутую тюрьму». Слух Пушкина ласкают кишиневские звуки. Таков поэт — и «берег Быка» и «Калипсо» и «Еврейка» — так же как «рейн-вейн», «Шапран» — это прежде всего

¹ «Русский архив», 1866, стлб. 1223—1224; «Пушкин в воспоминаниях», с. 286.

«звучание» Кишинева, ушедшего прошлого. И Соловки-
На, которой «бредил», не воспринята как реальная лич-
ность: не смерть ее, но имя взволновало Пушкина: «Солов-
кина...»

«Как ты умен, что написал ко мне первый! мне бы
эта счастливая мысль никогда в голову не пришла, хоть
и часто о тебе вспоминаю и жалею, что не могу ни бесить
тебя, ни наблюдать твои маневры вокруг острога».

Чисто пушкинская беспечная откровенность, которую
Алексеев должен хорошо понять. Пушкин уехал с юга,
«по этикету» должен бы написать первым, да не догадал-
ся. Старая дружба легко может возобновиться при встре-
че, но три года и сотни верст разделяют, и кроме как
о прошлом — говорить почти не о чем. Да в письмах и нель-
зя откровенничать. Слова «вокруг острога» позже густо
зачеркнуты. Может быть, самим Алексеевым или каким-то
перепуганным потомком? Возможно, в этих словах скры-
вается какой-то особый, опасный смысл (между прочим,
в той дневниковой записи, где Пушкин отметил посещение
Алексеева, Пущина и Пестеля, дальше следовало: «Потом
был я в здешнем остроге...»).

«Был я в Москве и думал: авось, бог милостив, уви-
жу где-нибудь чинно сидящего моего черного друга, или
в креслах театральных, или в ресторации за бутылкой.
Нет — так и уехал во Псков — так и теперь опять еду в
белокаменную. Надежды нет иль очень мало. По край-
ней мере пиши же мне почаще, а я за новости кишенев-
ские стану тебя подчивать новостями московскими.
Буду тебе сводничать старых твоих любовниц — я чай
дьявольски состарелись. Напиши кто? Я готов доньше
идти по твоим следам, утешаясь мыслию, что орогачу
друга».

Вероятно, в годы оны в Кишиневе много толковали
о родной Москве и о прежних похождениях Николая Степа-
новича, что дает Пушкину повод еще раз намекнуть на
старое соперничество и госпожу Эйхфельдт. И снова —
скрытые стихи: «Надежды нет иль очень мало» —
в сказке же «Царь Никита и сорок его дочерей», написан-
ной в Кишиневе за четыре года до этого письма, — «ничего
иль очень мало».

«Липранди обнимаю дружески, жалею, что в разные
времена съездили мы на счет казенный и не соткнулись
где-нибудь».

Письмо, хотя и послано через Киселевых, но прежде попало на псковскую почту. Поэтому — строки о Липранди самые смелые во всем тексте: «на счет казенный» Пушкин ездил в ссылку и из ссылки, а Липранди — на следствие и из-под следствия.

«Прощай, отшельник бессарабской,
Лукавый друг души моей —
Порадуй же меня не сказочкой арабской,
Но русской правдою твоей.

А. П. 1 дек.»

«Удостоверение дружбы» — несколько новых стихотворных строк. «Отшельник бессарабской» и «Лукавый друг» — понятны, последние же две строки, видимо, скрывают какой-то смысл. Если не усмирить вовремя фантазию, то можно бы вообразить: поскольку Алексеев знал Пестеля и посещал вместе с ним Пушкина, то «Русская правда», это пестелева программа переустройства России...

В тот же день, 1 декабря 1826 года, Пушкин вложил письмо в конверт, а на конверте написал: «Его сиятельству князю Петру Андреевичу Вяземскому. В Москве, в Чернышевском переулке, в собственном доме». В том же конверте отправилось и послание к хозяину «собственного дома», начинавшееся со слов: «Ангел мой Вяземской... пряник мой Вяземской!» — и заканчивавшееся: «При сем письмо к Алексею (род моего Сушкова), отдай для доставки Киселеву — вой-вым, как хошь».

Еще в начале нашего века Н. О. Лернер справедливо заметил, что последние строки хоть и не совсем понятны, но, видимо, содержат нечто обидное для кишиневского друга: о посредственном литераторе Сушкове Пушкин обычно отзывался с насмешкою. Так или иначе — Вяземскому иронически обозначен характер отношений Пушкина и Алексеева (другого южного приятеля, поэта Туманского, Пушкин назовет «мой Коншин», что означало «слепой подражатель»).

Кишиневских приятелей в конце 1826 года еще соединяло прошлое, но уже разделяло настоящее.

Изгнание на юг, естественно, ослабило связи Пушкина с лицейскими и петербургскими друзьями: такое удаление от школьных воспоминаний очень часто завершается окончательным уходом в совершенно другую сферу отношений, откуда к прошлому нет никакого возврата.

Но счастлив тот, чья жизнь крутой спиралью возвращается «на круги своя» — и после разлуки снова сводит с

повзрослевшими однокашниками. И тогда им уже не разойтись: вторая дружба возрождает, укрепляет и сохраняет первую, со всею силою постоянства, приходящего с годами.

19 октября 1825 года Пушкин прощался или отрекался от южных привязанностей; оказалось, что, куда бы ни бросила судьба и ни повело счастье —

...Нам целый мир чужбина,
Отечество нам Царское Село...

Так уходила в прошлое кишиневская дружба-соперничество.

Сохранилось еще одно письмо Александра Сергеевича¹ Николаю Степановичу из Петербурга в Молдавию (26 декабря 1830 года), да три послания Николая Степановича Александру Сергеевичу: одно — 20 марта 1827 года из крепости Хотин, где Алексеев сидел под арестом за дуэль; другое — из дунайских княжеств в 1831 году, последнее, скорее всего оттуда же, — в 1835-м. Еще сохранилась — «История Пугачевского бунта» с посвящением «Любезному другу Алексееву от Пушкин<а> в память б<ыло-ва>»² (часть букв уничтожена при переплетении книги).

Николай Степанович пережил Пушкина, карьеры не сделал, всю жизнь оставался по доброте, лени и бескорыстию чисто московским барином и в конце концов возвратился в «белокаменную», где коротал век со старыми кишиневскими москвичами — Вельтманом и Владимиром Горчаковым. Несколько бессарабских, пушкинских, лет оставались, видно, лучшим временем его жизни; о смерти же Николая Степановича долгое время были известны только следующие строки престарелого Ивана Липранди:

«Во время отъезда моего в 1851 году за границу Н. С. Алексеев взял у меня и то и другое <тюремные стихи В. Ф. Раевского «Певец в темнице» и ответное послание Пушкина>, а равно и пять писем Пушкина, возвратясь, не нашел я его в Петербурге, и он вскоре умер в Москве. Здесь я слышал, что будто бы он кому-то отдал мне возвратить»³.

По этой записи приблизительно определяли год смерти

¹ Вместе с С. Д. Киселевым.

² «Рукою Пушкина». М.—Л., «Academia», 1935, с. 721.

³ «Русский архив», 1866, стлб. 1450; «Пушкин в воспоминаниях», с. 328.

Николая Степановича: 1851-й или 1852-й (иногда писали осторожнее — 1850-е годы).

Итак, последнее сохранившееся известие об Алексееве представляет его читающим позже исчезнувшие пушкинские письма к Липранди, а также стихи старинного кишиневского друга, «первого декабриста» Владимира Федосеевича Раевского, отбывавшего в Сибири уже третье десятилетие.

ПУШКИНИАНА

Обыкновенность Алексеева («как многие...») и отношения с Пушкиным — «как у многих» — возможно, отпугнули исследователей. Почти никто этим человеком серьезно не интересовался — только между делом, «для комментария». Что можно было извлечь о Пушкине и Алексееве из стихов, писем, воспоминаний — давно извлекли. Но даже извлеченное, то есть давно и хорошо известное, видимо, никто не суммировал.

Итак, простая задача: какие были у Алексеева тексты, письма, воспоминания и другие материалы, имеющие прямое или косвенное отношение к биографии и творчеству, «трудам и дням» Пушкина?

Даже обыкновенное сложение уже известных материалов ведет к весьма ошеломляющему итогу...

Алексеевская пушкиниана включает:

«Заметки по русской истории XVIII века», с которых началась эта глава. Через пятнадцать — двадцать лет после смерти Пушкина текст «Заметок» впервые попадает к историкам и пушкинистам. В 1859 году наиболее безобидные отрывки пробивает сквозь цензуру и печатает в журнале «Библиографические записки» Евгений Иванович Якушкин, сын декабриста, человек, сделавший очень много для сохранения декабристского и пушкинского наследства. В тетрадях Евгения Ивановича и его друзей отмечается, что сочинение это «писано в Кишиневе в 1821—22 гг.» и «сохранилось в сборнике Алексеева»¹.

Гавриллиада. Пушкин написал поэму в 1821 году, но рукопись уничтожил либо так упрятал, что полтора века найти ее невозможно. А сложилась она на глазах кишиневских друзей и, по-видимому, начиналась с какого-то стихо-

¹ См. об этом в тетради литературных и исторических материалов А. Н. Афанасьева. — ЦГАОР, ф. 279 (Якушкиных), № 1066.

творного послания, от которого уцелели только небольшие черновые наброски.

Б. В. Томашевский, вместе с другими авторитетными исследователями, полагал, что это — стихотворное посвящение Алексееву¹. В списке «Гавриилиады», принадлежавшем В. П. Гаевскому (середина XIX века), против строк:

Так иногда супругу генерала
Затянутый прельщает офицер,—

было написано: «Алексеев»² (в той степени, в какой статский советник Эйхфельдт мог считаться генералом, надворный советник Алексеев являлся офицером...).

У Алексеева была, конечно, наиболее авторитетная копия (если не сама рукопись!): в 1827 году Николай Степанович вставляет в одно из своих писем к Пушкину:

— Какая честь и что за наслажденье...

Это строка из «Гавриилиады»...

Много лет спустя, уже после смерти Пушкина, его лицейский приятель Сергей Дмитриевич Комовский узнает от Алексеева такие строки поэмы, которых больше ни у кого не было: Пушкин, вероятно, решил не называть своих друзей по именам в опасном, кощунственном тексте, но вот что находилось прежде — на месте нынешних 403—406 строк «Гавриилиады» (драка беса с архангелом из-за прекрасной еврейки):

Вы помните ль то розовое поле,
Друзья мои, где красною весной,
Оставя класс, резвились мы на воле
И тешились отважною борьбой?
Граф Брогльо был отважнее, сильнее,
Комовский же — проворнее, хитрее;
Не скоро мог решиться жаркий бой.
Где вы, лета забавы молодой?

¹ Полное чтение этого отрывка (начинающегося со слов: «Вот муза, резвая болтунья...») впервые дал С. М. Бонди («Новые страницы Пушкина, стихи, проза, письма». М., 1931, изд-во «Мир», с. 92—103). Сначала С. М. Бонди соглашался с тем, что это черновик посвящения к «Гавриилиаде»; однако позже, в комментариях к полному собранию сочинений Пушкина, переменил мнение: «этот набросок <...>, вероятно, черновик послания к кн. П. А. Вяземскому» (II, 1099; текст послания см.: II, 203).

² А. С. Пушкин и Гавриилиада, ред. Б. В. Томашевского. Пг., 1922, с. 26.

«Noël» и альбом. Знаменитый «Noël» («Ура, в Россию скачет кочующий деспот!..») в подлинной рукописи также неизвестен. Пушкинист прошлого века П. А. Ефремов записал в своей тетради это стихотворение с примечанием: «Исправлено по списку с рукописи Пушкина из альбома Н. С. Алексеева»¹. Те же строки сохранились в сборнике Е. И. Якушкина и тетради А. Н. Афанасьева².

Альбом или сборник Алексеева! Там же, по-видимому, были «Заметки по русской истории XVIII века» и «Гавриилиада», а также стихи, посвященные Алексееву...

«Вероятно, никто не имеет такого полного собрания всех сочинений Пушкина, как Алексеев,— свидетельствовал А. Ф. Вельтман.— Разумеется, многие не могут быть изданы по отношениям»³, то есть не могут быть изданы, потому что задевают власть, религию, высоких лиц и другое, чего касаться нельзя — «по отношениям»...

Уже перечисленного, конечно, достаточно, чтобы понять, какова была пушкиниана Алексеева. Но это еще далеко не все.

Вот строки из последнего сохранившегося письма Николая Степановича к Пушкину (23 января 1835 г.): «В скором времени я обещаю тебе сообщить некоторую часть моих записок, то есть: эпоху кишиневской жизни; они сами по себе ничтожны; но с присоединением к твоим могут представить нечто занимательное, потому что волей или неволей, но наши имена не раз должны столкнуться на пути жизни. В заключение напому тебе о обещанном экземпляре *Пугачева* с твоей подписью, которая не раз уж украшала полученные мною от тебя книги».

Вряд ли это ответ Алексеева на письмо — скорее была встреча: Пушкин обещал подарить «Пугачева...»; как и многих других, уговаривал приятеля составлять записки. Вероятно, «в назидание» познакомил Алексеева с тем своим замыслом, о котором свидетельствует так называемая «вторая программа» записок (1833), почти целиком посвященная кишиневскому времени (XII, 310).

Из письма видно, что, кроме «*Пугачева*», были еще книги, надписанные Пушкиным (*и, может быть, письма, из*

¹ См.: II, 1040 (комментарии).

² ПД, ф. 244, оп. 8, № 104, л. 27; ЦГАОР, ф. 279, № 1086.

³ Бессарабские воспоминания А. Ф. Вельтмана в кн.: Л. М а й-ков в. Пушкин. СПб., 1899, с. 125; «А. С. Пушкин в воспоминаниях...», с. 279.

сопровождающие)¹, и что существовали *записки Алексеева*, в которых, конечно, очень много — о Пушкине.

Записки, не дошедшие ни к нам, ни даже к Пушкину...

Прибавив к собранию Николая Степановича также и взятые им перед смертью *письма Пушкина к Липранди* — мы приближенно «вычисляем» самую значительную из пропавших пушкинских коллекций.

Пропажа, гибель рукописей огорчает, но не удивляет.

Очень многое упущено навсегда, но на многое остаются надежды. Открытия возможны в самых неожиданных местах — среди старинных помещичьих писем, смиренно дожидających исследователя в недрах областного архива, в забытых альбомах, сохраняемых на дне семейных сундуков, на полях или между страницами книги, дремлющей на полке в маленькой сельской библиотеке, может быть, в тайнике, в стене или фундаменте старого дома и, как это ни парадоксально, — в сочинениях и рукописях прежних пушкинцев.

Следы алексеевского собрания ведут к бумагам перво-го пушкиниста.

АННЕНКОВ

Посмертное, одиннадцатитомное собрание сочинений Пушкина было завершено в 1841 году. Нового издания ожидали еще девять лет, пока за дело не взялись два преуспевающих генерала — Иван и Федор Анненковы, любившие и почитавшие Пушкина, вопреки «положенному» им генеральскому пренебрежению к памяти поэта.

Генералы были дружны с другим генералом, П. П. Ланским (вторым мужем Натальи Николаевны Пушкиной) и однажды сообщили ему и семье его о своем желании — осуществить новое, настоящее издание Пушкина. Неполнота и несовершенство посмертного одиннадцатитомника были слишком очевидны!

Получив согласие, братья-генералы заключили с Ланским формальный контракт и вслед за тем увезли целый большой сундук, набитый пушкинскими тетрадями и бумагами.

Генералы Анненковы достаточно чтили Пушкина, что-

¹ На сохранившемся экземпляре «Истории Пугачевского бунта», принадлежавшем Н. С. Алексееву, имеется *exlibris*: «Библиотека Н. Алексеева № , полка , том № ». Все номера не проставлены. Библиотека не сохранилась.

бы понять, как мало у них знаний и опыта для подготовки образцового научного издания, но они сумели уговорить (не без труда!) своего младшего брата, тридцатипятилетнего литератора Павла Анненкова.

Павел Васильевич Анненков перевез к себе сундук с бумагами осенью 1850 года, проработал три года, еще год потратил на печатание и цензуру (связи старших братьев, конечно, помогли) и в 1855 году выпустил шесть томов (в 1857-м — дополнительный, 7-й том), в которых было много новых или исправленных текстов.

Первый том своего издания Анненков назвал «Материалы для биографии Александра Сергеевича Пушкина», и хотя уже больше столетия прошло, как вышел этот том, и очень многое в нем устарело — но все же и сегодня это одна из лучших, если не самая лучшая биография поэта.

Тому «виною» — два обстоятельства:

Первое — литературный талант и художественный вкус Анненкова; авторский научный разбор не губит художественности, а художественность — не за счет науки.

Второе обстоятельство — богатство его источников. Ни один исследователь — ни до, ни после Анненкова не располагал столь полным собранием пушкинских рукописей (позже они «разбрелись»; сам Анненков не вернул Ланским несколько сот листов¹).

Составляя первую научную биографию Пушкина, Анненков, разумеется, обратился к друзьям поэта, которые в 1850-х годах еще здравствовали, а многие даже не успели еще слишком состариться; позже он признавался, что «биография Пушкина есть, может быть, единственный литературный труд, в котором гораздо больше разъездов и визитов, чем занятий и кабинетного сидения»².

В те же годы принялся записывать рассказы пушкинских друзей и П. И. Бартенев. Хотя Анненков и Бартенев оказались в некоторой степени конкурентами и Анненков сердился, — но сто лет спустя имена этих людей сближают куда чаще, чем при жизни: они успели собрать такие рассказы о Пушкине, такие материалы к его биографии, которые уж лет через десять — двадцать не нашлись бы. Местонахождение некоторых документов, которые были

¹ См.: М. А. Пявловский. Статьи о Пушкине. М., Изд-во АН СССР, 1962, с. 271.

² Б. Л. Модзалевский. Пушкин. Л., «Прибой», 1929, с. 295.

в руках Анненкова и Бартенева, сейчас неизвестно, так что их труды являются отчасти и первоисточниками.

Многое из собранного напечатать было негде и осталось в бумагах, дожидаясь «доброего цензора». И без того, когда Анненков «пробивал» в печать шесть пушкинских томов, глава петербургской цензуры М. Н. Мусия-Пушкин, проявил недовольство некоторыми из дозволенных текстов и жаловался, что «целое ведомство принесено в жертву одному человеку» (неясно только — Анненкову или Пушкину?).

Еще два десятилетия прошло; пореформенная цензура, даже свирепствуя, сделалась «добрее» самых мягких николаевских цензоров, и тогда шестидесятилетний Анненков, уже знаменитый литератор и мемуарист, напечатал новый большой труд — «Александр Сергеевич Пушкин в Александровскую эпоху».

Эта книга, при многих несовершенствах, также остается одной из лучших, талантливейших биографических работ о детских, лицейских, южных, михайловских годах Пушкина... И снова в эту работу были вкраплены новые тексты, неизвестные прежде воспоминания о поэте.

Анненков скончался в 1887 году, его архив поступал в Академию наук постепенно, в течение десятилетий. Основную часть собрания П. П. Анненков, сын Павла Васильевича, продал Пушкинскому дому в 1925 году.

Интереснейшая работа Б. Л. Модзалевского о неопубликованных пушкинских материалах, хранившихся в архиве Анненкова, появилась посмертно, в 1929 году, а через несколько лет в Поволжье обнаружилась еще часть анненковского собрания, непосредственно относящаяся к Пушкину. И все же многие важные рукописи из архива первого пушкиниста не обнаружены до сих пор...

Отступление к Анненкову и его бумагам — необходимое звено в рассказе об архиве Алексеева.

Дело в том, что Павел Васильевич чаще всего жаловался на недостаток материалов о кишиневских и одесских годах поэта. В столицах жили многие, хорошо помнившие Пушкина: там можно было воспоминания родственников и друзей проверить рассказами других очевидцев, свидетельствами третьих, впечатлениями четвертых... Труднее было найти южных друзей, достаточно близких и вовремя появивших, что о Пушкине надо побольше запомнить и записать.

Главным источником наших сведений о кишиневских годах Пушкина были и остаются воспоминания И. П. Липранди, но открылись они, как отмечалось, почти случайно в 1866 году, так что в 1850-х годах Анненков про них и не знал, а к самому Липранди не обращался (друг Герцена, Огарева, Белинского, Грановского — он, возможно, не захотел иметь дело с одиозной фигурой «гениального сыщика», как Липранди аттестован в анненковских литературных воспоминаниях). Не желая ограничиваться отдельными напечатанными воспоминаниями о пушкинском Кишиневе и Одессе, Анненков 5 декабря 1852 года известил историка М. П. Погодина, что писал «...к Вельтману и Полторацкому, прося их о сообщении историй их знакомства с Пушкиным, особенно касательно кишиневской и одесской ее эпох, но ответов еще не получил»¹.

А. Ф. Вельтман, по-видимому, тогда же показал Анненкову свои небольшие «Воспоминания о Бессарабии». Когда составлялись эти записки — неясно, но сохранились они на бумаге с водяным знаком «1837 год», и в них встречается уже цитированная фраза: «Вероятно, никто не имеет такого полного сборника всех сочинений Пушкина, как Алексеев». Прочитав эти слова, Анненков обязан был найти Алексеева, если только не встретился с ним еще прежде.

Нашел ли?

Об этом как-то не думали, тем более что оставалась неизвестной точная дата смерти Николая Степановича: если «1851», то Анненков вряд ли успел бы его расспросить. Но, заметим, Вельтман говорит об Алексееве, как о живом и здравствующем («никто *не имеет* такого полного сборника...»). Заметим также, что оба письма Пушкина к Алексееву Анненков знал: отрывки из письма от 1 декабря 1826 года вместе со стихами «Прощай, отшельник бессарабской...» впервые появились в печати на страницах анненковских «Материалов для биографии Пушкина» под заглавием «Послание к Н. С. А...ву, товарищу своего бессарабского жителя-бытья»².

В бумагах Анненкова сохранились точные копии обоих писем Пушкина к «черному другу» и притом отмечены разнообразные подробности: что одно из писем, «без поч-

¹ Б. Л. Модзалевский. Пушкин, с. 295.

² П. В. Анненков. Материалы для биографии Александра Сергеевича Пушкина. СПб., 1853, с. 173.

тового штемпеля» (оказия!), адресовано «Его высокоблагородию милостивому государю Николаю Степановичу Алексееву в Бухарест», и что «на другом листке этого письма есть приписка, сделанная С. Д. Киселевым», и, наконец, что письмо Пушкина «истыкано дырами»¹.

Больше полувека никто не знал, где находятся подлинники этих писем, и печатали их именно по анненковским копиям.

Существование этих копий позволяет предположить, что Анненков и Алексеев либо встречались, либо пользовались посредничеством почты, общих знакомых.

Ссылки на Алексеева, даже полускрытых, в «Материалах» больше не встречается. Зато в книге «Александр Сергеевич Пушкин в Александровскую эпоху» (1874) Анненков много откровеннее.

В пятой главе находим следующие строки об Иване Никитовиче Инзове:

«Инзов, между прочим, исповедовал — как и вся его партия — известное учение о *благодати*, способной просветить всякого человека, каким бы слоем пороков и заблуждений он ни был прикрыт, лишь бы нравственная его природа не была окончательно извращена. Вот почему, например, в распущенном, подчас даже безумном Пушкине Инзов видел более задатков будущности и морального развития, чем в ином изящном господине, с приличными манерами, серьезном по наружности, но глубоко испорченном в душе. По свидетельству покойного Н. С. Алексеева², он был очень искусен в таком распознавании натур, несмотря на кажущуюся свою простоту <...>

Замечательно, что он никогда не мог окончательно рассердить Инзова, так, как и Карамзина прежде. Напротив, когда в 1823 г. Инзов сдал должность начальника новороссийского края, которую исправлял с июля 1822 г., графу М. С. Воронцову, то всего более огорчен был добровольным переходом на службу к своему преемнику — бывшего своего чиновника, столько им любимого — Пушкина. «Ведь он ко мне был послан», — жаловался добрый старик»³.

¹ Средство борьбы с холерой: боялись, что зараза распространится через посредство писем.

² У Анненкова ошибочно: «Н. А. Алексеева».

³ П. А н н е н к о в. Александр Сергеевич Пушкин в Александровскую эпоху, с. 168—170.

О кишиневских похождениях Анненков знает многое:

«Обыкновенно случалась беда для кого-нибудь, если при игре и самом ходе этих интриг встречался какой-нибудь непрошенный человек на пути, вроде неизвестного француза по имени Дегильи, которого Пушкин письменно вызывал на дуэль, вероятно, для отстранения его соперничества. Чтобы покончить с этим порядком фактов, приводим ответ Пушкина, когда Дегильи устранился от дуэли. Ответ сообщен нам *Н. С. Алексеевым*:¹

«К сведению г-на Дегильи, бывшего французского офицера.

Недостаточно быть трусом, нужно еще быть им в открытую.

Накануне паршивой дуэли на саблях не пишут на глазах у жены слезных посланий и завещания; не сочиняют нелепейших сказок для городских властей, чтобы избежать царшины; не компрометируют дважды своего секунданта².

Все то, что случилось, я предвидел заранее, и жалею, что не побился об заклад.

Теперь все кончено, но берегитесь.

Примите уверение в чувствах, какие вы заслуживаете.

6 июня 1821.

Пушкин.

Заметьте еще, что впредь, в случае надобности, я смею осуществить свои права русского дворянина, раз вы ничего не смыслите в правах дуэли»³.

В дневнике Пушкина сохранилось только начало этого послания, Анненков же, очевидно, получил от Алексеева полный текст записки к Дегильи. Затем (также, вероятно, по Алексееву) сообщается о кишиневской масонской ложе «Овидий»; обрисовываются главные черты личности поэта — явно со слов все того же расположенного к Пушкину рассказчика:

«Были минуты, и притом минуты, возвращающиеся очень часто, когда весь байронизм Пушкина исчезал

¹ Курсив мой.— *Н. Э.*

² Ни генерала, который устывает принимать негодяя у себя в доме.— *Примеч. Пушкина.*

³ См.: П. Анненков. Александр Сергеевич Пушкин в Александровскую эпоху, с. 192; XIII, 30, 522—523.

без остатка, как облако, разнесенное ветром по небу. Случалось это всякий раз, как он становился лицом к лицу к небольшому кругу друзей и хороших знакомых. Они имели постоянное счастье видеть простого Пушкина без всяких примесей, с чарующей лаской слова и обращения, с неудержимой веселостью, с честным и добродушным оттенком в каждой мысли. Чем он был тогда — хорошо обнаруживается и из множества глупых, неизгладимых привязанностей, какие он оставил после себя. Замечательно при этом, что он всего свободнее раскрывал свою душу и сердце перед добрыми, простыми, честными людьми, которые не мудрствовали с ним о важных вопросах, не занимались устройством его образа мыслей и ничего от него не требовали, ничего не предлагали в обмен или прибавку к дружелюбному своему знакомству. Сверх того, в Пушкине беспрестанно сказывалась еще другая замечательная черта характера: он никак не мог пропустить мимо себя без внимания человека со скромным, но дельным трудом, забывая при этом все требования своего псевдо-байронического кодекса, учившего презирать людей, без послаблений и исключений. Всякое сближение с человеком серьезного характера, выбравшим себе род деятельности и честно проходящим его, имело силу уничтожить в Пушкине до корня все байронические замашки и превращать его опять в настоящего, неподдельного Пушкина. Он становился тогда способным понимать стремления и заветные надежды лица, как еще они ни были далеки от его собственных идеалов, и при случае давать советы, о которых люди, их получившие, вспоминали потом долго и не без признательности. Таким образом, душевная прямота, внутренняя честность и дельное занятие, встречаемые им на своем пути, уже имели силу отрезвлять его от наваждений страсти; но была и еще сила, которая делала то же самое, но еще с большей энергией — именно поэзия».

Можно также привести еще несколько «южных рассказов» Анненкова, которые не встречаются ни в каких известных мемуарах о Пушкине. Это описание кишиневских нравов, отношения Пушкина с друзьями и близкими¹, а

¹ Частично использованы в начале главы I нашей книги. См.: П. Анненков, Александр Сергеевич Пушкин в Александровскую эпоху, с. 210—211.

также интереснейшие подробности о жизни поэта в Одессе (см. дальше, на с. 155—156).

Методом исключения, а также по духу самого повествования, сходству с только что упомянутыми и цитированными текстами, можно смело считать, что Анненков и здесь в какой-то мере использовал воспоминания Николая Степановича.

Как видим, мемуары Н. С. Алексеева не совсем исчезли, но частично «растворились» в известном труде *первого пушкиниста*, и хотя соответствующих подготовительных материалов к книгам Анненкова не сохранилось, воспоминания Алексеева, без сомнения, к ним относятся. Неотделимые от связанного с ними изложения-пересказа Анненкова, они все же с должной осторожностью могут быть прибавлены к известным прежде рассказам современников о «южном Пушкине».

Разумеется, нельзя ручаться, что все упомянутые выше эпизоды услышаны от одного Алексеева; однако и без него не обойтись. Ведь он принадлежал к «добрым, простым, честным людям», с которыми Пушкин «всего свободнее раскрывал свою душу и сердце...» и которые «не мудрствовали с ним о важных вопросах, не занимались устройством его образа мыслей и ничего от него не требовали, ничего не предлагали в обмен или прибавку к дружелюбному своему знакомству».

Притом Анненков получил от Алексеева не только исчезнувшие его «Записки» и сохранившиеся копии писем.

То, что первый пушкинист не решился или не смог напечатать, он частично раздал другим — уже упоминавшимся Е. И. Якушкину, А. Н. Афанасьеву и П. А. Ефремову. Вот откуда в их тетрадах появились ссылки на Ноль и «Исторические замечания...», почерпнутые «из альбома Алексеева». В конце 50-х — начале 60-х годов Е. И. Якушкин и его друзья сумели провести в печать немало «опасных текстов», а что не сумели — отправили в Лондон, где самые запретные страницы напечатали Герцен и Огарев в своей «Полярной звезде» и других изданиях¹.

Анненковская копия «Сказки Noël» («Ура, в Россию скачет...»), к сожалению, не сохранилась.

¹ См.: Н. Я. Эйде ль м а н. Тайные корреспонденты «Полярной звезды». М., «Мысль», 1966, гл. VIII и IX.

Зато уделел список с «Заметок по русской истории XVIII века» (не устанем повторять, что название это условное, что у Анненкова было заглавие «Некоторые исторические замечания»).

Кстати, копия эта снята рукою генерала Федора Васильевича Анненкова, который (как и другой брат, Иван Васильевич) не совсем устранился от громадных трудов Анненкова-младшего.

В конце рукописи следует пояснение, сделанное рукою Павла Васильевича: «Написано в Кишиневе и списано со сборника Н. С. Ал...ва»¹.

Документ столь опасен, что даже в «домашних бумагах» рискованно называть источник получения. Вероятно, лишь после смерти Николая Степановича Анненков перечеркнул «закодированную» фамилию и написал сверху: «Алексеев». Маленькая подробность, то, что копия сделана Федором Васильевичем, позволяет заподозрить, что с Алексеевым непосредственно общался старший Анненков и передавал все добытое младшему (который с 1851 года сидел в деревне и разбирал кипы пушкинских бумаг). Но если это так — надо поискать еще какие-либо пушкинские копии, сделанные Ф. В. Анненковым и относящиеся к кишиневским и одесским временам.

В Пушкинском доме сохранился большой лист, на одной стороне которого рукою Федора Анненкова списано пушкинское послание Вигелю:

Проклятый город Кишенев!
Тебя бранить язык устанет...

На обороте листа — известное стихотворение «Генералу Пущину»:

В дыму, в крови, сквозь тучи стрел
Теперь твоя дорога...

К последнему — примечание, рукою того же Федора Анненкова: «Он <П. С. Пущин> был председателем мasonicкой ложи в Кишиневе. Стих написан экспромтом»².

Вполне возможно, что и это все списано с «альбома» или «сборника» Алексеева:

Оба стихотворения — из Кишинева.
Оба скопированы Ф. Анненковым.

¹ ПД, ф. 244, оп. 6, № 18.

² Там же, оп. 4, № 142.

Оба никогда прежде не публиковались «по отношению», и было бы странно, если б их не оказалось в собрании Николая Степановича.

Примечание ко второму стихотворению могло быть сообщено только кишиневским приятелем Пушкина — кто знал и про «експромт», и про масонскую ложу: Алексеев же как раз был казначеем ложи «Овидий», куда входил Пушкин и которую возглавлял генерал Пущин...¹

Итак, первый пушкинист пользовался бумагами и сведениями первого кишиневского друга Пушкина.

ПОТОМКИ

Исчезнувшие части анненковского архива давно унесли с собою и важную часть алексеевского; разыскания казались безнадежными. Стоит ли тревожить свое и чужое воображение подлинной «Гавриилиадой», «Noël» и другими, может быть, совсем неизвестными пушкинскими сочинениями, письмами, посвящениями, если они не попали в число блистательных находок, сделанных за столетие П. И. Бартеневым, Е. И. и В. Е. Якушкиными, П. А. Ефремовым, Л. Н. Майковым, П. О. Морозовым, Б. Л. Модзалевским, М. А. Цявловским, Н. О. Лернером, П. Е. Щеголевым, Б. В. Томашевским, Ю. Н. Тыняновым и многими другими несравненными искателями.

Однако современного пушкиниста несколько обнадеживает то обстоятельство, что ученые XIX и первых десятилетий XX столетия жили в эпоху великих открытий, когда сразу выявлялись целые слои пушкинских материалов, и руки до многого не доходили...

Возможно, не стоило бы все-таки братья за систематические розыски, если б весь архив Алексеева исчез бесследно.

Но ведь это не так, и архив Алексеева бесследно не исчезал.

Два письма Пушкина к Алексееву — два возвращения в кишиневскую юность из последнего десятилетия пуш-

¹ Сохранившийся черновик стихотворения «Генералу Пущину» не противоречит тому, что это «експромт», только сочиненный не мгновенно, а за краткое время (черновой автограф Пушкина помещается не в тетради, где Пушкин вел свои «регулярные» работы, а на отдельном листке!).

кинской жизни — печатались долгое время по копии Анненкова, автографы же считались навсегда утерянными.

И вдруг два подлинных письма появляются. Узнав, откуда взялись эти «обломки» алексеевского архива, можно было бы двинуться по следу, пусть остывшему...

В Ленинграде хранительница пушкинских рукописей Римма Ефремовна Терехина подсказывает, где и как искать: издавна все поступавшие в Пушкинский дом рукописи фиксировались, заносились в толстые «книжки поступлений» и при этом обязательно выражалась благодарность тем, кто передавал драгоценный текст. Но если благодарят, то и адрес указывают, и копию благодарственного письма оставляют.

В толстом томе деловых бумаг Пушкинского дома сохранились два документа, вернее, их черновики, написанные изящным и твердым почерком Бориса Львовича Модзалевского.

I

«№ 2451 *Петроград*
16 января 1916 г. *Его высокоородию Н. И. Алексееву*

Милостивый государь Николай Иванович!

Получив от Вас, через М. Л. Гофмана, подлинники двух писем Пушкина к Вашему деду, Николаю Степановичу Алексееву, которые Вы жертвуете в собрание Пушкинского дома при Имп. Академии наук, имею честь принести Вам от имени Высочайше учрежденной комиссии по постройке Памятника Пушкина и от моего лично выражение искренней благодарности <...> и просьбу принять при сем бронзовую медаль, выбитую Имп. Акад. наук в честь столетия со дня рождения Пушкина»¹.

II

«№ 2458 *Ее превосходительству*
23 января 1916 г. *Софье Ивановне Алексеевой;*
Петроград

Милостивая государыня Софья Ивановна!

Получив от Вас для Пушкинского дома, через по-

¹ ПД, ф. 244, оп. 26, № 348, л. 112.

средство М. Л. Гофмана, экземпляр «Истории Пугачевского бунта» с посвянительной надписью Пушкина Н. С. Алексееву и автограф стихотворения Ф. Н. Глинки...» (Далее — благодарность и сообщение о вручении памятной медали, как в первом письме.)¹

По этим письмам можно было, казалось, легко заключить следующее:

1. Что в семье Алексеевых хранились пушкинские материалы — письма, книги с посвящениями.

2. Что существовал внук Н. С. Алексеева, Николай Иванович, и что, стало быть, сына Н. С. Алексеева звали Иван Николаевич (позже выяснилось, сколь обманчиво такое умозаключение: Николай Степанович всю жизнь оставался холост, гипотетический *Иван Николаевич* — такая же абстракция, как подпоручик Кижж, а Николай Иванович Алексеев был в действительности внуком Александра Степановича Алексеева — родного брата «бессарабского отшельника»).

3. «Его высококордие» — принятое обращение к чиновнику V класса, статскому советнику.

4. Софья Ивановна Алексеева — «ее превосходительство» — скорее всего жена генерала (статского либо военного).

5. Разумеется, и Николай Иванович, и Софья Ивановна Алексеевы состоят в родстве: конечно, не случайно то, что они примерно в одно время, через посредство одного и того же человека, известного пушкиниста М. Л. Гофмана, передают в Академию наук материалы, касающиеся Пушкина и Н. С. Алексеева. Проще всего представить, что Софья Ивановна — мать Николая Ивановича.

Среди пятисот с лишним Алексеевых, упомянутых в огромных томах «Весь Санкт-Петербург» и «Весь Петроград», внимание автора привлек полковник Николай Иванович Алексеев, который жил по адресу: Миллионная улица, дом № 4, а также «Софья Ивановна Алексеева, вдова генерал-майора, Крюков канал, дом 11»: «ее превосходительство»; и, конечно, именно у нее хранилась книга «История Пугачевского бунта» с посвящением Пушкина ее родственнику. Однако в книгах «Весь Ленинград» за 1925 год и позже нет С. И. Алексеевой (может быть, умерла или уехала?) — и вообще, как это ни удивительно, в том году в Ленинграде не было ни одной Софьи Ивановны

¹ ПД, ф. 244, оп. 26, № 348, л. 117.

Алексеевой (Николаев Ивановичей Алексеевых же — всего три: бухгалтер, пом. управляющего Ленинградской таможней и владелец мастерской).

Стоит ли разыскивать? Ведь крупный специалист М. Л. Гофман, очевидно, бывал в этой семье и, конечно, не пропустил бы альбома с автографами или других документов, относящихся к Пушкину. Впрочем, Гофману, возможно, не показывали всех бумаг, иначе трудно объяснить одно обстоятельство. В уже упомянушемся томе деловых бумаг Пушкинского дома обнаруживается письмо Петра Петровича Вейнера, редактора-издателя журнала «Старые годы», от 19 сентября 1917 года: «Прошу... принять от меня в дар для Пушкинского дома прилагаемые девять писем Ф. Ф. Вигеля к Н. С. Алексееву и одно приложенное к ним стихотворение. Письма эти мне достались от потомка Н. С. Алексеева».

12 октября 1917 года (за тринадцать дней до Октябрьской революции) Борис Львович Модзалевский благодарил за присылку от имени Пушкинского дома. Зачеркнув начатое по инерции обращение «Его превосходительству», он пишет: «Г-ну П. П. Вейнеру. Получив от Вас в дар для собрания Пушкинского дома 8 писем Ф. Ф. Вигеля к Н. С. Алексееву, считаю своим приятным долгом...» и т. д.¹

Два пушкинских знакомца — Вигель и Алексеев — переписываются в пушкинские времена и из пушкинских мест. Письма дружеские, с приветами «Ивану Петровичу» (Липранди) и другим знакомым кишиневцам; с рассуждениями о Воронцове и его окружении.

Гофман не миновал бы таких бумаг, если б знал о них, но, видимо, ему не удалось подробно ознакомиться со всеми материалами. Если так, если ценные бумаги из Алексеевского архива таинственно странствовали и до и после 1916—1917 годов, то, может быть, у родни или друзей родни Н. С. Алексеева и поныне что-либо хранится. Но как же еще искать потомков, к тому же обладающих столь распространённой фамилией — Алексеевы?

В 1922 году вышло первое научное издание пушкинской «Гавриилиады». Редактировавший книгу Б. В. Томашевский поместил в ней портрет Н. С. Алексеева и при

¹ Архив Академии наук СССР, ф. 150 (канцелярия Пушкинского дома), оп. 1, 1899 г., № 1, л. 113, 120. П. П. Вейнер ошибочно разделил одно из писем, отчего и возникла разница в счете с Б. Л. Модзалевским.

этом благодарил за предоставление портрета *Е. И. Алексееву*.

Е. И. Алексеева, согласно дореволюционному «Всему Санкт-Петербургу», оказалась «Екатериной Ивановной Алексеевой, дочерью генерал-майора», проживала же она вместе с матерью, уже известной нам Софьей Ивановной Алексеевой, по адресу: Крюков канал, 11. В справочнике за 1925 год этого имени уже не было, однако Р. Е. Терехина сообщила автору этих строк, что тот самый портрет Николая Степановича Алексеева (за который Томашевский благодарил «его внучку Екатерину Ивановну») находится сейчас в Пушкинском доме. Он был передан туда в 1939 году *Натальей Ипполитовной Алексеевой, проживавшей по адресу: Васильевский остров, 10-я линия, дом 13, квартира 16.*

По закону парадокса, счастливого случая, столь надежные поиски должны либо совсем не удался, либо привести к цели «в двух шагах». К счастью, на этот раз все сложилось очень удачно, и вскоре состоялся телефонный разговор, во время которого собеседница сообщила автору следующее:

«Наталья Ипполитовна Алексеева — это моя бабушка, ей девяносто лет, ее муж, Николай Иванович, был внучатым племянником Николая Степановича Алексеева; меня зовут Марина Алексеевна Салмина... Я работаю в Пушкинском доме в отделе древнерусской литературы».

Таким образом, праправнучка Николая Степановича Алексеева работает в Пушкинском доме, всего через несколько комнат от того Рукописного отдела, где автор ломал голову над задачей — в каком месте России или земного шара разыскивать потомков Алексеева.

Воспроизвожу (с сокращениями) запись о встрече с ныне уже покойной Натальей Ипполитовной Алексеевой, сделанную через час после окончания нашей беседы (по мере возможности опуская собственные вопросы и воспоминания).

21 ноября 1966 года.

Наталье Ипполитовне Алексеевой 91-й год, почти не видит, но говорит образно, энергично; как все старики, хорошо помнит прошлое.

В конце XIX столетия вышла замуж за Николая Ивановича Алексеева (он сдавал пушкинские письма в Пушкинский дом). Пережила три революции, блокаду; лишь

в конце войны ее эвакуировали в Воткинск, на родину Чайковского.

Наталья Ипполитовна. Я дочь Ипполита Ильича Чайковского, Петр Ильич — мой дядя. Алексеевы не раз роднились с Чайковскими: еще Александр Степанович Алексеев, родной брат Николая Степановича и дед моего мужа, женился на Екатерине Ассиер, а сестра ее, Александра Ассиер, была матерью Петра Ильича Чайковского.

К сожалению, Николай Степанович умер бездетным. Не понимаю, почему год смерти его неизвестен пушкинистам? У меня хранится свидетельство о смерти: «Николай Степанович Алексеев умер в Москве, 26 февраля 1854 года, 64-х лет, от разрыва легких, отпет в Ржевской церкви близ Пречистинских ворот и погребен 1 марта 1854 года на Ваганьковском кладбище...

(До сей поры, значит, у Алексеева «отнимали» три года жизни, которая, оказывается, кончилась не в 1851-м, а в 1854-м. Вот почему Анненков, работавший в 1850—1854 годах, вполне мог послать ему вопросы и получить ответы, материалы!)

— У мужа моего, я помню, были какие-то старинные документы, и в их числе — пушкинские... Это наследство нашего деда Александра Степановича; наверное, брат Николай отдал ему свои бумаги¹.

Моя belle-mère, Софья Ивановна Алексеева, также не раз при мне говорила о Пушкине и его близости с Николаем Степановичем. К мужу моему часто собирались друзья — он служил в Павловском полку. Офицеры часто брали книги и рукописи, но не имели обыкновения их аккуратно возвращать. Мысль о передаче в Академию наук двух писем Пушкина, кажется, и появилась оттого, что мы опасались, как бы и эти письма случайно не ушли из нашего дома... Если бы лет пятьдесят — шестьдесят назад меня расспросить, возможно — вспомнилось бы еще, но прежде как-то не так интересовались...

— Не помнит ли Наталья Ипполитовна Петра Петровича Вейнера?

— Он был знаком с моим мужем и получил от него несколько писем, кажется, для Лицейского музея... (Вот

¹ Об Александре Степановиче Алексееве известно, что он служил около 1820 г. в Конногвардейском полку и одновременно с братом Николаем Степановичем был масоном (в Петербургской ложе «Соединенных братьев»). — См.: «Русская старина», 1907, № 8, с. 418.

откуда письма Алексеева к Вигелю!) Из вещей и бумаг дедушки, Николая Степановича, осталась подорожная с эмблемой Константина Павловича и подписью Вигеля (от 1 декабря 1825 года!). Мы сдали ее в Пушкинский музей. Сохранился кубок, из которого, говорят, пили Пушкин и Алексеев (темно-красный бокал, на каждой грани которого женские фигуры в старинных костюмах). По семейному преданию, Пушкина и Алексеева в Кишиневе шутливо именovali Орестом и Пиладом...

Любопытно, действительно ли это предание идет с пушкинских времен или родилось позже, под влиянием чернового стихотворения, вероятно, обращенного к Алексееву:

Мой друг, уже три дня
Сажу я под арестом
И не выдался я
Давно с моим Орестом...

— Не слыхала ли Наталья Ипполитовна о рукописи «Гавриилиады», «Noël», пушкинских исторических заметках, книгах с пушкинскими посвящениями?

— Софья Ивановна, сестра моего мужа, скончавшаяся несколько лет назад, владела книгой Пушкина о Пугачеве и пожертвовала ее Пушкинскому дому. Екатерина Ивановна имела известный портрет Николая Степановича. Она умерла в блокаду Ленинграда, как и мой двенадцатилетний внук Дмитрий Алексеев. О «Гавриилиаде» или запрещенных сочинениях Пушкина ничего не помню. В годы революции многое из наших вещей и книг пропало, но я не слыхала даже от моей *belle-mère*, чтобы в семье было что-либо подобное... Может быть, Николай Степанович раздарил рукописи еще при жизни или что-нибудь попало к сестре Николая Степановича и Александра Степановича — Варваре Степановне, в замужестве Холоповой... Нет, об Анненкове и его встречах с Алексеевым никто не говорил...

Тут Наталья Ипполитовна припоминает, что муж ее «еще лет шестьдесят назад вспоминал о каких-то записках Николая Степановича, где рассказывалось, как он сопровождал Грибоедова в его первом персидском вояже...» (об этом ничего не известно).

Наш разговор о семье Алексеевых движется по трем столетиям: начинается от живших при Екатерине II Степана Алексеева и его супруги, урожденной Сытиной, у которых сын Николай родился в 1789 году в том городе, где

через десять лет у Пушкиных родится сын Александр; затем — XIX век; взятие Парижа, Пушкин, персидский поход — это как будто позавчерашний день; вчерашний — это Петр Ильич Чайковский, которого Наталья Ипполитовна, конечно, хорошо помнит. Наконец, революция и блокада — день сегодняшний.

Наталья Ипполитовна хочет помочь розыскам и спрашивает, известна ли тетрадка, заполненная рукою Николая Степановича, — «та, которую мы с мужем когда-то читали: ее отдали в Пушкинский дом вместе с письмами, в 1916 году...»?

На другой день, конечно, делается запрос — и тетрадка быстро обнаруживается в фондах Отдела рукописей Пушкинского дома. Ее содержание неожиданно приближает к важнейшим событиям *южной* биографии поэта.

«ПО СМЕРТИ ПЕТРА I...»

«Петр I не страшился народной Свободы, неминуемого следствия просвещения, ибо доверял своему могуществу и презирал человечество, может быть, более, чем Наполеон».

Пушкин, 1822

За письма и книгу Алексеевым были посланы в 1916 году благодарности и памятные медали, «тетрадку» же (сборник) — как не столь ценное подношение — в благодарственных письмах не отметили...

Сборник довольно велик по формату (215×340 мм), но состоит всего из пяти вложенных друг в друга двойных листов (что составляет 10 отдельных листов или 20 страниц)¹.

Вначале — несколько строк рукою Б. Л. Модзалевского, с еще дореволюционной орфографией:

«От Алексеевой С<офы> И<вановны>. Сборник писан одним почерком. Водяной знак «1818». Рукою Н. С. Алексеева в Кишиневе. 1821—1823 гг.»

Вспомнилось примечание П. В. Анненкова сопровождавшее его копию «Некоторых исторических замечаний» Пушкина: «Писано в Кишиневе в 1821—22 годах. Почеркнуто из сборника Н. С. Алексеева».

На первом же листе принесенного сборника — почерком Алексеева, «опрятным и чопорным», заглавие: «Некоторые исторические замечания».

Далее текст со слов: «По смерти Петра I движение, переданное сильным человеком, все еще продолжалось...»

¹ ПД, ф. 244, оп. 6, № 24.

Снова — то сочинение Пушкина, с которого начиналась предыдущая глава: и отношения кишиневских «друзей-соперников», и архив Алексеева, столь же замечательный, сколь недоступный, и труды Анпенкова, и беседы с потомками, и появление «тетрадки-сборника» — все это в дальнейшем понадобится для проникновения в загадочное и важное сочинение двадцатитрехлетнего Пушкина, которое даже назвать непросто, потому что оно имеет два названия, но, в сущности, — ни одного, в то время как название в данном случае может быть важнее, чем в любом другом.

Очевидно, это именно тот сборник, с которого снимал когда-то копию для брата Федор Васильевич Анпенков.

Видимо, в течение полувека, прошедшего с того дня, как сборник поступил в Пушкинский дом, им специально не интересовались. Он «спрятался» в громадных описях главного рукописного фонда № 244 (фонд Александра Сергеевича Пушкина) и еще спокойно пролежал бы неведомо сколько, если бы не вспомнила Наталья Ипполитовна Алексеева.

Рукописный сборник — довольно типичный, часто встречающийся элемент культурного быта той эпохи, и Алексеев, собирая его, вряд ли представлял тот интерес, который он будет иметь в далеком будущем: рукой близкого Пушкину человека на страницы сборника внесена копия уникального и загадочного пушкинского сочинения, а вслед за ним — текст еще шести историко-политических документов, составленных на разных общественных полясах, но освещающих под разными углами некоторые существенные события декабристско-пушкинского времени, между 1812 и 1825 годами.

Перелистывая алексеевский сборник, мы будто слышим давно умолкнувшие речи, звучавшие в маленькой «глиняной избушке», или на обедах у Инзова, или между картами у Липранди, среди стихов, философских литературных споров у Орлова, Владимира Раевского, в разговоре с Пестелем «метафизическом, политическом, нравственном...».

Однако, прежде чем подробно рассмотреть материалы этого сборника, которые помогут лучше понять удивительное историческое сочинение поэта, остановимся на пушкинском автографе «Исторических замечаний...»:

Жандармских чернил нет ни на одной странице автографа. Значит, как уже говорилось, в доме Пушкина этой рукописи не было ни в 1837-м, ни раньше: Пушкин сжег свои наиболее откровенные бумаги в конце 1825 — начале 1826 года, когда ожидал обыска или ареста. Если б «Исторические замечания...» были привезены с юга и сохранялись в Михайловском, то непременно бы погибли.

Следовательно, одно из двух: либо эти листы были привезены Пушкиным на Псковщину и кому-либо переданы на хранение (семье Вульфов? Брату Льву Сергеевичу?), либо летом 1824 года, отправляясь из Одессы, поэт при себе уж рукописи не имел.

Первая гипотеза кажется маловероятной: у «северных приятелей» Пушкин мог позже десятки раз получить свое сочинение обратно, до 14 декабря 1825 года с него непременно сделали бы списки, но, насколько известно, ни одна копия «Исторических замечаний...» в декабристской среде не обращалась. Если же примем второй, «южный» вариант, то остаются два года — с августа 1822-го по июль 1824-го, когда эти шесть листов могли быть кому-то отданы.

Анненков, Е. Якушкин, Афанасьев и Ефремов ссылались, как известно, на сборник Н. С. Алексеева, из чего впоследствии заключили, что подлинная рукопись хранилась у Алексеева и благодаря этому избежала Дубельта¹.

Но вдруг в «тетрадке» Николая Степановича (о которой напомнила Наталья Ипполитовна Алексеева) обнаруживается копия с рукописи Пушкина, и тогда становится непонятным, зачем же Алексееву было снимать копию, если у него оставался автограф?

Мы уже говорили, что в 1910 году белой автограф «Исторических замечаний...» поступил в Лицейский музей из собрания Дашкова. Теперь надо понять, откуда же Павел Яковлевич Дашков получил такой текст?

В Пушкинском доме хранится не только громадное собрание рукописей П. Я. Дашкова, но и несколько десятков переплетенных тетрадей, в которые Дашков почти сорок лет записывал все свои приобретения, вклеивал счета, деловые письма и т. п. На каждом шагу встречаются при-

¹ См.: И. Л. Фейнберг. Незавершенные работы Пушкина, изд. пятое. М., «Советский писатель», с. 314.

мерно такие записи: «Бумаги Н. И. Греча. 50 руб. В том числе стихи Гнедича, письма Полевого, Велю, Ф. Глинки, Дм. Языкова, Дубельта, Сербиновича, Ростовцева, Липранди, Лонгинова, Перовского, Даля, В. Одоевского, Корфа, Воронцова¹.

Или такие:

«Добрейший Павел Яковлевич! Вы можете сделать мне большое одолжение, уступив мне какой-нибудь автограф Пушкина. Мне необходимо теперь услужить им одному господину: со временем я надеюсь достать несколько рукописей Пушкина, но в настоящую минуту мне остается только обратиться к Вашему великодушию и доброму расположению ко мне». Подпись: С. Н. Шубинский (издатель журнала «Древняя и новая Россия», позже — «Исторического вестника»). На письме рукою П. Я. Дашкова отмечен сделанный подарок: «Письмо Пушкина Н. И. Гречу с шуткой насчет гонорара»².

Уже в третьей тетрадке («разные документы, касающиеся покупки автографов разных лиц, счета, письма с предложениями и т. п. за 1878 — 1881 годы») удастся найти то, что нужно:

Вот какие приобретения поступили к Дашкову 2 апреля 1878 года:

«Пушкин — письмо	— 5 (руб)
Пушкин — второе послание к цензору ³	— 5 (руб)
Пушкин — Русская история	— 7 (руб)».

Рядом — запись, относящаяся ко всем этим приобретениям: «от Константинова (бумаги Лобанова)»⁴.

«Русская история»: просматривая список пушкинианы Дашкова, не найдем другого текста, кроме «Исторических замечаний...», к которому могло бы относиться такое название. Отсутствие какого бы то ни было заглавия в рукописи Пушкина позволяло новым владельцам предлагать свои, «приблизительные» наименования. Гипотезу подкрепляет следующее сопоставление дат: в 1878 году

¹ ПД, ф. 93 (собрание П. Я. Дашкова), оп. 1, № 2, л. 44.

² Там же, л. 117. Письмо Пушкина см.: XIII, 32—33.

³ На самом деле — копия пушкинского послания рукою брата, Л. С. Пушкина (не раз вводившей в заблуждение коллекционеров и специалистов сходством с почерком Александра Сергеевича).

⁴ ПД, ф. 93, оп. 1, № 3, л. 20.

Дашков приобретает рукопись, а в 1880 году в «Русской старине» появился почти весь ее текст (либеральная цензура Лорис-Меликова, вероятно, усмотрела политический намек в строках о «фарсе депутатов» при Екатерине II и не пропустила их в печать. Режимы менялись, но Пушкин еще в 1822 году рассчитал, как «им всем не угодить»). Публикации предшествовало следующее редакционное введение: «*Александр Сергеевич Пушкин. Взгляд на царствование Петра I и Екатерины II.* Под этим заглавием, нами данным, печатаем здесь собственноручную рукопись А. С. Пушкина, не имеющую заглавия, но, очевидно, составляющую отрывок его записок. Подлинник принадлежит собранию автографов русских деятелей П. Я. Дашкова и сообщен нам П. А. Ефремовым. Отрывок этот был уже напечатан в «Библиографических записках» в 1859 г., но не вполне и не совсем исправно...»¹

Итак, в 1878 году Дашков приобретает бумаги Лобанова «от Константинова».

Художник Андрей Константинов еще появляется в делопроизводстве Дашкова, напоминая 22 декабря 1881 года, что был прежде «с автографами и гравюрами по поручению г. Лобанова».

Скончавшийся в 1881 году Леонид Михайлович Лобанов², сын академика Михаила Евстафьевича Лобанова, продал Дашкову архив, собранный отцом: все приобретенные бумаги относятся только к концу XVIII и первой половине XIX столетия³.

Трудно представить более неподходящую фигуру для хранения крамольных «Исторических замечаний...», нежели Михаил Евстафьевич Лобанов. Плохой переводчик, посредственный поэт, печатавшийся там и сям в 1820-х—1840-х годах, он выпустил в 1835-м драму под названием «Борис Годунов» (через четыре года после появления пушкинской!) и 31 августа того же года удостоился за нее спе-

¹ «Русская старина», 1880, № 12, с. 1043.

² П. Я. Дашкова приглашали на похороны сестры и братья покойного.— ПД, ф. 93, оп. 1, № 9 (1881—1884), л. 40.

³ Кроме пушкинских документов, П. Я. Дашков в несколько приемов, с 23 февраля до 24 июля 1878 г., приобрел у Лобановых старинные рисунки, а также рукописи и письма Крылова, Гнедича, Козлова, Хвостова, Карамзина, Батюшкова, Ф. Глинки, Плетиева, Державина, Загоскина, Милонова, Баратынского, И. Дмитриева, С. Аксакова, Жуковского, А. Бестужева Шипкова, Шаховского и другие (в том числе письма Загоскина, Гнедича и других, адресованные М. Е. Лобанову).— См.: ПД, ф. 93, оп. 1, № 3, л. 20 и сл.

диальной премии от Академии (в чем заключался, разумеется, «укол» Пушкину, никакой награды не получившему).

В 1836 году Пушкин выступил против Лобанова в известной статье «Современника» «Мнение М. Е. Лобанова о духе словесности, как иностранной, так и отечественной». Отвечая на речь Лобанова, доказывавшего «безнравие и нелепость всех французских литературных течений» и призывавшего Академию принять участие в цензуровании книг, Пушкин заключал статью «искренним желанием, чтобы Российская академия... ободрила, оживила отечественную словесность, награждая достойных писателей деятельным своим покровительством, а недостойных — наказывая одним ей приличным оружием: невниманием» (XII, 74).

Вспоминая главные события жизни и творчества М. Е. Лобанова, почти забытого к началу XX века, Н. Янчук называет его «литературным врагом или даже соперником Пушкина» и забавляется тем обстоятельством, что, по воле случая, два несопоставимых имени — Пушкин и Лобанов — часто оказывались в какой-то связи: некий виленский гимназист, узнав о смерти Пушкина, пишет прочувственную статью с эпиграфом из Лобанова; на выставке 1827 года Кипренский показывает знаменитый портрет Пушкина, а также портрет Лобанова¹.

И вот, наконец, неожиданное сочетание имени верно-подданного Лобанова и свободных пушкинских «Замечаний...».

Впрочем, ради справедливости следует привести и доводы в пользу Лобанова, которые как-то «сближали» бы владельца рукописи с самой рукописью. Михаил Евстафьевич был коллекционер — и этим уже многое сказано. (Дашков ведь приобрел только часть его бумаг!) Страсть коллекционирования может затопить и растворить многие другие: между прочим, в небольшом фонде М. Е. Лобанова в ЦГАЛИ сохранилась полная подборка вырезок из газет и других печатных изданий о деле 14 декабря и процессе над декабристами². В подобном собрании были

¹ Н. Янчук. Литературные заметки. — «Известия Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук», 1907, т. XII, кн. IV. СПб., 1908, с. 214 и сл.

² ЦГАЛИ, ф. 303 (архив Лобанова), оп. 1, № 34. В этом архиве, а также среди других бумаг Лобанова, сохранившихся в ленинградской Публичной библиотеке (в собрании П. Н. Тиханова), к сожалению, не удалось найти каких-либо материалов, прямо относящихся к «Историческим замечаниям...».

бы «уместны» также пушкинские «Исторические замечания...»¹.

Для пополнения своей коллекции Лобанов имел немало возможностей, так как был связан с двумя крупнейшими хранилищами рукописей: много лет служил под началом А. Н. Оленина в Императорской публичной библиотеке, а незадолго до смерти управлял Румянцевским музеем². Был он также близким приятелем И. А. Крылова и Н. И. Гнедича, собрал немало их работ и написал о каждом по книжке с похожим названием:

«Жизнь и сочинения Николая Ивановича Гнедича». СПб., 1841.

«Жизнь и сочинения Ивана Андреевича Крылова». СПб., 1847.

Встречался он также и с Дельвигом.

Скончался М. Е. Лобанов в 1846 году на семидесятом году жизни. Н. С. Алексеев пережил Лобанова на восемь лет, что еще раз опровергает предположение, будто автограф хранился у «отшельника бессарабского».

Однако установить, где находилась беловая рукопись в период между Пушкиным и Лобановым, пока, к сожалению, не удалось. История ее во многом неясна...

Обратимся теперь к тексту автографа.

«ПРОШЛО СТО ЛЕТ — И ЧТО Ж ОСТАЛОСЬ?..»

Если бы пушкинские «Заметки по русской истории» не завершались точной датой — 2 августа 1822 года и если бы эта дата не подтверждалась «перекрестными» доказательствами — вряд ли кто-нибудь решился приписать найденные страницы двадцатитрехлетнему автору: гениальными юношескими стихами нас не удивить, но изумляет суровая, точная проза, к тому же историческая, требующая, кроме таланта, специальных знаний.

При помощи этих «Заметок» удается проникнуть в малодоступный мир потаенных пушкинских мыслей, возникающих и меняющихся на одном из важнейших исторических перевалов — через десять лет после 1812-го, за три

¹ Интересно, откуда дети Лобанова знали, что анонимная рукопись «Российской истории» — пушкинская: из частичной ее публикации в «Библиографических записках» 1859 г. или от своего отца?

² См.: Н. Янчук. Литературные заметки.

года до 1825-го, «пред грозным временем, пред грозными судьбами...». Поэтому, прежде чем вернуться к лицам и обстоятельствам, затронутым на предыдущих страницах, попытаемся *медленно* прочитать пушкинское сочинение¹.

Как уже говорилось, в беловом автографе вместо заглавия над текстом рукою Пушкина — «№ 1» (скорее всего «№ 1» вписано позже, так как поэт никогда не начинал писать так высоко, почти у верхнего края страницы)². Справа — «NB» и оставлены большие поля для дополнений. (Обычная его манера, когда предпринимался какой-нибудь большой труд.)

«По смерти Петра I движение, переданное сильным человеком, все еще продолжалось в огромных составах государства преобразованного. Связи древнего порядка вещей были прерваны навеки: воспоминания старины мало по малу исчезали»³.

В первой же фразе первой исторической работы Пушкина главный герой — Петр I; и так во многих будущих трудах, вплоть до последнего, незавершенного, «Истории Петра...». Начало — медленное, эпическое: предложения длинные, в ритме истории Карамзина. Однако здесь — краткое обозрение «новейшей истории», в то время как «История Государства Российского» должна была остановиться перед воцарением Романовых.

«По смерти Петра I... «огромные составы...», «прерванные связи...» вызывают в воображении читателя некий громадный организм, «Левиафан»; сильный человек мощным движением швырнул и вздернул его так, что захрустели составы и связи и отшибло «воспоминания старины...». Через десять лет это будет «гордый конь», которого всадник «уздой железной... поднял на дыбы...».

¹ Пушкинский текст будет сопровожден комментариями, совершенно не претендующими на объяснение и освещение всего; даже наоборот — это комментарии, в которых много важных вопросов совсем не появится, например, почти не будут рассмотрены источники, из которых Пушкин черпал свои исторические сведения. (См.: Б. В. Томашевский. Пушкин, кн. 1, с. 570—572). Цель комментариев — обратить внимание на некоторые не слишком очевидные оттенки пушкинской мысли.

² Отмечено Т. Г. Цявловской.

³ Здесь и далее текст Пушкина см.: XI, 14—17.

Пушкин не пытается как-то объяснять появление са-мого Петра: «сильный человек», «северный исполин» (позже — «властелин судьбы») — во всем этом сочинении, в духе времени, сильные люди (или объединения людей) делают историю куда в большей степени, чем история творит их самих... Выражаясь языком современной науки, «субъективное начало» явно преобладает над «объективным».

«Народ, упорным постоянством удержав бороду и русский кафтан, доволен был своей победою и смотрел уже равнодушно на немецкий образ жизни обритых своих бояр».

Дальше один за другим обзревается три главных «состава» государства преобразованного: сначала — народ. Фразу как бы начинает историк, просвещенно иронизирующий («победа... бороды и кафтаны»), но заканчивает — «сам народ», насмехающийся над историком и ему подобными «обритыми боярами» (выражение чисто народное)¹. Тут уже видно столь раскрывшееся в поздние годы особенное умение Пушкина смотреть на предмет то со своей стороны, то с чужой колокольни; то — на Пугачева, то «Пугачевым»: только что принизив «бояр» народным мнением, в следующей фразе уж снова говорит в их пользу — «новое поколение... привыкало к выгодам просвещения».

«Новое поколение, воспитанное под влиянием европейским, час от часу более привыкало к выгодам просвещения. Гражданские и военные чиновники более и более умножались; иностранцы, в то время столь нужные, пользовались прежними правами; схоластической педантизм по-прежнему приносил свою неприметную пользу. Отечественные таланты стали изредка появляться и щедро были награждаемы. Ничтожные наследники северного исполина, изумленные блеском его величия, с северной точностью подражали ему во всем, что только не требовало нового вдохновения. Таким образом, действия правительства были выше собственной его образованности, и добро производилось ненарочно, между тем как азиатское невежество обитало при дворе» (к этому месту примечание Пушкина: «Доказательство тому царствование безграмотной Екатерины I, кровавого злодея Бирона и сладострастной Елисаветы»).

¹ В 1831 г. в «Рославле»: «Народ, который тому сто лет отстоял свою бороду, отстоял в наше время и свою голову» (VIII, 152).

Народ с его мнением и «упорным постоянством» больше не появляется; хотя о нем говорится, но он сам «безмолвствует»: нет ни Булавица, ни Пугачева.

Второму составу — «новому поколению, воспитанному под влиянием европейским», то есть «обществу» — внимание куда большее, потому что Пушкин сам из этого состава. Тут впервые появляется один из главных мотивов работы — «просвещение», «выгоды просвещения».

Пушкин и в этих строках тонко меняет углы наблюдения: то с высоты XIX века на XVIII, то с «низин» XVIII на себя: «чиновники, иностранцы, схоластический педантизм» — слова, произносившиеся в 1820-х годах с оттенком отрицания, здесь, наоборот, звучат одобрительно. Позже Герцен напишет о XVIII веке как о времени, когда «поэты воспевали своих царей, не будучи их рабами», и когда еще «великой революционной идеей была реформа Петра»¹.

После народа и общества третий и последний «состав» — правительство. Кажется, Пушкин не жалеет красок, сближая уровень просвещения царского дворца и деревенской избы: в хижине упорное постоянство «суеверия», во дворце — «суеверная точность подражания», там — «бороды и русский кафтан», тут «азиатское невежество». Но так как исторический толчок уже дан, развитие продолжается, и новые случайности не могут отменить мощного движения, но могут лишь наложиться на него.

«Петр I не страшился народной Свободы, неминуемого следствия просвещения, ибо доверял своему могуществу и презирал человечество, может быть, более, чем Наполеон».

Центральная мысль всего сочинения и вообще для Пушкина одна из важнейших: просвещение — здесь не просто доза культуры, принятая обществом, это и экономика, и литература, и знания, и быт, это — *уровень развития*.

Развитие, просвещение неминуемо ведет к свободе. Из дальнейшего видно, что Пушкин понимает под «народной свободой» одновременно свободу политическую и освобождение крестьян. Петр не только вводил просвещение, но на примере Англии, Голландии и других стран мог видеть,

¹ А. И. Герцен. Собр. соч. в 30-ти томах., т. VII. М., Изд-во АН СССР, 1956, с. 192.

что *просвещение* приводит к существенным переменам в управлении.

Мысль эта, понятно, принадлежала не одному Пушкину — целой эпохе, целому мыслящему слою. «Человек, — записывает Рылеев, — от дикой свободы стремится к деспотизму; невежество причиною тому. <Затем> человек от деспотизма стремится к свободе. Причиной тому просвещение»¹.

Однако подобные соображения нисколько не смущали Петра: «Доверяя своему могуществу и презирая человечество», он был уверен, что не скоро *его* просвещение обратится против *его* самовластия. Но Пушкину — как это будет видно далее — кажется, что время, отпущенное потомкам Петра для просвещенного самовластия, кончается; что через сто лет после Петра настал час свободы, «неминуемого следствия просвещения»².

«История представляет около его всеобщее рабство. Указ, разорванный кн. Долгоруким, и письмо с берегов Прута приносят великую честь необыкновенной душе самовластного государя: впрочем, все состояния, окованные без разбора, были равны пред его *дубинкою*. Все дрожало, все безмолвно повиновалось»³.

Четырехкратное «все» звенит, как рабские цепи («всеобщее рабство...», «все состояния, окованные без разбора...», «все дрожало, все безмолвно повиновалось...»). Пушкина не пугает противоречие этих строк с хвалою «северному исполину» в начале сочинения: он улавливает истинные переходы добра во зло и обратно — причудливые и неизбежные.

Такова же пушкинская мысль о несправедливом петровском указе, будто бы разорванном Яковом Долгоруким⁴, и полулегендарном письме Петра, предписывавшем сенату не исполнять царских приказаний, если будут посланы из турецкого плена. «Великая честь необыкновенной души самовластного государя», очевидно, в том, что

¹ Рылеев. Полн. собр. соч. М.—Л., «Academia», 1934, с. 412.

² Сходная мысль у Герцена в «Былом и думах»: «Четырнадцатого декабря <...> пушки Николая были равно обращены против возмущения и против статуи: жаль, что картечь не расстреляла медного Петра» (А. И. Герцен. Собр. соч., в 30-ти томах, т. IX, с. 48).

³ Этот отрывок, первоначально внесенный в основной текст, Пушкин затем перенес в примечания.

⁴ Подробная запись об этой истории внесена позже Пушкиным в «Table-talk» (XII, 162—163).

Петр легко мог поступить нехорошо, самовластно, но по-
ступил благородно... Мы не согласимся с Пушкиным, что
и дворянин, и крепостной «были равны» перед петровскою
дубинкою, но самовластие Петра действительно оковыва-
ло даже высшие сословия много сильнее, чем абсолютизм
Бурбонов, Тюдоров или Габсбургов. Пушкину надо под-
черкнуть «всеобщее рабство» для дальнейших размышле-
ний о «всеобщем единодушии» врагов рабства.

«Аристократия после его неоднократно замышляла
ограничить самодержавие: к счастью, хитрость государ-
ей торжествовала над честолюбием вельмож и образ
правления остался неприкосновенным. Это спасло нас
от чудовищного феодализма, и существование народа
не отделилось вечною чертою от существования дворян.
Если бы гордые замыслы Долгоруких и проч. сверши-
лись, то владельцы душ, сильные своими правами, все-
ми силами затруднили б или даже вовсе уничтожили
способы освобождения людей крепостного состояния,
ограничили б число дворян и заградили б для прочих
сословий путь к достижению должностей и почестей го-
сударственных. Одно только страшное потрясение мог-
ло бы уничтожить в России закоренелое рабство; нынче
же политическая наша свобода неразлучна с освобож-
дением крестьян, желание лучшего соединяет все со-
стояния противу общего зла, и твердое, мирное едино-
душие может скоро поставить нас наряду с просвещен-
ными народами Европы. Памятниками неудачного бо-
рения Аристократии с Деспотизмом остались только
два указа Петра III-го о *вольности дворян*, указы, ко-
ими предки наши столько гордились и коих справедли-
вее должны были бы стыдиться...»

Казалось бы, Пушкин внушает читателю, что самовла-
стие давно следовало ограничить. Но, с другой стороны,
его смущает результат, и он рассуждает на тему, что было
бы, «если бы гордые замыслы Долгоруких и проч. сверши-
лись» (то есть удалась бы попытка нескольких знатных
фамилий, около 1730 года, взять под контроль самодер-
жавную власть); тогда, по мнению Пушкина, крепостное
право именем дворянства стало бы «закоренелым», вошло
бы в плоть и кровь. Пушкин считает меньшим злом кре-
постничество именем государства, сверхвластие царя — да-
же над дворянами: крепостное право в этом случае можно
отменить законом (укоренившуюся феодальную собствен-
ность — невозможно!). Поэтому закон о вольности дворян-

ской без сопутствующего ему закона «о вольности крестьянской» — по Пушкину — вреден и его «следует стыдиться».

Хороша только та свобода, которая — «неминуемое следствие просвещения»; если бы вельможи, «верховники», взяли власть, то был бы сорван плод незрелый. Для поэта все же — «правительство — главный европеец»: оно должно стимулировать просвещение, просвещение же ведет к свободе...

Несколькими строками выше было сказано: «все состояния, окованные без разбора...», а теперь — «желание лучшего соединяет все состояния противу общего зла»: объединенные рабством, естественно, объединяются желанием свободы. «Общее зло», против которого все соединяется, — это плохое правительство, горстка сановников, Александр I, Аракчеев, Фотий и т. п. Против *всех* им не только не устоять, но даже до крови дело не дойдет: нужно «единодушие мирное», но чтобы довести дело до конца, также и — «твердое...». Пушкин тогда настаивал, «что тот подлец, кто не желает перемены правительства в России»¹.

Пушкина, как видим, пока что не заботит зловеющая коллизия: только что «все состояния окованы... все дрожит, все повинуется», и вот от этих людей требуется «твердое, мирное единодушие», которое «может поставить нас наряду с просвещенными народами Европы». А вдруг застарелое рабство «сработает», помешает? Ведь какое различие российского и западноевропейского прошлого: хартии, парламенты в Англии, Франции и других землях в течение многих веков и слабость подобных институтов в России... Все это Пушкина сейчас не занимает, потому что, в духе времени, он верит в большую свободу исторического выбора. Петр I, сильная личность, дал толчок: настало время новым личностям, «соединенным состояниям», придать новое движение российским «состоявам», «разорвать связи» и т. п.

Как видим, Пушкин в декабристском, «тургеневском», духе центральным, главным вопросом считает крестьянский: что политически поможет его решению — то благо. Известно, что в декабристской среде (Никита Муравьев, Лунин, Фонвизин, Орлов) было распространено и другое воззрение на политическую борьбу XVIII века, более

¹ М. А. Цявловский. Дневник П. И. Долгорукова. — «Звенья», 1954, кн. IX, с. 27.

одобрительное отношение к «аристократическим замыслам» — ограничить самодержавие¹. Так, в 1819 году М. Ф. Орлов порицает датчан, которые «вольным переходом передались из рук нескольких олигархов в руки одного деспота. Я тут ничего великого не вижу, кроме великого непонятия о достоинстве народа вообще и о достоинстве человека в частном отношении»². Среди прогрессивных кругов было популярным мнение, что «Указ о вольности дворянской» способствовал освобождению личности, ограждению от всеобщей дубинки хотя бы части населения, дворян. Понятно, без такого частичного освобождения не могли бы явиться в дворянстве такие свободные люди, как декабристы, как сам Пушкин.

После 1825 года Пушкин, много размышляя о нравственных, внутренних переменах в людях и «состояниях», постепенно меняет точку зрения. В одном из отрывков, условно называемых «О дворянстве» (30-е годы), он пишет: «Чем кончится дворянство в республиках?»³ Аристократическим правлением. А в государствах? Рабством народа. $a=b$ (XII, 206). В 1822-м Пушкин еще полагал, что «b» (то есть рабство) лучше, чем «a» (власть аристократии), так как оставляет перспективу, «выход в будущем...». В 1830-х годах он, хотя и продолжает порицать «гордые замыслы Долгоруких», но притом не без сожаления рассматривает «уничтожение дворянства чинами», «падение постепенное дворянства» в связи с правлением Петра и Анны (XII, 206).

В 1822-м почти вся вина возлагалась на Екатерину II.

«Царствование Екатерины II имело новое и сильное влияние на политическое и нравственное состояние России. Возведенная на престол заговором нескольких мятежников, она обогатила их на счет народа и унизила беспокойное наше дворянство. Если царствовать значит знать слабость души человеческой и ею пользоваться, то в сем отношении Екатерина заслуживает удивление потомства. Ее великолепие ослепляло, приветливость привлекала, щедроты привязывали. Самое сластолюбие сей хитрой женщины утверждало ее вла-

¹ См.: Ланда С. С. Дух революционных преобразований, с. 40—48.

² «Былое», 1906, № 10, с. 299.

³ Под «республиками» Пушкин здесь подразумевает разные типы представительных правлений; «государство» — абсолютная монархия.

дычество. Производя слабый ропот в народе, привыкшем уважать пороки своих властителей, оно возбуждало гнусное соревнование в высших состояниях, ибо не нужно было ни ума, ни заслуг, ни талантов для достижения второго места в государстве. Много было званых и много избранных; но в длинном списке ее любимцев, обреченных презрению потомства, имя странного Потемкина будет отмечено рукою Истории. Он разделит с Екатериною часть воинской ее славы, ибо ему обязаны мы Черным морем и блестящими, хоть и бесплодными победами в Северной Турции...»¹

Большая часть пушкинского сочинения — о царствовании Екатерины II. Причина ясна: первое движение дал Петр: этого хватило до 1762 года; второе движение — Екатерина, при которой наблюдается нечто принципиально новое в жизни страны. Правительство перестает плыть по течению, творить добро «ненарочно». Екатерина знает, что делает («имела свои виды...»). Пушкин не замечает почти ничего положительного в этом царствовании, употребляя слова «унизила», «сластолюбие», «гнусное соревнование», — и лишь в конце первого «екатерининского» абзаца возникает «странный Потемкин» и «блестящие победы», о которых тут же оговорено — «бесплодные...»². Впрочем, подозревая, что читатель вспомнит иные оценки Екатерины II, Пушкин объясняет, что «ее великолепие ослепляло, приветливость привлекала, щедроты привязывали».

Взгляд Пушкина понятен уж из того, что сказано в начале его сочинения: некоторые свободы, которые Екатерина дарит «непросвещенному дворянству», преждевременны. Это как бы заговор Долгоруких наизнанку: естественное движение от просвещения к свободе, начатое Петром и «ненарочно» продолженное его «ничтожными наслед-

¹ «Бесплодные, ибо Дунай должен быть настоящею границею между Турциею и Россиею. Зачем Екатерина не совершила сего важного плана в начале фр<анцузской> рев<олюции>, когда Европа не могла обратить деятельного внимания на воинские наши предприятия, а изнуренная Турция нам упорствовать? Это избавило бы нас от будущих хлопот». — *Примеч. Пушкина.*

² Строки, посвященные Потемкину, и некоторые другие разделы пушкинского труда основаны, очевидно, на рассказах важного и осведомленного свидетеля А. Ланжерона. (Полная копия его записок см.: ГИП, ф. 73 (В. А. Бильбасова), № 272—277; т. I—VI). Однако это особая тема, которая в настоящей книге подробно развернута не будет.

никами», теперь нарушено. «Гнусное соревнование высших состояний» («званные» самой Екатериной, «избранные», то есть выдвинутые сановниками) хуже, чем равенство в рабстве, так как вредит грядущему «соединению противу общего зла». Любопытно, что близость с М. Ф. Орловым не мешала, а может, и помогала Пушкину подразумевать среди «презренных» — двух дядей Михаила Федоровича, Григория и Алексея Орловых.

Так и слышатся будущие строки:

Попали в честь тогда Орловы,
А дед мой в крепость, в карантин.
И присмирел наш род суровый...

(«Моя родословная»)

«Униженная Швеция и уничтоженная Польша, вот великие права Екатерины на благодарность русского народа».

В пушкинском черновике была сначала «Уничтоженная Польша, <униженная>, усмиренная Турция».

Затем «Турция» вычеркивается: обстоятельства начала 1820-х годов не доказывали, что Турция усмирена и тем более унижена. Султан справляется с восставшими греками, держит под ярмом много захваченных земель.

Вместо Турции появляется Швеция.

«Униженная Швеция и уничтоженная Польша — вот права Екатерины на нашу благодарность».

Задумавшись над тем, что значит «наша благодарность», Пушкин уточняет: «на благодарность русского народа».

Затем еще сильнее:

«Вот истинные права Екатерины на благодарность русского народа»...

Слово «истина» появляется и в начале следующего предложения, где возобновляется атака на систему Екатерины: «Но со временем истина оценит...» — Пушкин тут же пробует другие варианты: «пройдет <время>», «время оценит», «настанет время». В окончательном варианте, как видим, нет «истинных прав на благодарность» (вместо этого — «великие права на благодарность»): вместо «истина оценит» появилось — «история оценит».

В самом деле, что есть «истина»? Существует история, есть права на благодарность достаточно большие, «великие», — но можно ли определить истинные, «конечные», права?

Строки о Польше указывают на то, что Пушкин метит не только в бывшую царицу, но и в ее царствующего внука. В 1822 году Александр представлялся многим современникам восстановителем Польши в ущерб России, и «комплимент» бабушке за уничтоженную Польшу звучал совсем не верноподданнически: печальный парадокс...

«Но со временем История оценит влияние ее царствования на нравы, откроет жестокою деятельностью ее деспотизма под личиною кротости и терпимости, народ, угнетенный наместниками, казну, расхищенную любовниками, покажет важные ошибки ее в политической экономии, ничтожность в законодательстве, отвратительное фиглярство в сношениях с философами ее столетия — и тогда голос обольщенного Вольтера не избавит ее славной памяти от проклятия России.

Мы видели, каким образом Екатерина унизила дух дворянства. В этом деле ревностно помогали ей любимцы. Стоит напомнить о пощечинах, щедро ими раздаваемых нашим князьям и боярам, о славной расписке Потемкина, хранимой доньне в одном из присутственных мест государства¹, об обезьяне графа Зубова, о кофейнике к <князя> Кутузова и проч. и проч.

Екатерина знала плутни и грабежи своих любовников, но молчала. Ободренные такою слабостью, они не знали меры своему корыстолюбию, и самые отдаленные родственники временщика с жадностью пользовались кратким его царствованием. Отселе произошли огромные имения вовсе неизвестных фамилий и совершенное отсутствие чести и честности в высшем классе народа. От канцлера до последнего протоколиста все крало и все было продажно. Таким образом развратная государыня развратила свое государство».

Осуждение екатерининского царствования, задержанное на мгновение краткой похвалой, продолжает усиливаться, превращаясь в злой памфлет. Но с каждой строкой все заметнее, что, собственно, дело не в Екатерине: так же как хвала Екатерине «за Польшу» задевала Александра, так и отрицание екатерининской системы было уничтожением александровской...

¹ «П<отемкин> послал однажды адъютанта взять из казенного места 100 000 р. Чиновник не осмелился отпустить эту сумму без письменного вида. П<отемкин> на другой стороне их отношения своеручно приписал: дать, е... м...». — *Примеч. Пушкина.*

Преемственность «Екатерина — Александр» (исключавшая Павла) была общепринятой. Традиции бабки считались сохраненными внуком.

Пушкин же находит в бабушкины времена те посевы, которые сорняком расцветают при внуке. Когда говорится, что «со временем История оценит...» и «тогда голос обольщенного Вольтера не избавит ее славной¹ памяти от проклятия России», то подразумевается, что оценит «не сейчас», но после будущих перемен, которые уничтожат ныне действующую и от Екатерины идущую систему.

Вчитываясь в этот отрывок, найдем:

«...влияние ее царствования на нравы...» (правы же не переменялись, это нынешние нравы!).

«Отселе произошли сии огромные имения вовсе неизвестных фамилий и совершенное отсутствие чести и честности в высшем классе народа...» (имения, отсутствие чести и честности — все действительно для 1820-х годов и лишь началось с Екатерины).

«Таким образом развратная государыня развратила и свое государство...» (здесь продленное пропущенное время, как и в предыдущей фразе).

Названо всего несколько фамилий, но сколько еще подразумевается (все временщики, их родня — между прочим, многие из настоящих и будущих знакомых семьи Пушкина. Из тех, кто размецался между «канцлером» и «последним протоколистом», в 1822-м еще многие здравствовали или передали наследство сыновьям).

Не случайно Пушкин в этом месте совсем позабыл спокойный, эпический тон и раскаляет памфлетную ярость («ничтожность...» «плутни», «грабежи...» «отвратительное фиглярство...», «проклятие России...»). Язык все злее, афористичнее: «отсутствие чести и честности», «все крало, и все было продажно», «развратная государыня развратила государство». «Любимцы» появляются второй раз, после того как о них уже с презрением сказано, второй раз в тексте появляется и слово «бояре». Теперь это уже не тайная усмешка униженного крестьянина, а откровенная насмешка унижающего временщика: Орлову или Зубову лестно вспомнить про пощечину, отвешенную древнему потомку князей или бояр, про «хорошо причесанного генерала», который не смеет жаловаться на обезьяну вре-

¹ Пушкин употребил здесь (и во многих иных случаях) это слово в значении «восславленный», «прославленный».

менщика, пачкающую его волосы нечистотами, и про еще более важного генерала и дипломата М. И. Кутузова, несущего кофе развалившемуся в постели «Платоше» Зубову.

Мимходом снова брошен упрек серьезному оппоненту — на этот раз он назван: «обольщенный Вольтер...».

И. Л. Фейнберг, опубликовавший часть сохранившегося пушкинского черновика, отметил и другие крепкие выражения по адресу императрицы: мелькнуло слово «тиранство»; определяя отношения императрицы с Вольтером, Пушкин выбирал между «мелочным шарлатанством» и «отвратительным фиглярством» (предпочел последнее) ¹.

Гнев Пушкина против системы Екатерины — Александра, кажется, достиг апогея, но это еще не все: уже мелькнули слова «под личиной кротости и терпимости...». Следующий большой отрывок целиком посвящен этому «славному» двоедущию:

«Екатерина уничтожила звание (справедливее, название) рабства, а раздарила около миллиона государственных крестьян (т. е. свободных хлебопашцев) и закрепостила вольную Малороссию и польские провинции. Екатерина уничтожила пытку — а тайная канцелярия процветала под ее патриархальным правлением; Екатерина любила просвещение, а Новиков, распространивший первые лучи его, перешел из рук Шешковско-го ² в темницу, где и находился до самой ее смерти. Радищев был сослан в Сибирь; Княжнин умер под розгами — и Фон-Визин, которого она боялась, не избежал бы той же участи, если б не чрезвычайная его известность».

Каждая фраза — в одном ритме. Екатерина утверждала одно, — а на самом деле было вот что... В этой обвинительной речи «сталкиваемые» факты говорят сами за себя, и Пушкин собирает лишние подробности, раздробляющие мысли (например, фразу из черновика о публикациях Вольтера в России: «Знаю, что «Кандид» и «Белый бык»

¹ И. Л. Фейнберг. Неизданный черновик Пушкина. — «Вестник АН СССР», 1956, № 3, с. 118—121.

² «Домашний палач кроткой Екатерины». — *Примеч. Пушкина.* Это примечание, как и некоторые другие, заставляет думать, что Пушкин собирался широко распространять свое сочинение: ведь не Вяземскому же, не Тургеневым, не лицеистам следовало объяснять, кто такой Шешковский.

были напечатаны»). Сильные прилагательные, которые были в черновике, также исчезают в окончательном тексте: вместо «почтенного Новикова» — Новиков, вместо «кровавого Шешковского» — Шешковский: мысль стала жестче, проще, суровее.

И. Л. Фейнберг заметил, что у Пушкина в черновике было «около 200 000» (сначала — 300 000) раздаренных Екатериной крестьян.

Потом он уточнил число (любопытно бы знать, — чьими сведениями воспользовался?) и написал более правильно: «около миллиона». Не зря Пушкин пояснил «государственные крестьяне (то есть свободные хлебопашцы)». В черновике сначала было — «свободные землепашцы». Свободные хлебопашцы — термин александровского царствования: в 1803 году был издан закон о вольных хлебопашцах, мыслившийся как первый в серии раскрепощающих мер, но в том же царствовании дело заканчивается обращением казенных хлебопашцев в военных поселян. Разница между александровским *словом* и *делом* — для Пушкина — продолжение двоедушия, принятого «Тартюфом в юбке и короне», Екатериной II. Легко заменить екатерининские ситуации соответствующими александровскими: Александр уничтожил пытку, но Аракчеев никогда ее не отменял; Александр поощрял просвещение, но Радищев, сосланный Екатериной, отравился именно в царствование ее внука.

Княжнин (как ошибочно полагает Пушкин, доверяя распространенному слуху) умер под розгами за смелую драму «Вадим», но ведь и о Пушкине был распущен слух, что его высекли; в Кишиневе примерно в одно время с «Историческими замечаниями...» делаются наброски к драме «Вадим»; Радищев выслан, Новиков в крепости: но ведь и Пушкин выслан, и Пушкину грозила крепость.

В этом отрывке снова появляется тема «просвещения». Екатерина любила просвещение, но расправилась с Новиковым, «распространившим первые лучи его»: истинное просвещение атаковано фальшивым, внешним, порабощающим. Здесь для Пушкина пока не существует той важной мысли, что появляется в последние его годы, — о недостатках самих просветителей, о слабости «полупросвещения» XVIII века. Он с оптимизмом глядит на два главных исторических движения: просвещение — от Петра, через просвещенных людей XVIII века — к новым вре-

менам, когда вот-вот «над отечеством свободы просвещенной» взойдет «прекрасная заря...».

Мрак под видом света культивируется властью, особенно екатерининской и александровской...

«Екатерина явно гнала духовенство, жертвуя тем своему неограниченному властолюбию и угождая духу времени. Но лишив его независимого состояния и ограничив монастырские доходы, она нанесла сильный удар просвещению народному. Семинариисты пришли в совершенный упадок. Многие деревни нуждаются в священниках. Бедность и невежество этих людей, необходимых в государстве, их унижает и отнимает у них самую возможность заниматься важною своею должностю. От сего происходит в нашем народе презрение к попам и равнодушие к отечественной религии; ибо напрасно почитают русских суеверными: может быть нигде более, как между нашим простым народом, не слышно насмешек на счет всего церковного. Жаль! Ибо греческое вероисповедание, отдельное от всех прочих, дает нам особенный национальный характер.

В России влияние духовенства столь же было благотворно, сколько пагубно в землях римско-католических. Там оно, признавая главою своею папу, составляло особое общество, независимое от гражданских законов, и вечно полагало суеверные преграды просвещению. У нас, напротив того, завися, как и все прочие состояния, от единой власти, но огражденное святыней религии, оно всегда было посредником между народом и государем, как между человеком и божеством. Мы обязаны монахам нашей Истории, следственно и просвещением. Екатерина знала все это, и имела свой виды».

Почти в одно время Пушкин защищает духовенство от злонамеренных, как ему кажется, гонений Екатерины и — пишет богохульную «Гавриилиаду». Но одно дело — вопросы веры и церкви для себя и узкого просвещенного круга, другое дело — для народа. До сих пор Пушкин показывал, как Екатерина унижала общество, сбивая его с пути истинного, освобождающего просвещения. Но вот он снова размышляет о том народе, который «удержал бороду и русский кафтан...». Без учителей-священников, считает поэт, не сократится разрыв образованных и необразованных слоев.

Екатерина «угождает духу времени», то есть просвещенному XVIII веку, но Пушкин ничуть тому не радуется, ибо «угождение духу времени» — совсем не одно и то же, что «быть с веком наравне»; не случайно царица идет навстречу не только «времени», но и «неограниченному властолюбию». Сравнивая православие и католичество, Пушкин пользуется примерно той же логикой, что и при рассуждениях о «гордых замыслах Долгоруких»: историческое преимущество русского духовенства (как и дворянства) — в его несамостоятельности, в том, что оно «оковано» вместе со всеми «состояниями»; благодаря этому, думает Пушкин, плохие его свойства — «суеверные преграды просвещению» (подобно «чудовищному феодализму» аристократии) — не смогли развиться, как это случилось «в землях римско-католических». Серьезные размышления о роли православного духовенства Пушкин разовьет и в 1829 году («Путешествие в Арзрум») и незадолго до смерти (письмо к Чаадаеву от 19 октября 1836 г.).

«Современные иностранные писатели осыпали Екатерину чрезмерными похвалами: очень естественно; они знали ее только по переписке с Вольтером и по рассказам тех именно, коим она позволила путешествовать. Фарса наших депутатов, столь непристойно разыгранная, имела в Европе свое действие: Наказ ее читали везде и на всех языках. Довольно было, чтобы поставить ее наряду с Титами и Траянами; но, перечитывая сей лицемерный Наказ, нельзя воздержаться от праведного негодования. Простительно было фернейскому философу превозносить добродетели Тартюфа в юлке и в короне, он не знал, он не мог знать истины, но подлость русских писателей для меня непонятна».

Снова — в третий и четвертый раз — Пушкин вспоминает о «современных иностранных писателях» и о «фернейском философе»: он понимает, что с их авторитетом следует считаться. Это не царедворцы, а высокие умы, и в их логике своя последовательность¹. Если буквально

¹ Впрочем, оценки западных мыслителей были отнюдь не столь единодушны, как думал тогда Пушкин: Г. Рейналь и Д. Дидро писали в 1780 г. о екатерининской России: «Великим несчастьем для страны был бы справедливый, непреклонный деспот; еще хуже два или три подобных благодетеля подряд. Народы, не разрешайте вашим так называемым благодетелям делать против вашей общей воли даже добро». (Цит. по кн.: Ю. Ф. Карякин и Е. Г. Плимак. Запретная мысль обретает свободу. М., «Мысль», 1967, с. 112).

следовать за мыслью Пушкина о развращающем царствовании Екатерины, то непонятно, откуда же появились в 1800 — 1820-х годах новые люди, свободный дух декабризма? Только как оппозиция к безобразиям крепостнического режима? Но безобразия были и прежде, а Пестелей, Муравьевых, Пушкиных при «безграмотной Екатерине I» и «кровавом Бироне» не было! Значит, просвещение сделало свое дело... Но когда же оно успело это сделать? Выходит, дведущие Екатерины не остановило просвещающего освобождения тогдашних дворян, без которого не развились бы их вольнолюбивые дети. «Фарса наших депутатов» была не только «фарсой»: кроме лживых и красивых слов, была и реальность, многое для будущей политики было услышано от дворянских депутатов, собранных в 1767-м для составления нового Уложения. Вот что писал о екатерининском времени декабрист Михаил Фонвизин, племянник нелюбимого царицею писателя: «Она <Екатерина II> старалась смягчить почти азиатскую, суровую внешность русского деспотизма более благовидными европейскими формами. Небывалая в России до нее кротость и умеренность в действиях верховной власти и некоторое уважение к законности ознаменовали царствование Екатерины»¹. Но ведь Пушкин все это знает — и вот что говорит о екатерининском времени в «Послании цензору», сочинении, написанном в том же 1822 году и столь же не предназначенном для легальной печати, как «Замечания...»

Скажи, читал ли ты *Наказ* Екатерины?
Прочти, пойми его; увидишь ясно в нем
Свой долг, свои права, пойдешь иным путем.
В глазах монархини сатирик превосходный
Невежество казнил в комедии народной,
Хоть в узкой голове придворного глупца
Кутейкин и Христос два равные лица.
Державин, бич вельмож, при звуке грозной лиры
Их горделивые разоблачал кумиры;
Хемницер Истину с улыбкой говорил,
Наперсник Душеньки двусмысленно шутил,
Киприду иногда являл без покрывала —
И никому из них цензура не мешала.
Ты что-то хмуришься; признайся, в наши дни
С тобой не так легко б разделились они?
Кто ж в этом виноват? перед тобой зеркало:
Дней Александровых прекрасное начало.

¹ «Общественные движения в России в первую половину XIX века». СПб., 1905, с. 123.

Противоречие двух одновременных пушкинских сочинений кажется очень большим...¹

А на самом деле противоречия нет. Есть нарочитая односторонность — и в одном случае, и в другом.

В «Послании цензору» сопоставлены «екатерининские свободы» и «дней Александровых прекрасное начало»; последнее родственно первым. Но, произнося «прекрасное начало», поэт подразумевает отнюдь не прекрасное продолжение александровского правления. И этому «ухудшению правления» также легко находится родственная параллель в екатерининское время. Но о том — не в стихах, а в «Исторических замечаниях...»: только явно задуманное сопоставление, «самовластье Екатерины — деспотизм Александра», может объяснить столь черный портрет царицы, выполненный художником, хорошо знавшим и другие краски...²

Александр — «тень Екатерины». «Фарса депутатов» напоминала о конституционных обещаниях Александра, о проектах Сперанского и т. п.: Тит, Траян — употребительные имена для прославления Александра³, на что Пушкин намекал в своей известной надписи «К портрету Дельвига»:

Се самый Дельвиг тот, что нам всегда твердил,
Что, коль судьбой ему даны б Нерон и Тит,
То не в Нерона меч, но в Тита сей вонзил —
Нерон же без него правдиву смерть узрит.

Нерон — это, например, Павел (о котором — заключительные строки сочинения). Но «Нероны», «Калигулы» — то есть Павел, Бирон — не так занимают и пугают Пушкина, Дельвига, как «Траяны» и «Титы» — Екатерина, Александр. Первый тип властителя, хоть и появляется и еще появится в «просвещенное время», но для Пушкина главная фигура современности — «властитель лукавый», развращающий свое государство. В литературе 1820-х го-

¹ О датировке «Послания цензору» — между апрелем и 15 октября 1822 г. см.: ЛН, т. 58, с. 37.

² О взгляде Пушкина на деятельность Екатерины II см. статью: В. Э. Вацуро и М. И. Гиллельсон. Пушкин и книга Вяземского о Фонвизине. — В кн.: «Новонайденный автограф Пушкина». Л., «Наука», 1968, с. 87—97.

³ Так, Ф.-М. Гримм в письме С. Р. Воронцову от 14 (26) июля 1801 г. дважды говорит об Александре: «Ce Titus» и «notre Titus-Alexandre» («Архив князей Воронцовых», кн. 20. М., 1881, с. 389. См. также: М. А. Цявловский. Статьи о Пушкине, с. 47—48).

дов, за редким исключением, почти никто уж не хвалит Тита и Траяна, и с этих завоеванных высот Пушкин смотрит на литераторов 1760 — 1790-х годов... «Подлость русских писателей для меня непонятна»; «подлость» — на тогдашнем языке — это пресмыкательство, самоуничижение. Пушкин говорит о столь близком, личном, что «забывается», в первый и последний раз прямо введя самого себя в повествование («подлость русских писателей для меня непонятна»); заметим, в начале работы — пока речь о временах далеких, — рассказ ведется в третьем лице, но как только начинаются события, ближе задевающие пушкинские времена, появляются «мы», «нас»: «это спасло нас от чудовищного феодализма», «нынче же политическая наша свобода...» «может поставить нас наряду с просвещенными народами Европы...», «предки наши столько гордились...», «беспокойное наше дворянство...», «мы видели, каким образом Екатерина унизила дух дворянства...», «мы обязаны монахам нашей историей...», «фарса наших депутатов...».

И вот незадолго до финала — «подлость русских писателей для меня непонятна...».

Здесь в первую очередь подразумевается автор «Фелицы», однако — немало и других имен. Хотя Карамзин написал «Похвальное слово Екатерине II» в начале александровского царствования, пушкинские оценки (как отмечалось уже в литературе) направлены и против историка, тем паче что незадолго перед тем, в 1820 году, вышло новое издание «Похвального слова». Важная Карамзину параллель «Екатерина — Александр» не менее важна Пушкину¹, но иначе оценена.

«Царствование Павла доказывает одно: что и в просвещенны времена могут родиться Калигулы. Русские защитники Самовластия в том несогласны и принимают славную шутку г-жи де Сталь за основание нашей конституции: «En Russie le gouvernement est un despotisme mitigé par la strangulation». «Правление в России есть самовластие, ограниченное удавкой»².

Известно, что Пушкин, может быть, не имея под руками книги мадам де Сталь «Десять лет изгнания», вольно

¹ П. Н. Берков. Пушкинская концепция истории русской литературы XVIII века. — «Пушкин. Исследования и материалы», т. IV. М.—Л., Изд-во АН СССР, 1962, с. 81—89.

² Перевод сделан Пушкиным и дан им не в основном тексте, а как примечание.

прочитывал ее «славную шутку»¹, между прочим, заметив «l'assassinat du despote» (убийство деспота) более российским «stranquation» (удушение), а затем, переводя с французского, нашел еще более российское слово — *удавка*. (Подробности убийства, «удавки» Павла I были достаточно хорошо известны.)

Присмотревшись к последним, только что процитированным строкам «Замечаний...», можно как будто увидеть противоречие:

1) Защитники самовластия не согласны, что в просвещенные времена могут править Калигулы (на которых действует только удавка).

2) В то же время эти самые защитники самовластия считают, что «правление в России есть самовластие, ограниченное удавкой». Кого же удавливать, если Калигулы невозможны?

Но противоречие мнимое. Пушкин цитирует «защитников самовластия...» несколько иронически: разве посмел бы, например, Карамзин произнести что-нибудь про удавку?

Это как бы за него говорится: то, что он не посмел сказать, за него произнесет юный оппонент («оспоривая его, я сказал: «Итак, вы рабство предпочитаете свободе». Карамзин вспыхнул и назвал меня своим клеветником»; XII, 306).

Так и слышится примерно такой диалог².

— «Россия имеет 40 миллионов жителей, и самодержавие имеет государя, ревностного к общему благу. Если он, как человек, ошибается, то, без сомнения, с добрым намерением, которое служит нам вероятностию будущего исправления ошибок» (132).

— Но, если монарх — изверг, как Иван Грозный в несравненном описании Карамзина?

¹ По-видимому, «славная шутка» была настолько распространена, что со временем стала приписываться разнообразным авторам. Писатель-эмигрант Иван Головин цитирует следующую фразу, сказанную «одним знатым русским» графу Мюнстеру: «Что Вы хотите — в Санкт-Петербурге Великая Хартия это тирания, ограниченная убийством» («Mais que voulez-vous, — à St. Pétersbourg notre magne charte c'est le tyrannie tempérée par l'assassinat». См.: И. Г. Головин. Histoire d'Alexandre I — Empereur de Russie. Leipzig, 1889, p. 18.

² В следующем диалоге все слова Карамзина взяты из его «Записки о древней и новой России». СПб., 1914 (в скобках — страницы этого издания).

— «Мудрость веков и благо народное утвердили сие правило для монархий, что закон должен располагать тронном, а один бог — жизнью царей» (45).

— Но, если на троне деспот (Нерон, Калигула, Павел) — который сам себя считает и верой, и мнением, и народом? Что сделает с ним закон и что велит «мудрость веков»?

— «Снесем его, как бурю, землетрясение, язву — феномены страшные, но редкие: ибо мы в течение 9 веков имели только двух тиранов. <...> Заговоры да устрашают народ для спокойствия государей! Да устрашают и государей для спокойствия народов!» (45).

— То есть, Вы хотите сказать, вслед за госпожой де Сталь, что «правление в России есть самовластие, ограниченное удавкою»?..

Пушкин, по-видимому, еще не читал «Записки о древней и новой России», но был хорошо знаком с идеями ее автора. Спор насчет «конституции» и «удавки» — продолжение полемики, обозначенной в пушкинских рассуждениях о Екатерине II.

Действительно, Карамзин допускал «заговор» как крайнее средство, но «не допускал» цареубийства... В сущности, подавая «Записку о древней и новой России», он почтительно угрожал Александру заговором против реформ Сперанского. Пушкин «договаривает до конца»... Для него и возможных читателей его исторического сочинения одна «славная шутка» госпожи де Сталь естественно соединялась с другой, не менее известной. «*За основания нашей конституции*», замечает Пушкин, можно принять *удавку*; но ведь французская писательница говорила и нечто иное «о нашей конституции»:

«Государь, — сказала я ему <де Сталь — Александру I>, — ваш характер служит вашей империи конституцией, а совесть ваша — ее гарантией». — «Если б это было так, — ответил он мне, — я был бы не чем иным, как счастливой случайностью»¹.

Выходит, что сам Александр I как бы соглашается с Пушкиным и рискованными мнениями «защитников самовластия» о зыбких гарантиях российской конституции. (Как и во всей работе Пушкина, здесь очевидно при-

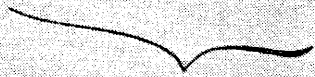
¹ Приведенные строки Пушкин нашел в вышедшем тогда во Франции полном собрании сочинений де Сталь («Oeuvres complètes de m-me Staël, publiés par son fils», v. XV, 1821, p. 313—314).

8
французскому министру иностранных дел
в Париже.

Копия письма Николая Николаевича
адмирала: оно и в настоящее время
хранится в архиве министерства
внешних дел. Представитель
русского правительства в Париже
сказал, что правительство
не имеет ничего общего с
русскими в Париже за
исключением русских консулов.
En Russie le gouvernement est
un despotisme mitigé par
les manipulations.

Государственный архив
в Москве
№ 1234

2 авг. 1832



Беловой автограф конца статьи
«Некоторые исторические замечания». Пушкинский дом.

сутствует «невидимый» Александр: выше была тема «Екатерина II — ее внук»; теперь — «Павел I и его сын»¹.)

Шутки разные, а мысль одна: характер государя — неважная конституция. Парламент, настоящее народное представительство были бы более надежной гарантией, чтоб Калигула вдруг не появился и не затиранствовал.. Но парламента нет — царь только «рассказывает сказки», туманно намекает на будущие гарантии (например, в речи на открытии польского сейма в 1818 г.²). Никакого другого основания российской конституции не остается — только *угроза удавки*. Александр — «кочующий деспот» не делается еще худшим деспотом, потому, может быть, что помнит об удавке...

Пушкинская работа завершается Павлом. Этому царю — внимание столь же мимолетное, как Анне, Елизавете. Тут не новая эпоха, а возвращение Калигулы в «просвещенные времена». Зато следующий период — царствование Александра — Пушкин, конечно, считал значительным историческим этапом. Так и ожидаешь, заканчивая чтение «Замечаний...», что вот-вот начнется разбор «дней Александровых прекрасного начала», войны 1812 года, похода в Европу, последующих ожиданий и разочарований... Однако сочинение, безусловно, закончено и переписано.

Остаток последней страницы чист. В конце текста, разумеется, нет подписи, но есть дата: *2 августа 1822 года*, и характерный пушкинский знак, обозначающий концовку:



То, о чем умалчивает беловой текст, порою обнаруживается в черновом.

«ОДНА ЧЕРТА РУКИ МОЕЙ...»

В 1880 году, к открытию памятника Пушкина в Москве, старший сын поэта Александр Александрович решил пожертвовать хранившиеся у него рукописи отца московскому Румянцевскому музею. Петр Иванович Бартенев

¹ См.: Л. И. Вольперт. Еще о «славной шутке» госпожи де Сталь.— «Временник Пушкинской комиссии. 1973». Л., «Наука», 1975, с. 125—127.

² Об этом подробнее ниже, с. 124—126.

отправился в тамбовское имение Пушкиных и вывез оттуда много тетрадей, а также отдельных листов, некогда взятых и возвращенных П. В. Анненковым.

Через четыре года историк литературы, внук декабриста Вячеслав Евгеньевич Якушкин описал пушкинские бумаги лист за листом и обнаружил при этом множество пушкинских строк, не вошедших еще ни в одно издание.

Внимательно изучил Якушкин, а позже и другие пушкинисты, 72 голубоватых листа «в четвертку» так называемой «первой кишиневской тетради», которая в Румянцевском музее числилась под номером 2365, а после переезда в Пушкинский дом стала называться «фонд 244, опись 1, № 831»¹. Красные жандармские чернила, обозначающие номер каждой страницы, свидетельствуют, что тетрадь в час кончины Пушкина находилась в его кабинете, попала в «посмертный обыск», и Дубельт был ее первым исследователем. Впрочем, образ грядущего Дубельта, очевидно, входил в число предвидений Пушкина, что доказывают корешки от многих листов, вырванных из тетрадей. Из первой кишиневской, как думал М. А. Цявловский, Пушкин, вероятно, изъял опасные фрагменты «Гавририады»².

Тетрадь начинается «Кавказским пленником», затем идут черновики, наброски, отдельные заметки, рисунки, вносившиеся с конца 1820 до начала 1822 года (параллельно Пушкин писал и в других тетрадях).

На 61-м листе появляется строка: «Самовластие, утвержденное Петром». Строка зачеркнута — за нею: «Петр I не страшился народной Свободы».

Это начинались черновики «Исторических замечаний...». Затем они еще несколько раз возникают и исчезают, перемежаясь с другими сочинениями.

Черновики Пушкина опубликованы³, но еще недостаточно изучены. Между прочим, в печати никогда, кажется, не обосновывалась последовательность появления черновых «Замечаний...» среди других набросков и планов

¹ М. А. Цявловский. Статьи о Пушкине, с. 260—353. О первой кишиневской тетради см.: «Русская старина», 1884, № 4, с. 87—110; Т. Г. Цявловская любезно ознакомила меня с подготовленным ею описанием этой пушкинской тетради.

² Черновой план поэмы сохранился именно в этой тетради.

³ См.: XI, 288, а также: И. Л. Фейнберг. Неизданный черновик Пушкина. — «Вестник АН СССР», 1956, № 3, с. 118—121.

поэта. С этой целью от интересующих нас 60-х листов тетради несколько отступим назад...

На обороте 45-го листа Пушкин записал по-французски:

«18 июля 1821. Известие о смерти Наполеона. Был у армянского архиепископа...» Сообщение о том, что Наполеона уже нет, шедшее с острова Святой Елены до Кишинева три месяца, с 23 апреля (5 мая) по 18 июля, взволновало поэта, вызвало размышления о целой исторической эпохе, как бы окончательно отрезанной этим событием.

Анализируя чернила, которыми заполнялась первая кишиневская тетрадь, Т. Г. Цявловская выделила четыре ясно различающихся сорта (условно обозначив их «а», «b» «с» и «d»): запись о смерти Наполеона сделана чернилами «b» (желтыми или светло-коричневыми) на полях листа, где стихотворение «Гроб юноши». Однако год — 1821 (после «18 июля») вписан позднее (чернилами «а»).

После записи о Наполеоне идут наброски стихов, писем, рисунки, план «Братьев-разбойников», «Песнь о вещем Олеге», портреты Марата, Занда, Ипсиланти и Лувеля (причем первые два изображения на листе 46-м подписаны). Среди записей на листах 45—49-м мелькают поставленные Пушкиным даты: «26 июля», «23 августа 1821 года».

Наконец, на 61-м листе черновик «Исторических замечаний» начинается со слов: «Петр I не страшился народной Свободы» (в окончательном тексте этой фразе, как известно, предшествует длинный первый абзац, который, судя по черновику, сначала намечался «на втором месте»).

Когда же были занесены на 61-й лист тетради интересующие нас черновые строки? По заключению В. В. Гиппиуса и Б. М. Эйхенбаума, сделанному в 1938 году, черновик «Замечаний...» датируется «осенью 1821 года по положению в тетради 2365»¹. Прибавим к этому, что чернила на 61-м листе, которые уже много страниц не встречались, — светло-желтые («b»; ими сделана запись о смерти Наполеона). Это первое, но, как увидим, далеко не последнее пересечение «наполеоновских строк» и фрагментов «Исторических замечаний...».

¹ В. В. Гиппиус, Б. М. Эйхенбаум. Датировка произведений, входящих в XI том Полного собрания сочинений А. С. Пушкина. Машинопись, с. 1 (по экземпляру, хранившемуся у Т. Г. Цявловской).

Наконец, соседство черновика «Исторических замечаний...» с программой «Братьев-разбойников», соседство одного из планов «Разбойников» с «Гробом юноши» — все ведет к тому, что летом 1821 года, примерно в одно время с известием о смерти Наполеона, поэт уже писал свой первый исторический труд.

Начало сохранившегося черновика показывает, как много работал над ним Пушкин: несколько слоев поправки, мучительное удаление и возвращение к словам, которые наиболее точно определили бы Петра:

«Самовластие, утвержденное Петром», — пишет поэт-историк и зачеркивает: эта мысль ему пока не нужна.

«Петр I не страшился народной Свободы...» — написал эту строчку, Пушкин продолжает: «Может быть, доверял». Потом еще раз «может быть» — и зачеркивает... «Он искренно любил просвещение» — зачеркнуто. «Неминуемое следствие просвещения» — зачеркнуто... «Просвещение, которое вовлекло...»

Пушкин шел к важной мысли, но она, видимо, не давалась сразу: «Любовь Петра к просвещению» — уводила от уже осознанной главной линии (деспотизм — просвещение — свобода): дело было не в любви... О презрении Петра к человечеству Пушкин пишет сначала условно, не желая угадывать истинных побудительных мотивов царя: «Может быть, доверял [своему могуществу] и оттого презирал...» Затем Пушкин укрепитя в своей мысли — и слова «может быть» исчезнут. Эти две поправки усиливали беспощадную оценку петровского самовластья (никаких скидок на «любовь к просвещению»: презрение к человечеству!). Но тут Пушкин удерживает свое перо уже от противоположной крайности.

«После смерти деспота», — записывает он, но зачеркивает и заменяет: «После смерти Великого человека...»

В беловике мы читаем великолепную, точную фразу, лишнюю расплывчатости и ненужных подробностей: «Петр I не страшился народной Свободы, неминуемого следствия просвещения, ибо доверял своему могуществу и презирал человечество, может быть, более, чем Наполеон».

В пушкинском черновике имени Наполеона нет. Это еще, понятно, не доказывает, будто «Исторические замечания...» начались раньше 18 июля 1821 года (известие о смерти Наполеона), но, видно, мысль о сходстве Наполеона с Петром (оба распространяли просвещение и не

страшились его следствия — свободы) была сначала Пушкину не ясна. Однако уже со следующего, 62-го листа первой кишиневской тетради начинается «поэтическая победа» над полководцем-императором.

Сначала — «томьясь» — (в угрюмом), (в своем), (в унылом) заточенье.

Затем — эпиграф «Ingrata patria...»¹ и стихи:

Чудесный жребий совершился:
Угас великий человек...

Только что в черновике «Исторических замечаний...» мы видели: «После смерти Великого человека...» Позже, в беловике, находим «сильный человек», «северный исполин»...

Возникает важнейшая тема — великий человек, то есть великий своими возможностями, передающий движение «огромным составам» государства и «прерывающий связи»... Поскольку же второй сохранившийся черновик «Замечаний...» расположился между первыми набросками стихотворения «Наполеон», — ясно, что с определенного момента работа над «Историческими замечаниями...» и «Наполеоном» шла параллельно. «Наполеона» поэт задумывает вскоре после поразившего его известия со Святой Елены (18 июля!), черновик создавался в сентябре — ноябре 1821 года. В это же время Пушкин, работая над «Историческими замечаниями...», уже пишет о екатеринском правлении и, вероятно, вносит в текст сравнение Петра с Наполеоном. Возможно, что осенью 1821-го первый, черновой вариант «Исторических замечаний...» уже готов.

П. В. Анненков со слов Н. С. Алексеева, знал, что «Замечания...» Пушкина «писаны в Кишиневе в 1821—1822 годах». Именно в то время, когда Пушкин начинал свое первое историческое сочинение, он был близок со многими выдающимися декабристами: 9 апреля и 26 мая 1821 года — встречи с Пестелем, с 5 августа — общение и дружба с В. Ф. Раевским, тогда же он рисует Занду, Лувеля, Марата, Ипсиланти. Главными событиями тех месяцев были революция и контрреволюция в Италии, Испании, греческое восстание, смерть Наполеона...

Стихотворение «Наполеон» с «Историческими замечаниями...» в ближайшем родстве. «Наполеон» посвящен че-

¹ Неблагодарная отчизна (лат.).

ловеку, подобному Петру, — «великий человек» совершает свой «чудесный жребий», меняет ход исторических судеб.

Великий переворот порождает надежды:

Когда надеждой озаренный
От рабства пробудился мир,
И галл десницей разъяренной
Низвергнул ветхий свой кумир;
Когда на площади мятежной
Во прахе царский труп лежал,
И день великий, неизбежный —
Свободы яркий день вставал...

Однако госпожа де Сталь, услышав, что Наполеон — «дитя революции», возразит: «Да, дитя, но отцеубийца». Пушкин позже скажет: «Мятежной вольности наследник и убийца». В стихотворении «Наполеон» находим важные для нашей темы слова:

Тогда в волненье бурь народных
Предвидя чудный свой удел,
В его надеждах благородных
Ты человечество презрел.

«Петр I презирал человечество, может быть, более, чем Наполеон». Наполеон — «человечество презрел».

Но Пушкина не удовлетворяют одни слова осуждения, адресованные тому, кто «...обновленного народа... буйность юную смирил». Он угадывает новое движение мировой и русской истории.

Хвала!.. Он русскому народу
Высокий жребий указал
И миру вечную свободу
Из мрака ссылки завещал.

Такова внутренняя близость исторических заметок и стихотворения, сочиненных в одно время, «на границе с Азией», в кишиневском захолустье, двадцатидвухлетним поэтом и мыслителем...

АЛЕКСЕЕВСКАЯ КОПИЯ

Мы пытались извлечь максимум сведений об «Исторических замечаниях...» сначала из их белого, окончательного текста; затем в сохранившихся черновиках присматривались к важнейшей для нас параллели — «Наполеон» и сочинение о Петре, преемниках Петра, XVIII веке.

Во времена Петра I. Россия перешла из состояния...

Петр I. по своему желанию... и проделав много дел...

«Некоторые исторические замечания». Копия Н. С. Алексеева. Пушкинский дом.

Теперь обратимся к третьему источнику, сборнику Алексеева...

В сборнике точно такие же листы, как в пушкинской белой рукописи: водяной знак — «1818»; и лев с мечом в овале: тот же размер — 215×340 мм. Три двойных, вложенных один в другой листа у Пушкина, у Алексеева — пять двойных листов (поэт оставлял большие поля, писал почерком легким и свободным; у Алексеева же полей нет, а почерк «опрятный и чопорный...»). Вероятно, и те и другие листы куплены в одной лавке, в одно время: скорее всего друзья, жившие на одной квартире, пользовались одной общей пачкой бумаги «фабрики господ Хлюстиных» (а поскольку Пушкин на такой бумаге обычно не писал, то, вероятно, просто взял для беловика «Исторических замечаний...» несколько листов со стола Николая Степановича). По наблюдениям специалистов, записи обычно бывают всего на несколько — максимум на десять лет позже возраста бумаги: Пушкин на бумаге «1818» написал текст «№ 1», помеченный: «2 авг <уста> 1822 <года>». Алексеев, очевидно, составлял свой сборник примерно в то же время. В этом еще более убеждает сравнение пушкинского автографа и алексеевской копии.

На первом листе своего сборника, сверху, Алексеев написал заголовок:

«Некоторые исторические замечания»

Затем, на обеих сторонах 1-го и 2-го листа воспроизведен пушкинский текст (у самого Пушкина ушло шесть таких листов). Сходство подлинника и копии — в общем математически точное: те же абзацы, те же запятые и точки с запятой; Пушкин пишет фамилию «домашнего палача кроткой Екатерины» Шешковского через «и» — (Шишковский), Алексеев повторяет то же написание.

Написав «бедность этих людей» <духовенства> — Пушкин после слова «бедность» добавил над строкою «и невежество». Алексеев учел.

О католическом духовенстве Пушкин заметил, что оно «составляло особое¹ общество, независимое от гражданских законов, и вечно полагало суеверные преграды просвещению».

¹ Алексеев сделал тут опisku: «новое». Также он пропустил слово «самовластье» в последней фразе («Защитники самовластья в том несогласны...»).

Алексеев внес в копию слово «вечно», вписанное Пушкиным позднее.

Выражения и слова, замененные Пушкиным уже в беловике, Алексеев дает в самой поздней, верной редакции:¹

В первом абзаце было: «Ничтожные наследники северного исполина, ослепленные блеском его величия».

Пушкин затем заменил слово «ослепленные» — на «изумленные».

В четвертом абзаце вместо: «самый разврат сей хитрой женщины» — Пушкин написал: «самое сластолюбие» (при этом не заметил несогласованности, оставшейся от первого варианта, и не переменял слова «он» (разврат), — на «оно» (сластолюбие), которое «возбуждало гнусное соревнование в высших состояниях»; у Алексеева — все согласовано.

В том же абзаце было: «В длинном списке ее любимцев, обреченных ненависти потомства...» Пушкин заменил слово «ненависти» более точным и оскорбительным — «презрению»; поскольку Алексеев учел все эти поправки — ясно, что он копировал уже после многих исправлений Пушкина.

Мало того, можно доказать, что Алексеев копировал именно этот сохранившийся пушкинский автограф, а не какой-либо другой... Имеется два случая, когда тексты различаются: Пушкин употребляет выражение — «гнусное соревнование в высших состояниях», причем слово «высших» у него так написано, что можно прочесть — «вышних» (буква «с» почти не «согнута» и кажется началом буквы «ш»). Алексеев именно так прочитал, и написал в своей копии: «гнусное соревнование в высших состояниях».

Другое отличие; после слов: «Петр I... презирал человечество, может быть, более, чем Наполеон», — в беловом автографе Пушкина (как отмечалось) сначала следовало: «История представляет около его всеобщее рабство. Указ, разорванный кн. Долгоруким, и письмо с берегов Прута приносят великую честь необыкновенной душе самовластного государя; впрочем, все состояния, окованные без разбора, были равны пред его *дубинкою*. Все дрожало, все безмолвно повиновалось».

¹ В книге Л. Б. Модзалевского и Б. В. Томашевского «Рукописи Пушкина в Пушкинском доме» (Л., Изд-во АН СССР, 1937), высказано мнение, что три поправки над строкою сделаны не рукою Пушкина. По просьбе автора Т. Г. Цявловская изучила «подозреваемые слова» и считает несомненным, что они написаны Пушкиным.

Позже Пушкин, очевидно, нашел, что эти рассуждения отвлекают читателя, разрывая последовательное изложение главных мыслей о российском деспотизме. Тогда он перечеркнул эти строки и написал на полях «Note», то есть «примечание». В соответствии с волей Пушкина, только что приведенный отрывок ныне помещают в примечаниях к словам: «Петр I... презирал человечество, может быть, более, чем Наполеон». Однако волнистая линия, которой Пушкин эти строки «разжаловал» из основного текста в примечание, — лишь слегка задела последние слова: «Все дрожало, все безмолвно повиновалось».

Алексеев, копируя рукопись, в этом месте ошибся дважды: не понял пушкинского «Note», ошибочно решив, что перечеркнутые строки вообще исключаются из текста, и, кроме того, не отнес пушкинского зачеркивания к словам: «Все дрожало...». Поэтому в тетради Алексеева после слов о Петре I и Наполеоне следует сразу: «Все дрожало, все безмолвно повиновалось»¹.

Оба приведенные примера, особенно второй, подтверждают, что Алексеев снимал копию именно с сохранившегося пушкинского беловика. В Пушкинском доме оба текста можно положить сегодня рядом, точно так же, как некогда они лежали на столе в комнатке Алексеева «у решетчатого окна», в «светлой, чистой избушке, вымазанной <...>», на углу Кателинской и Саловской улиц, близ заезжего дома Наумова в старом городе Кипинове.

Как видно, не только полное сходство двух рукописей, но даже и различие их показывают, как точно и «опрятно» стремился Алексеев переписать сочиненное ближайшим другом. Эта точность заставляет нас с особенным интересом обратиться к некоторым другим различиям двух текстов.

Заглавие. У Пушкина — ничего, кроме «№ 1». У Алексеева ясно написано то название, которое тридцать лет спустя заимствует из его сборника П. В. Анненков, а за ним — Е. И. Якушкин и другие пушкинисты: «*Некоторые исторические замечания*».

Не мог Алексеев вдруг сам придумать такой заголовок. Не в его это было характере, да и Пушкин находился ря-

¹ Впрочем, и современное воспроизведение этого места не безусловно: Пушкин не поставил порядкового номера у своего «Note», как это делал с другими примечаниями, и, возможно, хотел еще подумать и над текстом «Note», и над расположением его.

дом, в той же комнате... и не стал бы Николай Степанович предлагать Анпенкову им сочиненное название.

Заглавие, несомненно, пушкинского происхождения. Быть может, рукопись имела отдельное название «на титульном листе», и тогда возникают разные объяснения пушкинского «№ 1»:

1. Множественное число, употребляемое в заглавии (*«Некоторые... замечания»*) требует нескольких, многих замечаний. «№ 1» — первая группа «замечаний», затем должны идти «№ 2» и, может быть, «№ 3», «№ 4»; в будущем, мы знаем, поэт иногда нумеровал свои сочинения, указывая на последовательность их печатного размещения («II. Отцы пустынноики и жены непорочны...» «VI. Из Пиндемонти» и т. п.). Однако заметим все же, что Алексеев, воспроизводя пушкинскую рукопись, не списал «№ 1» (когда он копировал, цифры, наверное, еще не было).

2. У Пушкина мог быть листок со списком разных заглавий. Под № 1 стояло: «Некоторые исторические замечания», Алексеев же просто расшифровал пушкинскую нумерацию.

Позже будут предложены и другие объяснения...

Так или иначе, но название — «Некоторые исторические замечания» — самое достоверное и должно заменить принятое в изданиях редакторское «Заметки по русской истории XVIII века».

Защитная весьма обыкновенное, безликое название: «Некоторые исторические замечания» — нужно задуматься о его происхождении; естественно было бы видеть такой заголовок у введения или одной из глав в книге, уже имеющей более выразительное наименование.

Возможно, тут существовала какая-то нам пока непонятная связь с другими пушкинскими замыслами: раздел под таким заголовком мог быть уместен именно в начале большого сочинения, в основном посвященного «сегодняшним обстоятельствам» (для объяснения которых требуются, однако, «некоторые исторические замечания»).

Различия двух рукописей, «пушкинской» и «алексеевской», не ограничиваются одним заголовком.

Пушкин продолжал работать над текстом в том направлении, которое ясно определилось уже в черновике. Он совсем изымает или переносит в примечания все, что вредит краткости, ясности, стройности изложения, что угрожает утопить важную мысль в подробностях.

Некоторые примечания попали в копию, снятую Алексеевым, другие были внесены Пушкиным позже (может быть, по совету того же Николая Степановича?¹).

Примечание 1 о безграмотной Екатерине, кровавом Бироне и сладострастной Елисавете появилось рано, и Алексеев его воспроизвел.

О *примечании*, помеченном у Пушкина не цифрой, а надписью на полях «Note», уже говорилось.

Цифрой «2» Пушкин сопровождает слова о «блестящих, хоть и бесплодных победах в северной Турции». Этого примечания у Алексеева нет. Значит, оно написано уже после того, как Алексеев сделал копию (возможно, в ответ на его недоуменный вопрос — почему блестящие екатерининские победы названы «бесплодными?»).

Впрочем, это примечание намечено уже в черновике, и, может быть, Пушкин просто внес его в текст позже.

Остается еще объяснение — что Алексеев не пожелал или забыл внести это примечание в свою копию. Однако его точность и аккуратность опровергают такую возможность; никогда бы не опустил Николай Степанович и колоритное примечание, помеченное Пушкиным как третье (по существу — 4-е), «о славной расписке Потемкина, хранимой донныне в одном из присутственных мест государства». Возможно, это примечание явилось в ответ на вопрос читателей (Алексеева?): «Что за расписка?»

Отсутствует у Алексеева и четвертое (по счету Пушкина) примечание — о том, кто такой Шешковский. Русский перевод «славной шутки госпожи де Сталь» (у Пушкина — примечание 5-е) Алексеев вводит прямо в текст (после окончания французской фразы у него следует: «то есть правление в России есть самовластие, ограниченное удавкой»).

Наконец, в копии отсутствует дата, которой Пушкин завершил свою рукопись «2 авг <уста> 1822 <года>».

Вероятно, дату Пушкин поставил после того, как была внесена последняя поправка.

¹ Пушкин, видимо, ценил Алексеева как читателя своих сочинений, может быть, проверял на нем воздействие того или иного отрывка. В рукописи стихотворения «Таврида» (1822) к стиху: «Лобзать уста младых Цирцей» Пушкин сделал примечание: «Цирцей — замечание Алексеева» (II, 761), то есть, вероятно, по поводу этого слова Алексеев сделал замечание, которое Пушкин захотел использовать при работе над «Тавридой». При переработке этих стихов для «Евгения Онегина» (глава I, строфа XXXIII) Пушкин, во всяком случае, заменил «цирцей» на «армид».

Алексеев, очевидно, вносил пушкинский текст в свою тетрадь летом 1822 года, совсем незадолго до 2 августа.

Копия Алексеева как бы фиксирует определенный момент в причудливой жизни пушкинской рукописи: только что она была еще совсем не такой (черновики, исправления, дополнения...), вот она ненадолго такова, какую ее читает и переписывает Алексеев — это уж беловая рукопись; но Пушкин продолжает над нею работать и после того, как Алексеев закончил переписку.

Итак, первые два листа алексеевского сборника — современники пушкинских «Замечаний...», их кишиневские «соседи».

Читая их, мы по-прежнему — в пушкинском Кишиневе и можем вслед за поэтом воскликнуть: «Опять рейнвейн, опять Чапран, и Пушин, и Варфоломей, и все...»

«В СГУЩЕННОЙ МГЛЕ ПРЕДРАССУЖДЕНИЙ...»

Закончив переписку пушкинской рукописи, Алексеев тут же, на обороте 2-го листа, начал копировать «Мнение о науке естественного права г-на Магницкого». Однако от этой копии осталось всего несколько строк, потому что на 3-м листе (пагинация Пушкинского дома) уже находится копия совсем других документов. Поскольку Алексеев пользовался большими двойными листами (несшитыми, вложенными друг в друга), то отсутствие, по крайней мере, одного (а может быть, и не одного) листа между сохранившимися 2-м и 3-м листами от начала — означает, что в сборнике как минимум нет одного листа, между 2-м и 3-м листами от конца (то есть между нынешними 8-м и 9-м). На исчезнувшем неведомо куда и когда листе продолжалось «Мнение г-на Магницкого...», документ хорошо известный, хотя во времена Пушкина еще не публиковавшийся¹.

Важный чиновник министерства духовных дел, а затем попечитель Казанского университета Михаил Магницкий был таким мракобесом и доносчиком, что вызывал удивление даже у сотоварищей по ремеслу и убеждениям. Так ретиво разоблачать вольные мысли умели только люди, са-

¹ Первая публикация в «Чтениях общества истории и древностей российских», 1861, кн. 4, с. 153—155, и «Русском архиве», 1864, стлб. 321—329.

ми побывавшие в вольнодумцах и либералах, за то наказанные и раскаявшиеся (Магницкий ссылался в Вологду за участие в реформах М. М. Сперанского) ¹.

Отчего «Мнение г-на Магницкого...» внесено в секретную тетрадь Алексеева прямо вслед за «Историческими замечаниями...» Пушкина, и даже начинается на той же странице, где пушкинский текст кончается?

В рассуждениях Магницкого, которые Пушкин, разумеется, читал, — и, вероятно, обсуждал с Алексеевым и другими, — говорилось о тех же предметах, что и в пушкинских «Замечаниях...»: борьба народов и правительств, идеи свободы и просвещения в столкновении с самодержавием и церковью, место писателей, русских и иностранцев, в этой борьбе.

Наука естественного права, проникшая в русские университеты с начала XIX столетия, находила в истории — как в жизни и природе — естественный процесс, а не божественное откровение, освящающее верховную власть. Теории естественного развития мира, государства, права принимают и Пушкин, и его друзья, все, кто в просвещение «с веком наравне»: ² Магницкий о том хорошо знал и в своей записке обрушился на науку, «которая сделалась умозрительною и полною системою всего того, что мы видели в революции французской на самом деле...». «Я трепещу, — восклицал Магницкий, — перед всяким систематическим неверием философии, сколько по непобедимому внутреннему к нему отвращению, столько и особенно потому, что в истории 17-го и 18-го столетий ясно и кровавыми литерами читаю, что сначала поколебалась и исчезла вера, потом взволновались мнения, изменился образ мыслей только переменою значения и подменою слов, и от сего неприметного и как бы литературного подкопа алтарь Христов и тысячелетний трон древних государей взорваны, кровавая шапка свободы оскверняет главу помазанника божия и вскоре повергает ее на плаху. Вот ход того,

¹ Впрочем, А. Н. Пыпин находил в бумагах Магницкого ясные доказательства, что этот ревнитель православия всю жизнь — и в либералах, и в мракобесах, и в отставке (за хищения и превышение власти) — оставался атеистом.

² Любопытно, что в лицейском дневнике Пушкина «Естественное право» упоминается в таком контексте: 10 декабря (1815): «Вчера написал я третью главу *Фатама или Разума человеческого: Право естественное*» (от юношеского романа «Фатама» сохранилось лишь одно четверостишие, начинающееся:

— Известно будет всем, кто только ходит к нам...)

что называли тогда только *философия и литература* и что называется уже ныне *либерализм!*»¹

Этот «черный манифест» должен был особенно заинтересовать Пушкина, потому что Магницкий не ограничивался абстрактными заявлениями, но требовал «рассмотрения и осуждения разрушительной системы профессора Куницына и самого лица его»². Любимый лицейский профессор — «кто создал нас, кто воспитал наш пламень» был как раз автором книги «Право естественное» («Поставлен им краеугольный камень...»). После атаки Магницкого Главное управление училищ 5 марта 1821 года запретило преподавание по этой книге, а самого Куницына удалило от службы по министерству народного просвещения³. Это была расправа, похожая на ту, которую за год до того учинили над Пушкиным.

И Пушкин отозвался в «Послании цензору», разошедшемся в списках:

А ты, глупец и трус, что делаешь ты с нами?
Где должно б умствовать, ты хлопаешь глазами;
Не понимая нас, мараешь и дерешь;
Ты черным белое по прихоти зовешь:
Сатиру пасквилом, поэзию развратом,
Глас правды мятежом, Куницына Маратом...

Интересно было бы узнать, у кого заимствовал Алексеев текст «Мнения...» господина Магницкого? Не от Пушкина ли, которого этот документ (и его последствия) особенно интересовали и который в Кишиневе мог раньше других, по своим петербургским связям, получать известия о новом наступлении властей, о судьбе Куницына.

Не на записках ли Алексеева основывался П. В. Анненков, когда писал:

¹ «Русский архив», 1864, стлб. 323—325. Трудно избавиться от впечатления, что именно эти строки Пушкин интерпретировал в известном отрывке (1824):

Вещали книжники, тревожились царь,
Толпа пред ними волновалась,
Разоблаченные пустели алтари,
Свободы буря подымалась...
(«Зачем ты послан был и кто тебя послал?..»)

² В 1822 г. Магницкий и Рунич расправились еще с несколькими петербургскими профессорами и в их числе с другим лицейским наставником Пушкина — Галичем.

³ И. Селезнев. Исторический очерк императорского, б. Царскосельского, ныне Александровского лицея. СПб., 1861, с. 125—126.

«Пушкин уже около месяца жил в Кишиневе, когда книга Куницына, по которой он учился — «Право естественное», — подверглась запрещению и конфискации по определению ученого комитета министерства народного просвещения, в октябре 1820, согласившегося с мнением о ней Магницкого и Рунича. Через год нагнала его весть в том же Кишиневе о полном торжестве мистической, обскурантной партии, об исключении четырех профессоров из стен Петербургского университета и проч. Известия эти, из которых последнее совпало еще с возбужденным состоянием умов в Кишиневе, видевшим, так сказать, зародыш греческой революции в своих стенах и затем дальнейшее ее развитие в соседней Молдавии — открыли двухгодичный период настоящего «Sturm und Drang»¹ в жизни Пушкина»².

Во всяком случае, второе место, которое «Мнение...» Магницкого занимает в сборнике Алексеева, — весьма знаменательно. Может быть, на пропавших листах, вслед за одним «Мнением...» Магницкого помещалось и другое, выраженное в письме министру духовных дел от 9 мая 1823 года. Магницкий там торжествовал, что его мысли находят подтверждение в новых европейских революциях и что «прошло уже то время, когда рассматривали мы учения сии как вредные только теории вольнодумствующих профессоров»³.

На 3-м листе алексеевского сборника возникает целый новый пласт кишиневских мыслей, идей, бесед — «Восточный вопрос», занимавший в ту пору Пушкина и его друзей ничуть не меньше московских и петербургских событий. Желание воевать с Турцией, национально-патриотические мотивы были особенно сильны на границе, у края балканских восстаний 1820-х годов.

Известно, сколь щекотливым оказалось положение правительства Александра I в связи с греческим восстанием: грекам не помочь — значит утратить выгодные позиции на Балканах; помочь — значит нарушить провозглашенный Священным союзом принцип легитимизма, безусловного осуждения подданных, восставших против своего монарха (в данном случае турецкого султана). В российском об-

¹ Бура и натиск (нем.).

² См.: П. Анненков. Александр Сергеевич Пушкин в Александровскую эпоху, с. 145.

³ «Русский архив», 1864, стлб. 326.

пществе мысль о поддержке греков была сильна; у Пушкина и будущих декабристов патриотизм в ту пору сливался с освободительными идеями, но иногда готов был и противопоставить русское дело — турецкому, польскому, шведскому¹.

Те же мотивы, которые побуждали Пушкина в «Некоторых исторических замечаниях» приветствовать «унижение Швеции» и сетовать, что граница России и Турция не проходит по Дунаю, — мы находим в его стихотворениях «Война», «Чугун кагульский, ты священ...». Но получалось так, что даже обычный патриотизм, с немалым великодержавным оттенком, был едва ли не преступлением, так как царь до самой смерти был с греками двоедушен, и движение их, поддерживая, не поддерживал, «к противочувствиям привычен».

Среди разных документов, питавших мысли и настроения кишиневских вольнодумцев, не последнее место должны были занять написанные на французском языке письма Александра I (разумеется, неопубликованные) к адмиралу П. В. Чичагову, одно от 2 мая, а другое от 7 июня 1812 года.

Первое письмо занимает в сборнике Н. С. Алексеева весь 3-й и половину 4-го листа, второе — с оборота 4-го до середины 6-го листа².

Письма доказывали, что незадолго до войны с Наполеоном царь совсем иначе смотрел на восточные дела, нежели в 1822 году, — ни о каких «высших идеях» не думал: сколачивая на Балканах прорусский блок, вовсе не беспокоился, что усиление его влияния на Востоке ослабит «законного турецкого монарха», и требовал «вооружения жителей в этих странах, которые бы могли поддержать наши военные действия»³.

¹ См.: Г. Л. Арш. Этеристское движение в России. М., Изд-во АН СССР, 1970.

² Заглавия писем у Алексеева: первое письмо — «Lettre de l'Empereur Alexandre à l'amiral Tchitchagow, Ecrite de Wilna au mois de mai 1812» («Письмо императора Александра адмиралу Чичагову написано в Вильне в мае 1812 г.»). Второе письмо — «Au pèpe, Le 7 juin 1812. Wilna» («Ему же. 7 июня 1812. Вильна»). Первое письмо (подлинник и перевод) опубликовано М. И. Богдановичем в «Сборнике императорского русского исторического общества», т. VI. СПб., 1871, с. 67—73.

³ Об этой переписке см.: «Из записок адмирала Чичагова: дела Турции в 1812 году. Проект диверсии против Наполеона». — «Русский архив», 1870, с. 1522—1551.

В письмах упоминались лица, продолжавшие службу на юге и во времена Пушкина (в частности, И. В. Сабанеев). Послания Чичагову позволяли противопоставить царя 1820-х годов — царю «довоенному» (все то же: «Россия примирела снова...» — «дней александровых прекрасное начало...»).

Следующие листы в сборнике Алексеева (оборот 6-го и почти весь 7-й) еще более «горячи», хотя там помещен всего лишь официальный и отнюдь не секретный документ — «Декларация дворов российского, австрийского и прусского», подписанная в Лайбахе 30 апреля (12 мая) 1821 года.

Страницы эти, так же как и предыдущие — о Греции, Востоке, рождали настроения и чувства, позже воспроизведенные в десятой онегинской главе:

Тряслися грозно Пиренеи,
Волкан Неаполя пылал,
Безрукий князь друзьям Морей
Из Кишинева уж мигал...

А затем:

Я всех уйму с моим народом,—
Наш царь в конгрессе говорил...

Революции в Европе вызывали серьезные размышления на разных общественных полюсах. В свою записную книжку Пушкин тогда занес строки, которые в переводе с французского звучат так: «О...¹ говорил в 1820 году: «Революция в Испании, революция в Италии, революция в Португалии, конституция здесь, конституция там... Господа государи, вы сделали глупость, свергнув Наполеона» (XII, 304, 486).

«Господа государи» вынуждены были сформулировать свою теорию происходящего². В «Декларации» так и было

¹ Очевидно, генерал М. Ф. Орлов.

² Под «Декларацией» стоят подписи: от Австрии — Меттерниха и барона Венсана, от Пруссии — Круземарка, от России — Нессельроде, Каподистрия, Поццо ди Борго.

Между прочим, от графа Каподистрия зависело многое в судьбе Пушкина. Видный сановник был склонен смягчить судьбу ссыльного (см.: П. А. Ивнев. Александр Сергеевич Пушкин в Александровскую эпоху, с. 148—149), однако на Лайбахском конгрессе окончательно выявились расхождения Александра I с Каподистрия по греческому вопросу, и вскоре последний покинул Россию. Все это было для Пушкина и кишиневских его друзей далеко не безразлично.

сказано: «Государи союзники, при заключении переговоров в Лайбахе, решились объявить свету о правилах, которыми они руководствовались, положив твердо никогда не отступать от оных. Для сего их императорские и королевские величества повелели своим полномоченным подписать и обнародовать сию декларацию».

Лайбахское проклятие всяким мятежам, стремление доказать, что революционеры, заговорщики не выражают народных стремлений, — все это вызывало у Пушкина, и, разумеется, не у одного Пушкина, желание отвечать, представить свой взгляд на события.

«Некоторые исторические замечания» в такой же степени вызваны европейскими событиями, «Лайбахской декларацией» — как и стихотворение «Наполеон», как портреты Марата, Занда, Лувеля, Ипсиланти в черновиках, как только что цитированные строки из записной книжки и многие другие вольные пушкинские мысли...

Союз властей и союз народов (несколько лет спустя Пушкин запишет — «тайные общества — дипломатия народов»): кто кого? Кто прав? Обязаны ли монархи уступить естественному ходу вещей, уступить просвещающимся народам часть своего всевластия, или народы обязаны повиноваться установлениям, сложившимся в давние, слепые, непросвещенные времена?

В 1824-м и 1822-м ответ казался ясным.

27 мая 1822 года, за два месяца до завершения «Исторических замечаний...», мы слышим следующие рассуждения Пушкина за обедом у Инзова, записанные П. И. Долгоруковым:

«Пушкин <...> рассказывал, по обыкновению, разные анекдоты, потом начал рассуждать о Наполеоновом походе, о тогдашних политических переворотах в Европе, и, переходя от одного обстоятельства к другому, вдруг отпустил нам следующий силлогизм: «Прежде народы восставали один против другого, теперь король Неаполитанский воюет с народом, Прусский воюет с народом, Гиспанский — тоже; нетрудно расчесть, чья сторона возьмет верх». Глубокое молчание после этих слов. Оно продолжалось несколько минут, и Инзов перервал его, повернув разговор на другие предметы»¹.

¹ М. Цявловский. Дневник П. И. Долгорукова. — «Звенья», 1951, кн. IX, с. 88; см. также: «А. С. Пушкин в воспоминаниях...», с. 360—361.

20 июля (за две недели до окончания «Замечаний...») раздаются еще более радикальные речи, хотя и во гневе сказанные:

«Наместник ездил сегодня на охоту с ружьем и собакою. В отсутствие его накрыт был стол для домашних, за которым и я обедал с Пушкиным. Сей последний, видя себя на просторе, начал с любимого своего текста о правительстве в России. Охота взяла переводчика Смирнова спорить с ним, и чем более он опровергал его, тем более Пушкин разгорался, бесился и выходил из терпения. Наконец, полетели ругательства на все сословия. Штатские чиновники подлецы и воры, генералы скоты большею частью, один класс земледельцев почтенный. На дворян русских особенно нападал Пушкин. Их надобно всех повесить, а если б это было, то он с удовольствием затягивал бы петли»¹.

Черновик «Исторических замечаний...» тем временем перерастает в беловик, 2 августа работа закончена, в ней сказано, что «народная свобода — неминуемое следствие просвещения», и предсказано, что Россия может скоро оказаться «наряду с просвещенными народами Европы», то есть попросту говоря — свободной, конституционной.

Но в дни ожиданий и веры, что просвещение и свобода близки, Пушкин не мог не заметить справедливых во многом строк «Лайбахской декларации» о легких победах Священного союза над неаполитанскими инсургентами:

«Войска государей союзных, коих назначением единственным было усмирение бунтующих... пришли на помощь народу, поработенному мятежниками. Он в сих войнах увидел защитников свободы его, а не врагов его независимости...»². Позже, в стихах «Недвижный страж дремал...» (1824) прозвучит та же мысль, вложенная в уста Александра I:

Давно ль — и где же вы, зиждители Свободы?
Ну что ж? витийствуйте, ищите прав Природы,
Волнуйте, мудрецы, безумную толпу —
Вот Кесарь — где же Брут? О грозные витии,
Целуйте жезл России
И вас поправшую железную стопу.

¹ М. Цявловский. Дневник П. И. Долгорукова. — «Звенья», 1951, кн. IX, с. 99—100; см. также: «Пушкин в воспоминаниях...», с. 361.

² Ф. Мартенс. Сборник трактатов и конвенций, заключенных Россией с иностранными державами, т. IV, ч. I, с. 291.

«Лайбахская декларация», ее самоуверенные формулы о незрелых народных симпатиях — сильный аргумент одной из сторон.

Ведь «Петр I не страшился народной Свободы, неминуемого следствия просвещения, ибо... презирал человечество, может быть, более, чем Наполеон».

Пушкин пишет: «Твердое, мирное единодушие может скоро поставить нас наряду с просвещенными народами Европы». «*Может скоро...*», но не обязательно «*поставит скоро*».

В годы своих самых непримиримых настроений, 1821-м, 1822-м, Пушкин не забывает, что степень зрелости, степень просвещения еще не измерена... Отсюда начинается его путь к иным мыслям, иным песням, когда он ответит наконец самому себе на вопрос — «*может скоро...*» или «*может не скоро...*».

Все о том же — доросла или не доросла Россия — и следующий документ, на обороте 7-го и на 8-м листе алексеевского сборника.

«*Речь, говоренная императором Александром I в Варшаве при открытии сейма в 1818 году*». Она была опубликована в печати¹, однако достать газету было непросто, и текст речи в дальнейшем распространялся в списках.

Основной мыслью царя было утверждение, будто Польша уже давно созрела для конституционных учреждений (которые и сам царь считает полезными, которые — «непрестанный предмет его помышлений»), Россия же до конституции еще не дозрела. Царь призывал поляков «явить на опыте» благотворность «законно-свободных учреждений». «Вы мне подали средство, — говорил он, — явить моему отечеству то, что я уже с давних лет ему приуготовляю и чем оно воспользуется, когда начала столь важнейшего дела достигнут надлежащей зрелости».

Кажется, в русском образованном обществе никто не остался равнодушен к речи Александра, хотя чувства возникали самые противоположные. Н. М. Карамзин находил, что «Варшавские новости сильно действуют на умы молодые», которые «спят и видят конституцию», и что в России многие поняли речь царя как приближающееся освобождение крестьян (так как при крепостничестве невозможно созыв действительно народных представителей)².

¹ «Северная почта», 1818, № 26.

² См.: Н. К. Шильдер. Император Александр I. Его жизнь и царствование, т. IV. СПб., 1898, с. 92—98.

Самые разные читатели — от консерваторов до завтрашних декабристов — нашли в речи Александра немало оскорбительного для русского самолюбия (Польша — «дозрела», Россия — нет!).

Большую тревогу дворянства вызвало предположение о том, что восстановление Польши будет означать возвращение ей территорий в границах 1772 года¹.

Карамзин в 1819 году вручил Александру I «Мнение русского гражданина» — протест против чрезмерных «авансов» как Польше, так и русскому либерализму. Зато «у беспокойного Никиты, у осторожного Ильи» резко витийствовали об Аракчееве, военных поселениях, Магницком, и обещания Александра воспринимались иронически (впрочем, как показывает С. С. Ланда — братья Тургеневы, Орлов, «в конце первого десятилетия XIX века были увлечены конституционными обещаниями Александра I»²).

Одним из насмешливых откликов на царскую речь был пушкинский «Noël» («Ура! В Россию скачет // Кочующий деспот...»). Е. И. Якушкин — очевидно, вслед за П. В. Анненковым — видел «Noël» в сборнике Алексеева, может быть, на одном из пропавших листов.

Речь царя и споры вокруг нее, — конечно, все это было важным петербургским воспоминанием Пушкина, имевшим как общественный, так и личный тон: ведь русский перевод речи был сделан Вяземским — одним из свидетелей и важных участников «Варшавского эпизода»³. Еще в столице и позже, в Кишиневе, Пушкин многократно отвечал себе и другим, в стихах и прозе, на царские слова о пользе конституции для просвещенных народов. Отзвуки хорошо слышны в «Исторических замечаниях...»: Пушкин пишет о «политической нашей свободе», которая «неразлучна с освобождением крестьян», но ведь об этом-то говорили, прочитав варшавскую речь Александра, этим был недоволен Карамзин. Кажется вынесенными с одной из сходов «Зеленой лампы» слова о том, что «желание лучшего соединяет все состояния противу общего зла, и твердое, мирное единодушие может скоро поставить нас на ряду с просвещенными народами Европы». Это последовательный логический вывод из царской речи: если Россия еще

¹ См.: Н. К. Шильдер. Император Александр I. Его жизнь и царствование, т. IV, с. 98.

² См.: С. С. Ланда. Дух революционных преобразований, с. 40.

³ Там же, с. 28—40, 314—315.

не догнала просвещенные народы (Польшу и других), то это потому, что у «просвещенных народов» (в частности, и у Польши) крепостного рабства уже нет, а в России — есть. Значит, надо всем объединиться, не только мирно, но твердо.

Александр I распылчато изъяснялся о времени, когда «дозреет» Россия. Долго ли дозревать? Пушкин отвечает, и не раз: если отменить рабство, то — «скоро».

«АЛЕКСАНДРА БОЛЬШЕ НЕТ...»

После 8-го листа в сборнике Алексеева, как уже говорилось, отсутствует по меньшей мере один лист. Затем на последних страницах (листы 9—10) очень интересный, прежде не публиковавшийся документ на французском языке, озаглавленный «Du successeur d'Alexandre» — «О преемнике Александра»¹.

Работа, по ряду признаков, выделяется из предшествующего «пушкинского» комплекса документов. Первая же фраза: «Alexandre n'est plus» («Александра больше нет») показывает, что текст мог быть внесен Алексеевым в тетрадку не раньше, чем через полтора года после расставания с Пушкиным. Наиболее вероятная дата написания — 1826 год, так как о царском манифесте, объявлявшем приговор декабристам (13 июля 1826 года) говорится как о совсем недавнем факте («только что Манифест оповестил о существовании заговора...»). События нового царствования не столько анализируются, сколько предсказываются (восстание относится к «последним событиям в России»).

Сборник Н. С. Алексеева сохранил произведение, посвященное историческим судьбам России, а также 14 декабря как великому итогу прошедшего и предвестнику будущего. По духу, глубине, логике и страстности оно во многом близко к более поздним знаменитым сибирским статьям и письмам декабриста Михаила Лунина и, видимо, не имеет аналогии в публицистике конца 20-х годов.

Сочинение «О преемнике Александра» весьма загадочно, неизвестно кем составлено. Рассмотрим возможность авторства самого Н. С. Алексеева.

30 октября 1826 года он имел основание вспомнить в

¹ Полный текст и перевод этого документа см.: «Литературное наследие декабристов». Л., «Наука», 1975, с. 314—320.

письме к Пушкину: «Мы некогда жили вместе; часто одно думали, одно делали и почти — одно любили» (XIII, 300). Однако при всей радикальности воззрений Алексеев не был ни литератором, ни публицистом и, судя по воспоминаниям современников, преимущественно собирал и сохранял образцы не предназначенной для печати литературы, созданной друзьями, единомышленниками (иногда — противниками).

По тому, что известно об Алексееве, а также исходя из содержания статьи «*Du successeur...*», следует признать маловероятным авторство самого обладателя сборника. Некоторые места из статьи позволяют предположить, что она написана каким-то внимательным иностранным (французским?) наблюдателем: о России и славянах говорится как бы «со стороны» и подчеркивается между прочим, что — «Великая славянская раса, на пассивной безропотности которой основывались гарантии благополучия всего материка, — дрогнула и пошатнулась, включаясь в стихийное движение цивилизации, на огромном пространстве от Дуная до зоны вечного льда.

Несомненно, эти народы, в отличие от французов, далеки еще от стадии массового движения за новое социальное устройство, которое в силу незнания они не сумели бы оценить».

В исследовательской литературе отмечены две различные оценки (сочувственная и враждебная), характерные для большинства сочинений о декабризме, появившихся на Западе непосредственно после восстания¹. С первой группой работ (вроде сочувственной декабристам книги Обернона²) статью «*Du successeur...*» сближает доброжелательный интерес к деятельности русских тайных обществ.

«Только что Манифест оповестил о существовании заговора для того, чтобы добиться от нового государя конституции, а также предохранить нацию от действий абсолютной власти неограниченного самодержавия. За сим последовали многочисленные аресты; путем жестоких расследований была составлена статистика заговорщиков, которым приписывали преступные замыслы:

¹ См.: Л. В. Крестова. Движение декабристов в освещении иностранных публицистов. — «Исторические записки», 1942, № 13, с. 222—229.

² Auber non. Considerations historique et Politique sur la Russie. Paris, 1827.

статистика, которая, разделив их всех на многочисленные категории, показала, что в России существовала огромная оппозиция к системе Александра, и, следовательно, общественное мнение высказалось за иную систему, при которой оно могло бы выражаться в законных формах».

В то же время автор работы не свободен от определенного стереотипа мышления, свойственного части западных публицистов и связанного во многом с недостатком информации о декабристах. Автор-аноним, как и Обернон, почти игнорирует вопрос о крепостном праве и связи декабристской программы с народными потребностями: для него восстание — в основном дело прогрессивной аристократии, цивилизованных «бояр».

«Но именно благодаря отсталости <славянских> народов аристократия, находящая в этом выгоду, имеет над ними большую власть, и она только одна представляет политическое лицо нации. Именно в аристократическом классе общества следует искать духовную мощь этой нации и изучать ее возможности.

Однако должны ли мы признать, что великая мысль о смене учреждений Российской империи пришла лишь союзу молодых офицеров, единственная привилегия которых была в их преданности этой идее? Не справедливо ли признать, что они были обреченным авангардом (*enfants perdus*), захваченным губительной идеей, время которой в России пришло, но которая еще не созрела. Однако появление этой идеи изменило в глазах у всех положение этой империи».

Из ранних статей о декабризме анонимная работа в сборнике Алексеева выделяется сильной и последовательной аналитической логикой, основанной на принципах «естественного права» и утверждающей неизбежность новых общественных выступлений и коренных перемен в России.

«Чем обширнее статистика российских заговорщиков, тем яснее указывает она на масштабы идеи, принявшей подобную форму. Эта статистика означает, что политический курс империи, бывшей до сих пор лишь выражением единовластия, осложнится существованием оппозиции в дворянских кругах. Итак, этот курс отныне неизбежно и беспрестанно должен будет считаться с оппозицией, с которой правительство приговорено жить бок о бок.

«Приговорено» потому, что невозможно сослать в Сибирь существующее воззрение: спору нет, туда ссылаются отдельные лица — нет ничего проще этой меры для государства в момент успеха. Но это воззрение есть нравственная основа тех обычаев, распространению которых среди бояр на протяжении века изо всех сил способствовали самодержцы: это то, что покоилось под бородами, которые сбрил боярам Петр Великий.

Усвоив эти обычаи, бояре усвоили также их новый дух и новые потребности. Позже правительство пожелало остановить развитие этого духа и изменить эти потребности — и оно породило оппозицию, которую сегодня силится уничтожить».

Легко заметить сходство только что процитированных строк с пушкинским — «свобода — неминуемое следствие просвещения». Эта близость, вероятно, была замечена Алексеевым, который тем охотнее мог соединить «единомышленников» на страницах своего сборника. Данная особенность публикуемого текста позволяет предположить, что он мог быть написан и каким-то неизвестным нам русским (или находящимся в России) публицистом.

Созвучие пушкинским «Замечаниям...» обнаруживается и в следующих строках рукописи «О преемнике Александра»:

«Ничто так не оскорбляет нацию, которой разом дали просвещение и славу, как быть отстраненной от всякой политической деятельности, от всякого влияния на дела своей страны, как это было при последнем самодержавном режиме в России.

Ничто так не оскорбляет, как видеть интересы отечественной политики доверенными иностранцам, пришедшим со всех земель править ими с одной только целью обогащения.

Русские перешагнули время, когда им приходилось искать во вне деятелей их цивилизации, деятелей, всегда преданных власти, их привлекшей, и всегда равнодушных к будущему страны, их использующей».

Наконец, финальной реплике пушкинской работы о самовласти и «удавке», теме *закона*, который выше монарха (ода «Вольность»!), как бы вторят строки об Александре I из статьи «Du successeur...»:

«Сей монарх, посвятивший всю жизнь свою созданию теорий легитимизма, — сам и разбил их, заранее приняв отречение законного наследника от престола,

дабы передать эту роль другому, не думая о том, что законность есть нечто, превышающее человеческую власть.

Находящаяся над обществом, она существует уже сама по себе,— следовательно, не допускает ни выбора, ни предпочтения со стороны общества, ибо если допустить последнее, то законность изменит своей сущности и окажется в области людской прихоти и случая, откуда должно ее изгнать.

Именно таково было содеянное Александром, и опасность не замедлила дать себя почувствовать. Одно мгновение сомнения на этот счет потрясло всю Империю, и залпы, возвестившие восшествие на престол нового государя, затопили кровью ступени, по которым он шел к трону».

Мы далеки от мысли обнаружить прямое влияние потаенного пушкинского сочинения 1821—1822 годов на воззрения «анонима» (хотя теоретически, через посредство Алексеева, такую связь и можно вообразить). Важнее — то сродство мыслей и чувств, которое естественно возникало у многих передовых мыслителей независимо от личного знакомства или общения.

В 1826 году, как и в последующие несколько лет, Н. С. Алексеев продолжал службу в аппарате новороссийского наместника М. С. Воронцова, и скорее всего статья была скопирована или написана в Одессе. В любом случае, даже воспроизведение такого документа вскоре после завершения суда и следствия над декабристами, в условиях страха и усталости, распространившихся в обществе, само по себе было немалым подвигом.

Хотя Н. С. Алексеев копировал этот текст много позже предыдущих «глав» своего сборника, имеется, однако, определенная закономерность в том, что рукою друга Пушкина, рядом с противоположительственными замечками по истории XVIII века самого поэта и другими политическими материалами, переписано неизвестное сочинение, посвященное анализу событий 14 декабря с позиций, отнюдь не совпадающих с официальным и обязательным «Донесением следственной комиссии»: вольно или невольно, состав алексеевского сборника после внесения работы «О преемнике Александра» отразил разные этапы общественного движения того времени.

Надо думать, что Алексеев, продолжая службу на юге, считал своим долгом сохранять важные сведения, воспо-

минания, материалы о том свободомыслии, к которому сам имел прямое касательство (30 октября 1826 года он констатировал: «Теперь сцена кишиневская опустела, и я остался один на месте, чтоб, как очевидный свидетель всего бывшего, мог со временем передать потомству мысли и дела наши»). Сохранение текста «Du successeur...» было, очевидно, частью этого плана.

ЕЩЕ О СБОРНИКЕ АЛЕКСЕЕВА

О происхождении сборника Алексеева можно гадать. Заметим между прочим, что только два материала: «Некоторые исторические замечания» и статья «Du successeur...» — помещены без указания имени автора. Все прочие документы исходят из вражеского стана (Магницкий, Александр I, деятели Священного союза), но открывают и завершают тетрадь сочинения противоположительные.

Исключая последний документ, все шесть предыдущих датируются временем от 1812-го до 1822-го; поскольку же «Некоторые исторические замечания» 1822-го стоят на первом месте, значит, все прочие тексты были списаны Алексеевым тогда же или немного позже (разумеется, после 1825 года «Лайбахская декларация», речь и письма Александра потеряли интерес). Весь сборник, таким образом, посвящен истории царствования Александра I, и — случайной или нет? — пушкинские «Замечания...» составляют к остальным документам род исторического введения, пролога, а заключительная статья — эпилог, где о царствовании и политической системе Александра говорится уже в прошедшем времени. Кроме речи Александра I и «Декларации» Священного союза, ни один из документов не мог быть взят Алексеевым из печати.

Поселившись вместе с Пушкиным, Алексеев, очевидно, решил пополнить свое политическое образование и переписал у поэта «Исторические замечания...». Что касается следующих пяти документов, то, видимо, и они были заимствованы из бумаг Пушкина: «Исторические замечания...» во многом отталкиваются от текстов, следующих за ними.

Продолжая и развивая эту гипотезу, мы вправе предположить, что в 1821—1822 годах Пушкин собирался составить нечто вроде «Исторического сборника»: подготовительные материалы для историко-публицистической ра-

боты о России либо с 1801, либо с 1812—1815 годов. К этим же подготовительным материалам для «современной летописи» могут быть отнесены и некоторые другие документы, сохранившиеся в бумагах самого поэта: «Замечания о революции Ипсиланти», «Заметки о Пенда-деке», которые Анненков охарактеризовал как «журнал греческого восстания»¹. Таково же письмо к В. Давыдову (см.: XIII, 22—24).

Номер 1 — на рукописи «Замечаний...» обозначал, что с этого вступления должно начинаться собрание документов или будущая историческая работа. Алексеев все эти планы хорошо знал и, решив скопировать пушкинские исторические бумаги, начал с «№ 1», а затем в порядке, указанном Пушкиным, или произвольно, расположил остальные материалы. Хотя многих важных текстов тут не было, но те, что были, как уже говорилось, так или иначе касались самых главных и волнующих проблем последнего десятилетия александровского царствования.

Как легко заметить, предложенная версия держится на трех доводах:

1. № 1 — на рукописи Пушкина и первое место, которое она занимает в тетради Алексева.

2. Пушкинские «Замечания...» кончаются смертью Павла I, а последующие документы посвящены истории Александра.

3. Главные мысли вступительных «Исторических замечаний...» — о соотношении просвещения и свободы, о деспотических правительствах и просыпающихся народах — хорошо иллюстрируются (для более позднего времени) документами №№ 2—6 из алексеевского сборника.

Если Алексеев живет с Пушкиным в одной комнате, если в этой комнате Пушкин пишет «Замечания...», а Алексеев их копирует, если в этой же комнате, с большой вероятностью, хранятся документы, собранные Пушкиным для его работы, — право же, можно предположить, что Алексеев копирует эти бумаги не у дальнего, но у самого близкого!

В пушкиноведении существует мнение, что «Замечания...» поэта являются частью его записок.

Так Б. В. Томашевский и И. Л. Фейнберг стремились определить, какое место могло занимать пушкинское сочи-

¹ П. Анненков. Александр Сергеевич Пушкин в Александровскую эпоху, с. 202.

нение о 1725—1801 годах в «Автобиографических записках», о которых точно известно, что Пушкин вел их на юге и в Михайловском с 1821 по 1825 год, а «в конце 1825 года, при открытии несчастного заговора... принужден был сжечь сии записки», так как «они могли замешать многих и, может быть, умножить число жертв».

И. Л. Фейнберг полагает, что Е. И. Якушкин правильно оценил характер пушкинской рукописи, когда в 1859 году рассматривал отрывки из «Замечаний...» как отрывки из «Автобиографических записок» Пушкина»¹.

Однако Якушкин (а позже П. А. Ефремов)² высказал больше чем простую догадку: он пользовался сведениями Анненкова (полученными от самого Алексеева). По мнению Н. С. Алексеева, впрочем, не слишком разбиравшегося в тонкостях жанра, Пушкин готовил записки, а «Некоторые исторические замечания» — это вступление к ним.

Чрезвычайно соблазнительно было бы видеть в прекрасной, зрелой исторической прозе «Замечаний...» начало автобиографии поэта, нечто вроде исторической экспозиции к ней. Соблазнительно, но необязательно...

В «Замечаниях...» поэта-историка совершенно отсутствует личное, семейное ганнибалово-пушкинское начало, столь присущее пушкинскому историческому биографизму и столь многообразно представленное во всех известных нам автобиографических отрывках, набросках, «программах записок». Трудно вообразить, чтобы во *введении* к своим запискам, толкуя о Петре и его преемниках, Пушкин удержался бы от сопряжения своей домашней хроники с общероссийской.

Б. В. Томашевский, стремясь примирить широкий исторический фон заметок с необходимым его «сужением» в автобиографии, находил, что «Записки», уничтоженные Пушкиным, представляли собою не просто автобиографию, но — историю того времени³, что «Записки» Пушкина — это скорее всего вступление, «быстрое введение» в историко-биографический труд поэта⁴. Между тем, не исключается и представляется более вероятным, что, независимо от «Автобиографических записок», Пушкин замыслил

¹ И. Л. Фейнберг. Незавершенные работы Пушкина, с. 304.

² «Русская старина», 1880, № 12, с. 1043.

³ Б. В. Томашевский. Пушкин, кн. 1, с. 569.

⁴ Там же. «Быстрое введение» — пушкинские слова, относящиеся к первой главе «Евгения Онегина».

большую работу о России начала XIX столетия со вступлением «О России XVIII века».

Через девять лет в письме к Бенкендорфу от 21 июня 1831 года поэт сообщает о своем «давнишнем желании» — «написать историю Петра Великого и его наследников до государя Петра III...» (XIV, 256). Не отзвук ли это былых замыслов, не желание ли расширить прежнее «вступление» до большого исторического труда?

Тот факт, что мы кое-что знаем о сожженных мемуарах и почти ничего не ведаем о ранних замыслах Пушкина-историка, вызывает естественное, но иногда преувеличенное желание «подверстать» неизвестные проекты и планы поэта — к известным. Между тем заготовки «к истории *своего времени*» и существующий рядом, записанный, перебеленный очерк *предшествующей* исторической эпохи — все это требует новых серьезных размышлений и разысканий.

«ЛИБЕРАЛЬНЫЙ БРЕД...»

Работая над «Некоторыми историческими замечаниями», Пушкин, без сомнения, хотел создать документ, понятный многим.

Так отчего же он не пустил по рукам списки, как часто делал? Ведь примерно в те же месяцы 1822 года, когда завершались «Замечания...», Пушкин писал «цензору»:

Чего боишься ты? поверь мне, чьи забавы —
Осмеивать Закон, правительство иль нравы,
Тот не подвергнется взысканью твоему;
Тот не знаком тебе, мы знаем почему —
И рукопись его, не погибая в Лете,
Без подписи твоей разгуливает в свете.
Барков шутливых од тебе не посылал,
Радищев, рабства враг, цензуры избежал,
И Пушкина стихи в печати не бывали;
Что нужды? их и так иные читали.

(«Послание цензору»)

Отчего ни в одном декабристском или «около-декабристском» архиве (Алексеев — не в счет!) не встречалось хотя бы отрывка, строчки, следа первой пушкинской исторической прозы? А ведь она произвела бы сильное впечатление на многих людей 14 декабря. В своих показаниях на следствии В. И. Штейнгель писал: «Ничто так

не дерзало ума моего, как прилежное чтение истории с размышлением и соображением. *Одни сто лет от Петра Великого до Александра I сколько содержат в себе поучительных событий к утверждению в том, что называется свободомыслием!!*»¹

Однако, кроме Алексеева (и, может быть, Лобанова?), мы не знаем других читателей «Некоторых исторических замечаний» при жизни Пушкина. Лишь несколько седовласых декабристов, переживших ссылку, смогли прочесть в конце 1850-х годов молодые пушкинские строки.

Попробуем объяснить.

Пушкин не стал бы пускаться в списках произведение незаконченное. По всем признакам и он предполагал — в какой-то форме — включить в свое повествование более близкие, «александровские времена»...

Такое объяснение, конечно, неполно. Надо еще понять, отчего Пушкин не заканчивал работу и, вероятно, рано избавился от уже написанных страниц. Тот же, кто не согласится, будто «Некоторые исторические замечания» были частью какого-то задуманного труда, испытает еще больше трудностей, объясняя, почему эта работа почти никому не была известна.

Чем бы ни было это сочинение, частью или целым, на его судьбе очевидно отразились те изменения, которые намечались во взглядах Пушкина через несколько месяцев после 2 августа 1822 года. Явление это слишком сложно и в этой главе, неизбежно, будет обрисовано в самых общих чертах.

«Некоторые исторические замечания» — по духу оптимистичны. Пусть общая панорама мрачна — петровское просвещение, не только не ослабляющее, но даже укрепляющее рабство; развращенное государство Екатерины, Калигула — Павел... И все-таки Пушкин верит, что просвещение несет близкую свободу, что в России, благодаря отсутствию «чудовищного феодализма», нет «закоренелого рабства», что «твердое, мирное единодушие может скоро поставить нас наряду с просвещенными народами...»

Но политический оптимизм Пушкина уже тогда подвергается испытанию.

Торжествующая «Лайбахская декларация», сравнительно легкие победы монархов над народами, народы, легко отступившиеся от мятежников, испанские крестья-

¹ ВД, т. XIV, с. 177. — Курсив мой. — Н. Э.

не, выдающие властям революционного вождя Риего, — все это склоняет к пессимистическим выводам: ведь Испания и Италия считались не менее «просвещенными», чем Россия, и если там народ не созрел для свободы, то дело плохо... Правда — есть Занды, Лувели, есть кинжалы, но в конце концов торжествуют Меттернихи, Бурбоны, Магницкие. Конечно, сохраняет силу мысль, записанная Долгоруковым: «Вот и расчислите, чья возьмет, монархи или народы?» Но *когда* народы возьмут верх? Через пять лет? Пятьдесят? Сто?

1823 год был тяжелым. Накапливавшийся пессимизм «обогащался» греческими впечатлениями: единственное освободительное движение, которое начиналось у Пушкина на глазах, сначала вызвало энтузиазм, сочувствие, затем — все большее разочарование. 2 апреля 1821 года Пушкин, по его собственным словам, еще «между пятью греками <...> один говорил как грек, — все отчаивалось в успехе предприятия *Эгерии...*» (XII, 302).

Позже поэта разочаровывает слабость, жестокость, корысть вождей, темнота и неразвитость народа.

Через три года он пишет Вяземскому: «Греция мне огадила <...>. Чтобы все просвещенные европейские народы бредили Грецией — это непростительное ребячество <...>. Ты скажешь, что я переменял свое мнение, приехал бы ты к нам в Одессу посмотреть на соотечественников Мильтиада и ты бы со мною согласился» (XIII, 99). Невеселые вести из родных столиц дополняли картину — мистика, аракеевщина, отсутствие даже намека на перемены и реформы, казалось бы, обещанные в варшавской речи 1818 года. Орлов смещен, Раевский — в тюрьме: о тайных обществах Пушкин знает немало («Кто же, кроме полиции и правительства, не знал о нем?»), но, видно, интуитивно не слишком верит в успех; неудачных образцов кругом хватало (как раз в 1823-м пала последняя революция, испанская, а Риего был казнен).

«Свобода — неминуемое следствие просвещения» — на этом Пушкин будет стоять всю жизнь. Но, видимо, незрелый плод принят за созревший. В 1822-м он пишет:

Нет, нет! оно прошло, губительное время,
Когда Невежества несла Россия бремя.

(«Послание цензору»)

Но притом ему все яснее, что просвещение — не столь еще сильно, а свобода — еще не столь близка.

Одно за другим создаются стихотворения, в которых звучит разочарование. Начиная с послания заключенному в крепости В. Ф. Раевскому (тоже — 1822 год):

...Но что ж теперь тревожит хладный мир
Души бесчувственной и праздною?

Ужели он казался прежде мне
Столь величавым и прекрасным.

Прежде поэт с надеждой славит «Эллеферию» — свободу!
Ныне (1823) —

Кто, волны, вас остановил,
Кто оковал ваш бег могучий.
Кто в пруд безмолвный и дремучий
Поток мятежный обратил?
Чей жезл волшебный поразил
Во мне надежду, скорбь и радость
И душу бурную и младость
Дремотой лени усыпил?

(Кто, волны, вас остановил...)

Еще в раннем оптимистическом послании «В. Л. Давыдову» (апрель 1821 года) звучит сомнение (мы слышим его и в «Исторических замечаниях...»): в Каменке осенью 1820 года ведь пили за здоровье *тех* (карбонариев) и *той* (конституции или свободы)...

Но *те* в Неаполе шалят,
А *та* едва ли там воскреснет...
Народы тишины хотят,
И долго их ярем не треснет.

Но сомненье еще не утвердилось:

Ужель надежды луч исчез?
Но нет! — мы счастьем насладимся,
Кровавой чаши причастимся —
И я скажу: Христос воскрес.

Еще — надежда на «кровавую чашу», но уже — «тишина», «ярем».

«Нетрескающийся ярем» странствует по пушкинским стихам 1821—1823 годов, появляясь в послании к В. Раевскому («Везде ярем, секира иль венец...») и окончательно утверждаясь в знаменитых строках:

Свободы сеятель пустынный,
Я вышел рано, до звезды;
Рукою чистой и безвинной
В поработенные бразды

Бросал живительное семя —
Но потерял я только время,
Благие мысли и труды...

Паситесь, мирные народы!
Вас не разбудит чести клыч.
К чему стадам дары свободы?
Их должно резать или стричь.
Наследство их из рода в роды
Ярмо с гремушками да бич.
(«Свободы сеятель пустынный...»)

Стихотворение это — в письме Пушкина к Александру Тургеневу от 1 декабря 1823 года. В том же письме Пушкин, между прочим, цитировал строфу из «Наполеона», особенно созвучную «Историческим замечаниям...».

Хвала! Он русскому народу
Высокий жребий указал
И миру вечную свободу
Из мрака ссылки завещал.

Прочитывая, Пушкин замечает: «Эта строфа ныне не имеет смысла, но она писана в начале 1821 года¹ — впрочем, это мой последний либеральный бред, я закаялся» (XIII, 79).

За год с небольшим, минувший после «Исторических замечаний...», Пушкин многое пересматривает. 2 августа 1822 года еще была вера, что посев просвещения вскоре обратится в плоды свободы, хотя уж и тогда подступали сомнения... Сама работа, завершенная 2 августа 1822 года, — это «живительное семя», бросаемое в «порабощенные бразды».

А в конце 1823-го:

Но потерял я только время,
Благие мысли и труды...
(«Свободы сеятель пустынный...»)

В 1824-м горьким эпилогом к «Историческим замечаниям...» звучат слова:

Судьба земли повсюду та же:
Где капля блага, там на страже
Уж просвещение иль тиран...
(«К морю»)

¹ Ошибка памяти или описка — стихи написаны в конце 1821 или в начале 1822 г.

Мысль о том, что существенный перелом в воззрениях Пушкина начался еще до 14 декабря, постепенно утверждалась в литературе в течение столетия. Хотя куда более распространенной была точка зрения, что важное изменение в мыслях поэта совпадает с событиями конца 1825-го и 1826-го года. Любопытную, но характерную ошибку допускает Герцен в «Былом и думах». Сравнивая два послания Пушкина к Чаадаеву («Товарищ, верь...» и «К чему холодные сомнения?...»), Герцен находит, что «между ними прошла... целая эпоха, жизнь целого поколения, с надеждой ринувшегося вперед и грубо отброшенного назад»¹. Именно потому будто бы, что «заря не взошла, а взошел Николай на трон», Пушкин пишет во втором послании:

Но в сердце, бурями смиренном,
Теперь и лень и тишина,
И, в умиленье вдохновенном,
На камне, дружбой освященном,
Пишу я наши имена.

Между тем создатель вольной русской печати не знал, что второе послание к Чаадаеву было написано до Николая I, в 1824 году.

Представление о кризисе пушкинского мировоззрения до 1825 года в наши дни подкреплено многими исследованиями², однако поле для дискуссий и сомнений еще достаточно обширно.

Ю. М. Лотман, тонко анализируя «авторские противоречия» в первой главе «Евгения Онегина», замечает: «Быстрая эволюция воззрений Пушкина привела к тому, что в ходе работы над первой главой замысел сдвинулся. Характер героя в конце главы оказался весьма далеким от облика его в начале. Отношение автора к нему также коренным образом изменилось»³.

Соглашаясь с тем, что направление авторской иронии, а также взгляд, на взаимоотношения поэта и его героя в «Евгении Онегине» менялись именно как результат

¹ См.: А. И. Герцен. Собр. соч. в 30-ти томах, т. IX, с. 146.

² См.: М. А. Цявловский. Стихотворения Пушкина, обращенные к В. Раевскому.— «Пушкин. Временник Пушкинской комиссии», кн. 6. М.—Л., Изд-во АН СССР, 1941, с. 41—56; Б. В. Томашевский. Пушкин, кн. 1.

³ Ю. М. Лотман. Роман в стихах Пушкина «Евгений Онегин». Тарту, 1975, с. 29.

«кризиса 1823 года», соглашаясь со всем этим, возразим против слишком сильных определений Ю. М. Лотмана («весьма далекий», «коренным образом»). Несколько месяцев (май — ноябрь 1823, когда писалась первая глава) — все же малый срок для столь крутых перемен. Не точнее ли определить сам замысел, приступ к *такой* поэме — как показатель перелома воззрений, начавшегося еще ранее. Это, кстати, почувствовали позже Рылеев и Бестужев, решительно противопоставляя Пушкину 1823—1825 годов Пушкина 1822 года; «бытописанию» первой главы «Онегина» — «высокий романтизм» «Бахчисарайского фонтана» и других южных сочинений...

По ходу работы над первой главой «Евгения Онегина» «кризис» нарастает; это видно по тексту, это отмечает Ю. М. Лотман, — и это совпадает с тем, что мы наблюдали, идя от «Исторических замечаний...». Но все же тут кризис особого рода, только отчасти сходный с теми сомнениями, которые посещают многих декабристов: в существенных чертах — неповторимый, пушкинский. Поэтому преувеличенным представляется суждение Ю. М. Лотмана, будто «в период начала работы над первой главой «Евгения Онегина» Пушкин вполне разделял воззрения декабристов» на «действительность» в литературе как обращение к «важному политическому содержанию»¹. Свообразие пушкинской эволюции при таком определении стирается: не совсем точно и сравнение новых пушкинских мыслей с начинающимся у декабристов «этапом на пути перерастания дворянской революционности в иную, более высокую стадию сознания», с неизбежным «временным настроением неверия и пессимизма»². Трудность коренных перемен, большая, чем прежде, казалось, не помешала, даже, может быть, ускорила созревание исторического пушкинского оптимизма. Если уж сравнивать, то можно говорить о появлении у Пушкина еще до 14 декабря таких размышлений о народе («Борис Годунов»), которые, в художественной форме, перерастают достигнутое декабристской мыслью...

Следует задуматься о глубочайшей интуиции, прозорливости Пушкина, который уже в 1823 году увидел сон народов и безнадежность быстрых заговорщических попы-

¹ Ю. М. Лотман. Роман в стихах Пушкина «Евгений Онегин», с. 25.

² Там же, с. 28.

ток — разбудить спящих «кличем чести». В конце 1823 года поэт, в сущности, предчувствует поражение 14 декабря: дружбой, целями, идеалами он вместе с Пушциным, Пестелем, Рылеевым. Но то, что чувствовал Рылеев, уже целиком ушедший в заговор («Известно мне, погибель ждет того, кто первым восстает...»), все это, но по-другому, почувствовал, художественно осознал Пушкин (об этом подробнее — во второй части книги).

Для Рылеева не было выбора — сознавая, что погибнет, он продолжал надеяться и верить, что другие продолжат его дело.

У Пушкина выбор был. В те месяцы, когда произнесено: «Паситесь мирные народы...» — *начат* «Евгений Онегин».

Громадный перелом в жизни Пушкина, начавшийся с 1823 года, завершается в Михайловской ссылке. Этот перелом означал пересмотр многого: менялся взгляд на свое место в обществе, на политику, историю. Романтическое искусство уступало место иному...

Ю. М. Лотман справедливо обратил внимание на увлечение прозой как своеобразный *знак* декабризма на определенном этапе его развития: «Займися прозою, вот чего недостает у нас, — просит М. Ф. Орлов Вяземского. — Стихов уже довольно». «Я стихов терпеть не могу!» — восклицает В. Ф. Раевский, устами своего «двойника» в отрывке «Вечер в Кипшине»¹.

«Некоторые исторические замечания» для Пушкина — первый серьезный опыт в серьезной прозе, весьма знаменательный в атмосфере 1821—1822 годов. Так же, как последовавший за тем отказ от прозы на несколько лет: в Михайловском, кроме «Автобиографических записок», прозы вообще не было; летá еще «злодейку-рифму» *не гонят!*

«Некоторые исторические замечания» для Пушкина стали «вчерашними»: не были продолжены именно потому, что взгляд поэта на историю, на свободу и просвещение изменился и усложнился. Новый взгляд требовал «Бориса Годунова», «Пугачева», «Медного всадника»...

Размышления о просвещении, понимание того, что ожидавшиеся близкие перемены в жизни страны неблизки, все это вызвало с 1823 года переоценку, перемену во многих

¹ См.: Ю. М. Лотман. Роман в стихах Пушкина «Евгений Онегин», с. 18—19.

мыслях Пушкина. Поэтому работа, начатая «Некоторыми историческими замечаниями», Пушкиным прекращена.

Они не были продолжены, но в них уже заложено движение к «Борису Годунову», «Пугачеву», «Медному всаднику».

Однако и в пройденном для Пушкина всегда остается «часть его большая», отчего сочинениям его нет ни старости, ни смерти; отчего они никогда не пройдены для нас.

«Некоторые исторические замечания» — шесть пушкинских листов — читаются уже больше столетия и все же не прочитаны, и много еще чтения впереди...

«Я НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ...»

(Декабрист Горбачевский о Пушкине)

Но уважал в других решимость,
Гонимой Славы красоту,
Талант и сердца правоту...

Пушкин, 1824

Речь пойдет об одном из самых странных воспоминаний, касающихся отношений декабристов с Пушкиным, — о воспоминании, которого мы настолько не понимаем, что обычно отбрасываем, не обсуждая... Между тем в нем затронуты важнейшие вопросы, требующие серьезного, последовательного разбора... Однако, прежде чем обратиться к тексту воспоминаний, напомним некоторые данные о мемуаристе.

Иван Иванович Горбачевский, декабрист, осужденный по самому высокому (не считая пяти смертников), первому разряду, — как и многие его товарищи, прожил жизнь, четко разделенную на периоды.

1800—1817 — детство, учение.

1817—1826 — юнкерская и офицерская служба, в основном на Украине; с конца 1823 года — в тайном Обществе соединенных славян, в сентябре 1825 года присоединяется к Южному обществу.

1826 — арест и осуждение.

1827—1830 — каторга в Чите.

1830—1839 — каторга в Петровском заводе.

1839—1856 — на поселении все в том же Петровском заводе.

1856—1869 — амнистированный, вольный, остается все равно в Петровском заводе, где и сегодня оберегаются его дом и могила.

Способности Горбачевского к аналитическому воспоминанию (память, логика, образование, слог) настолько выделяли его среди других революционно настроенных (но отнюдь не всегда высокообразованных) молодых офицеров,

что всего после нескольких встреч Сергей Муравьев-Апостол говорит ему: «Ежели кто из нас двоих останется в живых, мы должны оставить свои воспоминания на бумаге; если вы останетесь в живых, я вам и приказываю как начальник ваш по Обществу нашему, так и прошу как друга, которого я люблю почти так же, как Михайлу Бестужева-Рюмина, написать о намерениях, цели нашего Общества, о наших тайных помышлениях, о нашей преданности и любви к ближнему, о жертве нашей для России и русского народа. Смотрите, исполните мое вам завещание, если это только возможно будет для вас»¹.

Горбачевский на всю жизнь запомнил точную дату этого разговора: ночь с 14 на 15 сентября 1825 года; он придавал значение даже мелким подробностям о тех временах и людях. До самой смерти хранил как реликвию и не отдал даже за тысячу рублей серебром головную щетку Сергея Муравьева, подаренную в ту сентябрьскую ночь.

Как известно, без Горбачевского утратились бы значительные сведения о южных тайных обществах и восстании Черниговского полка. В самом деле, три главных и наиболее осведомленных лидера южан, Пестель, Муравьев-Апостол и Бестужев-Рюмин, были казнены; в 1828 году погибает И. И. Сухинов. Оставалось всего несколько очевидцев, способных дать связное изложение событий (Соловьев, Быстрицкий, Мозалевский). Горбачевский, непосредственно не участвовавший в восстании Черниговского полка, еще на каторге, без сомнения, начал дело, столь же важное, сколь рискованное: опрос товарищей по заключению; вместе с его собственными наблюдениями и воспоминаниями это привело к рождению в 1840-х годах знаменитых «Записок», одного из самых важных документов по истории декабризма.

Не углубляясь в проблемы, связанные с этими мемуарами², отметим только определившуюся еще в казематах

¹ И. И. Горбачевский. Записки. Письма. Подготовили Б. Е. Сыроечковский, Л. А. Сокольский, И. В. Порох. М., «Наука», 1963, с. 165.

² Появление их в конце XIX в. как анонимного документа вызвало, как известно, у ряда специалистов сомнение в авторстве Горбачевского. Мне, однако, кажутся вполне убедительными доводы в пользу традиционного авторства, приведенные в последнем издании. Недавно авторство Горбачевского было подкреплено прежде неизвестным свидетельством Д. И. Завалишина (см.: М. П. Мироненко. Мемуарное наследие декабристов в журнале «Русский архив». — «Археографический ежегодник за 1975». М., «Наука», 1976, с. 112—114).

роль Горбачевского как летописца, хранителя традиций, причем традиций определенных: его взгляды отличались большой левизной, радикализмом. Бедный офицер, по сути разночинец, представляющий самое демократическое крыло движения, Горбачевский сохранил и с годами даже усилил (до преувеличенной идеализации Общества соединенных славян) идеи о противоречиях в движении декабристов между аристократами, «белой костью», и бедными провинциальными офицерами. Впрочем, это не помешало поддержанию многолетних дружеских связей с такими представителями «аристократии», как Оболенский, Пущин...

Роль собирателя, хранителя традиций, естественно, определялась и тем, что Горбачевский остается до конца дней на месте почти десятилетней общей каторжной жизни — там, где воспоминания особенно живучи. В своих письмах к друзьям, разъехавшимся кто куда, он не раз подчеркивает это обстоятельство, возвращая Оболенского или Пущина к давно прожитым годам в Петровском заводе, к дорогим могилам (Горбачевский поддерживал лампаду в часовне над гробом Александрины Муравьевой).

Вот характерные отрывки его писем:

И. И. Пущину (из неопубликованного письма от 30 октября 1858 года): «Живу по-прежнему в Заводе. Люди те же, которых ты знал. Лампада горит по-прежнему... Никогда никого не забуду,— и кто мне говорит о старом и бывалом, кто говорит о моих старых знакомых-сотоварищах, тот решительно для моей душевной жизни делает добро»¹.

Е. П. Оболенскому (17 июля 1861 года): «Мне странно кажется, и иногда спрашиваю сам себя, как эти люди живут, и что им чудится после Читы, Петровского Завода, Итанцы и проч. И после всего этого жить в Москве, в Калуге и далее, и далее. Какие должны быть впечатления, воспоминания, а свидания с родными, со старыми знакомыми. Для меня все это кажется фантазия, мечта»².

В тех случаях, когда старого декабриста спрашивали о какой-то подробности, известных ему обстоятельствах или когда пришедшая книга, письмо давали повод для воспоминаний, рассуждений, он охотно и много распространял-

¹ ГИМ, ф. 282, № 292, л. 202.

² И. И. Горбачевский. Записки. Письма, с. 188.

ся о разных деятелях тайных обществ и событиях его истории. Так, издатель «Русского архива» П. И. Бартенева свидетельствовал, что «бумаги Горбачевского, находившиеся у племянника его О. И. Квиста, служат отличным дополнением к этим «Запискам» умного и даровитого декабриста»¹.

Написанное 12 июня 1861 года письмо Горбачевского Михаилу Александровичу Бестужеву, другу и многолетнему соседу по Сибири², давно оценено как развернутый мемуарный документ, где автор собрал известные ему сведения о судьбах сотоварищей (вероятно, пользуясь печатным списком декабристов, опубликованным по разрядам наказания в книге Герцена и Огарева «14 декабря 1825 г. и император Николай»³).

В этом списке немало ошибок, и сам Горбачевский признается, что позабыл имена, отчества некоторых товарищей по каторге; однако если учесть отсутствие в Петровском заводе каких-либо вспомогательных материалов, на которые можно было опереться, то надо признать, что спустя несколько десятилетий Горбачевский помнит очень много, указывает большое количество точных дат и названий, особенно хорошо знает обстоятельства ранних, молодых времен...

Мы останавливаемся так подробно на некоторых давно известных фактах, касающихся биографии и взглядов Горбачевского, потому что все это сейчас пригодится при разборе упомянутого выше мемуарного свидетельства, нескольких строк из письма к Михаилу Бестужеву от 12 июня 1861 года.

Побывав незадолго перед тем в Селенгинске, Горбачевский впервые прочитал «Записки...» И. И. Пущина о Пуш-

¹ «Русский архив», 1890, № 9, с. 111—112. К сожалению, неизвестна судьба этих документов (так же как и известной современникам коллекции гравюр, автографов и карикатур, собранной О. И. Квистом. Его наследницами и возможными обладательницами ценных исторических материалов были четыре дочери, из которых старшая (Нина-Люси, род. в 1859 г.) вышла за баварского барона Фридриха Антона Карла Кресс фон Крессенштейна.

² До 1869 г. М. А. Бестужев жил в Селенгинске, всего в 170 верстах от Петровского завода.

³ См.: И. И. Горбачевский. Записки. Письма, с. 333. Письмо было переслано М. А. Бестужевым в Петербург М. И. Семевскому, который начиная с 1869 г. несколько раз цитировал этот документ в своих работах.

кине. Трудно сказать, какое издание («брошюру») показывал Горбачевскому Бестужев. Скорее всего — выпуск или оттиск из журнала «Атеней», где летом 1859 года «Записки» Пущина появились в сильно урезанном виде; впрочем, в любом варианте критические суждения Горбачевского относятся к неполному тексту замечательных мемуаров Пущина. Даже после появления ряда фрагментов в вольной печати Герцена многие важные строки еще оставались необнародованными; такова знаменитая сцена в Михайловском, когда собеседники «незаметно коснулись подзрения насчет общества» и Пушкин восклицает: «Верно, все это в связи с майором Раевским...» Этот принципиальный отрывок был впервые напечатан через одиннадцать месяцев после смерти Горбачевского¹.

И. И. Пущин скончался в апреле 1859 года, и здесь уместно подчеркнуть еще раз, что отношения «двух Иванов Ивановичей» были очень теплыми; что Горбачевский всю жизнь помнил соседа по Петровскому каземату² и был очень благодарен Пущину, который уже с поселения, проделав с немалым риском, без разрешения, несколько сотен верст, — специально приехал в Петровский завод навестить Горбачевского (как похоже на давнюю поездку Пущина к Пушкину в Михайловское!). В полученном за несколько месяцев до смерти и уже цитированном письме Горбачевского от 30 октября 1858 года Пущину напоминали о его стародавнем обещании — еще раз приехать в Петровский, где его так ждут...

Итак, отношения были теплыми, дружескими — и тем интереснее, что Михаилу Бестужеву пишутся следующие строки:³

«Я не могу забыть той брошюрки, которую я у тебя читал, сочинение нашего Ив. Ив. Пущина о своем воспи-

¹ См.: М. И. Семевский. К биографии Пушкина. — «Русский вестник», 1869, № 11, с. 77—78.

² В Петровском каземате, состоявшем из нескольких отделений, Горбачевский жил в одном, третьем, отделении с Пущиным, Оболенским и Штейнгелем, с которыми имел возможность общаться особенно часто.

³ Автограф — в Отделе рукописей ГПБ, ф. 69 (Бестужевых), № 30, л. 16—17. Письмо напечатано полностью в приложениях к газете «День», 1913, №№ 6—10 (публикация П. Е. Щеголева), и в «Записках и письмах И. И. Горбачевского». М., 1925, с. 359—360. Строчки, опущенные в последнем издании (И. И. Горбачевский. Записки. Письма. 1963, с. 174), заключены в квадратные скобки.

тапни лицейском и о своем Пушкине, о котором он много написал. Бедный Пушин — он того не знает, что нам от Верховной думы было даже запрещено знакомиться с поэтом Александром Сергеевичем Пушкиным, когда он жил на юге. [И почему: прямо было сказано, что он по своему характеру и малодушию, по своей развратной жизни делает донос тотчас правительству о существовании Тайного общества¹.

И теперь я в этом совершенно убежден, — и он сам при смерти это подтвердил, сказавши Жуковскому: «Скажи ему², если бы не это, я бы был весь его». Что это такое? И это сказал народный поэт, которым именем все аристократы и подлипали так его называют].

Прочти со вниманием об их воспитании в лицее; разве из такой почвы вырастают народные поэты, республиканцы и патриоты?³ Такая ли наша жизнь в молодости была, как их? Терпели ли они те нужды, то унижение, те лишения, тот голод и холод, что мы терпели? А посмотри их нравственную сторону. Мне рассказывали Муравьев-Апостол и Бестужев-Рюмин про Пушкина такие на юге проделки, что уши и теперь краснеют⁴.

Примечания (на полях письма) сделаны Горбачевским, когда он перечитывал написанное, а полемические страсти еще не улеглись (М. И. Семевский в свое время ошибочно заключил, что примечания сделаны М. А. Бестужевым).

Вот эти-то строки, хранящиеся ныне в фонде Бестужевых, в Рукописном отделе Государственной Публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, и явятся сейчас предметом обсуждения. В них ясно видны два близко связанных мотива: во-первых, типичная, хорошо известная и понятная нам критика «слева» более умеренных, менее радикальных товарищей по борьбе, — представителем наиболее решительного, левого крыла декабризма, чело-

¹ «Совестно было ему об этом сказать, — но знаю, он догадывался, — я часто с ним говорил о Пушкине, сидевши вместе в 3-м отделении Петровского каземата». — *Примеч. Горбачевского.*

² [Г. е. Николая I]. — *Примеч. Горбачевского.*

³ «Можно прибавить и истории?» «Спроси их и подумай, где они видели народ, где они его поняли и изучили». — *Примеч. Горбачевского.*

⁴ «Его прогнал от себя Давыдов. [Его прогнал от себя Раевский]. Его прогнал от себя Воронцов; его прогнал от себя и генерал Инзов». — *Примеч. Горбачевского.*

веком фактически разночинного круга, отделяющим себя от «аристократов» (из которых, как известно, вышли многие декабристы). Второй слой в рассуждениях Горбачевского касается непосредственно личности великого поэта.

Разумеется, первые исследователи, ознакомившиеся с текстом письма, не могли не отозваться.

М. И. Семевский: «...Как крайне резкие о личном характере великого поэта и голословные отзывы; — мы не решаемся приводить»¹.

Б. Е. Сыроечковский (в комментариях к «Запискам» Горбачевского, издание 1925 года): «Поразительная — тем более у Горбачевского с его редкой памятью — ошибка. Пушкин с осени 1824 г. жил уже в Михайловском; запрещение же знакомиться с ним (если бы такое когда-нибудь было) «славяне» могли получить от Верховной думы только после соединения с большим Обществом, то есть осенью 1825 года. Очевидно, общее нерасположение Горбачевского к Пушкину путем какой-то сложной аберрации укоренило в памяти его этот мнимый «факт»».

Сходные объяснения инвективам Горбачевского давали П. Е. Щеголев², М. В. Нечкина³.

В последнем издании «Записок» Горбачевского часть текста из письма от 12 июня 1861 года не приводится, что обосновывается редакционным примечанием: «Далее следует исключительно тяжкое, несправедливое обвинение, брошенное Горбачевским Пушкину, которое мы не печатаем. Оно опровергается многими известными фактами, в особенности встречами Пестеля с Пушкиным 9 апреля, 25 и 26 мая 1821 г. в Кишиневе <...> и письмом М. С. Волконского, сына декабриста, к Л. Н. Майкову о поручении, данном С. Г. Волконскому Директорией Южного общества принять поэта в тайную организацию <...> Утверждение Горбачевского уязвимо и в том отношении, что ни мемуарист, ни его товарищи по тайной организации не могли бы встретиться с Пушкиным, поскольку с августа 1824 г. до июля 1826 г. опальный поэт жил безвыездно в Михайловском»⁴.

¹ «Русская старина», 1880, № 1, с. 130.

² П. Е. Щеголев. Из жизни и творчества Пушкина. М.—Л., М., 1931, с. 293—296.

³ ЛН, т. 53, с. 163.

⁴ И. И. Горбачевский. Записки. Письма, с. 337.

Итак, два основных довода в опровержение Горбачевского: во-первых, хорошие отношения с Пушкиным Пестеля, Волконского и других южан.

Но Горбачевский не говорит о Пестеле, Волконском. Он ссылается на Верховную думу.

Второй довод. Разговор мог состояться осенью 1825 года, а Пушкина уже год, как нет на юге.

Два этих контраргумента, на наш взгляд, однако, не «закрывают тему»: нам бесконечно дорог Пушкин; но мы полны глубокой почтительности к Горбачевскому. Уважение к этим людям запрещает просто отмахнуться, отделаться от столь резко и определенно написанных строчек, требует размышлений...

К примеру, разве так уж важно, что Пушкин не был на юге осенью 1825 года? Во-первых, абстрактно говоря, речь могла идти о каком-то недружелюбии к поэту, возникшем год и более назад, когда он еще жил в Одессе. Во-вторых, деятельность южан не ограничивалась Украиной: Бестужев-Рюмин, например, ездил в Вильну, Москву; Пестель, Давыдов, Барятинский отправлялись для переговоров с северянами в Петербург. Встречи их с Пушкиным вполне могли быть, и ссылка поэта в Михайловское не отменяла возможных переговоров об участии его в тайном обществе. *Как бы ни относились к Пушкину южные декабристы, он для них был явлением — не южнороссийским, а всероссийским...*

Но как объяснить реплику Горбачевского о Верховной думе, запрещавшей знакомиться с поэтом?

Хорошая память декабриста, многолетняя концентрация его внимания на событиях 1825 года — все это позволяет сказать с полной уверенностью: он действительно слышал нелестные слова в адрес Пушкина от тех лиц, которые составляли для «соединенных славян» Верховную думу. Не стоит при этом ссылаться на слишком большое время, прошедшее между фактом и воспоминанием (1825—1861). Дело в том, что в Чите и Петровском заводе история декабризма была предметом постоянных дискуссий, обсуждений, в ходе которых вырабатывалась — с конца 1820-х годов — устойчивая, устная версия различных воспоминаний. Из самого письма Горбачевского к Бестужеву, между прочим, видна предыстория «пушкинской темы» — те беседы, что происходили между Горбачевским и Пуцциным «в 3-м отделении Петровского каземата». Именно там, заметим, находились оба Ивана Ивановича, когда

пришло известие о гибели Пушкина, а затем появились те документы (письмо Жуковского, записка Спасского), где односторонне, с определенным умыслом, подчеркивалось христианское примирение Пушкина с царем и т. п.¹. Именно смерть Пушкина вызвала серьезные разговоры декабристов о его судьбе — и тогда-то скорее всего Горбачевский хотел многое высказать Пушину; ему казалось, что Пущин «и сам догадывается»; кое-что, разумеется, было сказано (к этим спорам о Пушкине мы еще вернемся).

Здесь же заметим, что в далеком отголоске 1861 года слышатся более близкие к пушкинскому времени голоса 1837-го.

В ВЕРХОВНОЙ ДУМЕ

Горбачевский хорошо помнит неблагоприятные для великого поэта наставления Верховной думы. Но кого же декабрист считает членами Думы? Тут нет сомнений, и он сам в примечании называет имена: *Сергей Муравьев-Апостол, Михаил Бестужев-Рюмин*.

Пора вспомнить обстоятельство, которое еще не учитывалось при анализе этого текста: Южное тайное общество, как известно, раскинуло свои «филиалы» — управы — по обширным пространствам Украины. Мы часто забываем, что Тульчин, штаб 2-й армии, — это один мир, связанный прежде всего с Пестелем, Волконским, Юшневским, географически близкий к Одессе, Бессарабии...

Более чем в пятистах верстах к северо-востоку — другая управа Южного общества. Васильков близ Киева. Во многом другой круг, даже другая армия: 1-я, с главным штабом в Могилеве. При затрудненности отпусков и переездов, особенно для бывших семеновских офицеров, при стремлении избегать конспиративной переписки, связи Василькова с Тульчином не столь просты, как можно вывести из общего заглавия — *Южное общество*. Между прочим, присоединение «соединенных славян» к основному стволу декабризма (несколько лет существовавших совершенно независимо от южан) — целиком дело васильковских декабристов Бестужева-Рюмина, Муравьева-Апостола. Пестель, Тульчинская управа Южного общества были из-

¹ Слова Пушкина: «Жаль, что умираю, весь его бы был» см.: «Пушкин в воспоминаниях...», т. 2, с. 337.

вещены уже о свершившемся факте. Братья Борисовы, Горбачевский и другие «соединенные славяне» так и не успели лично познакомиться с Пестелем. Для «славян» до самого ареста представителями Центра, Верховной думой были *Сергей Муравьев-Апостол* и *Михаил Бестужев-Рюмин*. Это их слова о Пушкине передает Горбачевский. Помня, что значили для него эти люди и воспоминания о 1825 годе, мы можем уверенно утверждать: были подобные разговоры; речь идет, конечно, не о буквальном, слово в слово, их воспроизведении, но о духе, сути (пусть окрашенных определенными жизненными впечатлениями и последующими размышлениями на каторге и поселении). Ясно, что старик Горбачевский и в 1861-м еще помнит многое, что даже не попадает в письмо к Бестужеву — «о таких на юге проделках, что уши и теперь краснеют».

Итак, от Горбачевского мы пришли к «пушкинским разговорам» Муравьева и Бестужева.

Изучение того, как представляли декабристы личность и творчество Пушкина, требует новых, углубленных, конкретных разысканий, сопоставлений, размышлений.

Из показаний декабристов мы знаем, что как раз во время встреч и переговоров лидеров Южного общества со «славянами» в Лещинских лагерях (сентябрь 1825 года) обнаруживалось «рукописных экземпляров вольнодумных сочинений Пушкина... столько по полкам, что это нас удивляло»¹. Так свидетельствовал Бестужев-Рюмин, который сам имел немалое число запрещенных стихов в своем портфеле и регулярно пользовался ими для агитации, в частности разжигая своих слушателей чтением пушкинского «Кинжала»².

От революционных стихов никто и не думал предостерегать. Наоборот, это средство всячески поощряется, но стихи — одно, их автор — другое...

Но нет ли тут противоречия? Порицая Пушкина, пользоваться его стихами для своего дела? Конечно, нет. Очевидно, эта группа декабристов выдвигала ту идею, о которой позже толковали некоторые литературоведы, разделяя Пушкина-человека и Пушкина-поэта...

В известных свидетельствах Бестужева-Рюмина о повсеместном чтении запрещенных стихов Пушкина сегодня

¹ ВД, т. IX, с. 118.

² Там же, с. 108.

справедливо видят объективное участие поэта в подготовке восстания (ниже будет представлено, как подобные сведения о поэте угрожающе концентрировались в руках верховных властей в 1826 году. Максимальное число показаний о влиянии запрещенных стихов поэта сделано молодыми офицерами, привезенными с юга, большей частью — членами Общества соединенных славян). Однако сейчас мы взглянем на этот факт под другим углом: совершенно естественно, что частые цитаты из Пушкина во время Лещинских встреч южных революционеров вызывали также разговоры о самом авторе. И тут-то, в сентябре 1825 года, Муравьев-Апостол и Бестужев-Рюмин, очевидно, предостерегали новопринятых членов против излишнего увлечения личностью поэта, рассказывали о нем нечто компрометирующее, вызывающее у Горбачевского краску стыда и много лет спустя.

Где же источник подобных впечатлений Муравьева и Бестужева? Это ведь были рыцарские натуры, не склонные к суете и клевете. И если юный Бестужев-Рюмин — человек пылкий, порой экзальтированный, то его старший друг обладал высочайшей внутренней выдержкой, по мнению многих друзей — «древний римлянин».

Они не могли просто так сочинить, сплести ужасную версию; и в то же время должны были сами пользоваться чьей-то злонамеренной информацией: Горбачевский ведь с Пушкиным не был знаком. Муравьев-Апостол, Бестужев-Рюмин встречались с поэтом, но очень давно, в Петербурге, эпизодически. На юге их маршруты не совпадают: в Одессу и Кишинев из Василькова почти не ездили; Пушкин не бывал в Киеве после ноября 1822 года, в Каменке появляется в 1820-м и 1822-м, а Муравьев и Бестужев остаются там осенью 1823 года и позже...

Васильковская управа более всего удалена от пушкинских Кишинева и Одессы — но отчего-то именно здесь о поэте отзываются недоброжелательно!

Чем ближе к его местам, тем больше у него друзей-декабристов: в Тульчине, Кишиневе, Одессе много доброжелателей, приятелей. Поэт встречается и долго беседует с Пестелем, предупреждает об опасности декабриста Владимира Раевского; Сергей Волконский размышляет о приеме его в тайный союз и не решается, так как «Пушкину <...> могла угрожать плаха»;¹ по свидетельству сына

¹ ЛН, т. 58, с. 163.

декабриста, в их семье поэт всегда считался близким человеком. Прибавим, что и северяне (Пуштин, Рылеев, А. Бестужев) при всех разногласиях с Пушкиным — всегда видят в нем *своего*.

Доброжелательство Пестеля, Волконского и других членов тайного общества, как мы видели, считалось аргументом, опровергающим Горбачевского. Меж тем пора ясно сказать, что дело не в «опровержениях». Мы и без них уверены во вздорности тех несправедливых обвинений.

Дело не в «опровержении» слухов, а в том, чтобы понять, *откуда слухи?* Как объяснить отмеченное странное отношение к личности поэта со стороны Муравьева-Апостола и Бестужева-Рюмина?

Зная образ мышления этих людей, их стремление возвыситься духом над миром обывательской повседневности, уверенно утверждаем: кто-то дает им порочащую поэта информацию: лицо или лица, к которым они относятся с доверием.

Клевета.

Можно, правда, возразить, что в декабристских кругах не раз говорилось об опасности приема Пушкина в Общество — что он «легкомысленен», чересчур общителен, к тому же находится под наблюдением властей...

Так, да не так! Несколько известных высказываний подобного рода — свидетельства дружеские, благорасположенные, аттестующие поэта как *своего*, но *особенного*.

Вот известные строки Пуштина:

«Я страдал за него, и подчас мне опять казалось, что, может быть, Тайное общество сокровенным своим клеймом поможет ему повнимательней и построже взглянуть на самого себя, сделать некоторые изменения в ненормальном своем быту. Я знал, что он иногда скорбел о своих промахах, обличал их в близких наших откровенных беседах, но, видно, не пришла еще пора кипучей его природе угомониться. Как ни вертел я все это в уме и сердце, кончил тем, что сознал себя не в праве действовать по личному шаткому воззрению, без полного убеждения в деле, ответственном пред целию самого союза»¹.

А вот отзыв И. Д. Якушкина:

«Вообще Пушкин был отголосок своего поколения со всеми его недостатками и со всеми добродетелями. И вот,

¹ Пуштин, с. 73.

может быть, почему он был поэт истинно народный, каких не бывало прежде в России»¹.

Разумеется, это совсем иные тексты, принципиально иное отношение, чем в письме Горбачевского, где говорится, что Пушкин «по своему характеру и малодушию, по своей развратной жизни сделает донос тотчас правительству...» Как видим — абсурдный, злой упрек является переходом в *другое качество* обычных, расхожих, но дружеских разговоров о «пушкинском легкомыслии», которые вообще велись...

Клевета. Очевидно клевета, педшая от людей, связанных с миром Одессы и Кишинева... Об этом, в сущности, говорится на соответствующих страницах книги П. В. Анненкова, использовавшего, как уже отмечалось, не дошедшие к нам воспоминания Алексеева. Поэтому они должны изучаться не только как обобщение пушкиниста, но и как важные показания очевидца: «Отличие Одессы <от Кишинева> состояло в том, что узлы всех событий распутывались здесь уже гораздо труднее, чем в Кишиневе. Там легко и скоро сходили с рук Пушкину и такие проделки, которые могли разрешиться в настоящую жизненную беду; здесь он мог вызвать ее и ничего не делая, а оставаясь только Пушкиным. Тысячи глаз следили за его словами и поступками из одного побуждения — наблюдать явление, не подходящее к общему строю жизни. Собственно врагов у него совсем не было на новом месте служения, а были только хладнокровные счетчики и помечатели всех проявлений его ума и юмора, употреблявшие собранный ими материал для презрительных толков втихомолку. Пушкин просто терялся в этом мире приличия, вежливости, дружелюбного коварства и холодного презрения ко всем вспышкам, даже и подсказанным благородным движением сердца. Он только чувствовал, что живет в среде общества, усвоившего себе молчаливое отвращение ко всякому рода самостоятельности и оригинальности. Вот почему Пушкин осужден был волноваться, так сказать, в пустоте и мстить невидимым своим преследователям только тем, что оставался на прежнем своем пути. Он скоро прослыл потерянным человеком между «благоразумными» людьми эпохи, и это в то самое время, когда внутренний мир его постепенно преобразовывался, место неистовых возбуждений заняло строгое воспитание своей мысли, а

¹ Якушкин, с. 41—42.

умственный горизонт, как сейчас увидим, значительно расширился. Опасность его положения в Одессе не скрылась от глаз некоторых его друзей, как, например, от Н. С. Алексеева¹. Пушкин был гораздо ближе к политической катастрофе, становясь серьезнее, чем в период своих увлечений. Эта ирония жизни или истории не новость на Руси².

Коснувшись конфликта поэта с графом Воронцовым, Анненков продолжает (вероятно, также опираясь в числе прочих источников на рассказы Н. С. Алексеева): «Второстепенные деятели еще менее щадилась его озлоблением, нерасчетливым и часто несправедливым словом, а так как в этом городе, несмотря на весь его шум и движение, ничто не пропадало бесследно, то, конечно, сумма поводов ко вражде, взаимным обвинениям и неудовольствиям все росла с обеих сторон, и можно уже было предвидеть время, когда настоятельно потребуются свести им итоги»³.

Из этого отрывка мы видим — какое разнообразие опасностей угрожало Пушкину в 1824 году. Имена некоторых врагов (среди них Воронцов) хорошо известны. Однако трагизм положения усугубляется тем, что клевета есть и в приятельском, дружеском кругу.

Назвать имя или имена этих тайных врагов поэта — дело сверхделикатное и опасное. Тут ведь суд исторический, где давно умершим не просто защититься. Однако, не торопясь приговаривать, не можем не говорить. Прежде чем высказать свои подозрения, предоставим слово Пушкину. Знал ли он о той клевете, которая отразилась в письме Горбачевского?

«ЖУЖЖАНЬЕ КЛЕВЕТЫ»

Знал. В наше время в печати впервые достаточно ясно высказалась о том Анна Андреевна Ахматова⁴. Она обратила внимание на частую у Пушкина тему клеветы, обмана, коварства — «жужжанье клеветы», «круг товарищей презренный», клевета «жестокая и кровавая»...

Из белого автографа второй главы «Евгения Онеги-

¹ В тексте ошибка — «Н. А. Алексеева».

² П. Анненков. Александр Сергеевич Пушкин в Александровскую эпоху, с. 217—218.

³ Там же, с. 251.

⁴ «Неизданные заметки Анны Ахматовой о Пушкине». — «Вопросы литературы», 1970, № 1.

на» Пушкин изъял несколько строк, явно не желая публичного обсуждения —

Не посвящал друзей в шпионы

Но уважал в других решимость,
Гонимой Славы красоту,
Талант и сердца правоту.

Это написано в Одессе в 1824 году, в то самое время, когда только и могла родиться презренная клевета, что дойдет до Василькова и год спустя будет передана «соединенным славянам».

Несколько месяцев спустя, уже в Михайловском, Пушкин создает «Коварность». Вот как Т. Г. Цявловская анализирует содержание этого стихотворения:

«Пушкин обвиняет своего «друга» в том, что он употребляет «святую власть» «дружбы» на «злое гоненье», «затейливо извил» «пугливое воображение» поэта, находил «гордую забаву» «в его тоске, рыданиях, унижение», был «невидимым эхом» «презренной клеветы» о «своем друге», иначе говоря — поддерживал ее, «накинул ему цепь» и «сонного предал врагу со смехом»... Впрочем, поэт ничего не утверждает. Он еще оставляет и своему «другу», и самому себе надежду, что все это ошибка...

Оканчивается стихотворение убийственно:

Ты осужден последним приговором».

О чем же здесь речь?

В «Коварности», — полагает Цявловская, — речь идет о клевете, «уже сыгравшей свою роль. Неясно, что имеет тут в виду Пушкин. Мы лишены возможности читать эти строки в черновике — этом кладезе драгоценностей, так часто помогающем понять намеки, выраженные в беловике более общо»¹.

Ахматова же включает «Коварность» в тот самый цикл, что начат строкой: «Не посвящал друзей в шпионы».

В четвертой главе «Евгения Онегина» (1825):

...нет презренной клеветы...
которой бы ваш друг с улыбкой
не повторил сто крат ошибкой...

В «19 октября» (1825) (не попавшем в перечень Ахматовой):

¹ Т. Г. Цявловская. «Храни меня, мой талисман...» — «Прометей», кн. 10. М., 1974, с. 44.

Друзьям иным душой преданся нежной,
Но горек был небратский их привет...

Проходят годы, но в 1830 году в восьмой главе «Евгения Онегина» появляются «клеветники и трусы злые», которые «его шпионом именуют».

Наконец, за полтора года до смерти, в 1835-м — стихотворение «Вновь я посетил...»; в его черновике осталась память о душевном состоянии, в котором пребывал Пушкин летом и осенью 1824 года, при переезде с юга в Михайловское:

Я зрел врага в бесстрастном судии,
Изменника — в товарище, пожавшем
Мне руку на пиру, — всяк предо мной
Казался мне изменник или враг.

Пушкин как бы упрекает себя в чрезмерной мнительности, подозрительности. Страсти десятилетней давности миновали, но память о них горька — «чем старе, тем сильней». И как выразительны черновые варианты «Вновь я посетил...», определяющие ту старую клевету!

О клевете насмешливой...
О клевете язвительной...
О клевете, мне сердце уязвившей...
О клевете, о строгой света...

О строгом заслуженном осужденье
О [мнимой] дружбе, сердце уязвившей
Мне горькою и ветреной обидой.

Пушкин никогда ни разу не назвал имени того, кого подозревал в клевете; не разрешает подозрениям превратиться в уверенность... «Но если...»

Мемуаристы и исследователи, однако, давно назвали это имя: *Александр Раевский*. «В нем, — пишет современный и очевидец Ф. Ф. Вигель, — не было честолюбия, но из смешения чрезмерного самолюбия, лени, хитрости и зависти составлен был его характер...¹ Я напрасно усиливаюсь

¹ Аналогичную характеристику дает Александру Раевскому его отец генерал Раевский в письме к дочери Екатерине. «С Александром живу в мире, но как он холоден!.. Он не рассуждает, а спорит, и чем более он неправ, тем его тон становится неприятнее, даже до грубости... У него ум назнанку; он философствует о вещах, которых не понимает, и так мудрит, что всякий смысл испаряется... Я думаю, что он не верит в любовь, так как сам ее не испытывает и не старается ее внушить» (см.: М. О. Гершензон. История молодой России. М.— Пг., 1923, с. 45).

здесь изобразить его: гораздо лучше меня сделал сие Пушкин в немногих стихах под названием «Мой демон...»¹. Известность Пушкина во всей России, хвалы, которые гремели ему во всех журналах, превосходство ума, которое внутренне Раевский должен был признавать в нем над собою, все это тревожило, мучило его... Еще зимой <1823/24 года> чутьем слышал я опасность для Пушкина, не позволяя себе давать ему советов, но раз шутя сказал ему, что по африканскому происхождению его все мне хочется сравнить с Отелло, а Раевского — с неверным другом Яго. Он только что засмеялся»².

Несколько позже Бартенев, опиравшийся на многие свидетельства современников поэта, назовет Александра Раевского «человеком, ввергшим Пушкина в пропасть»³.

«Стихотворением «Коварность», — пишет Т. Г. Цявловская, — ответил Пушкин на ласкательное письмо к себе Александра Раевского...»⁴.

¹ Многие современники находили в стихотворении «Демон» портрет Александра Раевского. Разумеется, сложная творческая история этого произведения далеко не исчерпывается проблемой прототипа, но все же не может, не должна и совершенно освободиться от нее. «Сам же Пушкин, — пишет Т. Г. Цявловская, — тяготился молвой о связи его стихотворения с именем Александра Раевского. <Он> решил даже выступить с опровержением этого суждения и написал заметку, объясняющую идею «Демона». Заметка эта была написана якобы третьим лицом. Впрочем, она осталась в рукописи поэта» (см.: Т. Г. Цявловская. «Храни меня, мой талисман...» — «Прометей», кн. 10, с. 19).

² «Пушкин в воспоминаниях...», с. 226—227.

³ «Русский архив», 1872, № 10, стлб. 2361.

⁴ Т. Г. Цявловская. «Храни меня, мой талисман...» — «Прометей», кн. 10, с. 46. В этом письме Раевский говорит: «Вы пишете, что боитесь скомпрометировать меня перепиской с вами. Такое опасение ребячливо во многих отношениях <...> Да и что может быть компрометирующего в нашей переписке? Я никогда не вел с вами разговоров о политике; вы знаете, что я не слишком высокого мнения о политике поэтов, а если и есть нечто, в чем я могу вас упрекнуть, так это лишь в недостаточном уважении к религии — хорошенько запомните это, ибо не впервые я об этом вам говорю» (XIII, 106 и 529). Цитируя это послание Т. Г. Цявловская замечает: «Письмо, написанное явно в расчете на перлюстрацию, демонстрирует благонадежность его автора. Охраняя собственную репутацию, Раевский предал Пушкина» (см.: «Прометей», кн. 10, с. 45). Не согласимся с известной категоричностью этого суждения. Письмо Раевского может быть оценено и как намек Пушкину, по какой линии его обвиняют. Скорее уже тут самозащита Раевского, ответ на слух, будто он причина гонений поэта.

Цявловская связывает коварность Раевского с соперничеством из-за Воронцовой, но подчеркивает неясность «реалий», затронутых в стихотворении. Между тем представляется безупречной мысль Т. Г. Цявловской и А. А. Ахматовой, что обратная характеристика — «не посвящал друзей в шпионы» — предполагает «теневого героя», — того, который *посвящал*.

«По сопоставлению с стихотворением «Коварность» и еще... — пишет Ахматова, — несомненно оказывается, что второй — тайный — портрет написан Александром Сергеевичем с «новоизбранного» одесского друга Ал. Раевского»¹.

Поэт нашего времени через столетие с лишним тонко и глубоко понимает другого, величайшего поэта, верно намечает тему клеветы и лишь не пользуется в своих рассуждениях таким важным источником, как письмо Горбачевского М. А. Бестужеву.

Как видим, обвинения Раевскому — не из пустоты явились, хотя не исключено, что дело не только в нем.

Разве Пушкин не был окружен шпионами, им не распознанными? Предмет его страсти Каролина Собаньская (о которой лишь много лет спустя стало достоверно известно, что она была агентом тайной полиции) — она одна могла скомпрометировать поэта самым неожиданным образом². Разве покровитель Собаньской, начальник Южных военных поселений и один из организаторов сыска граф Витт, не был отменным мастером политической провокации? А ведь он был в сравнительно неплохих отношениях с Пушкиным, что доказывают переговоры поэта с ним (1824 г.) об устройстве судьбы Кюхельбекера (как не вспомнить пушкинское же рассуждение о гении «обык-

¹ «Вопросы литературы», 1970, № 1, с. 188.

² Ахматова писала: «Надо вспомнить про какие-то темные слухи вокруг Пушкина в южный период его жизни. Что удивительного в их возникновении, если он был при даме, которая вела слежку за братьями Раевскими, Орловым, и т. д. и в конце концов добилась их ареста. Конечно, Пушкин понятия об этом не имел. Но Александра Раевского он поймал на повторении этой клеветы» («Вопросы литературы», 1970, № 1, с. 189). Ахматова имеет в виду, что одной из причин кратковременного ареста братьев Александра и Николая Раевских в январе 1826 г. был донос Собаньской — «уведомление графа Витта, узнавшего от одного члена, будто бы тайное общество старалось через сих Раевских заразить и Черноморский флот» (ВД, т. VIII, с. 160).

новенно простодушном» и «великом характере, всегда откровенном») И разве не были Муравьев-Апостол и Бестужев-Рюмин оповещены летом 1825 года (как раз когда состоялось их знакомство с Горбачевским), что граф Витт пытается спровоцировать декабристов, что его посланец Бошняк, появившийся в Каменке и беседовавший с декабристами Давыдовым и Лихаревым,— агент тайной полиции? И ведь именно Витт выслеживает Пушкина даже тогда, когда поэт покидает южные губернии и переселяется в Михайловское. (Подробнее см. в главе X.)

Мы отошли от генеральной линии нашего рассказа, чтобы подчеркнуть: многие тайны сыска, провокации, клеветнические слухи, как насчет декабристов, так и насчет Пушкина, связаны со зловещим Виттом.

Разумеется, темные слухи могли дать всходы при известных обстоятельствах.

Рассуждая о возможной роли Витта, мы не должны забывать, что Муравьев-Апостол, Бестужев-Рюмин не вняли бы голосам Витта, Бошняка и им подобных, но прислушались бы к другу. И тень Александра Раевского возникает... Однако тут мы почти ничего не знаем. Ясно видя недружелюбие, склонность к интриге Александра Раевского, можем допустить, что он и сам был в той или иной степени орудием,— может быть, добровольным, а может быть, «эхом клеветы».

Горбачевский в письме к М. Бестужеву утверждал о Пушкине: «Его прогнал от себя Давыдов... Раевский.... Воронцов... Инзов».

Удивительный набор фамилий! «Инзов», разумеется, чушь, злобная клевета. Воронцов, действительно, «прогнал»; но для информатора васильковских декабристов это, как видим, довод против Пушкина, а не против губернатора! («Если уж и Воронцов прогнал — значит!...») Угадываем определенно нацеленный «одесский вариант».

«Давыдов, Раевский» — это декабрист Василий Давыдов и генерал Николай Николаевич Раевский, сводные братья. Генерал — отец «демона» Александра Раевского...

Мы знаем об огромном уважении Пушкина к Раевскому-старшему, его сыну Н. Н. Раевскому-младшему¹, Ма-

¹ См. также главу IX этой книги.

рии Раевской-Волконской, последовавшей за мужем в Сибирь. Хорошо известны доказательства дружбы и доверия этих замечательных людей к поэту. Взаимное уважение все они сохраняли до конца дней, и тут запись Горбачевского кажется явной бессмыслицей.

Естественно, мы не станем искать буквального смысла в каждом слове декабриста. Заметим, однако, что подбор лиц, которые якобы «прогоняли», — Пушкина, — подбор «одесско-каменский», где замешана семья Раевских.

Нужно еще понять, насколько тесными были контакты А. Н. Раевского с васьковскими лидерами.

Просмотр переписки семьи Раевских за интересующие нас годы открывает значительную степень близости, географической и иной, с кругом Муравьева-Апостола. 2 ноября 1822 года А. Н. Раевский из Василькова сообщал М. Ф. Орлову о своей тяжелой болезни: «Муравьев уменьшает жар, магнитизируя меня»¹. Исследователям известны многократные теплые отзывы Муравьева-Апостола об Александре Раевском в письмах 1820-х годов. Важно, что в течение 1825 года (за исключением периода с 21 июля до конца августа) Александр Раевский жил буквально по соседству с Сергеем Муравьевым-Апостолом, что видно из его писем, отправленных большей частью из Александрии, близ Белой Церкви².

Во всяком случае, васьковские декабристы и «соединенные славяне» могли в 1825 году получить от Александра Раевского разные сведения, касающиеся его одесских знакомых...

Однако снова повторим, что историческое следствие — не судебное. Именно потому, что *историческое*, — мы позволяем себе, вслед за другими специалистами, назвать подозреваемое лицо. Именно потому, что *не судебное*, — не видим решительных, окончательных доказательств; помним, например, о беспокойстве поэта насчет здоровья арестованного А. Раевского, позже — попытки облегчить участь опального «демона»³. Проблема клеветы, доверия или неверия слухам — куда шире, чем вопрос о том или другом «виновном лице».

¹ ГБЛ, ф. 244 (Раевских), 3613, № 5.

² Там же, 3612, № 6, 7; 3616, № 2, 5.

³ См.: ЛН, т. 16—18, с. 571—572.

ТЯГОСТНАЯ ПУТАНИЦА

Что бы рассказы о Пушкине ни слушали Муравьев-Апостол и Бестужев-Рюмин, вновь и вновь возникает вопрос: как они могли поверить?

И здесь мы сталкиваемся с тем сложным историко-психологическим явлением, которое удачно определено В. Вацурой как «социальная репутация».

При всей пестроте и многообразии человеческого материала современные исследователи выявили то общее, что было присуще *морали русских революционеров*, объединенных высоким словом «*декабризм*».

В воспоминаниях декабристов содержатся ценные свидетельства о признаваемых, одобряемых ими этических правилах, нормах бытового поведения.

Ю. М. Лотман, сопоставляя понятия о моральном и аморальном у свободолюбца Дельвига и революционера Рылеева, справедливо заметил, что для первого из них, сторонника «игрового» отношения к жизни, сфера бытового поведения никак не соотносится с идеологической, в то время как Рылеев — человек «серьезного поведения». Не только на уровне «высоких идеологических построений, но и в быту такой подход подразумевает для каждой значимой ситуации некоторую единственную норму правильных действий. Дельвиг, как и арзамасцы или члены «Зеленой лампы», реализует игровое поведение, амбивалентное по сути: в реальную жизнь переносится ситуация игры, позволяющая считать в определенных позициях допустимой условную замену «правильного» поведения противоположным»¹.

Критику Пушкина за «чрезмерную подвижность пылкого нрава», неугомонные проказы мы находим, как отмечалось, в дружественных мемуарах Пущина, который, при всей своей привязанности к лицейскому другу, мечтал, чтобы поэт «не переступал некоторых границ и не профанировал себя...».

Подобные мотивы встречаются и у других декабристов, хуже знавших Пушкина (Якушкина, Матвея Муравьева-Апостола).

¹ Ю. М. Лотман. Декабрист в повседневной жизни (Бытовое поведение как историко-психологическая категория). — «Литературное наследие декабристов». Л., «Наука», 1975, с. 32.

Речь идет, понятно, не о том, что декабристы тут безусловно правы, а Пушкин нет (или наоборот): многие члены тайных обществ, как и поэт, неоднократно настаивают, что их оценки не абсолютны. Пушкин, желавший, чтобы его друг «настоящим образом взглянул на себя и понял свое призвание», много лет спустя находит, что «видно, нужна была и эта разработка, коловшая нам, *слепым*, глаза»; Пушкин же, не переставая эпатировать серьезных, молодых заговорщиков, постоянно бичует себя.

Я не стоил этой чести...

(О тайном обществе.)

И с отвращением читая жизнь мою...

Если же вычесть отдельные резкие отступления обеих сторон от нормы — остаются все же реальные, разобранные Ю. М. Лотманом, отличия морального модуля активных декабристов, с одной стороны — и Пушкина, Дельвига, большинства арзамасцев, «декабристов без декабря» — с другой.

Поскольку эти различия были зафиксированы даже в близком, максимально лояльном к поэту декабристском кругу, — в более удаленных и притом более радикальных сферах тайного общества оценки, естественно, обострились.

Анализируя сатиру Аркадия Родзянки «Два века» (1822), метившую во многих современников, в частности, в Пушкина, В. Э. Вацуро отмечает, что «в нашем распоряжении есть несколько противоречивых и разрозненных свидетельств о том, как «южные декабристы» воспринимали личность и деятельность поэта. Стихами его широко пользовались в агитационных целях <...>. Наряду с этим все же можем предполагать, что характеристика Пушкина в сатире Родзянки («гений — беспутное дитя»), скорее, была повторена памфлетистом, нежели изобретена заново. Именно эту «социальную репутацию» Пушкина и — шире — лицейского круга в определенных сферах «южных» декабристов отразило известное письмо И. И. Горбачевского к М. Бестужеву от 12 июня 1861 г.»

Не обращаясь к конкретному анализу этого письма, В. Э. Вацуро далее справедливо констатирует, что «оно не может быть заподозрено как социально-психологический документ. Горбачевский, не знакомый лично с Пушкиным,

смотрит на него почти так же, как Родзянка, равным образом передавая чье-то мнение»¹.

Для большинства васильковских декабристов и «соединенных славян» было характерно особенно строгое, пуританское воззрение на свое назначение и нормы человеческой, гражданской этики. «Православный катехизис», появившийся в первые дни восстания Черниговского полка, свидетельствует о напряженном, религиозно-жертвенном настроении лидеров движения.

Вступавший в Общество соединенных славян клялся «быть всегда добродетельным», присягал «на взаимную любовь, что для меня есть божество, и от чего я ожидаю исполнения всех моих желаний». В правилах этого общества между прочим значилось: «Не желай более того, что имеешь, и будешь независимым...»²

Понятно, значение слов «любовь», «добродетель» в подобном контексте — особенно, максимально далекое от обыденного, расхожего, «альбомного» употребления этих понятий; более того — меняется коренной смысл старинных моральных категорий: если истинные любовь и добродетель, — то, что подразумевают члены тайного союза, тогда обыкновенные, «прежние» любовь и добродетель должны быть оценены уже иначе, должны «понизиться в ранге» и называться, в лучшем случае, страстью, привычкой, а в худшем, — развратом, ограниченностью... Отсутствие прямых контактов с поэтом не позволило васильковским декабристам приблизиться к настоящему Пушкину, увидеть за формой, порою легкомысленной, «закрытый клад его правильных суждений и благородных помыслов»³.

Повторяем, незнакомство с Пушкиным, удаленность васильковской управы от постоянно общавшихся с поэтом и потому более объективных тульчинских декабристов — все это усиливает антагонизм. Левое крыло южных декабристов осуждает «легкомысленное» поведение того чело-

¹ В. Э. Вацуро. Пушкин и Аркадий Родзянко (Из истории гражданской поэзии 1820-х годов). — «Временник Пушкинской комиссии. 1969». Л., 1971, с. 65. Автор сближает взгляд на личность Пушкина, обнаруживаемый у Горбачевского, со скептическими отзывами Матвея Ивановича Муравьева-Апостола, высказанными также в 1860-х годах (см.: М. К. Азадовский. Статьи о литературе и фольклоре. М.—Л., Гослитиздат, 1960).

² ВД, т. V, с. 12; «Минувшие годы», 1908, № III, с. 160.

³ Формулировка Вигеля (см.: «Пушкин в воспоминаниях...», с. 226).

века, который по таланту своему предназначен для *высшего*; политика становится производной от морали — и в адрес великого поэта произносятся суровые и несправедливые инвективы.

Итак, считаем, очень и очень вероятным:

1. Что в рассказах Муравьева-Апостола и Бестужева-Рюмина (судя по заметке Горбачевского) фигурировали какие-то подробности о любовных приключениях Пушкина, без сомнения, преувеличенные и приукрашенные досужей молвой.

2. Что Муравьев-Апостол, Бестужев-Рюмин, Горбачевский и другие декабристы, находившиеся под Киевом, были предубеждены против личности великого поэта вследствие известной разницы морально-этических установок у последовательных декабристов и широкого круга прогрессивных мыслителей и деятелей.

3. Что это предубеждение, определенная «социальная репутация» Пушкина для части членов Южного общества были усилены злобной клеветой, педшей из одесских источников, вызывавших доверие у декабристов.

4. Что Пушкин немало знал и еще больше догадывался о тех, кто «посвящал друзей в шпионы».

Последнее обстоятельство нельзя недооценивать. О тяжелейшем душевном состоянии Пушкина в момент приезда в Михайловское свидетельствует сам поэт; исследователи обычно указывают на унизительность грубой ссылки, обрывавшей многие личные нити и ухудшавшей общественное положение Пушкина. Все это, конечно, верно. Однако, перечисляя темные обстоятельства, одолевавшие Пушкина в 1824 году, нужно учесть как очень серьезный фактор и те «материи», о которых мы ведем речь. Поэт в то время оказывается один на один с тяжелой клеветой, которой, как мы видим, верили некоторые достойные люди. И, конечно, Пушкин знал много такого, чего мы не ведаем и что обобщается в строках о «горьком, небратском привете» «иных» друзей.

Как бороться с клеветой? Вызвать на дуэль, убить «невидимку»? Но этим ничего не рассеять, не доказать. Или — молчать, не оспаривать?

При высочайшем чувстве чести и нервной ранимости поэта — ситуация была печальной и опасной. Мы ее, может быть, недооцениваем — а это ведь было похоже на

то, что случится в 1836—1837 годах. Пушкин поговаривал о самоубийстве¹.

Броситься в омут, в первую попавшуюся дуэль, битву, заговор, побег — все это было возможно.

Опять обратимся к черновым, интимным строкам фанала «Вновь я посетил...».

Утрачена в бесплодных испытаньях
Была моя неопытная младость,
И бурные кипели в сердце чувства
И ненависть и грезы мести бледной.
Но здесь меня таинственным щитом
Святое провиденье осенило,
Поэзия, как ангел-утешитель,
Спасла меня, и я воскрес душой.

Выход из тяжелейшего кризиса был найден. И тут — остановимся...

Мы углубились в черные, во многом неясные, мутные дебри. Стоило ли рыться в этих деталях, подробностях, искать источник, разбирать оттенки клеветы?

Наверное, стоило. Мемуарная запись Горбачевского, которой мы прежде сторонились, как явной нелепости, может быть использована как *противоядие против себя самой*. Отталкиваясь от нее, можно кое до чего докопаться, разглядеть нечто в таких скрытых глубинах, которые не оставляют следа в архивах и обычных воспоминаниях. Меж тем — темные, ядовитые пары попали в воздух, которым поэт дышал в 1824—1825-м. Его страдания, переживания — это скрытые причины многих поступков, важные истоки творчества.

Можем ли мы судить о великом событии, — «поэзия, как ангел-утешитель, спасла...» — о причинах михайловского спасения, о «Борисе Годунове», новых главах «Евгения Онегина», десятках замечательных стихотворений и замыслов, — если не обратим внимания, не задумаемся над тем, что едва не довело Пушкина до гибели; что могло бы стать величайшей непоправимой трагедией, если бы не явился «ангел-утешитель»!

«Я не могу забыть...» — начинает свои обвиняющие воспоминания Иван Горбачевский.

Мы не можем и не хотим забывать того, что на самом деле происходило с Александром Сергеевичем Пушкиным.

¹ См.: Б. Мейлах. Жизнь Александра Пушкина. Л., «Художественная литература», 1974, с. 180—181.

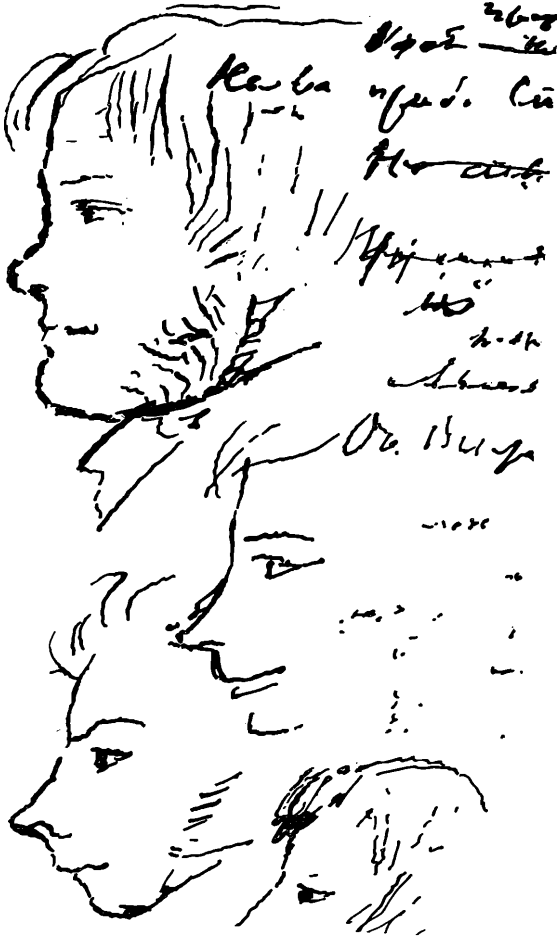
«Мы — люди середины XX века, — пишет Ахматова, — знаем в 100 раз больше о немалодушии Пушкина, чем знали его современники, и во всем, что знаем, можем только им гордиться, сейчас настал момент распутать эту тягостную путаницу»¹.

Великий выразитель своего времени находился с ним в непростых отношениях; с молодых лет он платил за высшее откровение и проникновение такую тяжкую цену, узнал такие обиды, страдания, мучения, — что мы только полтора века спустя можем приблизительно представить размеры, контуры, границы ада, преодоленного Пушкиным в 1824—1825 годах.

¹ «Вопросы литературы», 1970, № 1, с. 194.



ПУЩИН-ПУШКИН



2608
Karta
Cin
Hwa
Hwa
Oo
Bun

что так долго откладывалось давнишнее обещание поговорить с вами на бумаге об Александре Пушкине, как, бывало, говаривали мы об нем при первых наших встречах в доме Бронникова. Прошу терпеливо и снисходительно слушать немудрый мой рассказ»¹.

Первая же фраза: «Как быть!» — относится к числу очень популярных среди друзей «пушкинских словечек». «Как быть», — восклицает Пущин, узнав о смерти одного из старых товарищей по Сибири декабриста Вольфа. — «Как быть. Грустно переживать друзей, но часовой не должен сходить с своего поста, пока нет смены...»²

Первым строкам вступительного письма предшествует большая и сложная предыстория, которая очень важна для нашего рассказа, потому что без нее не понять многого в Пущине, даже в Пушкине. И мы из 1850-х годов отступим в главные для нашего повествования 1820-е.

В СИБИРЬ

История пущинских записок начинается буквально в первые дни, если не часы, после восстания 14 декабря.

Прибыв в столицу за несколько дней до восстания. Пущин активно действует на Сенатской площади и, по возвращении домой, находит в полушубке следы картечи.

Арестованный только через трое суток, 17 декабря 1825 года, декабрист, как известно, успел распорядиться своими бумагами: часть была сожжена (в том числе лицейский дневник, о котором Пущин позже очень сожалел³); другие рукописи были сложены в специальный портфель и тридцать один год спустя дождались своего владельца. В портфеле были разнообразные лицейские, в том числе и пушкинские, материалы, а также одна из редакций декабристской конституции, сочиненной Никитой Муравьевым (с пометами на полях нескольких членов тайного общества).

История перемещений «пущинского портфеля» из рук в руки в различных работах представлялась неточно: например, неоднократно говорилось о том, что И. И. Пущин передал рукописи П. А. Вяземскому, в то время как Вя-

¹ Пущин, с. 41.

² Там же, с. 283.

³ Там же, с. 41.

земского в декабре 1825 года не было в Петербурге (он жил в Москве в своем подмосковном имении). Между тем истинная последовательность событий представляет интерес, свидетельствует о силе лицейской взаимопомощи в те суровые и тяжкие дни, конечно, соотносится и с темой «Пушкин — Пушкин», и с предысторией будущих записок декабриста.

К Вяземскому портфель действительно попал, но шестнадцать лет спустя, в 1841 году, от Михаила Ивановича Пуштина: брат декабриста, сам побывавший в сибирской и кавказской ссылках, получив право на въезд в Петербург, хотел оставить потаенные бумаги в максимально надежном месте (Вяземский к этому времени занимает высокий пост, позже сделается товарищем министра народного просвещения). Михаил Пуштин за некоторое время до этого получил портфель от Е. А. Энгельгардта. Сохранение пуштинских рукописей у бывшего лицейского директора было совершенно естественным: вполне лояльный к властям, он мог не опасаться налета и обыска; в то же время отношение старого педагога к своему любимцу — «дорогому Жанно» было самым дружественным: имя Ивана Пуштина Энгельгардт занес на «лицейскую стену» своей квартиры — среди самых дорогих и близких учеников¹. В течение всего сибирского тридцатилетия Пуштин со своим директором регулярно переписывался...

По всей видимости, заветный портфель попал к Егору Антоновичу сразу же после восстания — 14 или 15 декабря 1825 года. Декабрист, вероятно, посетил Энгельгардта уже вечером рокового дня (перед тем или после того, как ненадолго встретился на квартире Рылеева с несколькими участниками утреннего восстания). В пользу этого предположения говорит одно из писем Пуштина с каторги, посланное лицейскому директору с оказией из Иркутска 14 декабря 1827 года: «Вот два года, любезнейший и почтеннейший друг Егор Антонович, что я в последний раз

¹ В письме к Пушину, сочинявшемуся в несколько приемов и завершеном 14 декабря 1841 г., Энгельгардт сетует, что «на лицейской моей стене <...> уже под крестом: Корсаков, Дельвиг, Есаков, Саврасов, *Вольховский*, да неписанных <на стену> — Пушкин, Илличевский, Костенский, Раевский — и из прочих курсов 21, а всего 30» (ПД, ф. 244, оп. 25, № 179, л. 18 об.). Любопытен перечень наиболее любимых (имя Вольховского подчеркнуто!); прохладные отношения Пушкина и Энгельгардта (факт, известный по запискам Пуштина) подтверждаются отсутствием имени поэта на упомянутой стене.

видел вас <...>. Душевно жалею, что не удалось мне после приговора обнять вас и верных друзей моих, которых прошу вас обнять: называть их не нужно — вы их знаете; надеюсь, что расстояние 7 тысяч верст не разлучит сердец наших.

Я часто вспоминаю слова ваши, что не трудно жить, когда хорошо, а надобно быть довольным, когда плохо»¹.

Если воспринимать пушкинское «вот два года» буквально — тогда в письме говорится о встрече, происходившей именно 14 декабря. Слова Энгельгардта о том, что «не трудно жить, когда хорошо, а надобно быть довольным, когда плохо» — звучали бы в тот вечер естественным напутствием ученику, которого ждут крепость и каторга; душевный привет верным лицейским друзьям предполагает уже доказанную, испытанную их верность обреченному товарищу. В числе друзей, которых «называть не нужно», по всей вероятности, был А. М. Горчаков, чьи действия в те страшные декабрьские дни могут быть соотнесены с энгельгардтовскими: существует несколько свидетельств о попытке Горчакова — лицеиста, дипломата (приехавшего для лечения из Англии), будущего канцлера — спасти Пущина; Е. И. Якушкин, в 1850-е годы один из самых близких к декабристу людей, записал, несомненно с его слов, следующий рассказ:

«Рано утром, 15 декабря, к Пущину приехал его лицейский товарищ князь Горчаков. Он привез ему заграничный паспорт и умолял его ехать немедленно за границу, обещаясь доставить его на иностранный корабль, готовый к отплытию. Пущин не согласился уехать; он считал постыдным избавиться бегством от той участи, которая ожидает других членов общества: действуя с ними вместе, он хотел разделить и их судьбу»².

В словах Евгения Якушкина (опубликованных впервые в 1881 году) не следует искать буквальной точности. Например, корабли в такую зимнюю пору не шли, — и, вероятно, речь просто — о бегстве из Петербурга, чтобы в каком-нибудь другом порту сесть на корабль. Возможно также, что встреча была не утром 15-го, а еще 14 декабря.

¹ Пущин, с. 107.

² Т. Г. Цявловская. Автограф стихотворения «К морю». — Сб.: «Пушкин. Исследования и материалы», т. I. М.—Л., Изд-во АН СССР, 1956, с. 195.

О том, что Горчаков пришел выручать лицейского товарища, знал и декабрист П. Н. Свистунов¹.

Прощание с директором и разговор с Горчаковым могли произойти в одно время и в одном месте: вполне вероятно, что к Энгельгардту после присяги во дворце явился Горчаков, очень почитавший своего наставника...

Если так, то в сумерках 14 декабря происходит примечательная лицейская встреча — *эпизод к 19 октября*.

Тут-то, возможно, Энгельгардт и сказал, что не трудно жить, когда хорошо, а надобно быть довольным, когда плохо. Здесь-то Горчаков и мог предложить паспорт, а Пущин — отказаться...

Наиболее вероятная последовательность исторических перемещений «лицейского портфеля» в 1825—1857 годах: *Иван Пущин — Энгельгардт — Михаил Пущин — Вяземский — Иван Пущин*.

В течение этого тридцатилетия И. И. Пущин приближался (сам того не подозревая) к своим будущим запискам и многими другими нелегкими путями.

Осужденный по первому разряду (смертная казнь, замененная многолетней каторгой за самые активные действия перед и во время 14 декабря), Пущин, после двадцатимесячного заключения в Петропавловской и Шлиссельбургской крепостях, был отправлен в Читу, куда прибыл в начале 1828 года.

«Что делалось с Пушкиным в эти годы моего странствования по разным мытарствам, я решительно не знаю; знаю только и глубоко чувствую, что Пушкин первый встретил меня в Сибири задушевым словом»². Александра Григорьевна Муравьева, жена декабриста Никиты Муравьева, в первый же день приезда Пущина, 5 января 1828 года, передала ему сквозь частокол текст послания Пушкина «Мой первый друг, мой друг бесценный...», написанного 13 декабря 1826 года — через год, без одного дня, после восстания на Сенатской площади, когда Пущин еще был в Шлиссельбурге (стихи были вручены уезжавшей жене декабриста 16 января 1827 года).

Послание Пушкина, очевидно, положило начало той тетради «заветных сокровищ», которую Пущин с немалой опасностью для себя вел в Сибири и где уже в известном

¹ Из неопубликованной переписки Свистунова. Сведениями о ней автор обязан Т. Г. Цявловской.

² Пущин, с. 84.

смысле начинались его мемуары. Тогда же, мы угадываем, начинались и «разговоры о Пушкине».

Число людей, хорошо знавших в прежней жизни Александра Сергеевича, было на каторге, в Чите и Петровском заводе, довольно велико: Никита Муравьев, Давыдов, Сергей и Мария Волконские, Якушкин, Лунин... Кроме того, и лично не знавшие Пушкина, например, Горбачевский, принесли с воли отголоски разных старых мыслей, суждений, слухов, верных или сомнительных. Поэтому без всякой претензии на полноту списка, но сознавая важность этого перечня для дальнейшего рассказа, вычисляем:

5 января 1828 года и в следующие дни. Разговор Пуци-на о Пушкине с Александринвой Муравьевой (несколько слов через частокол) и с товарищами по тюрьме («Отрадно отозвался во мне голос Пушкина! <...>. Пушкину, верно, тогда не раз икнулось!»).

Тогда же. Разговоры с другими декабристами по поводу прибывшего послания «Во глубине сибирских руд...» — что входит в предысторию «Ответа» Одоевского («Струн вещей пламенные звуки...»). К этой теме мы еще вернемся.

Другой отклик на живой привет от Пушкина — в записках Якушкина:

«В 27 году, когда он <Пушкин> пришел проститься с А. Г. Муравьевой, ехавшей в Сибирь к своему мужу Никите, он сказал ей: «Я очень понимаю, почему эти господа не хотели принять меня в свое общество; я не стою этой чести»¹.

«Присутствие» Пушкина не без труда — но обнаруживается и в письмах, которые Пуцин получал в то время.

Можно уверенно предположить, что корреспонденцию, пришедшую в течение первого читинского года, 1828-го, Пуцин переплел в отдельный том, как это делал позже².

¹ Якушкин, с. 43.

² Самая обширная публикация пуцинских писем вошла в издание: И. Пуцин. Записки о Пушкине. Письма (1956). По подсчетам составителя и редактора этой книги, в нее попала примерно половина выявленных посланий декабриста. Письма, полностью или частично не вошедшие в данное издание, естественно, приводятся со ссылками на архивные фонды.

О значении и местонахождении писем Пуци-на к Пушкину см. обзор: С. В. Житомирская. Архив И. И. Пуци-на. — «Записки Отдела рукописей Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина», вып. 20, М., 1958.

Переписка 1828-го, к сожалению, не обнаруживается, но сохранившееся собрание за 1829 год уже позволяет судить о многом¹.

Хотя основную часть корреспонденции, получаемой Пуцциным, представляют письма его многочисленных братьев и сестер, толкующих по понятным причинам преимущественно о делах семейных, скорбящих об участии Ивана Ивановича (и другого брата — декабриста Михаила Ивановича, сражающегося рядовым на Кавказе);² хотя только с помощью редчайшей оказии Пуццин мог писать самолично и с достаточной открытостью (обычным порядком за каторжника пишут жены декабристов Трубецкая, Волконская и Нарышкина) — при всем при этом живой лицейско-пушкинский мотив нет-нет а прорывается и здесь. Младший брат Николай Иванович, — главный «поставщик» новых книг и журналов, за которыми декабристы в Забайкалье следят внимательно и постоянно. 14 января 1829 года в Читу идет из Петербурга письмо (и 26 февраля дойдет!), где Николай Пуццин извиняется, что не выполнил обещания «доставить несколько альманахов; теперь это «пескочко» заключается в одних «Северных цветах»... <...>. Они не могли раньше к тебе отправиться, ибо только 5-го числа этого месяца вышли в продажу».

Из письма от 12 февраля 1829 года видно, что Иван Пуццин просит очень много книг, а Николай пока что обещает выслать «Невский альманах».

В мае 1829 года сестра Екатерина Ивановна Набокова в Москве пускает в ход все связи, чтобы достать требуемые братом сочинения Мицкевича.

2 июня Николай Пуццин посылает двенадцатый, последний, том Карамзина:

«Может быть, тебе не понравится, имея 12-й том, не

¹ ГИМ, Щукинская коллекция (Щ. св. 701/1). Далее в тексте будут указываться лишь даты писем 1829 г., извлеченных из этого дела.

² Так, сестра Мария 6 мая 1829 г., после дня рождения и именин брата, пишет ему: «Бесполезно повторять, каково всем нам, бесценный друг Иван, при воспоминаниях о тебе, особенно в праздничные дни, в которые включить можно и день твоего рождения и именины, хотя и собираются душевные друзья, но царствует беспредельная скорбь и всякий как будто боится коснуться главного предмета».

иметь прежних томов; но они, вероятно, довольно врезались в твоей памяти»¹.

Среди почты 1829 года, правда, нет писем лицейского директора Е. А. Энгельгардта, но 21 октября сестра сообщает, что «г-н Энгельгардт нас навещал, как всегда добрый и любезный». Из лицейских же одноклассников, после пушкинского послания «Мой первый друг...», вторым не испугался написать в «каторжные норы» Павел Мясоедов, вообще один из наиболее неразвитых, недалеких лицейстов, постоянный объект лицейских насмешек, но при том, как и другие, верный старинному братству. 14 марта 1830 года Пущин писал Энгельгардту: «Скажите что-нибудь о наших чугуниках², об иных я кой-что знаю из газет и по письмам сестер, но этого для меня как-то мало. Вообразите, что от Мясоедова получил год тому назад письмо — признаюсь, никогда не ожидал, но тем не менее был очень рад.

Шепните мой дружеский поклон тем, кто не боится услышать голос знакомого из-за Байкала»³. Действительно, годом раньше, 17 января 1829 года Е. И. Набокова, особенно сильно горюющая в письмах об участии брата Ивана, напишет из Тулы:

«Мой бесценный добрый мой Жанно — я благодарила от всего сердца несравненную Елизавету Петровну <Нарышкину>, получив письмо от 10 ноября — да наградит ее милостивый бог за утешение, которое она мне доставила <...>».

Вчера, дорогой Жанно, имела я удовольствие видеть у себя Мясоедова... Слышать его было мне очень приятно, вспоминать старину — то счастливое время, как мы ездили в Царское Село — всех фигур, которых там видела. Он очень любезен и главное его достоинство, что был тебе товарищ и братски тебя любит <...>. Мне невероятно, чтоб в Туле мог быть человек такого рода — человек, воспитанный в Лицее; так жаль, что поздно его узнали — видеть его так мне отрадно, потому что один разговор, хоть и раздирает душу, но вместе и лечит ее».

¹ Двадцать восемь лет спустя (24 сентября 1857 г.) Пущин пишет жене: «Ясно утро — ясна душа моя! — сказал Карамзин. Я могу это повторить, хотя не Карамзин и не хочу им быть» (ГБЛ, ф. 319 (Фонвизинных), оп. 3, № 32, л. 29).

² Все выпускники первого, «пушкинского», курса Лицея получили от директора Е. А. Энгельгардта чугунные кольца — знак неразрушимой дружбы.

³ Пущин, с. 111.

Письмо Мясоедова, о котором Пущин извещал Энгельгардта, пошло в Сибирь вместе с этим посланием Екатерины Ивановны (написано 17 января, получено, судя по помете Пущина, 26 февраля); трогательный лицейский привет — одно из свидетельств дружеского участия, что сохранялось об осужденных на родине.

«Любезный, милый друг мой Иван Иванович, пишу к тебе и сим желал бы выразить, как много сердце мое берет в горе твоим живого участия: может быть, рука моя умела б описать всю силу дружбы и с детства привязанности, кои я к тебе питаю, и перо в сем случае есть дурной доверитель наших чувств — потому и не распространяюсь. В Туле приятный случай познакомил меня или сблизил с М<илостивой> Г<осударыней> сестрицей твоею Катериною Ивановной и с преданным тебе другом Иваном Александровичем;¹ ты, брат Иван, будешь крепким звеном между мною и ими. Бог к тебе милосерд, он наделил тебя такими родными, каких мало я встречал; сколько заметить мог, ты, кажется, есть спутник всех помышлений Екатерины Ивановны, она страдает непрерывно по тебе, как неизменный друг, как нежная сестра; храни здоровье твое и надежды на будущую судьбу <...>

Вчера я был у них и беспрестанный разговор о тебе и воспоминание о минувшем воспитании и о счастливых днях царскосельской жизни нашей — видел я — что, хотя на несколько минут, разговор сей угнал на время ее думу; а я сим вполне утешился <...> уж их так люблю, как самых близких сердцу родных моих: ибо достаточно одного сего, что ты рос со мною, чтобы (сколько я понимаю) заставлять обоих превосходных людей сблизиться со мною.

Порадуй меня, Друг мой, дай знать чрез сию благодетельную Даму, сию примерную в нежности жену², чем могу служить тебе, уведоь, не можно ли тебе чего выслать, прошу тебя, будь откровенен, не откажи мне в сей отраде.

Наши все 29-ть человек лицейских (другого названия я и дать не смею) рассеяны по лицу земли, летом Дельвиг, беспечный сей философ, был у нас с женою, а о других слышу, что все здоровы. Я отец милых мне сыновей — Александра, Константина, Николая, жена моя тебе, как

¹ Генерал И. А. Набоков, муж Е. И. Пущиной.

² Внизу примечание неизвестной рукой: «Это мадам Нарышкина».

брату, кланяется и спрашивает, не нужно ли тебе чего выслать. — Письмо сие я посылаю к тебе в письме Катерины Ивановны; прощай, друг и брат, будь здоров и помни совершенно тебе преданного и любящего крепко

Павла Мясоедова;

я сделался сельским совсем жителем: живу в 12-ти верстах от Тулы».

3 февраля 1829 года Е. И. Набокова извещала брата: «Мясоедова часто вижу — он очень любезен. Хорошо очень говорит, и главное — говорит о том, что мне приятно».

Вскоре в письмах старшей сестры появляются сообщения и об иных, более близких лицеистах.

21 февраля: «Был проездом И. В. Малиновский в Туле, провел с нами день. Как он добр с детьми <...> Могу сказать, что душа моя радовалась, видя его — можешь верить и вообразить, как с ним вспомнили старину — первые минуты свидания были очень тяжелы — добрый человек — как я ему благодарна, что вспомнил нас <...> Дети от него в восхищении — одним словом, это был для меня незабвенный день <...> О, как он тебя любит!»

Малиновский, сын первого директора Лицея, отставной полковник, родственник и приятель многих декабристов. Его сестра Анна Васильевна отправилась в Сибирь за мужем-декабристом Андреем Розеном.

26 февраля 1829 года уже Николай Пущин из Петербурга извещает осужденного брата:

«Презабавно вообразить, что Малиновский уездный предводитель дворянства и вообще помещик, на короткое время сюда приезжает <...>

Был в Царском Селе. Чириков¹, через 15 или 16 лет, как я его видел, нисколько не переменился, только прибавилось седых волос. Зал в Лицее совершенно тот же, каким я его видел, приезжая к тебе: можешь вообразить, бесценный мой Жанно, какие чувства овладели мною при входе в оный».

12 марта:

«На сих днях уехал отсюда Малиновский; он меня познакомил с двумя молодыми людьми — Илличевским и Курфом, с которыми давно хотел увидеться и нигде не случилось встречаться. Стевена никак не могу заполнить к

¹ Сергей Григорьевич Чириков, лицейский учитель рисования и гувернер.

нам, гораздо более меня застенчив. Прощай, бесценный Жанно!»

25 мая 1829 года пишет сестра Анна Ивановна Пущина (по-французски):

«У Суворочки¹ все в порядке, он отзывается о тебе, мой бесценный, всегда с неизменной печалью; Малиновский, возвращаясь, опять встретился с Екатериной в Туле, и это было очень приятно им обоим».

По-видимому, Пущин с осторожностью спрашивал о тех, кто остался на свободе, однако некоторые его вопросы угадываются по ответным репликам родных:

«Данзаса я еще не видела», — пишет сестра Екатерина в конце 1829 года.

Сестра Анна (22 октября, по-французски) сообщает, что другая сестра, Евдокия, случайно познакомилась с «несчастной Рылеевой». «Я же собираюсь уже давно к ней, чтобы объявить насчет долга². Ее дочь в Патриотическом институте».

Московские, петербургские, тульские вести перемежались с кавказскими. Письма от рядового, затем выслужившегося в унтер-офицеры и офицеры Михаила Пущина доходили к брату Ивану через три месяца (письмо от 11 февраля 1829 года получено 11 мая; от 11 марта — 14 июня).

В посланиях с Кавказа мелькают знакомые имена, присоединяются к приветам и пожеланиям приятели из той, додекабрьской жизни — «замешанные» братья Коновницыны, Вольховский, Петр и Павел Бестужевы. Сообщение о гибели в бою Ивана Бурцова, конечно, не могло оставить равнодушным «государственного преступника» Ивана Пущина, которого, еще лицеистом, именно Бурцов ввел в тайное общество.

27 июня 1829 года под непосредственным впечатлением события Михаил Пущин пишет брату:

«Заняли Арзрум, мы с победой туда вошли — поздравляю тебя, любезный брат — будь участником в общей радости».

9 октября:

«Не будет ли по случаю мира и для вас какого облег-

¹ Лицеист Вольховский, член тайных обществ, офицер, позже генерал в Кавказском корпусе.

² Деньги, которые Пущин задолжал Рылееву перед арестом. Этот вопрос будет улажен только тридцать лет спустя (см. ниже).

чения, великие надежды на милость божию, и надеюсь хоть получить прямые известия и опять увидеть почерк твоей руки».

Среди этих тревог, радостей, потерь и надежд (увы, преждевременных — «почерк руки» Ивана Пущина друзья и родственники увидят только десять лет спустя) — естественно появление имени Пушкина.

25 августа 1829 года Михаил Пущин из Кисловодска послал брату (и 29 октября письмо пришло в Читгу) нечто вроде краткого отчета о нескольких месяцах пушкинского путешествия в Арзрум.

«Лицейский твой товарищ Пушкин, который с пикой в руках следил турок перед Арзрумом, по взятии оного возвратился оттуда и приехал ко мне на воды — мы вместе пьем по несколько стаканов кислой воды и по две ванны принимаем в день — разумеется, часто о тебе вспоминаем, — он любит тебя по-старому и надеется, что и ты сохранишь к нему то же чувство»¹.

В том же письме (его неопубликованная часть) М. И. Пущин жаловался, что давно не знает ничего «о своих и о тебе — письма мои все гуляют в Арзруме — не знаю, скоро ль буду оные опять регулярно получать — Вольховский, с которым жил в нынешнем походе, занемог в Арзруме и возвратился лечиться в Тифлис — сегодня я получил от него письмо, он также интересуется о тебе».

Возвращение Пушкина в столицу позволяет Михаилу Пущину передать «живой привет».

В неопубликованных письмах петербургских родственников имя Пушкина встречается 10 ноября 1829 года (в ответ на полученное письмо из Читы от 14 сентября рукою Е. И. Трубецкой):

«Пушкин приехал, — сообщает Анна Пущина, — и я надеюсь, что он придет повидаться с нами и рассказать о Михаиле, вместе с которым он провел некоторое время на водах! Я попрошу у него его сочинения для тебя или для твоих...» Впрочем, благочестивая сестра декабриста тут же поясняет: «Мне было совестно — самой купить и послать <сочинения Пушкина>, мне кажется, что вы не можете такими пустяками заниматься, зато есть книга, которую я пошлю тебе при первом же случае»² (речь

¹ «Пушкинский сборник», кн. 3, с. 323—324. Подлинник в ГИМ, Щ. св. 701/1.

² ГИМ, Щ. св. 701/1 (перевод с французского).

идет о «душеспасительном чтении», которое, впрочем, не вызывало особого любопытства у всегда твердого духом, веселого, ироничного Ивана Пущина).

Через две недели, 24 ноября 1829 года, сестра снова извещала брата:

«Пушкин пришел однажды утром, когда меня не было; поскольку на него очень большой спрос, вряд ли он в ближайшее время повторит свой визит, что меня очень огорчает. Я имею столько вопросов к нему о Михаиле. Он сказал, что Михаил настолько постарел, что ему дают 40 лет. Бедняга!..»¹

Не встретившись с одной из сестер Пущина, поэт поговорил с другими и, вероятно, исполнил просьбу об отправке за Байкал нужных узникам книг.

Таким образом, в начале 1830 года в Читку пришел еще один — препарированный родней, но все же прямой пушкинский привет. Отношения поэта с родственниками Пущина явно не отличаются особенной близостью; кроме приведенных строк, больше в сохранившихся семейных письмах о нем нет упоминаний. Пушкин является Пущину и его товарищам своими, особенными путями: прежде всего потаенными стихами, «Мой первый друг...», «Бог помочь вам...», «Во глубине сибирских руд...», затем новыми своими сочинениями — в прибывавших книгах, журналах; его голос слышен в постоянно звучащих лицейских проявлениях любви и дружества к опальному товарищу. Наконец, изредка в Забайкалье приходит пушкинский привет, переданный через кого-либо из родственников.

«В своеобразной нашей тюрьме, — запишет декабрист, — я следил с любовью за постепенным литературным развитием Пушкина; мы наслаждались всеми его произведениями, являющимися в свет, получая почти все повременные журналы. В письмах родных и Энгельгардта, умевшего найти меня и за Байкалом, я не раз имел о нем некоторые сведения. Бывший наш директор прислал мне его стихи «19 октября 1827 года»:

Бог помощь вам, друзья мой,
В заботах жизни, царской службы,
И на пирах разгульной дружбы,
И в сладких таинствах любви!

¹ ГИМ, Из св. 701/1 (перевод с французского). М. И. Пущину было в это время двадцать девять лет.

Бог помощь вам, друзья мои,
И в счастье, и в житейском горе,
В стране чужой, в пустынном море
И в темных пропастях земли.

И в эту годовщину в кругу товарищей-друзей Пушкин вспомнил меня и Вильгельма, заживо погребенных, которых они не досчитывали на лицейской сходке¹.

Итак, в конце 1820-х годов «пушкинские разговоры» на читинской каторге представляются теплыми, благожелательными. Пуцун и его друзья видят в поэте сочувствующего единомышленника. Однако современный исследователь не может не обратить внимания на то обстоятельство, что все наиболее яркие, известнейшие примеры поэтического общения поэта с декабристами («Во глубине сибирских руд...», «Мой первый друг, мой друг бесценный...», «Бог помощь вам...», «Арион») хронологически укладываются в первые год-два после вынесения судебного приговора по делу декабристов. 12 июля 1829 года П. А. Муханов, посылая Вяземскому материалы для альманаха «Зарница», скрыто цитирует пушкинское послание «В Сибирь»: «Вот стихи, писанные под небом гранитным и в каторжных норах»².

А позже?

Почему обрывается или, по крайней мере, делается невидимой для потомков эта замечательная линия литературной связи поэта с декабристами?

Подробный разбор темы требует большого нарушения хронологических рамок данной работы. Здесь отметим только, что известную роль, надо думать, сыграли пушкинские «Стансы» («В надежде славы и добра...»: написанные в 1826 году, они были опубликованы в начале 1828 года³), а также послание «Друзьям» («Нет, я не льстец...»; 1828) — которое не было напечатано, но на рукописное распространение которого Николай I, как известно, дал прямую санкцию; во второй половине 1828 года эти стихи должны были попасть к читинскому сообществу декабристов. На столь громадном расстоянии, при такой оторван-

¹ Пуцун, с. 85—86. Приводимые Пуциным строки не совсем совпадают с «каноническим», принятым текстом стихов (см.: II, 80).

² ЛН, т. 60, кн. 1, с. 177. Публикация И. С. Зильберштейна.

³ См.: Б. С. Мейлах. Пушкин и декабристы после 1825 года.— Сб.: «Пушкин. Исследования и материалы», т. II. М., Изд-во АН СССР, 1958, с. 212.

ности от столиц декабристам было непросто соединить прежние послания с этими, объективно понять всю многосложность литературной и политической позиции поэта. Разумеется, контакты Пушкина с декабристской каторгой продолжаются, но документальных свидетельств, относящихся к 1830—1837 годам, сохранилось сравнительно немного.

Поводом для пушкинских разговоров в Петровском заводе было прибытие новых стихов и прозы, а также известия (из писем и рассказов редких путешественников) о семейной и общественной жизни Пушкина. Впрочем, многого, относящегося к потаенным контактам поэта и байкальских каторжан, мы, очевидно, не знаем. Впечатляющий пример тому — недавно установленный факт: присылка в Петровский завод (в 1835 или 1836 году) принадлежавшей поэту книги А. П. Степанова «Постоялый двор»;¹ возможно, что книга первоначально предназначалась для И. И. Пущина². Ведь для самого Пущина не ослабевали — пожалуй, делались все дороже — лицейские воспоминания и традиции. «Жаль, — писал ему Энгельгардт, — если б в бурунах мирских этот день (19 октября) исчез; не худо, хоть один раз в году, несколько опять лицействовать, облицейтаться, сердце дружбою отогреть»³.

Любопытнейшим документом, хоть и не говорящим прямо о Пушкине, но косвенно очень важным для «пушкинско-пушкинской» темы, является неопубликованное письмо декабриста к Е. А. Энгельгардту — из Петровского завода 7 февраля 1836 года. Оно написано рукою М. Н. Волконской, исполнявшей в этом случае роль добровольного секретаря⁴. Послание начинается строками:

«Из письма Анпете Вы давно узнали, что я получил *«Шесть лет»* еще в декабре месяце; Вы видели мою благодарность, повторять ее не буду. Вы давно меня знаете...»

Как мы догадываемся, лицейский директор в конце 1835 года присылает строки и ноты, взволновавшие узника-лицейста: *«Шесть лет»* — это знаменитая песня, сочи-

¹ См.: Н. А. Дилигенская. Загадка старой книги. — «Наука и жизнь», 1974, № 5, с. 112.

² Позже она принадлежала Матвею Муравьеву-Апостолу; однако этого декабриста не было на Петровской каторге. Он мог получить книгу от друзей только на поселении в Ялutorовске, где вместе с ним оказался И. И. Пущин.

³ ГБЛ, ф. 243, к. 4, № 39.

⁴ ПД, ф. 244, оп. 25, № 177.

ненная Дельвигом по случаю окончания Лицея¹. Первая строчка этой песни, исполнявшейся на всех лицейских встречах: «Шесть лет промчались как мечтанье» (подразумеваются, конечно, те незабываемые шесть лет, с 1811-го по 1817-й, которые они провели все вместе).

Несколько лет назад Э. Найдич заметил на одном из писем Ф. Матюшкина, посланном друзьям с другого конца мира, сургучную печать, в центре которой находились две пожимающие друг друга руки, символ лицейского союза, а по краям ясно прочитывались слова из только что названной лицейской песни: «Судьба на вечную разлуку, быть может, породнила нас...»²

Пушкин включил в «19 октября» (1825) чуть измененные строки из этого лицейского гимна —

...на долгую разлуку
Нас тайный рок, быть может, осудил!

В письме, на которое отвечает декабрист, Энгельгардт, вероятно, сожалел, что Пущину удастся лишь *прочитать* текст лицейской песни, но не услышать ее полного музыкального исполнения, ибо опытные лицейские запевалы находятся в Петербурге, Москве, то есть в другой части света.

Пущин возражает:

«Напрасно Вы думаете, что я не мог услышать тех напевов, которые некогда соединяли нас. Добрые мои товарищи нашли возможность доставить мне приятные минуты. Они не постыжались разобрать всю музыку и спели. Н. Крюков заменил Малиновского и совершенно превзошел его искусством и голосом. Яковлев нашел соперника в Тютчеве и Свистунове.

Вы спросите, где же взялись сопрано и альт? На это скромность доброго моего секретаря не позволяет мне сказать то, что бы я желал и что, поистине, я принимаю за не заслуженное мною внимание» (далее по-французски Мария Волконская *от себя*: «Как видите, речь идет обо мне и Камилле Ивашевой, и должна Вас заверить, что это

¹ Очевидно, было прислано печатное издание: «Шесть лет. Праздничная песнь. Воспитанники Императорского лицея в Царском Селе в 1817 году. Слова воспитанника барона Дельвига. Музыка В. Тепера». СПб., 1835.

² Э. Найдич. Стихотворение «19 октября 1827». — «Литературный архив», вып. 3. 1951, с. 23.

делалось с живым удовольствием»). Затем снова Пушкин: «Вы согласитесь, почтенный друг, что эти звуки здесь имели для меня своего рода торжественность; настоящее с прошедшим необыкновенным образом сливалось; согласитесь также, что тюрьма имеет свою поэзию, счастлив тот, кто ее понимает — Вы скажете моим старым товарищам лицейским, что мысль об них всегда мне близка и что десять лет разлуки, а с иными и более, несколько не изменили чувств к ним. Я не разлучаюсь, вопреки обстоятельствам, с теми, которые верны своему призванию и прежней нашей дружбе. Вы лучше всякого другого можете судить об искренности такой привязанности. Кто, как Вы, после стольких лет вспомнит человека, которому мимоходом сделал столько добра, тот не понимает, чтобы время имело влияние на чувства, которые однажды потрясали душу. Я более Вас могу ценить это постоянство сердца, я окружен многими, которых оставили и близкие и родные; они вместе со мною наслаждаются Вашими письмами, и чувства Ваши должны быть очень истинны, чтобы ими, несмотря на собственное горе, доставить утешение и некоторым образом помирить с человечеством. Говоря Вам правду, я как будто упрекаю других, но это невольное чувство участия к другим при мысли Вашей дружбы ко мне».

Лицейская ситуация, дружество, воспоминания воссозданы с помощью друзей, никогда не бывших в Лицее, — за тысячи верст от Царского Села, за цепью охраны и казематскими стенами.

Пушкин еще жил в то время и, без сомнения, узнал об этой истории от Энгельгардта или кого-нибудь из лицейских...

ИЗ СИБИРИ..

Таким образом, суммируя, систематизируя довольно скудные факты о связях Пушкин — декабристы после 14 декабря, мы с трудом, в тумане, но все же улавливаем известную двойственность декабристских отзывов: одобрение, восхищение, понимание — и настороженность, неприятие, отрицание.

Гениальные стихи и проза последнего десятилетия пушкинской жизни, конечно, находили отклик в душах читинских и петровских узников — но удаленность, разобщенность многому мешают. Пушкин все же остается для

узников преимущественно поэтом «их времени»; они, видимо, больше всего ценят и помнят написанное до 1825 года. Отсюда определенная противоречивость оценок: из недавно опубликованных писем М. Н. Волконской видно, что в Петровском заводе в 1831 году восхищаются «Борисом Годуновым», но притом жена декабриста не находила в этом сочинении «той поэзии, которая очаровывала меня прежде, той неподражаемой гармонии, как ни велика сила его нынешнего жанра». Мало оцененные в то время современниками «Повести Белкина» в феврале 1832 года рассматриваются на каторге как «настоящее событие. Нет ничего привлекательнее и гармоничнее этой прозы. Все в ней картина. Он открыл новые пути нашим писателям»¹.

Малый отклик в письмах и сочинениях декабристов на пушкинские последние песни, конечно, объясняется не только и не столько конспиративными соображениями и боязнью нанести ущерб похвалой.

Скупые отклики декабристов-литераторов полярны. Кюхельбекер, еще до прибытия в Сибирь, в своих крепостях-тюрьмах чувствует и понимает значение лучших пушкинских творений последних лет. Пожалуй, никто из декабристов так верно и глубоко не оценивал великого поэта в последнее десятилетие его жизни. Сказалась и поэтическая натура Кюхли, и его невольная изолированность от коллективного суждения петровских каторжан (он десять лет оторван от товарищей!). В то же время Александр Бестужев на Кавказе, горячо оплакивая Пушкина как человека, друга, в основном не принимает новую манеру Пушкина-реалиста «с позиций романтика Марлинского»².

Это же обстоятельство, конечно, влияло и на оценки Пушкина другими «старыми почитателями».

Но те, которым в дружной встрече
Я строфы первые читал...
Иных уж нет, а те далече...

¹ М. П. Султан-Шах. М. Н. Волконская о Пушкине.— Сб.: «Пушкин. Исследования и материалы», т. I. М.—Л., 1956, с. 266—267; Т. Г. Цявловская. Мария Волконская и Пушкин.— «Прометей», кн. I. М., 1966, с. 68—69.

² В январе 1831 г. Бестужев называет Пушкина писателем, «заблудившимся из XVIII века в наш»; в 1833-м находит, что Пушкин «спит на лаврах детского успеха» и т. п. (см.: Б. С. Мейлах. Пушкин и декабристы после 1825 года, с. 212—213).

Пушкинское «далече» многогранно. Всю необыкновенную сложность художественного и политического взгляда Пушкина друзья не могли постигнуть из тюрьмы за 7000 верст.

Зато часть декабристов напряженно следила за пребыванием поэта при дворе и болезненно преувеличивала степень его сближения с верховной властью.

Если даже близкий человек, Пущин, признает:

«Впоследствии узнал я об его женитьбе и камер-юнкерстве; и то и другое как-то худо укладывалось во мне: я не умел представить себе Пушкина семьянином и царедворцем»¹, — можно догадаться, что суждения других заключенных были еще более резкими. Мы не можем пройти и мимо того факта, что Лунин в своих замечательных сочинениях 1836—1840 годов («Письма из Сибири», «Разбор Донесения следственной комиссии», «Взгляд на тайное общество в России» и др.) даже не упоминает о поэзии Пушкина как существеннейшем факте русской мысли и культуры; хотя основная часть лунинских сочинений составлялась уже после гибели поэта, она, несомненно, отразила некоторые воззрения, выработавшиеся прежде... Неукротимый декабрист, искавший в «замерзшей» российской действительности 1830-х годов проблески жизни, деятельности, приметы истинности своих воззрений, — он не понял, не почувствовал того, что было записано позже другим современником (между прочим, тоже не прощавшим Пушкину его стихов, обращенных к царю): «Только звонкая и широкая песнь Пушкина раздавалась в долинах рабства и мучений <...> Поэзия Пушкина была залогом и утешением. Поэты, живущие во времена безнадежности и упадка, не слагают таких песен — они несколько не подходят к похоронам»².

Поскольку мы изучаем отношение к Пушкину Пущина и его товарищей — коснемся еще одного важного, но неясного вопроса.

Дошел ли к поэту знаменитый «Ответ» декабристов («Струн вещей пламенные звуки...»), написанный А. И. Одоевским в 1827 или 1828 году? Разумеется, прямых свидетельств не сохранилось, и всякое решение останется гипотезой... И все же — имеются серьезные доводы, что Пущин не узнал «Ответа».

¹ Пущин, с. 86.

² А. И. Герцен. Собр. соч. в 30-ти томах, т. VII, с. 214—215.

Во-первых, отсутствие какой бы то ни было, даже замаскированной, реакции поэта на стихотворное обращение из каторжных нор: трудно представить горячего, отзывчивого Пушкина, который бы просто молча принял такие строки. (Мы оставляем в стороне очень сложный, важный и неизученный вопрос о сходстве и различии обоих посланий, об «идеологических установках» Пушкина и Одоевского: это тема для особого исследования.)

Во-вторых, стихотворение было крайне опасным; чего стоит двукратный прямой выпад против царей («смеемся над царями», «свобода... нагрянет на царей»). В случае обнаружения автору и распространителям грозили страшные кары, вплоть до казни. Недаром полный текст стихотворения мог быть напечатан в России только в 1910 году (пушкинское послание «Во глубине сибирских руд...» — в 1874 году). Пересылка «Ответа» в европейскую часть России представляла великую угрозу и для посылавшего, и для посредника, и для адресата. К тому же, как известно, в биографии А. И. Одоевского периоды смелых взлетов сменялись душевным упадком, когда он обращался к властям с покаянием, вызывая сильное неудовольствие товарищей¹. Посылая некоторые свои сочинения для анонимной публикации в столицах, Одоевский, по всей вероятности, не рисковал присылкой «Ответа»².

Конечно, знавшие «Ответ» декабристы могли сообщить его пушкинскому кругу, попадая из Сибири на Кавказ. Однако первая партия таких ссыльных, где находился автор «Ответа» Одоевский и несколько его осведомленных товарищей — Лорер, Назимов, Розен, Нарышкин, Лихарев, Фохт, — пересекла Уральский хребет с востока на запад в июне 1837 года... Впрочем, и после этой даты стихотворный ответ декабристов Пушкину долгое время, видимо, совершенно не распространялся.

В главных архивохранилищах Москвы, Ленинграда, Киева, Иркутска почти нет списков «Ответа», относящихся к 1830—1840-м годам. Исключение — редкие записи стихов в тетрадах некоторых декабристов; так, выйдя на

¹ См. об этом замечательное письмо Ф. Б. Вольфа М. А. и Н. Д. Фонвизиным от 11 ноября 1836 г. — Сб.: «В сердцах отечества сынов». Иркутск, Восточно-сибирское книжное издательство, 1975, с. 281.

² См.: ЛН, т. 60, кн. 1, с. 177, а также: В. Э. Вадуро, М. И. Гиллельсон. Сквозь умственные плотины. М., «Книга», 1972, с. 25—31.

поселение, Пушкин в начале 1840-х годов составляет знаменитую «тетрадь заветных сокровищ», где нашли свое место и «Послание в Сибирь» и «Ответ». Прежде чем строки Одоевского достигнут Москвы и Петербурга — пройдет, однако, очень много времени.

Как известно, первая публикация запретных стихов в «Полярной звезде» Герцена (кн. II, 1856) основывалась на огромной коллекции такой литературы, сохранившейся прежде всего у Кетчера и других осведомленных московских друзей.

В этой коллекции имеется пушкинское «Послание в Сибирь», однако отсутствует декабристский «Ответ». Только через год с лишним, в IV книге другого издания Вольной типографии «Голоса из России» (август 1857 года) появляется «Ответ на послание Пушкина» — без имени автора, с весьма неточными примечаниями¹.

И, наконец, отправке стихотворного ответа (Одоевским или кем-либо из его друзей) должно было помешать как раз то известное охлаждение, непонимание, неприятие политической позиции позднего Пушкина, которое наблюдается среди каторжан Петровского завода.

Мы столь подробно разобрали эту историю, так как нам глубоко небезразлично — получил или не получил Пушкин тот «Ответ», который для нас теперь неразрывен с его посланием. Однако поздние представления довольно часто расходятся с ранними реалиями.

В общем, немалая отдаленность и отчужденность Пушкина от небольшой, но столь исторически значительной общественной группы, как декабристы-каторжане — еще одно печальное подтверждение одиночества, недостатка друзей и единомышленников, того «отсутствия воздуха», что испытывал Пушкин в последние годы.

В исторической перспективе было, однако, новое сближение, взаимное проникновение двух миров — декабристского, пушкинского. В этом сближении роль Пушкина и его воспоминаний — огромна.

¹ «Голоса из России», кн. IV. Лондон, 1857, с. 40. Комментарии см.: там же (факсимильное издание), кн. X. М., «Наука», 1975, с. 159—165.

«МЫ БЛИЗИМСЯ К НАЧАЛУ СВОЕМУ»

О Пущин мой...

Пушкин, 1825

Пушкин мой

Пущин, 1858

Приходит 1837 год. Гибель Пушкина, а также распространение некоторых неофициальных и полуофициальных документов об этом событии (письма Жуковского, Спасского, Даля), односторонне подчеркивающие христианское примирение поэта с царем, — все это вызывает декабристские споры, прежде всего среди узников Петровского завода (к тому времени там сидели только осужденные по суровейшему «первому разряду»).

Суть обсуждения находим у Пущина:

«Весть эта электрической искрой сообщилась в тюрьме — во всех кружках только и речи было, что о смерти Пушкина — об общей нашей потере, но в итоге выходило одно: что его не стало и что не воротить его! <...>

Размышляя тогда и теперь очень часто о ранней смерти друга, не раз я задавал себе вопрос: «Что было бы с Пушкиным, если бы привлек его в наш союз и если бы пришло ему испытать жизнь, совершенно иную от той, которая пала на его долю?»¹

Присмотревшись к этим строкам, замечаем, между прочим, существование в каземате различных «кружков» и расходящихся мнений, сходявшихся, однако, в печальном итоге.

Смерть поэта снимает сдержанность суждений о его роли среди декабристских тайных обществ.

Пущин в своих записках не приводит никаких мнений, кроме своего:

¹ Пущин, с. 87.

«Положительно, сибирская жизнь, та, на которую впоследствии мы были обречены в течение тридцати лет, если б и не вовсе иссушила его могучий талант, то далеко не дала бы ему возможности достичь того развития, которое, к несчастью, и в другой сфере жизни несвоевременно было прервано»¹.

Однако мы знаем, что это суждение было не единственным.

Сергей Григорьевич Волконский думал иначе, полагая, что принятие поэта в тайное общество спасло бы его и сохранило от пули убийцы: «Он был бы жив, и в Сибири его поэзия стала бы на новый путь»².

Итак, вторая точка зрения — хотя и не столь трагически проникновенная, как пушкинская, но тоже любовная, сочувствующая.

Мы угадываем и третий, самый суровый тип посмертных оценок великого поэта; очевидно, именно к этому времени относятся некоторые беседы Пушкина с Иваном Горбачевским, о чем уже говорилось в предшествующей главе.

Исходной точкой разговора были как раз письма Жуковского, Даля, Спасского о предсмертном примирении Пушкина с царем. В этом член Общества соединенных славян видел подтверждение прежних скептических мнений о Пушкине Муравьева-Апостола и Бестужева-Рюмина (впрочем, и Пушкина — одного из наиболее почитаемых людей — Горбачевский не считал достаточно последовательным революционером: «Способен ли он кверху дном все перевернуть? Нет и нет, — ему надобны революции деланные, чтоб были на розовой воде»)³.

Пушкин, видимо, не позволял обвинениям Горбачевского перейти известную грань, но кое с чем из его критики соглашался; отзвук этого согласия мы находим в письме, пошедшем три года спустя к Ивану Малиновскому: «Кажется, если бы при мне должна была случиться несчастная его история и если б я был на месте К. Данзаса, то роковая пуля встретила бы мою грудь: я бы нашел средство сохранить поэта-товарища, достояние России, хотя не всем его стихам поклоняюсь; ты догадываешься, про что

¹ Пушкин, с. 87.

² ЛН, т. 58, с. 163.

³ И. И. Горбачевский. Записки. Письма, с. 175.

я хочу сказать; он минутно забывал свое назначение и все это после нашей разлуки...»¹

И все же Иван Пущин на каторге и на поселении был одним из главных, если не главным, защитником поэта от некоторых несправедливых оценок. Ситуация, при которой Пущин доказывал неправоту того или иного собеседника по отношению к Пушкину, — наверное, была тогда и позже довольно частой: близкий сибирский друг Пущина Я. Д. Казимирский в одном из писем шутивно просил пощады («grâce! grâce!») за «выпад» в адрес погибшего поэта². Это «grâce!» («пощады!») мы должны будем помнить, говоря об истории пуштинских мемуаров. Там и любовь к Пушкину, и дружба, и размышление о его значении — но в то же время *полускрытый спор*, перенесение на бумагу тех аргументов о пути Пушкина, которые приводились в опровержение строгих критиков вроде Горбачевского. Этот элемент *защиты* Пушкина нельзя недооценивать.

И тут же, сразу, заметим и другое. Мы привели несколько примеров, безусловно, происходивших разговоров, в ходе которых Пущину приходилось объяснять, рассказывать о поэте товарищам по заключению.

Прибавим к этим разговорам обсуждение вопроса с самым близким ему человеком — Иваном Якушкиным, с которым оказался вместе и на Ялуторовском поселении; прибавим последнюю встречу Пущина с Кюхельбекером и вообразим пушкинскую часть их разговора; рассудив обо всем этом, поймем, почему Пущин, писавший свои мемуары в 1858 году, то есть много лет спустя, так живо представил прошедшее.

Основная версия этих воспоминаний создавалась устно на каторге и в ссылке еще в то время, когда Пушкин был жив, а затем была закреплена десятками повторений и обсуждений.

Важнейшими для этой версии датами был 1828 (Александрина Муравьева, передающая стихи Пушкина)

¹ Пущин, с. 152.

² ЦГАОР, ф. 1705, оп. 1, № 10, л. 367. Письмо Я. Д. Казимирского Пущину от 29 марта 1858 г. (из Омска), где, между прочим, имеются такие строки: «Я купил Пушкина и 7-й том, маленький, но интересный. Вспоминаю письма его, которые Вы мне читали, и убеждаюсь, наконец, что Пушкин был великий поэт и самый пустой человек! — grâce! grâce. Наконец даю ее <пощаду> Вам, прижимая Вас к сердцу и бросая перо».

и 1837 год — смерть поэта, а в связи с этим споры о Пушкине и тайном обществе; даже композиция основной части пушкинских «Записок...» строится на мотиве 1837 года: Пушкин после Лицея чуть не принимает поэта в тайный союз — дальнейшее сложное развитие их отношений вследствие этого факта — арест Пушкина, как члена тайного общества, и жизнь в Сибири — Пушкин вне общества, поэтому остается на свободе — гибнет «не иссушив могучего таланта»

Сложившаяся довольно крепкая пушкинская версия могла бы «окаменеть», а затем исчезнуть вместе с автором. Впрочем, едва выйдя на поселение (1839 год), Пушкин посылает через П. П. Ершова и публикует в «Современнике» (1841) стихотворение «Мой первый друг, мой друг бесценный...». Вспомним, что потаенный портфель с лицейскими стихами и документами именно в это время, очевидно, с ведома самого Ивана Ивановича перемещается к одному из самых близких друзей погибшего поэта — Петру Вяземскому.

Однако эти попытки сохранения пушкинского наследия могли и не иметь продолжения, если бы в 1850-х годах новые события не повлияли на судьбу уже рассказанных, но еще не записанных воспоминаний «первого, бесценного друга» поэта.

ЕВГЕНИЙ ЯКУШКИН

Кандидат Московского университета, чиновник Министерства государственных имуществ Евгений Иванович Якушкин впервые познакомился со своим отцом в возрасте двадцати шести лет, когда отправился в сибирскую командировку. Оба душевно сошлись, будто отца не арестовали за два месяца до рождения сына, будто детство, отрочество и юность младшего прошли на глазах у старшего. Друзья Ивана Якушкина, сочлены «Ялуторовской республики», особенно Иван Пушкин, Матвей Муравьев-Апостол, Евгений Оболенский, становятся ближайшими, родными людьми для молодого, яркого, умного прогрессивно мыслящего Якушкина-младшего (в меньшей степени, но тоже тепло и дружески они сошлись со старшим тремя годами сыном И. Д. Якушкина Вячеславом, также, по существу, узнавшим отца лишь теперь). При первом же знакомстве в 1853-м возникает пушкинская тема. Гость удивительным образом соединял разные линии жизни

и памяти, которые вели от Пушкина к Пущину в течение прошедшей четверти века; он — живой вестник живой русской жизни, с приветом от родных, знакомых, с рассказом о действительно главных общественных, литературных новостях, в числе которых видное место занимала увеличивающаяся посмертная роль Пушкина (одиннадцать «пушкинских статей» Белинского; первое научное издание сочинений Пушкина, только что начатое П. В. Анненковым, с которым молодой Якушкин знаком и близок).

Пущин, И. Д. Якушкин и другие ссыльные убеждаются на очень сильных примерах, что Пушкин «второй раз» молод и необходим для нового поколения. Евгений Якушкин, взгляды которого были вполне на уровне родительских, оказался необыкновенным почитателем и знатоком пушкинской поэзии (сам признавался, что знал наизусть много пушкинских стихов, еще не умея читать). Вероятно, он сообщил (или обещал переслать) ялutorовским ряд неизвестных им, в частности, неопубликованных пушкинских строк. В ту встречу И. И. Пущин, мы точно знаем, еще раз повторил свой рассказ о Пушкине. Прощание с Е. Якушкиным, возвращавшимся в Москву, как можно догадываться, сопровождалось своеобразным договором между ним и Пущиным об обмене пушкинскими и разными другими новостями. Конечно, не случайно, что после отъезда Евгения Якушкина ялutorовцы начинают усиленно *вспоминать*: Евгений Иванович был инициатором, даже своеобразным соавтором большей части декабристских мемуаров, и здесь его влияние приобретает, между прочим, и особенный, «семейный» характер, потому что в том же духе уже давно воздействует на своих Якушкин-отец. Еще 17 марта 1847 года он писал Пущину: «Одно только беспрестанное внимание к прошедшему может осветить для нас будущее; я убежден, что каждый из нас имел прекрасную минуту, отказавшись чистосердечно и неограниченно от собственных выгод, и неужели под старость мы об этом забудем? ¹»

Иван Якушкин начинает и в ближайшие годы завершает свои замечательные «Записки...». Его товарищи, признавая в нем «первое перо» ссыльной колонии, сообщают ему ряд сведений о событиях, которые они видели, а он — нет. Так рождается важный очерк «Четырнадцатое декабря», несомненно, записанный И. Якушкиным со слов

¹ Якушкин, с. 296.

участников — Пущина и Оболенского; воспоминания И. Якушкина об Александрине Муравьевой, согласно записи Евгения Якушкина, также являются совместным трудом его отца и Пущина (завершен 26 декабря 1854 года)¹.

Обещание, данное Пущиным в 1853-м и подтвержденное в 1855-м — самому написать о Пушкине, — было выполнено в 1858-м. Но до этого должны были произойти существенные исторические перемены.

Пожалуй, впервые после попытки Лунина в 1830 — 1840-х годах перед ссыльными была поставлена задача, которую они и прежде осознавали, но теперь — громко заявленная как насущная общественная потребность. Задача — написать, оставить воспоминания о своем деле и своем времени.

В тот самый период, когда в России растет возбуждение в связи с крымскими поражениями и, появляется все больше «подземной литературы» — раздается также эхо из Западной Сибири.

В этой связи письма Е. Якушкина за 1854 — 1855 годы весьма знаменательны. 30 июня 1854 года он отправляет в Ялуторовск Пущину послание, которое дойдет до места 1 августа:

«Недавно отправил я Вам план Царского Села — Н. В. <Басаргину> портрет Киселева, Е. П. <Оболенскому> портрет Филарета <...> Разумеется, Вы за это ничего мне не должны, так же, как и за памятную книжку Лицея, которую я Вам обещал подарить, хоть Вы это и забыли»².

Пущин отвечает 6 августа 1854 года:

«Получил Вашу посылку. Нашел в ней, между прочим, план Царского Села и с удовольствием рассматриваю давно знакомые места, которые много изменились и расширились с тех пор, как мне по некоторым обстоятельствам не удавалось там побывать»³.

Впоследствии Е. И. Якушкин не раз откажется принимать от декабристов деньги за доставку вспомогатель-

¹ Якушкин, с. 167—171; ЦГАОР, ф. 279, № 12.

² ЦГАОР, ф. 1705, № 7, л. 163. В это время вышла первая «Памятная книга Александровского лицея...», содержащая списки окончивших Лицей с 1817 г. по выпускам со сведениями о годах жизни и дальнейшей службе воспитанников. Имена Пущина и Кюхельбекера там отсутствовали.

³ Там же, ф. 279, № 625, л. 1—2.

ных к их мемуарам материалов; крайне неохотно соглашается на упрямые попытки Пущина, Муравьева-Апостола и других покрыть расходы по фотографированию декабристов и литографированию их портретов. Называя часто в письмах младшего Якушкина «дорогой фотограф», «милый литограф», старики-декабристы понимали, что он ведь по-своему фиксирует их историю, поощряя к «аналогичным поступкам». Политический смысл всего этого был понятен обеим сторонам.

28 сентября 1854 года из Москвы, вероятно, с какой-то верной оказией, Е. Якушкин пишет Пущину смело и откровенно:

«Ежели возьмут Севастополь — урок будет хорош — но жалко, что вся тяжесть его падет на народ — сколько будет пролито крови и уничтожено капиталов! Да и едва ли урок будет на пользу <...>

Стоило 30 лет мучить солдат, обращать все внимание на военную часть, держать более миллиона войск, собрать в продолжение года пятьсот тысяч рекрут для того, чтобы совершенно опозориться, когда наступила война... Итак, нет уже надежды Евгению Петровичу быть константинопольским патриархом»¹.

Смерть Николая I, казалось бы, оттесняет мемуарные мотивы, накаляет «современный вопрос» — но при этом еще более требует осмысления событий, прошедших за треть века. Е. И. Якушкин, пользуясь разными оказиями, представляет отцу и друзьям внутреннюю суть главных явлений.

1 марта 1855 года, через несколько дней после кончины царя, отправляется послание, которое приходит в Ялуторовск 15-го.

«В настоящее время, — сообщает Евгений Иванович — ополчение и война заняли второе место, на первом во всех толках стоит император <Александр II>. В Петербурге он производит восторг неописанный — до Москвы доходят только слухи — но в слухах этих почти ничего нельзя разобрать. Впрочем, в одном только нельзя сомневаться, что вообще будет лучше. Вчера еще рассказывали (и люди довольно достоверные), что император потребовал к себе списки сосланных. Что мы с вами увидимся в Москве, я

¹ ЦГАОР, ф. 1705, № 7, л. 485. В этом и других письмах Е. Якушкин добродушно посмеивается над религиозностью «тезки» — Е. П. Оболенского.

в этом так же твердо уверен, как и в том, что я родился. Но когда это будет — вот вопрос. Ежели не возвратят вас до осени — то я еду в Сибирь — но, кажется, в этом не будет надобности. Замечательно впечатление, которое произвело на всех известие о смерти Николая Павловича. В Москве положительно не было ни одного грустного лица, — некоторые были исполнены надежды на нового императора, другие были совершенно хладнокровны. Когда собралась присягать, это меня поразило, — я ожидал, что хоть немногие явятся с грустными физиономиями: ничуть не бывало. Поверьте — все пойдет лучше... Смерть императора вызвала две похвальных статьи, написанных чрезвычайно слезливо. Одна статья принадлежит Гречу — и начинается словами «Плачь, Россия», другая статья принадлежит Шевыреву — и есть не что иное, как переложение первой в стихах. И стихи и проза до такой степени льстивы, что заставляют предположить в авторах желание подличать только для того, чтобы подличать — с совершенным бескорыстием и безо всякого расчета. Неизвестный автор написал на них следующее двустишие

Усопшему царю хвалу воздал с ревом
Греч, дважды сеченный, с кликушей Шевыревым.

Вообще в последнее время появилось множество стихов, в которых с грехом пополам высказывалось общественное мнение и которые ходили по всей Москве во множестве списков»¹.

¹ ГБЛ, ф. 243, к. 4, № 44, л. 3—6. Любопытно большое совпадение в мыслях и словах у столь разных приятелей Пушкина, как Е. Якушкин и представитель «отцов», лицейский однокашник, вице-адмирал Федор Матюшкин, писавший Пушкину 23 марта 1855 г.: «Мы не в блестящем положении, у нас нет людей: корпусное воспитание и Михайловский манеж в продолжение тридцати лет все сгнидали». 17 июня того же года: «Тяжело, тяжело, Ванечка! Да, Незабвенного (титул, который ингерманландские царедворцы дали покойному императору) — Незабвенного Россия не забудет. Жалко, что он умер, что вместе с нами не испивает горькую чашу собственного его дела. Разыгрывал 25 лет роль полицмейстера Европы: она теперь вся на него — полицию никогда не любят, а только боятся и при случае рады поколотить. Посылаю тебе песенку, которая тебя несколько утешит и развлечет, но она написана, когда еще Меншиков командовал армиею» (очевидно, прилагалась одна из популярных сатирических «севастопольских песен»). — ГБЛ, ф. 243, к. 2, № 27, л. 9—10. Частично опубликовано в кн.: Ю. Давыдов. В морях и странствиях. М., Изд-во Географгиз, 1956, с. 199. Заметим, что в дальнейшем Матюшкин немало помог Пушкину в подготовке его воспоминаний о Пушкине.

25 апреля отправляется новое письмо:¹

«Общественное мнение за возвращение: повторяю вам — в Москве я не встретил ни одного человека, который бы не ждал этого. Слухи об этом идут от Дубельта, следовательно, я имею полное основание надеяться, что мы увидимся с Вами в Москве. Но здесь или в доме Бронникова², мы во всяком случае встретимся».

Вскоре Е. Якушкин понимает, что в 1855 году амнистии не будет, и начинает собираться во вторую сибирскую командировку:

«На днях пишу об этом к Муравьеву³ — затруднений, вероятно, не будет. Я уже писал к вам, что с начала войны появилась рукописная литература. Она ограничивалась сперва одними стихами — но теперь размер ее вырос и появляется уже и проза. Как хотите, а это замечательное явление: общественное мнение силится изо всех сил высказаться — и высказывается иногда в этой подземной литературе чрезвычайно умно <...> Дай бог, чтобы общественное мнение могло свободно высказываться и во всех других формах. Это было бы большое благодеяние для России.— Кстати, вот одно, вероятно, неизвестное вам стихотворение Пушкина...»⁴

Как видим, потаенный Пушкин — один из естественных элементов «подземной литературы». Сегодняшний день, перед крестьянской реформой, и вчерашний, декабристско-пушкинский, — неразделимы. Любопытно, что Якушкин сообщает в Ялуторовск пушкинское стихотворение, на самом деле состоящее из двух отдельных сочинений — «Христос воскрес, питомец Феба!..» и «О Муза пламенной сатиры!..». Именно в таком соединенном виде эти стихи два года спустя достигли печати в герценовской «Полярной звезде»; по всей видимости, московский кружок друзей Герцена (Кетчер, Пикулин, Корш) — кружок, к которому принадлежал также Е. И. Якушкин, — послал этот текст в Лондон.

И. И. Пущин отозвался на присылку (13 мая 1855 года):

¹ ГБЛ, ф. 243, к. 4, № 44, л. 7.

² То есть в Ялуторовске, где в доме Бронникова жил Якушкин.

³ Министр государственных имуществ М. Н. Муравьев («Вешатель»), непосредственный начальник и родственник Е. Якушкина по материнской линии.

⁴ ГБЛ, ф. 243, к. 4, № 44, л. 10. Письмо от 27 апреля 1855 г.

«Спасибо вам за все сообщаемые новости. Очень рад был прочесть стихи Пушкина: они его напоминают, но точно ли его, наверное не берусь решить. Тут нужна сознательная критика»¹.

27 мая Е. И. Якушкин отвечает:²

«Посланные к вам стихи действительно принадлежат Пушкину — но они или писаны были очень давно, или дошли до меня в неверном списке — пока что стих не указывает прямо на автора. Но вот вам стихотворение, в котором вы не усомнитесь. Это отрывок из письма к Дельвигу. <Следуют стихи: «Друг Дельвиг, мой парнасский брат...»>

Вот еще стихотворение Пушкина, относящееся близко до вас; оно было напечатано (в «Литературной газете» Дельвига в 1830 году) — под названием «Арион»... <Следует знаменитый текст: «Нас было много на челне...»>

Ни в том, ни в другом стихотворении нельзя сомневаться; первое из них списано с подлинного письма — за второе ручается стих».

Пушин оценил *новые* для него пушкинские строки: 10 июня 1855 года он пишет: «Вчера получил я, добрый мой фотограф, ваше письмо от 27 мая. Спасибо вам за все пиэсы Пушкина, особенно за *Челн*. С особенным чувством читаю и перечитываю его»³.

Снова повторим то, о чем вскользь было сказано раньше, — из отзыва Пушина видно, между прочим, сколь много декабристы не знали о поэте: «Челн» («Арион»), появившийся анонимно в «Литературной газете», не был тогда замечен в Забайкалье. И в 1830 году, конечно, стихи были бы прочитаны и перечитаны с «особенным чувством»...

Только через двадцать пять лет сын одного из декабристов просвещает старшее поколение!

«НА ПЕРВУЮ РОДИНУ...»

Осенью 1855 года Евгений Якушкин посещает Ялуторовск во второй раз, едет затем в другие сибирские города вплоть до Иркутска, где лечится его отец.

¹ ЦГАОР, ф. 279, № 625, л. 18—19.

² ГБЛ, ф. 243, к. 4, № 44, л. 11—12.

³ ЦГАОР, ф. 279, № 625, л. 22.

Уезжая, Якушкин-младший, вероятно, увозит большую часть записок Ивана Дмитриевича: первая их часть, как известно, переписана в 1854 году рукою Вячеслава Якушкина (старшего сына декабриста), вторая — рукою Евгения Ивановича.

В Ялуторовске Е. Якушкин продолжает «осаду» И. И. Пущина и сообщает жене:

«Во время пребывания моего в Ялуторовске я виделся с ним каждый день. Большой интерес для меня представлял его рассказы, особенно о его лицейской жизни и об отношениях его к А. С. Пушкину. Часть всех рассказов я записал тогда же, но эта краткая запись казалась мне очень бледной в сравнении с живой речью Пущина, поэтому я не один раз просил его написать его воспоминания о Пушкине <...>»¹

С Иваном Ивановичем заговорить о Пушкине было нетрудно; я приступил к нему прямо с выговором, что он до сих пор не написал замечаний на биографию, составленную Анненковым.

— Послушайте, что же я буду писать,— перебил он меня,— кого могут интересовать мои отношения к Пушкину?

— Как кого? Я думаю, всех: вы Пушкина знали в Лицее, знали его после, до 26 года,— он был с вами дружен, и, разумеется, есть много таких подробностей об нем, которые только вы и можете рассказать и которые вы, как товарищ его, обязаны даже рассказать»².

Сообщив несколько эпизодов, позже попавших в его «Записки...», Пущин спрашивает молодого друга:

«— Ну, что же, это для вас любопытно?

— Разумеется, любопытно.

— Для вас-то, может быть, потому что вы меня знаете.

— Да и для всех любопытно.

— Ну хорошо, я для вас напишу все, что припомню.

— Даете слово?

— Даю и приговялю к вашему возвращению...»³

Приезд Якушкина совпадает с получением в Ялуторовске нового издания сочинений и биографии Пушкина, подготовленного П. В. Анненковым. Сохранились разные

¹ Эту часть письма Е. Якушкин потом включил в свои воспоминания о Пущине.

² Пущин, с. 379—381.

³ Там же, с. 382.

свидетельства о сильном впечатлении, которое произвело на Пущина это замечательное издание; и с этой стороны действительность подталкивала декабриста к составлению собственных «Записок...». 3 июля 1855 года Е. А. Энгельгардт отвечал на несохранившееся письмо своего бывшего ученика: «И я с великим удовольствием читал биографию нашего Пушкина, она написана очень хорошо — жаль только, многих подробностей недостает о быте его в Лицее, а было бы что про это сказать»¹.

Проходит несколько месяцев после возвращения Е. Якушкина в Москву, и наконец приходит амнистия оставшимся в живых декабристам. 18 ноября 1856 года Пущин навсегда выезжает из Ялуторовска. Прощается со «второй родиной зауральской»², чтобы снова встретиться с «первой», и, между прочим, с тем местом, о котором сказано: «Отечество нам Царское Село».

25 ноября 1856 года из Сибири уезжает Матвей Муравьев-Апостол, несколько позже И. Д. Якушкин.

В конце 1856 года Пущин (как и несколько его друзей) оказывается в Москве, которую покинул тридцать один год назад. Ему оставалось неполных два с половиной года жизни: те месяцы, когда происходит множество примечательных событий, встреч, бесед, и все это, явно или скрыто, отзовется в «Записках о Пушкине».

Пущин поселился в Марьино у вдовы своего друга-декабриста Натальи Дмитриевны Фонвизиной, на которой 22 мая 1857 года — женился (шафером на свадьбе был Федор Матюшкин). Письма, получавшиеся Пущиним в Марьино, в основном сохранились, и по этим документам хорошо видны ритм, стиль, внутренний смысл последних месяцев жизни. В Бронницком уезде находился фактический «лидер», центр притяжения для всех почти стариков-декабристов. Из Москвы, Петербурга, Киева, Сибири, Забайкалья пишут Волконские, Батеньков, Штейнгель, Оболенский, Соловьев, Трубецкой, Фролов, Розен, Быстрицкий, Нарышкин, Свистунов, Фаленберг, Горбачевский, Матвей Муравьев-Апостол, Юшневская, дети и вдовы умерших товарищей, петрашевец Дуров, сибирские приятели и соседи, еще очень многие. Десятки людей пишут с большой теплотой Пущину (Ивану Ива-

¹ ПД, ф. 244, оп. 25, № 179, л. 31.

² Из неопубликованного письма Пущина Н. Д. Фонвизиной.— ГБЛ, ф. 319, к. 3, № 32, л. 5.

новичу, Ванечке, Жанно, Ивану Великому), часто приезжают в гости; ¹ с помощью Евгения Якушкина, фактически возглавившего теперь декабристскую артель, Иван Пущин по мере сил занимается излюбленным «маремьянством» (то есть филантропией; словечко, происходившее от сказочной Маремьяны-старницы, утешительницы больных и убогих); он повторяет вслух и в письмах хорошо понятное товарищам за тридцать прошедших лет — «меньше слов!».

«Может статья, — писала Пущину его будущая жена, — за эту-то чистую способность горячей души и люди тебя любят» ².

Сам же Пущин 31 мая 1858 года напишет Нарышкину:

«Я верую, что ты и добрая Елизавета Петровна не подчинились губительному времени. Может быть, кое-где и заметны следы этой хронологии, но сердце тепло и на месте. Вот почему я, далекий, верный преданиям нашей старины, говорю с вами, как во время оно! Аминь!» ³

Здесь — важная фраза, много объясняющая в характере пушкинских «Записок...». Их автор всегда верен себе: возвратившись из Сибири — молодеет, веселеет, максимально приближаясь в другом возрасте, в другом времени к тому душевному состоянию, которое было в пушкинские времена. Без этого состояния не родились бы «Записки...» вообще и такие «Записки...» в особенности.

1857 — 1858 и 1825 с двух сторон — как бы *сплющивают*, *уминают* николаевское тридцатилетие.

«Чувствую неодолимую потребность действовать...» — борсит Пущин однажды ⁴.

Каждый поворот начинающегося освобождения крестьян не оставляет спокойным того, кто взялся за это дело еще сорок лет назад.

«Может быть, и потребуется некоторое пожертвование, но оно не должно останавливать при нравственном убеждении в несправедливых отношениях между владеющими и владеемыми. Я твердо уверен, что бог благословит это

¹ Типично марьянскую сцену находим в неопубликованном письме Пущина к жене от 24 сентября 1857 г. «Michel-Michel <Михаил Михайлович Нарышкин> явился с Сутгофом — а вслед за ним и Евгений-фотограф. Того я расцеловал с истинным, глубоким чувством» (ГБЛ, ф. 319, к. 3, № 32, л. 33).

² ЦГАОР, ф. 1705, № 6, л. 1 об.

³ ГБЛ, ф. 133 (Нарышкиных), М. 5823, к. 4, л. 7 об.

⁴ ЦГАОР, ф. 279, № 625, л. 33.

дело: начало положено — будем ждать конца. Мы живем в эпоху важных событий»¹.

«Говорят, что с приездом государя,— пишет 3 августа 1857 года Евгений Якушкин Пушкину,— поднялись вопросы, которые занимают более всего и вас и меня — именно об эманципации, веротерпимости и разного рода реформах. Дай бог, чтобы это была правда»².

Е. Якушкин едет в Смоленск, «чтобы разделаться с вассалами», «белыми неграми»; Пушкин и жена хлопочут (Наталья Дмитриевна едет искать протекции в Петербург), чтобы заблаговременно освободить крестьян — дабы они в случае их преждевременной смерти не пошли к «законному наследнику» — крепостнику.

Матвеем Муравьеву-Апостолу Пушкин сообщает:

«Я читаю все, что пишут и печатают об этом вопросе. Много встречаю дейльного, но толки г. г. помещиков большею частью тоска, да я от них избавлен, никого почти здесь не знаю.

Разумеется, если бы с начала царствования Александра (почти уже 60 лет) действовали не одними неудовлетворительными постановлениями, а взглянувши настоящим образом на это дело с финансовой стороны, хотя бы даже сделали налог самый легкий с этой целью, то о сю пору отвращены были бы многие затруднения и чутили не большая часть из крестьян была бы уже свободна с землею.

Тогда шептались об этом, как же не радоваться, что об этом говорят, пишут, вразумляют, убеждают,— одним словом, ищут исходной точки!»³

Он соглашается с новым приятелем, первым пушкинистом Анненковым, который заметит:

«Многое начато, везде красивый заголовок, первая буква с рисунком, но написанного и сделанного еще очень немного»⁴.

Нетерпение, сожаление о медленности освобождения — все это, естественно, усиливало «потребность действовать» у Ивана Пушкина и многих других прекрасных людей. Что же можно сделать? Оказалось — многое можно. Оказалось, что даже один вид возвратившихся декабристов — явление общественное.

¹ Пушкин, с. 332—333.

² ЦГАОР, ф. 1705, № 9, л. 100.

³ Пушкин, с. 341.

⁴ ГИМ, ф. 282, № 295, л. 149. Письмо от 15 ноября 1858 г.

Начальник московских жандармов С. В. Перфильев 23 февраля 1857 года писал шефу жандармов В. А. Долгорукову:

«Несмотря на столь продолжительное отчуждение от общества, при вступлении в него вновь,— они <декабристы> не выказывают никаких странностей, ни унижения, ни застенчивости, свободно вступают в разговор, рассуждают об общих интересах, которые, как видно, никогда не были им чужды, невзирая на их положение; словом сказать, 30-летнее их отсутствие ничем не выказывается, не наложило на них никакого особенного отпечатка, так что многие этому удивляются и предполагая их встретить совсем другими людьми: частью убитыми, утратившими энергию, частью одичалыми, могут находить, что они лишнее себе дозволяют...»¹

Близкий друг Е. Якушкина, известный собиратель русских сказок А. Н. Афанасьев отметил в дневнике:

«Видел возвратившихся декабристов и удивлен, что, так много и долго пострадавши, могли так сохранить свои силы и свежесть чувства и мыслей. Матвей Иванович Муравьев-Апостол и Пущин возбудили общую симпатию. По приезде своем в Москву Пущин был весел и остроумен, он мне показался гораздо моложе, чем на самом деле, а его оживленная беседа остается надолго в памяти: либеральничавшим чиновникам он сказал: «Ну так составьте маленькое тайное общество!»²

Осаждая без успеха петербургское начальство, чтобы обеспечить будущее своих крестьян³, Пущины, естественно, обращаются к крестьянскому вопросу, к нелегальным герценовским изданиям. В ответ на просьбу об их присылке брат Михаил Пущин (к тому времени уже генерал) отвечает:

«Герцена тебе послать не могу, потому что теперь как-то строго разыскивают его книги и следят за ними. Никто не признает их иметь, кто, наверное знаю, имеет их»⁴.

¹ Якушкин, с. 442—443.

² Н. Эйдельман. Тайные корреспонденты «Полярной звезды», с. 52.

³ Правительство отказывало И. И. и Н. Д. Пущиным в немедленном обеспечении будущего их крестьян, ссылаясь на подготавливаемую крестьянскую реформу, которая «все решит». Пущин, однако, не дождал до 1861 г.

⁴ ЦГАОР, ф. 1705, № 10, л. 255. Автор письма установлен по почерку.

В марте 1858 года брат Е. И. Якушкина Вячеслав Якушкин извиняется перед Пушциным, что не может выслать ему новых трудов Герцена: «Взамен сочинений посылаю Вам его изображение, снятое год назад и, как говорят, поразительно схожее»¹.

Впрочем, московский кружок герценовских приятелей и Евгений Якушкин быстро найдут для декабриста нужные тома и листы герценовских изданий. В «Полярной звезде» (Пушчин успел прочесть первые четыре книги) уже появились пласты декабристских документов, восходящие к Ивану Якушкину и Матвею Муравьеву-Апостолу; первые печатные публикации запрещенного Пушкина, Рыльева и других поэтов — из потаенных запасов Кетчера, Евгения Якушкина.

Герцен вызывает к русским корреспондентам: «Полярная звезда» должна быть — и это одно из самых горячих желаний наших — убежищем всех рукописей, тонущих в императорской цензуре, всех, изувеченных ею. Мы... обращаемся с просьбой ко всем грамотным в России доставлять нам списки Пушкина, Лермонтова и др., ходящие по рукам, известные всем... Рукописи погибнут наконец — их надобно закрепить печатью»².

Пушчин и Евгений Якушкин поняли это обращение как им адресованное.

«И С ВАМИ СНОВА Я...»

Амнистированным декабристам запрещалось жить в столицах, кроме как на ограниченный срок, по особому разрешению. Вернувшись из Ялуторовска в Москву, Пушчин получил право на краткое посещение Петербурга, куда прибыл, так же как тридцать один год назад, около середины декабря; 8 января 1857 года пишет Е. П. Оболенскому замечательное письмо: «В Петербурге... 15 декабря мы заехали в Казанский собор, где без попа помолились и отправились в дом на Мойку. У входа обнял всех сестер и племянниц. Ты поймешь эту встречу... Пылкая дружба, как будто не расставались, и новое поколение тотчас стало близко знакомо. В тот же день лицейские друзья явились.

¹ «Декабристы. Летопись Государственного литературного музея», кн. 3. М., 1938, с. 477.

² А. И. Герцен. Собр. соч. в 30-ти томах, т. XII, с. 270.

Во главе всех Матюшкин и Данзас. Корф и Горчаков, как люди занятые, не могли часто видаться, но сошлись, как старые друзья, хотя разными дорогами путешествовали по жизни... Все встречи отрадны, и даже были те, которых не ожидали. Вообще не коснулся меня, далекого, петербургский холод, на который все жалуются»¹.

Понятно, *молитва без пона* относилась к тем событиям, что происходили здесь в другом декабре и в память недоживших.

Вскоре Пущин тяжело заболел, родные выхлопотали ему бумагу, разрешающую болеть в Петербурге, и он выехал из северной столицы только в мае 1857-го, через пять месяцев. За это время происходят события, очень важные для будущих «Записок о Пушкине». Более или менее регулярные собеседники — Данзас, Матюшкин, Яковлев, Комовский, Горчаков, Корф, Егор Антонович Энгельгардт; поездки в Лицей, Царское Село. Между делом Пущин здесь скопировал несколько документов лицейских, пушкинских, декабристских, из тех, что ходили в копиях. Так, на квартире старого директора, вероятно, был переписан сводный отчет о поведении лицеистов от 7 июля 1812 года;² у Матюшкина, как известно, хранились протоколы лицейских годовщин; Пущин пробует получить у прежнего приятеля, ныне важного государственного человека, товарища министра П. А. Вяземского, упомянутый выше, заветный «лицейский портфель» с бумагами. Вяземский долго не может найти — несколько месяцев брат декабриста Николай Пущин ведет «осаду» и сообщает, между прочим, 2 сентября 1857 года:

«Задерживает Вяземский портфель. Уж как крепко я его убеждал, и он еще записал что-то у себя в портфеле, взял у меня для этого карандаш, потому что человек его долго не мог найти министерского карандаша»³.

21 сентября 1857 года из Марьино И. И. Пущин пишет с изысканным юмором:

«Мне, право, совестно министра просвещения отвлекать от дела такими пустяками, но, без сомнения, г-н министр простит, что давно известное лицо, оставшееся

¹ ПД, ф. 606 (Е. П. Оболенского), № 18, л. 74. Дом на Мойке — очевидно, дом Пущиных по соседству с последней квартирой Пушкина.

² ЦГАОР, ф. 279, № 260, л. 1.

³ Там же, ф. 1705, № 9, л. 186.

sans portefeuilles¹, хлопчет о том портфеле, в котором сохранились воспоминания его детства»².

Прошло тридцать два года с того дня, когда ожидавший ареста декабрист позаботился о важных бумагах, и вот портфель с лицейскими стихами, автографом стихотворения «К морю», конституцией Никиты Муравьева и другими документами доставлен владельцу.

О первых встречах Пущина с одноклассниками и оживлении старых воспоминаний мы узнаем только из его более поздней переписки. По-видимому, Пущин требовал у многих одноклассников разные лицейские подробности. *Сергей Комовский* вскоре откликается:

«Брат пишет, что он виделся с г-жою Глинкою и ее сестрою-старушкой Кюхельбекер, которая вспомнила ему мои женские роли в Лицее; но я помню только о роли глухонемого в пиесе «Аббат со шпагой», а больше ничего, не помню»³.

Малиновский (из деревни): «Дослуживай тебе сродными добрыми делами свое счастье, да береги здоровье, исправляй 62 на 26 лет — сердить никого ты не умел, а я скорбел, что не читал давно тебя — теперь благодарю за все сказанное, за известие об улучшении здоровья»⁴.

Пущин — жене:

«...Не знаю, говорил ли тебе наш шафер, что я желал бы, чтоб ты, друг мой, с ним съездила к Энгельгардту <...> Надеюсь, что твое отвращение от новых встреч и знакомств не помешает тебе на этот раз. Прошу тебя! Он тебе покажет мой портрет еще лицейский, который у него висит на особой стенке между рисунками П. Борисова, представляющими мой петровский N от двери и от окна. Я знаю, что и Егору Антоновичу и Марье Яковлевне будет дорого это внимание жены их старого Jeannot <...>

Он мне подарил автограф стихов Пушкина «Роняет лес багряный свой убор» с пометками и помарками автора красными чернилами. К. И. сам переписывал. Автограф этот кто-то зачитал⁵ — я его не нахожу, а нужно бы иметь... может быть, не откажет в свободную минуту сам

¹ Без портфеля (*фр.*).

² Пущин, с. 327—328.

³ ЦГАОР, ф. 1705, № 9, л. 168—169.

⁴ Там же, л. 241—242.

⁵ Речь идет не о подлинной рукописи Пушкина, но о списке рукою К. И. Иванова.

списать эту рукопись, для меня дорогую. Можно бы дать написать и хорошему писарю, лишь бы было все верно...»¹

Пушкин: «В Петербурге навещал меня, больного, Константин Данзас. Много говорил я о Пушкине с его секундантом. Он, между прочим, рассказал мне, что раз как-то, во время последней его болезни, приехала У. К. Глинка, сестра Кюхельбекера; но тогда ставили ему пиявки. Пушкин просил поблагодарить ее за участие, извинился, что не может принять. Вскоре потом со вздохом проговорил: «Как жаль, что нет теперь здесь ни Пушкина, ни Малиновского!»

Вот последний вздох Пушкина обо мне. Этот предсмертный голос друга дошел до меня с лишком через 20 лет...»²

АННЕНКОВ

Петербургско-лицейский фундамент «Записок...» заложен. «Минувшее объемлет живо...» — к тому же предания старины, устная традиция поддерживаются новыми встречами.

Павел Васильевич Анненков, выпустивший в 1855 году шесть томов первого научного издания сочинений и биографию Пушкина, как раз во время пребывания Пушкина в столице подготовил к выходу дополнительную, седьмую книгу, куда вошли многие тексты, прежде неизвестные или «невозможные» в печати еще два года назад, но уже разрешенные в 1857-м.

Очевидно, Е. Якушкин сводит «первого друга» Пушкина и первого пушкиниста. 4 апреля 1857 года выздоравливающий Пушкин просит Е. Якушкина:

«Болезнь прошла. Доктора позволяют мне кататься в ясную погоду <...> Скажите Анненкову, чтоб писал брату Михайле по его поручению. Пожмите крепко руку этому симпатичному человеку. Жаль только, что болезнь не дала мне чаще его видеть и больше сблизиться»³.

Седьмой том Анненкова Пушкин, очевидно, прочитал сначала в корректуре⁴, и многое из прожитого начало

¹ Пушкин, с. 333.

² Там же, с. 88.

³ ЦГАОР, ф. 279, № 625, л. 34 об.

⁴ Цензурное разрешение книги — 5 июля 1857 г. —

кристаллизоваться вокруг строк и фактов, впервые увидевших свет в этом издании (Анненков несколько раз ковенно или замаскированно упомянул запретное имя декабриста). Между тем Е. И. Якушкин уже спрашивал из Москвы:

«Скоро ли вы будете к нам, я готовлю к вашему приезду полный экземпляр сочинений Пушкина, — работы за ним еще много, но в мае кончу. В этом экземпляре будет многое, чего не будет и в 7 томе; словом, этим трудом вы останетесь довольны. Как видите, я не забыл данного мною обещания два года тому назад. — Что же касается до вашего обещания, то я хорошо понимаю, что теперь вам вовсе нет времени его выполнить, но я считаю его за вами»¹.

Пушкин немедленно отвечал:

«Спасибо Вам за труды для меня около Пушкина — я непременно сделаю тоже все, что Вам обещал, и вот уверен, что это будет единственно для Вас, а в публику не может идти. Мы об этом уже говорили с Анненковым. Дайте опереться»².

Работа с рукописным сборником, подаренным Е. Якушкиным, не «отменяла» седьмого тома: как только он появился в продаже, Пушкин просит московского приятеля Н. М. Щепкина, сына великого актера:

«Прошу Вас выслать мне два экземпляра 7-го тома сочинений Пушкина. Для этого прилагаю 3 целковых.

Адрес мой? Ив. Ив. Пушкину в г. Бронницы для доставления в с. Марьино.

Нельзя ль Вам подать на почту во вторник, 10 декабря, чтоб я получил в среду здесь. Нетерпеливо жду эту книгу. Когда увидите Евгения Ивановича, обнимите его за меня крепко»³.

¹ Якушкин, с. 453—454.

² ЦГАОР, ф. 279, № 625, л. 36 об. Очевидно, следствием этой переписки было появление в библиотеке Пушкина добавочного экземпляра «анненковского» VII тома с чистыми листами, где декабрист «предполагал записать стихи, не бывшие в печати, которые он успел собрать, но болезнь, а потом смерть не дали ему осуществить это намерение». (Из воспоминаний В. П. Буренина, жившего одно время в Марьино.) См.: Л. А. Соколовский. Возвращение декабристов из сибирской ссылки. — Сб.: «Декабристы в Москве». М., «Московский рабочий», 1963, с. 339.

³ ГИМ, ф. 276 (Н. М. Щепкина), № 56. Письмо от 8 декабря 1857 г.; рукою Щепкина надпись: «исполнено 20 декабря».

Так соединяются воедино новые встречи, воспоминания, беседы с Анненковым, обращение к брату Михаилу (видимо, все на тему Пушкина)¹. Несомненно, ускоряет работу Пущина над его записками и громкое выступление враждебной стороны.

«АНТИКОРФИКА»

Еще в конце 1830-х годов начинается и без малого двадцать лет продолжается острая полемика между двумя бывшими лицеистами, оказавшимися на прямо противоположных общественно-политических позициях; полемика — до поры до времени — заочная, «не слышная», которой, однако, суждено будет в свое время выйти наружу и сыграть немалую роль в появлении на свет записок Пущина о Пушкине.

В августе 1839 года, то есть в то самое время, когда Пущин отправляется с каторги на поселение, — обширную запись о Лицее и лицеистах вносит в свой дневник тридцатидевятилетний тайный советник, государственный секретарь Модест Андреевич Корф, который только от нескольких приятелей и один раз в году — 19 октября — терпит старинное, четвертьвековой давности обращение: *Модинька*, а также *«дьячок Мордан»* (от французского «moderante» — «кусака»).

Демонстрируя свою приверженность к «царскосельскому духу», Корф был постоянным участником лицейских сходок. Дружбы между ним и Пушкиным не было, но чиновник интересовал поэта своими обширными историческими познаниями. В 1836 году Пушкин обращается к нему за консультацией насчет иностранной литературы о Петре Великом и получает ряд важных сведений (XVI, 168). За несколько дней до своей гибели Пушкин вместе с другими лицеистами навещал больного Корфа. Что касается Корфа, то он уже тогда, без сомнения, испытывал к Пущину довольно сильное недоброжелательство, до поры до времени скрытое, но позже — проявившееся...

Никогда не публиковавшаяся полностью дневниковая

¹ Важные воспоминания М. И. Пущина, между прочим, касавшиеся и Пушкина, создавались в 1857 г. под влиянием П. В. Анненкова и Льва Толстого. «Встречи с Пушкиным за Кавказом» посланы отсюда прямо Павлу Васильевичу Анненкову, — писал М. И. Пущин брату 22 апреля 1857 г. («Летопись Государственного литературного музея, кн. 3. М., 1938, с. 279»).

запись Корфа, сделанная всего через два с половиной года после гибели Пушкина, представляет весьма определенную и характерную оценку «лицейского наследства»¹.

Если внимательно вчитаться в текст дневниковой записи, то можно убедиться, что Корф фактически делит своих однокашников на три категории: первая — *сделавшие карьеру*, то есть те, кто к сорока годам «оправдал надежды воспитателей», достиг генеральского чина или близок к нему. К их числу относится одиннадцать человек — чуть больше трети первого выпуска, причем карьера двух-трех из них (Комовский, Яковлев, Матюшкин) для Корфа еще под вопросом. Больше всех лицейских к 1839 году преуспел по служебной лестнице сам Корф; не столь удачливы, но вполне благополучны, по мнению автора дневника, — Стевен, Бакунин, Гревениц, Маслов, Корнилов, Ломоносов и Юдин.

Вторая категория — люди, по определению Корфа, *погибшие*: «шесть мест упраздненных стоят» — вздохнул Пушкин за несколько лет до того (Ржевский, Корсаков, Саврасов, Костенский, Дельвиг, Есаков).

И мнится, очередь за мной...

Поэт был седьмым; за ним ушли еще двое, Илличевский, Тырков. Девять ушедших, а на самом деле десять, так как Сильвестр Броглио (чья судьба оставалась одноклассникам неизвестной) сложил голову, сражаясь за свободу Греции...

Помянув девятерых умерших без особого пиетета, Корф к числу погибших прибавляет холодно и фаталистически: «Еще двое умерли политически». Кюхельбекер и Пущин. Впрочем, о Пущине Корф отзывается с не свойственным

¹ ЦГАОР, ф. 728, оп. 1, № 1817, ч. I, л. 209—218. Отрывки из этого дневника были после смерти Корфа напечатаны в журнале «Русская старина», 1904, № 6. — Из дневника М. А. Корфа, однако характеристики лицейских товарищей казались столь невыразительными, что опубликованный текст редко использовался учеными. Объясняется это тем, что по каким-то причинам, нам неизвестным, редакция «Русской старины» извлекла из дневниковой записи только хорошие слова и аттестации, даваемые Корфом его однокашникам; в тех же случаях, когда Корф пускал в ход «темные краски» и давал разгуляться желчи, — тут редакция *пропускала* отдельные слова, строки, абзацы, а в двух случаях сняла даже целиком отрывы о бывших лицейских. Нашу полную публикацию этой дневниковой записи Корфа см.: журн. «Знание — сила», 1976, № 9, с. 34—38.

ему доброжелательством, разумеется, осуждая «ложный взгляд» декабриста, но отдавая должное «светлому уму», «чистой душе».

Для Пущина, конечно, было безразлично, что о нем думают разные лицейские однокашники, и кое-что окольными путями к нему, безусловно, доходит и в Сибирь: вот так думал Корф и так, очевидно, говорил на лицейских вечерах еще при Пупкине...

Противоречивость суждения убежденного царедворца о своем политическом противнике несомненна: в одной из автобиографических записей (основанной на дневнике) Корф не пожалел черных красок для описания того непорядка, развала, безделия, которые царили в государственном управлении перед 1825 годом. Он говорит об «апатии последних лет царствования Александра и всемогуществе Аракчеева». Критические оценки александровского времени с позиции более *регулярного*, николаевского, привели Корфа к весьма скептическому, несправедливому взгляду на Лицей как на «безобразную смесь», место, где прививалось «блестящее всезнание» и проч.¹ Для аккуратного, дельного Корфа была подлинным мучением невозможность систематически работать, делать карьеру². Поэтому те редкие чиновники, которые честно и толково выполняли свой долг, вызывали у него сочувствие. Одной из таких одобряемых Корфом «карьер» была деятельность Пущина в судах: декабрист и деловой бюрократ — совершенно по разным причинам — сходятся в отрицательном отношении к тому, что происходило в российской администрации перед 1825 годом. Сходятся — и тут же расходятся в разные стороны; Пущин — один из героев Сенатской площади, воспоминания же Корфа о 14 декабря совершенно определенные: «По придворному порядку я провел от полудня до 8-го часа вечера во дворце; видел и сам разделил общее смятение и ужас; видел ворвавшийся в дворцовый двор мятежный лейб-гренадерский полк <...> Находился при той торжественной минуте, когда по усмирении мятежа царь с царицею, в придворной церкви, в присутствии всего двора, пали на колени <...> И кан

¹ ГПБ, ф. 380 (М. А. Корфа), № 1, л. 6 об — 8 об., 22.

² «Сначала я ходил в Сенат очень прилежно, каждый день, но ни исправность моя, ни частые просьбы не могли убедить моего начальника — уделить мне какое-нибудь занятие... Одинаковое равнодушие к моему присутствию и отсутствию» (ГПБ, ф. 380 (М. А. Корфа), № 1, л. 10).

изобразить мое удивление и мой ужас, когда после открылось, что в рядах безрассудных возмутителей было несколько лицейских моих товарищей, несколько ближайших моих знакомых, в которых я никогда не подозревал не только подобных замыслов, но и малейшей склонности к ним! И как не благословлять мне Провидения, не допустившего их никогда даже и обмолвиться при мне, что — и при молчании, и при доносе с моей стороны — могло бы сделаться для меня источником неисчислимых страданий!»¹

Сокровенные идеалы Пущина нам понятны; Корф же воспрянул духом в обстановке известного упорядочения государственной машины за первое десятилетие царствования Николая I (пишет о «новой жизни, которую <царь> умел вдохнуть во все дремавшее или застывшее»).

И все же память о Пущине сохранялась... О Кюхельбекере же запись Корфа неожиданно выявляет трагическую деталь; еще на последней при жизни Пушкина лицейской сходке, 19 октября 1836 года, в протоколе сказано, что читались письма отсутствующего брата Кюхельбекера. Мы также знаем, что именно в 1836-м Кюхля с поселения из-за Байкала написал Пушкину и получил ответ... Но Пушкин погиб, очевидно, оборвалась последняя нить, связывавшая Вильгельма с «лицейским миром», — и уже два года спустя многознающий и не пропускавший лицейских вечеров Корф сомневается — жив ли Кюхля? (А Кюхельбекер жил, писал, в ту пору женился...)

Итак, двенадцать *погибших* лицейских из двадцати девяти.

Наконец, третья группа одноклассников в Корфовом дневнике — это «*неудачники*»; остановившиеся или застрявшие в малых чинах. Их шестеро — Малиновский, Мясоедов, Данзас, Мартынов, Вольховский, Горчаков (и Дельвиг, и Пушкин были бы для Корфа, вероятно, в их числе, если б дожили до 1839 года). Своеобразный «эпиграф» к их судьбе — фраза, попавшая в «аттестацию Данзаса»: «счастье никогда ему не благоприятствовало». Меж тем среди «погибших» или опальных — лучшие ученики, медалисты: 1-я золотая медаль — Вольховский, 2-я — Горчаков, серебряные — Есаков, Кюхельбекер!..

Блестящий кавказский воин Вольховский из-за недоб-

¹ ГПБ, ф. 380, № 1, л. 22—23.

рожелательства Паскевича вынужден выйти в отставку, и ему еще всего два года жить.

Горчаков... Мы привыкли, что он первый в карьере — но это потом, в 1850 — 1880-х годах, а пока — 1839-й, и для князя Рюриковича с таким аттестатом и такими дарованиями, кажется, нет будущего...

В конце своего списка Корф подводит общие итоги.

Картина печальная. Еще молодые, и уже каждый третий умер, притом некоторые — от пули. Семейные радости совсем не распространены — всего одиннадцать женатых: и тут многим — «счастье не благоприятствовало».

Даже генералы, или почти что генералы, как видит Корф, тоже склонны к разным нелепостям и странностям: кто более занят ботаникой, чем военной службой, кто «пуст, странен и смешон», кто с ума тронулся, кто просто «оригинальничает», и почти все «ленивы».

Неудачники — это слово витает над списком — даже над преуспевшими; и на память приходит еще одно определение, более привычное, из литературы этих десятилетий — *лишние люди*.

Они ведь и вправду для николаевских десятилетий лишние, эти мальчишки 1811—1817 годов, гадавшие в свое время, как пойдет жизнь «пред грозным временем, пред грозными судьбами».

Не их время.

Модест Корф угадывает: «средний», он преуспел значительно больше других — и сам удивляется «случаю»; но, видно, он один сумел сделаться человеком николаевского времени и покая.

Даже вполне лояльные лицеисты первого курса, искренне старавшиеся приспособиться, сделать карьеру не могли.

Люди другого времени — начала века, 1812 года, люди той лихости, той веселости, того обращения, пусть не декабристы, но из декабристской эпохи...

Трудно этим мальчишкам-юношам-мужам в «империи фасадов»; в замерзших 30-х, 40-х годах; возможно, они не всегда это прямо сознавали — веселились, пили, путешествовали, размышляли не о потерях, а об удачах. Поражают противоположные Корфу преувеличенно оптимистические оценки лицейских успехов в письме Е. А. Энгельгардта Пущину, посланном 22 августа 1839 года, буквально в те же дни, когда составлялась дневниковая запись: «Ныне здесь на наших полоса. Искали их, ищут и все в почетные

места. Не говорю уже о Государственном секретаре, а в последнее время сколько наших пристроено!»¹

Но все же однажды, например, в разговорах на лицейской годовщине, вдруг выясняется, что служба не идет, и странности на уме, и семья не образуется, и смерть приходит. Уж не об этом ли в незаконченном лицейском стихотворении на последней пушкинской встрече — 19 октября 1836 года?

Была пора: наш праздник молодой
Сиял, шумел и розами венчался,
И с песнями бокалов звон мешался,
И тесною сидели мы толпой.
Тогда, душой беспечные невежды,
Мы жили все и легче и смелей,
Мы пили все за здравие надежды
И юности и всех ее затей.

Теперь не то: разгульный праздник наш
С приходом лет, как мы, перебесился,
Он присмирел, утих, остепенился,
Стал глуше звон его заздравных чаш;
Меж нами речь не так игриво льется,
Просторнее, грустнее мы сидим,
И реже смех средь песен раздается,
И чаще мы вздыхаем и молчим...

Мы много думаем над трагедией, темными жизненными обстоятельствами, давившими на Пушкина в 1830-х... Приводим примеры — верные примеры: жандармская слежка, долги, светские интриги... Но сверх того *нечто* висело все время в воздухе, звучало в словах, отражалось на лицах, выходило наружу в веселый час.

Корф своими характеристиками вдруг, конечно, сам того не ведая, открывает нечто общее в атмосфере конца 1830-х — тот *недостаток воздуха*, что сгубил Пушкина.

Но не один Корф оценивает эпоху, и не за ним окончательное слово...

Минуют 1840-е, 50-е годы. После 1855-го начнется общественный подъем, освобождение крестьян, возродятся надежды: декабристы вернутся из ссылки, Горчаков по служебной лестнице обгонит Корфа². Пушкин же выходит

¹ ПД, ф. 244, оп. 25, № 179.

² В 1854 г., составляя по дневнику свои воспоминания о Лицее, Корф уже сильно смягчил характеристику Горчакова: «Товарищи любили его за некоторую заносчивость и большое самолюбие менее других... Имя его гремит по всей Европе» (Я. К. Грот. Пушкин, его лицейские товарищи и наставники. СПб., 1887, с. 252). Эти вос-

и выходит, интерес к нему растет, о нем все больше говорят и пишут, предполагается сбор средств на памятник в Москве, стариков-лицейстов заставят рассказывать о поэте, записывать, и это общее веселое воодушевление тех лет не может их не коснуться, и они начинают вспоминать о юности более живо, радостно, — *иначе, чем она представлялась им в 1839-м.*

И мы в основном знаем последние рассказы лицейстов о Лицее и Пушкине — то, что собиралось или записывалось в 1850-х и позже; по светлому тону большинства этих рассказов смотрим на всю историю того выпуска... Пушкин через двадцать лет после смерти возвращает своим одноклассникам, своему поколению лицейскую молодость — как будто не было Николая I, а после 1825-го сразу — 1856-й.

Корф же в ту пору говорит о Пушкине все хуже¹, злится, — может быть, именно от того, что лучшее его время миновало; утверждает, что «Пушкин не был создан ни для службы, ни для света; ни даже — думаю — для истинной дружбы... У него было только две стихии: удовлетворение плотским страстям и поэзия... В нем не было ни внешней, ни внутренней религии, ни высоких нравственных чувств»².

В середине 1850-х годов Корф раздраженно запишет: «Иных не научил даже опыт жизни, и они остались теми же детьми-лицейстами, хотя и без волос и без зубов»³.

поминания до Грота в отрывках опубликовал П. А. Вяземский в газете «Берег» со своими примечаниями-возражениями. Любопытно, что Грот, печатая лицейские воспоминания Корфа, повторил примечания Вяземского.

¹ Бытовавшая в свое время в литературоведении версия о двух различных Пушкинах: Пушкине-человеке и Пушкине-поэте впервые печатно заявлена в воспоминаниях Корфа.

² «Пушкин в воспоминаниях...», с. 119. Много лет спустя, 18 ноября 1888 г., С. Д. Шереметев записал начерно свои воспоминания о встречах с уже покойным к тому времени Корфом. Эпиграфом к записи послужила цитата из П. А. Вяземского: «Он был чиновник огромного размера».

Впервые юный Шереметев посетил маститого Корфа в 1863-м: «После обеда... он пригласил нас в свой кабинет и распространялся о своих лицейских воспоминаниях, о Пушкине и др. Тут я заметил, что в этих рассказах было что-то напускное, что о Пушкине говорил он как-то странно: хвалил его, но чувствовалась фальшивая нота...» (ЦГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 5347, л. 4).

³ Я. К. Грот. Пушкин и его лицейские товарищи и наставники, с. 254.

Запись эта адресована, конечно, прежде всего Ивану Пущину. Это он возвращается, «не научившись» тому опыту, которым так богат Корф. Как раз к моменту возвращения Пущина и его товарищей из ссылки Корф выпускает книгу под названием «Восшествие на престол императора Николая I». Материалы для этой книги он, видимо, также извлекает из своего дневника. Публикуя в 1857 году (впервые в широкой подцензурной печати) некоторые материалы и сведения о восстании на Сенатской площади, он рассматривал события с точки зрения высшей власти, всячески восхваляя ее действия и умалчивая, искажая истинные цели декабристского движения.

Прямое столкновение противоположных мнений было неизбежно.

Из корреспондентов Пущина один В. И. Штейнгель сравнительно мягко аттестует книгу Корфа:

«За исключением умолчаний, все сушая истина — и истина неизмеримо сознательная; конечно, не без увлечения сколько возможно унижить уничтоженных; но самый факт уже отражает противное<...> Вероятно, Вы тотчас получите, если уже не получили, от самого редактора! Замечательно, что личность ничья не оскорблена! Письмо покойного Александра к Кочубею в высшей степени интересно, и для многих поучительно — из тех, кто, пресмыкаясь, думают, что они что-нибудь значат»¹.

Между тем в уже цитированном письме к Муравьеву-Апостолу от 23 августа 1857 года Пущин замечает:

«Корфова книга вам не понравится — я с отвращением прочел ее, хотя он меня уверял, что буду доволен. Значит, он очень дурного мнения обо мне. Совершенно то же, что в рукописной брошюре, только теперь не выставлены имена живых². Убийственная раболепная лесть убивает с первой страницы предисловия.— Истинно, мне жаль моего барона!..»³

Позиция М. И. Муравьева-Апостола, несомненно, близка к пущинской. 29 августа 1857 года он отвечает:

¹ ЦГАОР, ф. 1705, № 9, л. 123—124. Письмо от 7 августа 1857 г. Штейнгель имел в виду помещенное в книге Корфа письмо юного Александра I, наполненное презрением ко многим важнейшим придворным персонам.

² Очевидно, Пущин до того ознакомился с одним из рукописных списков сочинений Корфа, где фамилии обличаемых автором декабристов приведены полностью (в издании 1857 г. сохранены начальные буквы соответствующих фамилий).

³ Пущин, с. 327.

«Я читал произведение пера, вам некогда одноклассного. Не знаю, чему больше удивляться — глупости или подлости. Во всяком случае, надобно иметь медный лоб, чтобы явиться с своими восторженными возгласами, когда история поспешила произнести свой приговор. Факты тут. Все это наверное будет разобрано в своем месте, нет сомнения. Охота же себя добровольно привязывать к позорному столбу на посмеяние людей»¹.

8 сентября Пущин еще раз касается той же темы:

«О книге не станем говорить, просто помнить, особенно мне неловко за барона, хотя я давно знаю, что он стал на параллель со мною. Встретиться мы никак не можем»².

Вскоре сбылось предсказание Муравьева-Апостола: состоялся «разбор в своем месте», то есть в вольной печати Герцена. Корф был публично высечен за раболопную лесть и искажение фактов.

Хотя Корфу было отвечено из Лондона, но возвратившиеся декабристы желали сами заступиться за свое дело. Прежде всего завершенные к этому времени и начавшие распространяться записки Якушкина объективно опровергали Корфа. Для Пущина во всей этой истории имела еще и специфическая *лицейская ситуация*. Еще раньше он стал с Корфом «на параллель». Хотя, как уже говорилось, имена «государственных преступников» в книге «Восшествие на престол...» не были названы, но среди подразумеваемых находились одноклассники автора — Пущин, Кюхельбекер. Требовался между прочим и *лицейский ответ*. Личейский ответ не мог обойтись без Пушкина: так возник еще один дополнительный мотив для воспоминаний о поэте и его времени. К тому же летом 1857 года, как никогда прежде, Пущин чувствовал себя в долгу перед «дорогими теньями».

ЯКУШКИНЫ, РЫЛЕЕВЫ

Как раз во время болезни Пущина на старшего Якушкина под Москвой обрушились грубые преследования властей. Сын горевал: в последние месяцы отцу было так скверно, что «лучше бы не приезжал из Сибири». Состояние Ивана Якушкина ухудшалось, внезапно 11 августа

¹ ЦГАОР, ф. 1705, № 9, л. 93.

² Там же, ф. 279, № 232, л. 104.

1857 года пришла смерть. Кончина Якушкина была сильнейшим потрясением для его близкого друга и единомышленника.

«Необыкновенно тяжело легла на меня кончина Ивана Дмитриевича. И теперь безотчетно приходит он мне на мысль...»¹

«Почти до последнего дня, — свидетельствует Е. И. Якушкин, — отец говорил еще о поездке в Марьино»².

Пушкин не был религиозен, но полагал, что существенные земные связи не уничтожаются с уходом одного из близких, — своеобразное философское ощущение дружбы, которое мы находим хотя бы в двух следующих записях:

О Якушкине (в письме к Матвеев Муравьеву-Апосто-лу от 20 апреля 1858 года):³

«Я не знаю, в каких отношениях с нами близкие нам души, но убежден, что земная разлука не разрывает настоящей связи... Когда, где и как, я не понимаю, и даже теряюсь, когда ищу понять — но внутри ощущаю, что с иными не совсем расстался».

О Пушкине: «Одним словом, в грустные минуты я утешал себя тем, что поэт не умирает и что Пушкин мой всегда жив для тех, кто, как я, его любил, и для всех умеющих отыскивать его, живого, в бессмертных его творениях»⁴.

Смерть Якушкина вызвала скорбь, сходную с той, что была испытана двадцать лет назад, в 1837-м; поскольку же записки, оставленные ушедшим декабристом, явились отчасти плодом общего, коллективного обсуждения «ялutorовской колонии» — само их существование было как бы призывом к друзьям — продолжать его дело (и сын Ивана Дмитриевича прилагал все силы, чтобы продолжение возникло побольше!).

Между прочим, эпизод, записанный Якушкиным (встреча в Каменке, когда в присутствии Пушкина заговорили о существовании тайного общества и затем все обратили в шутку), — по сути, был первым подступом к теме «Декабристы и Пушкин» в тогдашней литературе.

После смерти Якушкина-старшего сын его стал еще ближе Пушкину, принимая активнейшее участие в бла-

¹ Пушкин, с. 330.

² ЦГАОР, ф. 1705, № 9, л. 135.

³ Там же, ф. 279, № 232, л. 115 об.

⁴ Пушкин, с. 88.

сотворительных делах декабристской артели. Пущин пишет по этому поводу Евгению Ивановичу: «В приказе по нашему корпусу объявлена вам полная благодарность»¹.

Переписка Пущина и Е. И. Якушкина представляет все многообразие их общих интересов, чаяний, замыслов: оба стараются устроить поскорее будущность зависимых от них крестьян; Евгений Иванович постоянно посылает в Марьино новые книги («Хижину дяди Тома», журнал «Атеней»), фотопортреты декабристов (23 сентября — Волконского, Батенькова, позже Матвея Муравьева и Трубецкого). Пущин взамен посылает разные бумаги, относящиеся к 1820—1830-м годам, отвечает на вопросы об этой эпохе, все больше настраиваясь на «мемуарный лад». При этом легко убедиться, что осведомленность декабриста была довольно широкой, в общем большей, чем мы обычно представляем. Так, например, сохранился переписанный рукою Пущина секретнейший донос на тайное общество, некогда поданный царю Михаилом Грибовским и опубликованный только несколько десятилетий спустя².

Отвечая на очередную серию вопросов младшего друга, Пущин сообщал: «Марлинского величали Александром Александровичем. О знакомстве и близости Пушкина с ним и с Рылеевым не берусь теперь ничего сказать. Как в тумане все это. Поговорим при свидании. Теперь весь в почте. Пропасть ответов. Остальные ваши вопросы того же времени откладываю. Вероятно, от этого промедления не пострадает род человеческий. И вы, со своей стороны, приготовьте все вопросы; когда закурите у меня трубку — вынем их из-за вашей пазухи и начнется экзамен»³.

На этот раз речь шла о попытке Евгения Ивановича вместе с Пущиным вернуть русским читателям погибших издателей декабристской «Полярной звезды», о которых несколько десятилетий нельзя было и упоминать. Пока заметим, что Пущин, так много помнящий о Пушкине, «не берется ничего сказать» о его отношениях с Рылеевым, своим близким другом (которого ведь именно Пущин принял в тайный союз!). Это указывает на тип «мемуарной памяти»: Пушкин связан с впечатлениями детства. Кроме того, разные публикации, особенно анненковские — стимулируют воспоминания: о Рылееве нечто подобное по-

¹ ЦГАОР, ф. 279, № 625, л. 27.

² Там же, № 261.

³ Там же, № 625, л. 57.

явится нескоро, когда, после неудачных попыток издать его сочинения в России, они возродятся в заграничных вольных изданиях.

Нам пока что важно отметить, что «рылеевские разговоры» шли именно в те месяцы, когда писались «пушкинские записки». Это также, с другой стороны, обновляло воспоминания, ибо Пущин ехал ведь к Пушкину и как посредник от Рылеева, а тема *Пушкин — Рылеев* сплетена с отношениями Пушкин — Пущин...

Занимаясь хлопотами по вопросу об издании сочинений Рылеева, Пущин и его друзья отыскивали дочь казненного декабриста Анастасию Кондратьевну Пущину (она была замужем за однофамильцем Ивана Ивановича). Сам факт этот известен в научной литературе (в связи со стремлением Пущина вернуть дочери Рылеева свой старинный долг). Однако некоторых документов до сих пор не было в научном обороте.

Еще 21 июля 1857 года Пущин попросит декабриста Нарышкина, жившего близ Тулы:

«В соседстве у вас живет Настенька Рылеева, теперь Настасья Кондратьевна Пущина. Верно, вы их знаете, и странно, что никогда мне об них не говорили. Пожалуйста, к вашему приезду соберите мне об ней полные сведения. Мне это нужно...»¹

8 марта 1858 года Нарышкин сообщит Пущину:

«Любезный друг Иван... Наконец твое и мое желание совершилось: вчера я имел удовольствие познакомиться с Настасьей Кондратьевной, застал ее дома — первую мыслью было, входя к ней в комнату, уловить на ее лице сходство с ее отцом, и когда заметил, что некоторые ее черты напоминают его, сердце разогрелось и я готов был полюбить ее и расцеловать ее руки! Она в первые минуты была довольно замкнута, потому что она вообще застенчива и в первый раз увидела человека, ей не чуждого, но незнакомого. Разговор об отце ее одушевил: хотя она его не помнит, но сердечно чтит его память... Через полчаса мы были уже как старые знакомые... У Н. К. 7 детей — и еще один в дороге; всех она вскормила и вынянчила сама, никому не доверяя этой священной обязанности. Мальчуганы славные; я видел четырех; старшие готовятся к поступлению в университет, у одного из них глаза, как у Кондратия Федоровича. Есть еще три дочери, коих я не видел.

¹ Пущин, с. 323.

Муж ее имеет репутацию очень хорошего человека, и на ружность это оправдывает.

Я ей передал твой душевный привет, напомнил, что ты был другом ее отца и что очень желаешь с ней познакомиться»¹.

Жена М. М. Нарышкина, Елизавета Петровна, приписала к этому 9 марта:

«Я затеряла копию письма Кондратия Федоровича² — но вот существо его: Пуцин (Иван Иванович) остался мне должен около полутора тысяч рублей, о чем извещен и отец его. Если вспомнят сами о долге, хорошо, — а если нет, то ты не беспокой. Я ему давал займы эти деньги как другу, а он мне друг. Письмо помню, что от 20-го апреля 1826 года.

Досадую, что затеряла выписку, и найти не могу»³.

Вскоре И. И. Пуцин сам напишет дочери Рылеева («лаконически, но много сказал, если они захотят понять меня настоящим образом»⁴) и отправит ей свой старинный долг погибшему отцу.

Настасья Кондратьевна отвечала 7 апреля:

«Милостивый государь, почтеннейший Иван Иванович. С глубоким чувством читала я письмо ваше, не скрою от вас, даже плакала; я была сильно тронута благородством души вашей и теми чувствами, которые вы до сих пор сохранили к покойному отцу моему. Примите мою искреннюю благодарность за оные. Будьте уверены, что я вполне ценю их. Как отрадно мне будет видеть вас лично и услышать от вас об отце моем, которого я почти не знаю. Мы встретим вас как самого близкого родного. Благодарю вас за присланные мне деньги — четыреста тридцать рублей серебром. Скажу вам, что я совершенно не знала об этом долге: покойная моя матушка никогда не поминала об нем, и когда до меня дошли слухи, что вы отыскивали меня с тем, чтобы передать мне долг отца моего, я не верила, полагая, что это была какая-нибудь ошибка; не более как с месяц назад, перечитывая письма отца моего, в одном из оных мы нашли, что упоминалось об этом долге, но мы удивились, как он не мог изгладиться из памяти вашей.

¹ ЦГАОР, ф. 1705, № 10, л. 228—229.

² Н. К. Рылеева передала Нарышкиным копию одного из последних писем своего отца.

³ ЦГАОР, ф. 1705, № 10, л. 232.

⁴ Пуцин, с. 342 (цитата из письма И. И. Пуцина Е. П. Нарышкиной).

Мой муж и дети свидетельствуют вам свое почтение, с которым имею честь быть преданная вам душою Анастасия Пуцина»¹.

Такова была историческая и духовная обстановка возникновения замечательного мемуарного документа, «Записок о Пушкине».

Сводя воедино «пуцинско-пушкинские размышления» 1857—1858 годов, замечаем: огромное и растущее общественное возбуждение, вопросы крестьянской свободы — все это переплетается с проблемой *наследства*, исторических предшественников: власть пытается о многом умолчать или представить прошлое в нужном ей виде, однако кое-что выходит наружу легально, цитируется в рукописях, достигает вольной печати. Как раз в те месяцы, что Пуцин берется за перо, в «Библиографических записках» — органе, издававшемся московскими друзьями и доброжелателями декабриста², появляется важная публикация тридцати четырех писем А. С. Пушкина к брату; в 10-м и 11-м номерах журнала (27 мая и 12 июня 1858 года). Е. И. Якушкин публикует содержательную статью по поводу последнего издания сочинений А. С. Пушкина, где, пользуясь «несколькими рукописными сборниками сочинений Пушкина, принадлежащими разным лицам», проводит в печать отдельные прежде не публиковавшиеся строки из «19 октября», часть пушкинского послания «Во глубине сибирских руд...».

Вольные издания Пушкина, оживление борьбы за литературное наследство Рыльева, в то же время существование старой декабристской «критики слева» в адрес Пушкина и первые признаки радикального разночинного воззрения (нашедшего позже крайнее выражение в писаревской недооценке пушкинского наследства) — вот о чем нужно помнить, вчитываясь в «Записки...» Пуцина, анализируя их содержание и порою угадывая сокровенный смысл.

«КАК БЫТЬ!»

Из переписки Пуцина восстанавливаются главные этапы работы над текстом «Записок о Пушкине». В каждодневных письмах к уехавшей в Петербург жене тема

¹ Пуцин, с. 436.

² Подробнее в кн.: Н. Я. Эйдельман. Тайные корреспонденты «Полярной звезды», гл. 8.

«Записок...» появляется 25 февраля 1858 года — и, очевидно, раньше Пушкин не садился за стол, ибо это отразилось бы в «посланиях-дневниках»¹.

Возможно, непосредственным толчком к работе было печальное известие, присланное Матюшкиным 17 февраля 1858 года:

«Виноват, что не отвечал тебе еще на последнее твоё письмецо, оно застало меня нездоровым, так что с неделю не мог поспеть к Наталье Дмитриевне, хотя она посещала одну крышу со мной. Но твою комиссию через Яковлева исполнил. Мария Яковлевна <Энгельгардт> праздновала еще день своего рождения, была слаба, но через четыре дня угасла в совершенной памяти, без всякого мучения — при ее старости грипп с легким кашлем было довольно. На Егора Антоновича больно смотреть — он часто как будто не знает своего несчастья, говорит, рассказывает небывшее и физически совершенно здоров <...> Яковлев шлет тебе пакет»².

Пушкин тогда же писал жене в столицу:

«Поразила меня кончина Марии Яковлевны — за нею непременно пойдет и добрый мой директор. Когда будешь посвободнее, непременно навести за меня и поцелуй с искренним участием... Не пережить старику Марьи Яковлевны...»³

25-го февраля: «Сейчас писал к шаферу нашему <Ф. Ф. Матюшкину> в ответ на его лаконическое письмо. Задал ему и сожителю мильон лицейских вопросов. Эти дни я все и думаю и пишу о Пушкине. Пришлось наконец кончить эту статью с фотографом. Я просил адмирала с тобой прислать мне просимые сведения. Не давай ему лезть — он таки ленив немножко, нечего сказать...»⁴

К сожалению, письмо Пушкина к Матюшкину и жившему с ним вместе на одной квартире Яковлеву не обнаружено (по переписке видно только, что оно пришло около 10 марта 1858 года) — оно могло бы многое дать для прояснения в «технологии» пушкинских воспоминаний.

Через три дня, 1 марта, Пушкин сообщает о продолжении черновой (карандашом) работы над записками:

«...Я теперь все с карандашом — пишу воспоминания о Пушкине. Тут примешалось многое другое и, кажется,

¹ См.: ГБЛ, ф. 319, 3, № 34.

² ЦГАОР, ф. 1705, № 9, л. 169.

³ Пушкин, с. 337.

⁴ Там же, с. 338.

взору много. Тебе придется все это критиковать и оживать. Мне как кажется вяло и глупо. Не умею быть автором. J'ai l'air d'une femme en couche¹. Все как бы скорей услышать крик ребенка, покрестить его, а с этой системой вряд ли творятся произведения для потомства!..»²

«Многое другое» — вероятно, личность самого Пущина, за «вторжение» которой он извинялся и в начале «Записок...» перед Е. И. Якушкиным. Видимо, сильно беспокоило застарелое, с лицейских времен, скромное мнение Пущина о своих литературных дарованиях, и, понятно, ему было важно сознание, что «статья» пишется не для печати, а для «фотографа»; это, впрочем, обусловило ее особую искренность и раскованность³.

Посмеиваясь над самим собой, Пущин снова обращается к лицейским друзьям:

«...Еще хотел тогда просить тебя, чтоб ты отобрала от шафера сведения (в дополнение к тем, которые от него требую): не помнит ли он, или Яковлев, когда Пушкин написал известные стихи в альбом <императрицы> Елизаветы Алексеевны? Мне кажется, что она ему еще в Лицее прислала после этого в подарок часы, а Анненков относит в своем издании эту пьесу к позднему времени. Вот тебе совершенно неожиданное поручение. Не смейся, пожалуйста, надо мной! Позволяю только моргнуть на меня, когда будешь об этом толковать с Матюшкиным, который, верно, почитает меня за сумасшедшего...»⁴

Отрывок о Елизавете Алексеевне, с уточняющим примечанием о дате написания стихов, появился в первом из-

¹ Я похож на женщину, собирающуюся родить (*фр.*).

² Пущин, с. 338.

³ Здесь уместно исправить ошибку, попавшую в мою книгу «Тайные корреспонденты «Полярной звезды» (с. 169—172). Там анализируется своеобразная «рукопись-оттиск» воспоминаний Пущина (из собрания Шляпкина-Ефремова) и делается вывод, что этот документ был подготовлен самим декабристом для публикации полного текста мемуаров в вольной печати Герцена. Действительно, на самом оттиске сохранилась запись, утверждающая, что рукописные вставки к печатному (урезанному) тексту сделаны рукой И. И. Пущина. Однако более тщательная проверка показала, что И. И. Пущин не причастен к загадочной «рукописи-оттиску», составленной после его смерти и дополненной неизвестным почерком (см.: ПД, ф. 244, оп. 17, № 114). Впрочем, все это не снимает гипотезы о значении документа для Е. И. Якушкина и П. А. Ефремова, передавших такой вариант «Записок...» Пущина Герцену и Огареву (в 1859 или 1860 г.).

⁴ Пущин, с. 339.

дании «Записок...» Пуштина¹, и ясно, что этот текст декабрист отработывал как раз в марте 1858 года.

После того работа продолжается весной 1858 года, но прерывается в июне путешествием декабриста в Нижний Новгород.

Оттуда сообщает жене (2 июня):

«Навестил Даля (с ним побеседовал добрый час)... Ты будешь читать письмо Герцена и будешь очень довольна. Есть у меня...»²

«Письмо Герцена», по справедливой догадке С. Я. Штрайха, очевидно, отповедь Корффу за его книгу.

Беседа с Далем отразилась в одном из последних отрывков «Записок...»:

«В Нижнем Новгороде я посетил Даля (он провел с Пушкиным последнюю ночь). У него я видел Пушкина простреленный сюртук. Даль хочет принести его в дар Академии или Публичной библиотеке»³.

В июле Пущин возвращается. В неопубликованном письме к Е. Оболенскому от 20 июля 1858 года (уже из Бронниц) он рисует весьма примечательную сцену:

«Мне удалось в Москве уладить угощение в Новотроицком трактире, на котором присутствовал С. Г. <Волконский>, Матвей <Муравьев-Апостол> и братья Якушкины.

Раненных никого не было, и старый собутыльник Пушкина et son⁴ был всем любезен без лдяного клико, как уверяли добрые его гости. С. Г. даже останавливал при некоторых выпадах, всматриваясь в некоторые лица, сидевшие за другими столами с газетами в руках. Другие времена — другие нравы!»⁵

За кратким шутливым описанием мы угадываем подробности необыкновенной встречи необыкновенных людей в необыкновенное время: для некоторых — например, Пуштина и Волконского — это свидание последнее... И, видимо, разговор о «лдяном клико» (которое Пущин ведь захватил с собою, когда ехал в Михайловское на последнее свидание с поэтом) вызвал тень Александра Сергеевича.

¹ Пущин, с. 48.

² Там же, 345.

³ Там же, с. 88.

⁴ И компании (фр.).

⁵ ПД, ф. 606, № 18, л. 142.

Проходит еще несколько дней. 27 июля 1858 года приезжает погостить товарищ по Сибири, петрашевец Дуров.

30 июля (явно 1858 года, судя по упоминанию Дурова) Пуштин просит Е. Якушкина:

«Книжонку о Пушкине пришлите с Иваном кучером, он в воскресенье везет Ваню — у нас будет в понедельник. Хочется посмотреть, нет ли там чего-нибудь для моей рукописи. Еще пять листов уже готовы — быстро продвигаемся к концу... Дуров Вас приветствует»¹.

Кроме сообщения о ходе работы (еще пять листов — очевидно, из числа сорока трех двойных листов, составивших полную рукопись), интересно стремление Пуштина связать свои мемуары с новинками пушкинианы; обогатить «Записки...» за счет «кристаллизации» памяти вокруг некоторых новых фактов (как было при чтении Анненкова. Об этом см. также в следующей главе).

Наконец, 15 августа 1858 года Пуштин начинает важное письмо Е. И. Якушкину (которое завершит и отправит 21-го):

«Вот вам, любезный мой банкир, и фотограф, и литограф, и пр. и пр., окончательные листы моей рукописи. Прошу вас, добрый Евгений Иванович, переплесть ее в том виде, как она к вам явилась, — в воспоминание обо мне!

Печататься не хочу в *искаженном виде* и потому не даю вам на это согласие. Кроме ваших самых близких, я желал бы, чтоб рукопись мою прочел П. В. Анненков. Я ему говорил кой о чем, тут сказанном. Вообще прошу Вас *не производить меня в литераторы*.

Или сами (или кто-нибудь четко пишущий) перепишите мне с пробелами один экземпляр для могущих быть дополнений, только, пожалуйста, без ошибок. Мне уже наскучила корректура над собственноручным своим изданием. Когда буду в Москве, на первом листе напишу несколько строк; велите переплетчику в начале вашей книги прибавить лист. <...> Пушкин переплетен (за него я уже заплатил Щепкину) и ждет для отсылки в Нижний от вас переплетенный лексикон.

Кончены все расчеты с моими работодателями, во главе коих вы сами.

Дуров вам вручит и этот листок и рукопись...

Наконец, сегодня, то есть 21 августа, явился Пальм и

¹ ЦГАОР, ф. 1705, № 625, л. 52.

завтра утром увозит Дурова, который непременно сам заедет к вам. Вопрос в том, застанет ли он вас дома. Во всяком случае, у вас на столе будет и рукопись и это письмо...

Обнимаю вас. *И. П.*»¹

Рассматривая беловую рукопись Пущина, завершённую в августе 1858 года, находим поправки и зачеркивания, сделанные более темными чернилами — судя по всему, на последнем этапе работы².

Ряд дополнений носит чисто стилистический характер.

Письмо к Е. Якушкину, открывающее текст, очевидно, вчерне написано до завершения «Записок...» («Как быть! надобно приняться за старину <...> придется, может быть, и об Лицее сказать словечко») — но уже в то время, когда работа начата или даже завершена в «карандаше» (что видно из фраз: о «собственной моей личности», которая уже «замешивается» в рассказ «невольным образом»; «все сдаю вам, как вылилось на бумагу»).

Теперь это письмо, вносится на специальный лист, который прибавлен переплетчиком...

В предисловии наше внимание останавливает следующее место: «Прошу смотреть без излишнего педантизма на мои воспоминания», — обращается Пущин к Е. Якушкину, но, видимо, решает, что это грубовато по отношению к адресату, и меняет — «без излишней взыскательности»;³ также чуть ниже⁴ слова о большем, нежели у друзей, образовании Пушкина, вынесенном из родительского дома, «что нисколько не сделало его педантом», заменены — «нисколько не сделало его заносчивым».

В другом месте Пущин задумывается: «Воспоминания о человеке, мне близком с самой нашей юности»; зачеркивает слово «юности»: «с детства»⁵.

По многим другим поправкам видно нежелание Пущина слишком «выдвигать» свою персону, боязнь категорических оценок. Написано сначала: «чтоб полюбить его

¹ Пущин, с. 349—350; добавления по ЦГАОР, ф. 279, № 625, л. 54.

² Впервые черновые варианты рукописи Пущина были частично опубликованы С. Я. Штрайхом в издании: «И. И. Пущин. Записки о Пушкине». М., ГИХЛ, 1934. Однако текстология «Записок...» еще почти не изучена.

³ Здесь и далее сравнивается печатный текст с рукописью, находящейся в ПД, ф. 244, оп. 17, № 36.

⁴ См.: Пущин, с. 44.

⁵ Там же, с. 41.

<Пушкина> настоящим образом, пужно было взглянуть на него с тем полным благорасположением, которое неразлучно со снисхождением к неровностям характера»; Пущин убирает слово «снисхождение» (получалось, будто он «снисходит») и пишет о «благорасположении», «которое знает и видит все неровности характера и другие недостатки, мирится с ними и кончает тем, что полюбит даже и их в друге-товарище»¹.

Когда зашла речь об известном эпизоде с уроком стихосложения, Пущин хотел начать: «Мой стих никак...» — но испугался появления своей персоны: «*Наш стих никак...*»

Примечательны поправки в рассказе о тайном обществе;² было: «не ручаюсь, что в первых порывах, по исключительной дружбе моей к нему, я, *может быть, увлек бы его <Пушкина> с собою*». Вместо выделенных нами слов первоначально было «*не присоединил бы его к моей участи*» — но это слишком категорическое заявление снято; оно возникает в конце рукописи, когда Пущин рассуждает о возможной участи Пушкина, если б он попал в тайное общество; появление подобных слов в начале «Записок...» еще раз показывает, как занимала декабриста мысль о закономерном или случайном стечении обстоятельств в жизни великого поэта.

Написав: «Пушкин часто меня сердил...»³ — автор счел нужным вписать поверх строки: «Пушкин, либеральный по своим воззрениям, имел какую-то жалкую привычку изменять благородному своему характеру».

Как видно, поправки идут по линии уточнения существенных, деликатных деталей, в чем Пущин проявляет широту понимания и тонкость чувства.

Знаменательна поправка, относящаяся к важному эпизоду — размолвке друзей в связи с «секретом Пущина» (участие в тайном союзе): «Преследуемый мыслью, что не верен Пушкину, я...» — написал декабрист, но, очевидно, подумал, что ведь всегда был *верен* поэту, и переменял: «Преследуемый мыслью, что у меня есть тайна от Пушкина»⁴.

По виду рукописи и характерному финальному отчеркиванию создается впечатление, будто Пущин окончил ра-

¹ Пущин, с. 54.

² См.: там же, с. 69.

³ См.: там же, с. 70.

⁴ Там же, с. 73.

боту словами: «Пушкин мой всегда жив для тех, кто, как я, его любил, и для всех умеющих отыскивать его, живого, в бессмертных его творениях...»

Затем, однако, после отчеркивания, теми же чернилами, последовало: «Еще пара слов» (как бы постскриптум рассказа) — из бесед с Далем, Данзасом о «последнем вздохе» Пушкина.

В конце — «С. Марьино. Август 1858».

«А ВСЕ-ТАКИ НАДО...»

Буквально через несколько дней после окончания работы выполнивший свой долг мемуарист пускается в последнее путешествие, посещает друзей-декабристов в Калуге, Туле, Петербурге. Его маршрут: Нарышкин — Батеньков — Свистунов — Оболенский — Штейнгель, — лицейские друзья. Между прочим, состоялась встреча с дочерью Рылеева.

26 сентября 1858 года Пуцин сообщает родственникам:

«О поездке моей к дочери друга Кондратия будем говорить, когда я буду к вам. Очень доволен, что отыскал Настеньку прежних лет, а теперь Пуцину»¹.

Подробнее — в письме Трубецкому:

«Она меня приняла как родственника, и мы вместе поплакали об Кондратии, которого она помнит и любит. Мать ее несколько лет тому назад как умерла. Живут они безбедно... Она мне напомнила покойника быстрого взгляда и верхней частью лица — видно, женщина с энергией, но, живя в глуши, мало знакома с происшедшим. Теперь она довольно часто видается с Нарышкиными. Я сам не теряю надежды, если бог поставит на ноги, хорошенько с нею повидаться. Этот раз только несколько часов были вместе. Встреча наша необыкновенно перенесла меня в прошедшее: о многом вспомнили...»²

Подробности той встречи воссоздаются и в неопубликованном письме дочери Рылеева к другу ее отца:

«М. г. Иван Иванович! Приятнейшее письмо Ваше я получила 29 октября. Как и чем выразить Вам мою благодарность за Ваши заботы и попечение обо мне? Один только бог может вознаградить Вас за все.

¹ Пуцин, с. 352.

² Там же, с. 356.

Вы думаете, чтобы я могла усумниться, не получая долго известия, никогда я не сомневалась в Вас, узнав Вашу прекрасную душу, но я несколько беспокоилась о здоровье Вашем и теперь боюсь, чтоб это движение и сырость петербургского климата не имели бы влияния на Ваше здоровье.

Чувствительно благодарю Вас за проект письма к г-ну министру, я его переписала на почтовом листе и отправила 30 октября, на другой день по получении; Вам же я не могла писать в Пб, не зная Ваш адрес, да Вы и просили меня писать к Вам в Марьино, надеюсь, что письмо мое застанет Вас уже дома.

Молю бога, чтобы он осуществил наши желания, касательно рукописи и портрета я совершенно покойна, потому что они в Ваших руках. Вы можете их держать, сколько Вам угодно. Писем Пушкина к моему отцу здесь нет. Впрочем, я знаю, что некоторые бумаги остались в Воронежской губернии, напишу к сестре¹, чтобы она мне прислала их.

Иван Александрович и все дети мой свидетельствуют Вам свое искреннее почтение, старшие дети очень сожалеют, что не имели удовольствия Вас видеть.

С истинным почтением имею быть
преданная Вам душою *Настасья Пушкина*»²

В эти же недели воздается должное и другому славному лидеру декабристов. Узнав, что леволиберальные тверские дворяне во главе с А. М. Унковским действуют решительнее других в пользу освобождения крестьян, Пушкин посылает в Тверь старую конституцию Северного общества.

20 декабря 1858 года Унковский отвечает:

«Извините, что так долго задержал присланную Вами рукопись и не благодарил Вас за Ваше внимание. Работы в Комитете, усиливаясь с каждым днем, совершенно лишили меня свободной минуты заняться рукописью и писать к Вам. Рассмотрев внимательно предположения, сделанные 35 лет тому назад, я чрезвычайно обрадовался сходству с нашими постоянными целями, и это еще более

¹ Вероятно, кузине, так как у К. Ф. Рылеева больше дочерей не было.

² ГИМ, ф. 282, № 295, л. 113—114. В письме идет речь, между прочим, о хлопотах (безрезультатных) относительно издания в России сочинений Рылеева.

утвердило меня в мысли выкупа и в том убеждении, что деятели Вашего времени были далеким авангардом нашего века. Дай бог, чтобы теперь совершилось задуманное ими дело освобождения крестьян и на тех началах, которые они предлагали...

Препровождая к Вам с этою же почтою присланную Вами рукопись и принося Вам мою чувствительную благодарность за ее сообщение, с глубочайшим почтением имею честь быть...»¹

Мы, конечно, отметим тут и уважение деятелей 50—60-х годов к «отцам», и чисто либеральный интерес к «мысли выкупа» в умеренной декабристской конституции (возможно, именно из-за этой умеренности сочинение Никиты Муравьева не было в ту пору предложено вольной русской печати?).

В Петербурге состоялись последние лицейские встречи: «Министра нашего не видал; потому что он не счел нужным повидаться со мной; верно, знал, что я через Мойку от него.

Корф был, и я с ним откровенно высказался — это не нарушило нашей лицейской связи...»²

14 декабря 1858 года исполнилось тридцать три года тому 14 декабря, которое сделало их *декабристами*. В этот день родственник и единомышленник Пущина Андрей Розен написал в высшей степени характерное письмо, нечто вроде эпитафия, невольного прощания:

«Сегодня при многих воспоминаниях особенно вспомнил тебя, любезный друг Пущин. Этот день ведь дальше и дальше — и за все слава богу! Теперь как-то отраднее вспоминать этот день и как-то знаменательно отзываются памятные слова Рылеева, когда он, предвидя возможность неудачи, сказал мне: «А все-таки надо». Истина берет свое. Я рад, что ты видел Настеньку его и что ты хорошо придумал, как помочь ей и детям. Желаю тебе успеха. Искренне благодарю за вести о наших, с которыми ты виделся и о которых ты слышал»³.

За несколько дней до смерти Ивана Ивановича его жена справлялась в Москве у герценовских друзей Кетчера и Пикулина о возможном лечении хudeющего, тающего

¹ ГИМ, ф. 282, № 292, л. 232—233. В конце 1858 г. Пущин посетил Унковского в Твери (см.: ПД, ф. 606, № 18, л. 147).

² Пущин, с. 353.

³ ГИМ, ф. 282, № 292, л. 250.

Пущина. Пикулин свел ее с врачом-немцем Гофманом, который «ругал на чем свет стоит *незабвенного* <Николая I>. Он был врачом в Шлиссельбурге в 1834 году и хорошо знает эту местность. «За что, помилуй, мучили таки эти люди? Теперь, сами то же хотят¹, а люди почти убили за то — это зверь были!»²

3 апреля 1859 года Иван Иванович Пущин скончался.

Некролог появляется через два с лишним месяца в герценовском «Колоколе», но еще прежде, в статье «Неизданные записки о Пушкине», Евгений Иванович Якушкин сумеет провести в подцензурную печать следующие строки:

«Для тех, которые могли знать И. И. Пущина даже в последнее время, когда он был изнурен тяжелою, неизлечимою болезнью, весьма понятно, какое сильное влияние он должен был иметь на поэта своим энергическим характером, твердостью и благородством своих убеждений и той доброотою, которая привязывала к нему всех с первой минуты знакомства»³.

«Записки...», для которых Пущин не видел близкого «типографского будущего» — через несколько месяцев были частично опубликованы в московском журнале «Атеней», а через два года не пропущенные цензурой отрывки появились в «Полярной звезде» Герцена. С тех пор их прочитали сотни миллионов людей.

¹ То есть отменяют крепостное право.

² ЦГАОР, ф. 1705, № 6, л. 21 об.

³ «Библиографические записки»; 1859, 30 апреля, № 8.



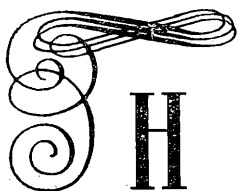
МИХАЙЛОВСКОЕ



11 ЯНВАРЯ 1825 ГОДА

И ныне здесь, в забытой сей глуши...

Пушкин, 1825



несколько страниц (менее трети печатного листа) — вот вся запись Ивана Пущина о его столь известной ныне последней встрече с Пушкиным. Запись 1858 года о встрече 11 января 1825-го.

Прибегнем к «медленному чтению», объясняя некоторые строки Пущина, размышляя, а там, где возможно, — «договаривая» за него.

Однако передэтим необходимо представить того Пушкина, с которым январским днем 1825 года толкует его старинный добрый друг. Нужно также как можно точнее понять, каким был Пущин в те грозные преддекабрьские дни.

Мы не собираемся повторять общие места о величии и значении Пушкина, но обратимся к несколько фрагментарному, но удобному для нашего изложения перечню.

Пять михайловских месяцев, сердцевина которых — небывалая, толком еще не осознанная нами михайловская осень 1824 года¹.

¹ Датировка — по «Летописи жизни и творчества А. С. Пушкина». Некоторые даты предположительны, другие — определенно фиксируют не совсем завершённые пушкинские работы, иногда — лишь начальный период; однако при всех возможных уточнениях и дополнениях перечень произведений поэта, полагаем, достаточно точно представляет первую «михайловскую осень».

9 августа — приезд Пушкина в деревню.

Конец августа — сентябрь:

К Языкову («Издrevле сладостный союз...»).

«Здравствуй, Вульф, приятель мой...».

Окончательная отделка стихотворения «Наполеон».

Окончание «К морю».

«Разговор книгопродавца с поэтом».

«Храни меня, мой талисман...».

«Аквилон» (ранняя редакция).

Октябрь 1824 года:

Третья глава «Евгения Онегина» (завершение).

Отделка прежних глав.

«Младенцу».

«Ненастный день потух...».

«Охотник до журнальной драки...».

Начало работы над четвертой главой «Евгения Онегина» (к концу года — 23 строфы).

Серия эпиграмм на Воронцова.

Завершаются «Цыганы».

«Графу Олизару».

«О дева-роза, я в оковах...».

«Коварность».

«Как жениться задумал царский арап...».

«Из письма к Плетневу» («Ты издал дядю моего...»).

Октябрь — ноябрь:

«Подражание Корану».

«Пускай увенчанный любовью красоты...».

«Сабуров, ты оклеветал...».

«Презрев и голос укоризны...»;

«Мне жаль великия жены...».

«Клеопатра».

«Тимковский царствовал...».

«Т. — прав, когда так верно вас...».

Постоянные записи народных сказок и песен за Ариной Родионовной.

Ноябрь:

«Фонтану Бахчисарайского дворца».

«Виноград».

«Пока супруг тебя, красавицу младую...».

«У лукоморья дуб зеленый...».

«Ночной зефир...».

«С перегородкою коморки».

«Иван-царевич по лесам...».

Декабрь — начало января:

Начаты «Автобиографические записки».

Задуман и начат «Борис Годунов».

«Ты вынешь и молчишь...» (начало).

«Послание к Л. Пушкину».

«Лизе страшно полюбить...».

«Воображаемый разговор с Александром I».

«Сожженное письмо».

«Признание».

Добавим к этому написанное прежде, — всю мудрость Юга, Петербурга и Лицея; прибавим еще не написанное, но уже задуманное; прибавим общественный эффект в связи с появлением именно в эти месяцы печатных сочинений поэта (написанных, понятно, раньше). Так в последнюю неделю декабря, когда Пушкин еще в Петербурге, выходит отдельное издание первой главы «Евгения Онегина», а также альманах «Северные цветы», где — «Песнь о вещем Олеге», «Демон», «Прозерпина», новые онегинские строфы. Начиналось такое ощущение своего дара, которое через несколько месяцев вылилось в знаменитое: «Я могу писать...»

Но поэту двадцать пять лет; несправедливая ссылка, ярость против тех, кто сослал, мысли о клевете, побеге, даже самоубийстве; нелепая ссора с отцом, из которой могут выйти еще большие неприятности — «пахнет палачом и каторгой»... Прибавим еще любовь и разочарование на юге, новые увлечения здесь, и Жуковский, который два месяца назад написал: «Ты имеешь не дарование, а гений <...> Ты рожден быть великим поэтом; будь же этого достоин. В этой фразе вся твоя мораль, все твое возможное счастье и все вознаграждения. Обстоятельства жизни, счастливые или несчастливые, шелуха. Ты скажешь, что я проповедую с спокойного берега утопающему. Нет! я стою на пустом берегу, вижу в волнах силача и знаю, что он не утонет, если употребит свою силу, и только показываю ему лучший берег, к которому он непременно доплывет, если захочет сам. Плыви, силач <...> По данному мне полномочию предлагаю тебе *первое* место на русском Парнасе. И какое место, если с *высокою гения соединишь и высоту цели!*» (XIII, 120).

Заметим строки о «высокой цели» и еще вернемся к ним

позже. Внешне, словесно, пожелания Жуковского удивляюще сходны с «нотациями» Пушкина и других декабристов; Пушкин же тронут этими обращениями, потому что в это самое время уж ощущает — «я могу писать». Дважды замеченное Пушциным — «ему наскучила прежняя шумная жизнь», «тут, хотя невольно, но все-таки отдыхает... с музыкой живет в ладу» — все это позже будет описано самим поэтом и — снова повторим — останется важнейшим воспоминанием о первой михайловской осени:

Но здесь меня таинственным щитом
Святое провиденье осенило,
Поэзия, как ангел-утешитель,
Спасла меня, и я воскрес душой.

Новое, особенное состояние Пушкина — один из источников его радостного настроения, замеченного Пушциным, — «шутки, анекдоты, хохоту от полноты сердечной».

Теперь затронем интересную и важную для нашего повествования проблему: что знал, о чем думал, чего хотел видный член тайного общества Иван Пуцин, разговаривая с Пушкиным 11 января 1825 года? Снимем вопрос о том, что он рассказал: пойдем его действительные представления о ближайшем будущем, о наиболее вероятном ходе событий. Ведь эта «сверхзадача» все равно должна наложить печать на разговор, размышления о будущем, ближнем и дальнем...

Сохранилось немало высказываний Пушкина и его друзей, относящихся ко времени до и после встречи 11 января, о слабости, медленности действий тайного общества. Так Матвей Муравьев-Апостол писал брату Сергею (3 ноября 1824 года):

«Проезжая через Москву, я видел двух лиц, которые сказали мне, что еще ничего не сделано, да и делать нечего — благоразумного разумеется»¹.

Тогда же Нарышкин (в присутствии Пушкина), узнав об усилении Южного общества, заявляет: «Мы находимся в совершенном бездействии»².

Во многих письмах встречаются фразы о готовности «через пять лет», «разве что через десять лет».

Что же касается Пушкина, то ему было нелегко в Москве в основном из-за медленного, апатичного развития дела.

¹ ВД, т. IX, с. 211.

² См. И. В. Порох. Деятельность декабристов в Москве. — Сб.: «Декабристы в Москве». «Московский рабочий», 1963, с. 77.

В полуконспиративном письме к Вольховскому от 8 апреля 1824 года находим:

«В Москве пустыня, никого почти, или, лучше сказать, нет тех, которых я привык видеть в Петербурге, — это сделалось мне необходимостью» (93)¹.

Хотя Пущин собрал московскую управу, но некоторые члены присоединились только на базе умеренного «Практического союза», ставившего целью постепенное освобождение крестьян и дворовых.

Близкая связь с Рылеевым, избрание Кондратия Федоровича в Верховную думу Северного общества, состоявшийся за несколько дней до встречи Пущина с Пушкиным разговор «о необходимости покончить с этим правительством» — вот другая линия событий, одушевлявшая Пущина. Активизация северян-рылеевцев захватила и москвичей. Предчувствие близких событий, конечно, было. Но каких событий они желали?

Десять месяцев назад в Петербурге побывал Пестель. На переговорах с ним Пущин, очевидно, появлялся непосредственно перед отъездом в Москву, в любом случае был после подробно осведомлен о ходе совещания...

Стало быть, за михайловским столом с Александром Сергеевичем сидит человек, хорошо знающий о мощном республиканском настроении и стремлении к делу Южного общества, знающий, что к 1826 году договорились объединить оба тайных союза, создать общую конституцию вместо двух имеющихся — «Русской правды» Пестеля и конституции Никиты Муравьева. 14 декабря 1825 года в руках Пущина будет список проекта Никиты Муравьева — записанный Рылеевым и с пометами разных деятелей Северного союза.

Нелегко точно и скрупулезно определить, каков был Иван Иванович 11 января 1825 года: очевидно — рылеевец, сторонник созыва, после победы революции, всероссийского народного собрания, Верховного собора. Это собрание предложит либо республику, либо — ограниченную, представительную монархию, которая, по мысли северян, мало отличается от республики.

Но когда удар, когда восстание?

Для Пущина, конечно, не было секретом, что неожиданный взрыв очень возможен на юге. В Петербурге знали, например, о Бобруйском плане (С. И. Муравьев-Апо-

¹ В этой главе ссылки на страницы издания Пущина вводятся в текст.

стол, М. П. Бестужев-Рюмин, В. С. Норов) — идее захвата и убийства Александра I во время маневров в Бобруйске летом 1823 года. Пестель остановил тогда порыв наиболее решительных заговорщиков, но одна за другой вызревали новые идеи. Даже сравнительно умеренный Матвей Муравьев-Апостол, проезжавший через Москву в 1824 году, как отмечалось, противопоставил северной умеренности — давнюю южную решительность.

С Пушиным и Москвою достаточного взаимопонимания у южан не образовалось¹. Они стремились в Москве, как и в Петербурге, завести свои ячейки, независимые от Северной думы: их агентом здесь был В. С. Толстой.

Итак, Пущин не сторонник чрезмерной, горячей южной активности, но ведь и Пестель, лидер южан, настаивает, что начать должны в центре — прежде всего, в Петербурге, а также в Москве, где «средоточие всех властей».

Мы не можем уловить всех нюансов в представлениях северян о будущем, но у них был уже впереди некий рубеж, перспектива: *1826 год*, объединение тайных обществ, после чего единый план действий должен иметь естественный ход. Проект захвата царя на маневрах 1826 года появится позже — но и без того, к началу 1825-го, ясно обрисовывались контуры возможных действий через год-два, когда общества сольются. Кроме того, лидеры декабризма учитывали возможность случайных, вынужденных действий (в случае смерти императора, раскрытия агентами правительства тайного заговора и т. п.). Еще в 1824 году договорились на этот случай предупредить друг друга...

Пущин и его друзья готовятся к объединенным, совместным действиям, учитывая «внезапность» — скорее всего с юга, но, может быть, и с севера...

Взрыв может грянуть очень скоро: слишком много мин заложено вокруг, слишком много горючего, легко воспламеняемого в политической обстановке, особенно ввиду активности арачевских властей и нетерпения многих заговорщиков.

С Пушкиным 11 января беседует друг, который сам не стремится к авантюрным действиям без основательной подготовки, не станет торопить события — но по убежден-

¹ Москва играла большую роль в планах южан, как наиболее близкая к ним столица. Недаром Бестужев-Рюмин перед бобруйскими маневрами ездил в Москву, но «никого» там не нашел.

ности, внутренней честности верит, что удобный случай упускать нельзя. В знаменитом письме Пущина, посланном из Петербурга москвичам накануне 14 декабря, есть фраза: «Случай удобен; ежели мы ничего не предпримем, то заслуживаем во всей силе имя подлецов» (97). В этих нескольких словах — многое: прежде всего чистота пушчинских моральных оценок («заслуживаем... имя подлецов...») — а ведь задача не быть подлецом давно решается им как на посту надворного судьи, так и в тайном служении.

Тут незримая полемика: столько пропускали, верно или неверно (Семеновская история, южные планы), — но тут такой случай, что если пропустим, то — «заслуживаем... имя подлецов»!

Итак, 11 января 1825 года с Пушкиным беседует человек, который понимает и допускает, что жизнь страны очень богата неожиданностями, случаями — а если нет, то через года два не будет препятствий, чтобы самим создать «удобный случай»...

Тридцать три года спустя он запишет:

«С той минуты, как я узнал, что Пушкин в изгнании, во мне зародилась мысль непременно навестить его. Собираясь на рождество в Петербург для свидания с родными, я предположил съездить и в Псков к сестре Набоковой; муж ее командовал тогда дивизией, которая там стояла, а оттуда уже рукой подать в Михайловское. Вследствие этой программы я подал в отпуск на 28 дней в Петербургскую и Псковскую губернии» (76—77).

Надворному судье, который служит в Москве с марта 1824 года (до этого девять месяцев на такой же должности в Петербурге), охотно и, конечно, без всяких подозрений дадут рождественский отпуск для посещения отца-сенатора и шурина-генерала... 14 декабря разделит немало дворянских семейств. Сама природа движения (представители высшего сословия выступают против этого самого сословия!) создавала, между прочим, типическое явление: Муравьевы, Орловы, Волконские, Пестели, Бестужевы, «которых вешают» и «которые вешают». Генерал Иван Александрович Набоков через год будет возглавлять в Могилеве Военно-судную комиссию «для суждения виновных офицеров, участвовавших в мятеже или к оному прикосновенных».

Впрочем, только что отмеченное явление — два «полю-

са» в одних и тех же фамилиях — объясняет сохранение порою довольно близких связей между осужденными и осуждающими. Письма в Сибирь старшей сестры Пущина Екатерины Ивановны выделяются среди посланий многочисленных родственников своей теплотой, грустью, искренностью. Муж ее непременно присоединяется к каждому привету, хлопочет об улучшении быта Пущина; Иван Иванович же, «государственный преступник, осужденный по первому разряду», по дороге в Сибирь пишет об одном из важных следователей: «Поздравляю Ивана Александровича генерал-лейтенантом. Как мне жаль, что я его не видел».

Однако все это — после. Пока же московский судья Иван Пущин собирается на рождество в Петербург и Псков.

С Пушкиным после восьми лет царскосельской и петербургской дружбы — пять лет разлуки. Мы и не знаем точно, когда они прежде виделись: то ли на праздновании 19 октября 1819 года (известно, что оно было, но не ведаем никаких подробностей); то ли несколько позже, как обычно — «у домоседа Дельвига» (74)¹.

В январе 1820 года Пущин уехал на несколько месяцев в Бессарабию, а возвращаясь (вместе с сестрой Екатериной Набоковой), узнал на какой-то станции между Черниговом и Могилевом, что всего сутки назад тут проехал Пушкин — в Екатеринослав, южную ссылку.

Судьба развела неожиданно и не в лучший час их дружбы. Максимальная близость, взаимное понимание были в Лицее; после же —

«Круг знакомства нашего был совершенно розный <...>, мы как-то не часто виделись. Пушкин кружился в большом свете, а я был как можно подальше от него. Летом маневры и другие служебные занятия увлекали меня из Петербурга» (73—74).

¹ Самая поздняя из петербургских «выходок» Пушкина, о которой рассказывает Пущин в своих воспоминаниях и чему был свидетелем, относится к 30 октября 1819 г. («Летопись...», с. 193—194), — опасная шутка насчет медвежонка: «Однажды в Царском Селе Захаржевского медвежонка сорвал с цепи от столба <...> и побежал в сад, где мог встретиться глаз на глаз, в темной аллее, с императором, если бы на этот раз не встрепенулся его маленький шарло и не предостерег бы от этой опасной встречи. Медвежонка, разумеется, тотчас был истреблен, а Пушкин при этом случае, не обиняясь, говорил: «Нашелся один добрый человек, да и тот медведь!» (70).

Заметим, как поверхностно судит здесь Пущин, обнаруживая известный стереотип мышления или воспоминания: ведь «большим светом» Пушкина в 1817 — 1820 годах был, между прочим, Арзамас, немало других ярких литературных и дружеских сообществ, стихи, за которые его отправили в ссылку.

Вместе с тем, известная отдаленность, расхождение не поколеблет, даже не заденет «царскоесельского отечества», Лицея, их общего прошлого. Пущин явно не видит никакого логического противоречия в том месте своих записок, когда, подробно рассказав о напряжении, недомолвках, сложности общения с Пушкиным, «вдруг» добавляет:

«Все это, однако, не мешало нам, при всякой возможности встречаться с прежней дружбой и радоваться нашим встречам у лицейской братии, которой уже немного оставалось в Петербурге» (74).

Лицейская идиллия, всегдашнее безоблачное дружеское согласие. — ложь. Определенные идейные, политические противоречия между некоторыми лицейскими — важная историческая правда. Но если эту истину чуть-чуть расширить, представить невозможность «лицейской близости» при столь разных взглядах — снова выйдет ложь, и в этом случае никак не поймем, например, почему совсем не декабрист Горчаков, смертельно рискуя, пытается после 14 декабря 1825 года помочь декабристу Пущину...

Так или иначе, но к исходу 1824 года Пущин и Пушкин не виделись уже почти пять лет. Удаление географическое наслаивается на расхождение петербургское. Кажется, вообще на юге Пушкин не слишком часто вспоминает Лицей:

Друзьям иным душой предался нежной...

Конечно, нельзя судить по малому числу сохранившихся писем, но все же за несколько лет только одна строка, прибавленная к письму В. Туманского — Кюхельбекеру, и два письма к Дельвигу...

Одно из них (16 ноября 1823 года из Одессы) явно послано в ответ на письма (увы, не сохранившиеся!) Дельвига и Пущина:

«Мой Дельви́г, я получил все твои письма и отвечал почти на все. Вчера повеяло мне жизнью лицейскою, слава и благодарение за то тебе и моему Пущину! Вам скучно, нам скучно: сказать ли вам сказку про белого быка?» (XIII, 74).

Из текста видно, что Пущин и Дельвиг сумели сообщить «лицейские новости», пожаловаться на скуку — но дальше, до самого конца письма Пушкин обращается уж только к одному Дельвигу: из этого следует, что он либо напишет Пущину отдельно (не знаем такого письма), либо — предпочитает беседовать со всеми через Дельвига, как прежде именно у Дельвига чаще всего встречался с другими лицейскими¹.

Петербургское «скучно» в том ноябрьском письме 1823 года было отчасти маскировкой тайных дел и намерений, но Пушкин подобные вещи тонко чувствует... Как раз в это время, осенью 1823 года, Пущин энергично действует в петербургском надворном суде, только что, в октябре, на его квартире было совещание руководителей тайных обществ, примерно в это время он принимает в Северный союз Рылеева. Впрочем, не станем усложнять: там, в Петербурге, и в самом деле «скучно»: арачьевская тишина, медленные, не внушающие близких надежд действия северян, печальные известия о поражении испанских революционеров...

В общем, когда в августе 1824 года Пущин узнает (от Вяземского, Дельвига, Василия Львовича Пушкина — да мало ли еще от кого!), что Пушкин в ссылке, в двухстах восьмидесяти верстах от Петербурга и в ста с лишним верстах от Пскова — его волнение понятно. В записках, созданных после возвращения из Сибири, Пущин употребляет привычное автобиографическое понятие — «изгнание»: «Я узнал, что Пушкин в изгнании».

Вольный друг собирается к ссылке перед тем, как сам пойдет в тридцатилетнее изгнание.

«Перед отъездом, на вечере <...> князя Голицына, встретился я с А. И. Тургеневым, который незадолго до того приехал в Москву. Я подсел к нему и спрашиваю: не имеет ли он каких-нибудь поручений к Пушки-

¹ В «Летописи...» Дельвиг, после естественного присутствия почти на каждой странице пушкинской биографии до ссылки, — продолжает сравнительно часто появляться между маем 1820-го и январем 1825-го (19 раз); имя Ивана Пущина за то время — 6 раз. Впрочем, и общественно-политический мир Дельвига в период пребывания Пушкина на юге для нас во многом смутен. Что скрывается, например, за следующей фразой из письма Е. А. Энгельгардта Матюшкину (10 сентября 1821 г.): «Дельвиг пьет и спит и, кроме очень глухих и опасных для него разговоров, ничего не делает» (см.: А. А. Дельвиг. Полн. собр. стихотворений. Л., «Советский писатель», 1959, с. 21).

ну, потому что я в генваре буду у него. «Как! Вы хотите к нему ехать? Разве не знаете, что он под двойным надзором — и полицейским и духовным?» — «Все это знаю; но знаю также, что нельзя не навестить друга после пятилетней разлуки в теперешнем его положении, особенно когда буду от него с небольшим в ста верстах. Если не пустят к нему, уеду назад». — «Не советовал бы. Впрочем, делайте, как знаете», — прибавил Тургенев.

Опасения доброго Александра Ивановича меня удивили, и оказалось, что они были совершенно напрасны. Почти те же предостережения выслушал я от В. Л. Пушкина, к которому заезжал проститься и сказать, что увижу его племянника. Со слезами на глазах дядя просил расцеловать его.

Как сказано, так и сделано» (77).

Это происходит примерно 10 — 17 декабря 1824 года, то есть ровно за год до будущего восстания. Верный объявленному в начале своих записок правилу, Пущин вводит в рассказ только подробности, близко касающиеся Пушкина, опуская то, что, по его мнению, «не идет к делу». Нам, сто пятьдесят лет спустя, простительно с ним не согласиться и сожалеть, что Пущин так мало сказал о себе самом, о том — с чем ехал к другу.

Конечно, на старости лет Пущин передает, вероятно, лишь общий смысл тургеневских слов, но достоверно сохраняет дух, настроение: даже добрые, милые, хорошие люди, близкие к Пушкину арзамасцы, боятся предостерегают, преувеличивают запрет, наложенный на Пушкина. Пущин, между прочим, вписал, но зачеркнул затем фразу из своей беседы с Тургеневым — «кроме сострадания, тут ничего не вижу...».

У Тургенева и Василия Львовича больше чем простые страхи. Они оба и Пущин — тут, пожалуй, сталкиваются разные психологии, мироощущение, сопоставление которых особенно примечательно, потому что Александр Тургенев — «добрый», дядя Пушкина — «со слезами на глазах...»; и потому, что опасения Тургенева основывались на собственном, совсем свежем опыте. Пущин, конечно, знал либо от самого Тургенева, либо от других осведомленных лиц, что появление в Москве¹ Александра Ивановича,

¹ В сентябре — октябре 1824 г., а затем приезжал примерно 10 ноября 1824 г. (см.: «Остафьевский архив», т. III, с. 78—90).

крупного чиновника, тайного советника — результат его опалы и отставки, вызванных происками духовного ведомства. В этой связи Тургенев предостерегает более смелого «арзамасца» Петра Вяземского: «Пиши <мне> больше, но осторожнее, ибо клевета не оставляет меня»¹. Полученные Тургеневым еще летом 1824 года достоверные известия о высылке Пушкина «не по одному представлению графа Воронцова, а и по другому делу, о котором скажу после на словах»², — еще один явственный признак политического похолодания. Наконец, Тургенев беседует с Пушциным прямо под впечатлением последнего правительственного выпада в свой адрес: 10 ноября 1824 года Аракчеев передал московскому генерал-губернатору Д. В. Голицыну «Высочайшее повеление о разведывании и предупреждении возможных разговоров Тургенева насчет его отставки или о только что происшедшем петербургском наводнении»³.

Отвечая А. И. Тургеневу (13 августа 1824 года) по поводу его отставки и ссылки Пушкина, Вяземский пишет:

«Скажите, ради бога, как дубине Петра Великого, которая не сошла с ним в гроб, бояться прозы и стихов какого-нибудь молокососа? Никакие вирши не проточат ее! Она, православная матушка наша, зеленеет и дебелиет себе так, что любо! Хоть приди Орфей возмутительных песней, так никто с места не тронется! Как правительству этого не знать? Как ему не чувствовать своей силы?»⁴

Вяземский, несомненно, имел в виду непрошенных распечатывателей чужих писем, но в то же время в блестящей афористической форме излагал взгляд на вещи, родствен-

¹ «Остафьевский архив», т. III, с. 50.

² Письмо Вяземскому от 5 августа 1824 г. (там же, с. 66). Подразумевается известное перехваченное письмо Пушкина со своими былыми рассуждениями о религии.

³ «Русская старина», 1904, № 1, с. 232. Генерал-губернатор дважды, 18 и 30 ноября 1824 г., отвечал, что «обратил бдительное внимание на речи Тургенева», но «не замечает ничего предосудительного в его поведении»; стремясь умерить чрезмерное ожесточение Петербурга, Голицын отводит высказанное Аракчеевым подозрение, что «болезнь матери — не более один предлог для Тургенева», и, сообщая о прибытии в Москву также и Сергея Тургенева, брата Александра Ивановича, обещает «наблюдать за их поступками и речами» (ЦГВИА, ф. 154, оп. 1, № 116, л. 4—6).

⁴ «Остафьевский архив», т. III, с. 74.

ный декабристскому, — значительно более радикальный, чем у большинства арзамасцев¹.

Любопытно, как Вяземский неожиданно перекликается с Пуциным и насчет поведения родных, «арзамасских»:

«Умнейшие из нас, дельнейшие из нас, более или менее, а все вывихнуты! У кого рука, у кого язык, у кого душа, у кого голова в лубках <...>. Арзамас рассеян по лицу земли, или, правильнее, по <...> земли»².

Между тем в эти самые предотъездные дни у Пуцина были и другие встречи, беседы, о которых он умалчивает в записках, но мы знаем о них по другим воспоминаниям.

С 2 по 9 декабря 1824 года проездом из Воронежа в Петербург останавливается в Москве Рылеев. Он устраивает здесь печатание своих «Дум» и «Войнаровского», надеясь (как оказалось, с успехом) на более терпимую московскую цензуру. В день отъезда напишет жене: «Москвою, друг мой, я чрезвычайно доволен»³. На вечере у М. М. Нарышкина Рылеев видится с Вяземским, Полевым, Денисом Давыдовым, Штейнгелем, издателем Селивановским. Была и другая встреча у Нарышкиных, где восемнадцатилетний родственник декабриста А. И. Кошелев (будущий известный славянофил) запомнил Рылеева, Пуцина: «Рылеев читал свои патриотические «Думы», и все свободно говорили о необходимости «покончить с этим правительством»⁴.

Понятно, Рылеев рад предстоящему приезду Пуцина в Петербург к рождеству и его поездке к Пушкину; конечно, не раз обсуждалось положение Пушкина и его последние сочинения: в Москве только что появились списки стихотворения «К морю», отрывки второй главы «Евгения Онегина», уже просочились первые слухи о «Цыганах»...

Пуцин отправляется в путь через несколько дней после отъезда Рылеева. Как легко тут выстроить схему «проводов» к Пушкину: осторожные, унылые арзамасцы и бодрые, энергичные декабристы. Однако, не вдаваясь в

¹ О Вяземском и его друзьях в этот период см.: Ю. М. Лотман и П. А. Вяземский и движение декабристов. — «Ученые записки Тартуского университета», вып. 98, 1960; С. С. Ланда. Дух революционных преобразований; М. И. Гиллельсон. П. А. Вяземский. Жизнь и творчество. Л., «Наука», 1969, с. 118—127.

² «Остафьевский архив», т. III, с. 73.

³ К. Ф. Рылеев. Полн. собр. соч. М.—Л., «Academia», 1934, с. 474.

⁴ А. И. Кошелев. Записки. Берлин, 1884, с. 13.

сложный, многосторонний разбор литературных и политических дел накануне нового, 1825 года, заметим, между прочим, что «тургеневская» осторожность была совсем не чужда и тем, кто в своем кругу собирается «покончить с этим правительством»: через месяц с небольшим Александр Бесгужев (несомненно, с согласия Рылеева) отчитает Туманского, который прислал из Одессы нечто чересчур смелое: «Где ты живешь? Вспомни, в каком месте и веке! У нас что день, то вывозят с фельдъегерем кое-кого»¹.

Для предыстории пушкинской поездки важно вспомнить, что главным ходатаем и устройтелем литературных интересов Рылеева во второй столице был П. А. Вяземский, и Кондратий Федорович тогда же просит «почтеннейшего и добрейшего из князей» прислать стихи для «Полярной звезды»². У автора письма и адресата много общего в идеалах при большой разнице взглядов на «средства к достижению оных». У них и общая несомненная любовь к михайловскому изгнаннику, и общее доброе напутствие — пусть разным тоном произнесенное — надворному судье Пушкину, отправляющемуся в двадцативосьмидневный рождественский отпуск.

«Проведя праздник у отца в Петербурге, после крещения я поехал в Псков» (77).

Все рождество (последнее его свободное рождество!) уложилось в двенадцать слов.

Мы позволим себе только привести краткое, далеко не полное, «оглавление» того, что с большей или меньшей вероятностью видел и обсуждал Пушкин за две петербургских недели (и что тридцать три года спустя мог забыть или полужабыть).

Петербургские новости; повсеместные следы страшного наводнения. У отца-сенатора общение с родней; младший брат Михаил, офицер и игрок (будущий декабрист), хочет улучшить финансовые дела старшего, но дело кончается крупным проигрышем: приходится тогда же или чуть позже заниматься у Рылеева...

Рождественский обед у директора Энгельгардта. Лев Пушкин около 20 декабря, очевидно, доложил брату о предстоящем веселии — поэт отвечает рифмованным письмом (не позднее 23 декабря):

¹ «Киевская старина», 1899, № III, с. 299—300.

² Письма Рылеева к Вяземскому см.: ЛН, т. 59, кн. 1, с. 144—146.

«Брат! здравствуй — писал тебе на днях; с тебя довольно. Поздравляю тебя с рождеством господя нашего и прошу погоропить Дельвига. Пришли мне *Цветов да Эду* да поезжай к Энгельгартову обеду. Кланяйся господину Жуковскому. Заезжай к Пушину и Малиновскому. Поцалуй Матюшкина, люби и почитай Александра Пушкина...» (XIII, 131).

Возможно, на обеде у лицейского директора тогда сошлись Дельвиг, Малиновский, Матюшкин, Пушин, Лев Пушкин. Л. С. Пушкин, помнивший на память пропасть опубликованных и ненапечатанных стихов брата, конечно, рассказывает собравшимся, как его недавно приняли за тайно возвратившегося Александра Сергеевича; заметим кстати — из ответа Пушкина не видно, что он ждет Пушина: Лев благоразумно не сообщил. Непрошенные письмочитатели могут заинтересоваться путешественниками не только из Михайловского в Петербург, но также из Петербурга в Михайловское.

Новогодние встречи Пушина с Рылеевым, Александром Бестужевым, также, вероятно, с польскими изгнанниками Мицкевичем, Ежовским, Малевским; проводы невеселого 1824-го (усиление правительственного террора, смерть матери Рылеева, смерть Байрона, наводнение); надежды на улучшение обстоятельств в 1825-м: новогодний подарок — цензурное разрешение рылеевских «Дум»; третья (последняя) книга «Полярной звезды» почти готова; на выходе и «родственник-соперник» — альманах Дельвига «Северные цветы», а Пушин, конечно же, лучший посредник между кругом Рылеева и лицейстом Дельвигом...

И лицейстом Пушкиным. Перед отъездом в Псков Пушину вручается рылеевское письмо для передачи Пушкину, где, видимо, отразились некоторые новогодние петербургские беседы:

«Я пишу тебе: *ты*, потому что холодное *вы* не ложится под перо; надеюсь, что имею на это право и по душе и по мыслям. Пушин познакомит нас короче...»

Надо полагать, Пушин начал «знакомить короче» еще до своего выезда из столицы — когда толковал с Рылеевым и Бестужевым о душе и мыслях «друга-стихотворца». Многое, почти все, встреченное в Петербурге, через несколько дней возродится в михайловской беседе. Пока же на крещение, то есть к 6 января, Пушин едет в Псков, к Набоковым.

«Погостил у сестры несколько дней и от нее вечером пустился из Пскова; в Острове, проездом ночью, взял три бутылки кливо и к утру следующего дня уже приближался к желаемой цели. Свернули мы, наконец, с дороги в сторону, мчались среди леса по гористому проселку — все мне казалось не довольно скоро! Спускаясь с горы, недалеко от усадьбы, которой за частыми соснами нельзя было видеть, сани наши в ухабе так наклонились набок, что ямщик слетел. Я с Алексеем, неизменным моим спутником от лицейского порога до ворот крепости, кой-как удержался в санях. Схватили вожжи.

Кони несут среди сугробов, опасности нет: в сторону не бросятся, все лес, и снег им по брюхо — править не нужно. Скачем опять в гору извилистой тропой; вдруг крутой поворот, и как будто неожиданно вломились с маху в притворенные ворота при громе колокольчика. Не было силы остановить лошадей у крыльца, протащили мимо и засели в снегу нерасчищенного двора...» (77 — 78).

Как сильно, драматически Пушкин передает свое нетерпение: выезжает вечером, ибо иначе пришлось бы ночевать у Пушкина — но отпуск кончается, нет времени. Немало рискуя, путешественник преодолевает «горы», ныне Пушкинские... Именно этой зимней дорогой ровно через двенадцать лет Александр Иванович Тургенев повезет гроб Александра Сергеевича.

Мелькнуло имя Алексей. О судьбе этого примечательного человека до самого последнего времени ничего не было известно. Лишь недавно обнаружен документ (1824 г.), где назван «дворовый человек Ивана Пушкина Алексей Егоров 36 лет»¹. Судя по тону пушкинского воспоминания, Алексей Егоров (род. в 1788 г.) в 1858 году уже не существовал, а ведь по дороге в Сибирь Пушкин попросит: «Пожалуйста, Алексей, сохраняй свое мужество — авось когда-нибудь еще здесь увидимся» (102).

Родителям и сестрам декабрист заметит: «Я не говорю об Алексее, ибо уверен, что вы все для него сделаете, что можно, и что скоро, получив свободу, будет фельдъегерем и за мной приедет» (105).

При описании дороги к Михайловскому вступает, сперва не очень заметно, и другая тема, усиливающаяся на

¹ ЦГИА г. Москвы, ф. 203 (консistorии), оп. 747, № 430, л. 419. Автор обязан этими сведениями любезному содействию Г. А. Федорова и В. Я. Гохштанда.

следующих страницах: ощущение особой глуши (лес, горы, снег), заточения (двор не расчищен, потом окажется — дом не топлен). И как не заметить то влияние, которое имеет на этот отрывок пушкинское стихотворение «Мой первый друг, мой друг бесценный...»!

Пушкин:

Когда мой двор уединенный,
Печальным снегом занесенный,
Твой колокольчик огласил...

Пушкин: «Вломились с маху в притворенные ворота при гробе колокольчика <...> засели в снегу нерасчищенного двора...» (78).

Пушкин в 1858 году вспоминает вместе с Пушкиным. Некоторые строки поэта — толчок, повод, зерно, вокруг которого растет «кристалл воспоминаний».

«Я оглядываюсь: вижу на крыльце Пушкина, *босиком*, в одной рубашке, с поднятыми вверх руками. Не нужно говорить, что тогда во мне происходило. Высказываю из саней, беру его в охапку и тащу в комнату. На дворе страшный холод, но в иные минуты человек не простужается. Смотрим друг на друга, целуемся, молчим! Он забыл, что надобно прикрыть наготу, я не думал об заиндеветшей шубе и шапке.

Было около восьми часов утра. Не знаю, что делалось. Прибывшая старуха застала нас в объятиях друг друга в том самом виде, как мы попали в дом: один — почти голый, другой — весь забросанный снегом. Наконец, прорвала слеза (она и теперь, через тридцать три года, мешает писать в очках) — мы очнулись. Совестно стало перед этою женщиной, впрочем, она все поняла. Не знаю, за кого приняла меня, только, ничего не спрашивая, бросилась обнимать. Я тотчас догадался, что это добрая его няня, столько раз им воспетая, — чуть не задушил ее в объятиях.

Все это происходило на маленьком пространстве. Комната Александра была возле крыльца, с окном на двор, через которое он увидел меня, услышав колокольчик. В этой небольшой комнате помещалась кровать его с пологом, письменный стол, диван, шкаф с книгами и пр., пр. Во всем поэтический беспорядок, везде разбросаны исписанные листы бумаги, всюду валялись обкусанные, обожженные кусочки перьев (он всегда с самого Лицея писал обглодками, которые едва можно было держать в пальцах). Вход к нему прямо из коридора;

против его двери — дверь в комнату няни, где стояло множество пяльцев.

После первых наших обниманий пришел и Алексей, который, в свою очередь, кинулся целовать Пушкина; он не только знал и любил поэта, но и читал наизусть многие из его стихов. Я между тем приглядывался, где бы умыться и хоть сколько-нибудь оправиться. Дверь во внутренние комнаты была заперта — дом не топлён. Кой-как все это тут же уладили, копошась среди отрывистых вопросов: что? как? где? и пр.; вопросы большею частью не ожидали ответов; наконец, помаленьку прибрались; подали нам кофе; мы уселись с трубками. Беседа пошла привольнее; многое надо было хронологически рассказать, о многом расспросить друг друга! Теперь не берусь всего этого передать» (78 — 79).

Именно здесь, не в конце записок, не в рассказе о гибели Пушкина и последнем, предсмертном, воспоминании его о друзьях — именно здесь сдержанный, несентиментальный Иван Пущин единственный раз «замещивает собственную личность» и признается, что тридцать три года спустя, в Марьине близ Бронниц, слеза мешает ему писать в очках... В 1825-м не было очков: юный, полный надежд на будущее, Пущин лихо несся на тройке и, подняв Пушкина на руки, входил с крыльца в комнаты.

В рукописи воспоминаний мелькает фраза: «Я догадался, что это Танина няня», — но затем Пущин, видно, сообразил, что в январе 1825 года он еще не знал Таниной няни: только одна глава «Евгения Онегина» достигла печати. Поэтому следует замена — «это добрая его няня, столько раз им воспетая».

Если в Лицее и Петербурге Пущин мог еще сверить свои наблюдения с памятью других товарищей, то для Михайловских страниц помощник его только сам Пушкин. Напомним, что к 1858 году из тех людей, кто навещали поэта в Михайловском, Дельвига давно не было в живых; Горчаков, приехав в Псковскую губернию, принимал поэта у себя, а к нему не ездил; воспоминания Керн вышли всего за несколько недель до смерти Пущина; рассказы Вульфова были неизвестны. Подспорьем могли служить только соответствующие страницы биографии, написанной Анненковым.

«Вообще Пушкин показался мне несколько серьезнее прежнего, сохраняя, однако же, ту же веселость; может быть, самое положение его произвело на меня

это впечатление. Он, как дитя, был рад нашему свиданию, несколько раз повторял, что ему еще не верится, что мы вместе. Прежняя его живость во всем проявлялась, в каждом слове, в каждом воспоминании: им не было конца в неумолкаемой нашей болтовне. Наружно он мало переменился, оброс только бакенбардами; я нашел, что он тогда был очень похож на тот портрет, который потом видел в *Северных цветах* и теперь при издании его сочинений П. В. Анненковым»¹ (79).

Общее настроение, дух ситуации — у Пушкина наиболее достоверная часть рассказа. Большой мастер общих психологических оценок, декабрист (как это видно на многих примерах) сразу схватывал главное, и вслед за добрыми словами в адрес художника сам рисует портрет: пушкинская живость во всем, и притом — «несколько серьезнее»... Тут мемуарист как бы беседует сам с собою. Ведь чуть раньше он записал послелицейское впечатление:

«Странное смешение в этом великолепном создании! Никогда не переставал я любить его; знаю, что и он платил мне тем же чувством; но невольно, из дружбы к нему, желалось, чтобы он наконец настоящим образом взглянул на себя и понял свое призвание».

С высоты прошедших лет, обогащенный знанием того, что случилось *потом*, Пушкин комментирует свой тогдашний взгляд, не отменяя, но умудряя:

«Видно, впрочем, что не могло и не должно было быть иначе; видно, нужна была и эта разработка, коловшая нам, слепым, глаза» (70 — 71).

«Нам, слепым» — это должная критика собственных выводов, плод многолетних размышлений при жизни и после гибели поэта.

Пушкин восстанавливает разговор таким, каким он остался в его сознании после многочисленных устных воспроизведений. Заходя вперед, отметим только еще одну особенность его памяти: умение извлечь главный смысл — «конфликт» эпизода. То есть опять вспоминается общее и поэтому особенно достоверное впечатление.

Разговор, вопреки часто встречающимся представлениям, предельно драматичен.

«Пушкин сам не знал настоящим образом причины своего удаления в деревню; он приписывал удаление из

¹ Портрет работы О. А. Кипренского.

Одессы козням графа Воронцова из ревности; думал даже, что тут могли действовать некоторые смелые его бумаги по службе, эпиграммы на управление и неосторожные частые его разговоры о религии <...>

Мне показалось, что он вообще неохотно об этом говорил; я это заключил по лаконическим отрывистым его ответам на некоторые мои вопросы, и потому я его просил оставить эту статью, тем более что все наши толкования ни к чему не вели, а только отклонили нас от другой, близкой нам беседы. Заметно было, что ему как будто несколько наскучила прежняя шумная жизнь, в которой он частенько терялся» (79 — 80).

Жизнь на юге и причина ссылки — первая тема, которую Пущин выделяет из «отрывочной и привольной беседы».

Документ опять «аккумулировал» память, и Пущин даже вводит в состав воспоминаний особое приложение — большую выдержку из секретного дела, связанного с перехваченным письмом Пушкина и другими обстоятельствами высылки его из Одессы; ¹ это для декабриста как бы недостающий элемент давней встречи — то, что он в ту пору не знал (или знал смутно), а Пушкин хоть и догадывался, но тоже не знал точно.

Но обратимся к беседе друзей.

Пушкин неохотно, отрывисто, лаконически отвечает на вопросы. Возникает первое обострение дружеского разговора. Как это понять? Тут два возможных объяснения: либо нежелание поэта говорить кое о чем с Пущиным, имея в виду все же некоторое духовное удаление, молчание самого декабриста о его участии в тайном союзе; либо Пушкину вообще неприятны воспоминания, связанные с «южным шумом», тогдашними страстями, изменами. Страшная клевета, возникшая в Одессе, — тоже тут... И какой смысл переливать из пустого в порожнее, строить гипотезы о высылке и опале, когда многое остается туманным, неизвестным?

Понятно, больше вероятия имеет второе предположение, ибо Пущин не видит в лаконизме Пушкина ничего для себя обидного; беседа продолжается, дружество не нарушено, просто возникает «другая, близкая нам беседа».

¹ Эти материалы Пущин, очевидно, позаимствовал у П. В. Анненкова (см.: Н. Я. Эйдельман. Тайные корреспонденты «Полярной звезды», с. 174—177).

И все же мы должны ясно представлять, что Пушкин разговаривает с любимейшим, ближайшим — но... скажем, не с Дельвигом, которому, наверное, было бы больше рассказано и про Одессу, потому хотя бы, что «круг знакомства» тот же.

Тут Пущин касается проблемы деликатнейшей, всякие скороспелые определения только вредят;¹ анализ этих строчек нужно производить с археологической тщательностью, опасаясь нарушить «тончайший слой»... Впрочем, несколько эпиграмм «на управление» было, конечно, прочтено, да и о бумагах по службе и «неосторожных разговорах» о религии — потолковали.

«Среди разговора *ex abrupto*² он спросил меня, что об нем говорят в Петербурге и в Москве? При этом вопросе рассказал мне, будто бы император Александр ужасно перепугался, найдя его фамилию в записке коменданта о приезжих в столицу, и тогда только успокоился, когда убедился, что не он приехал, а брат его Левушка. На это я ему ответил, что он совершенно напрасно мечтает о политическом своем значении, что вряд ли кто-нибудь на него смотрит с этой точки зрения, что вообще читающая наша публика благодарит его за всякий литературный подарок, что стихи его приобрели народность во всей России и, наконец, что близкие и друзья помнят и любят его, желая искренне, чтоб скорее кончилось его изгнание» (80 — 81).

Если при обсуждении одесских дел Пушкин стремился переменить течение беседы, то теперь роли поменялись.

Еще раз вчитаемся в несколько странную для нас фразу Пуцина со слов: «На это я ему ответил...» Дело не в том, что фраза и не была буквально такой — но что Пущин сказать хочет? «Напрасно мечтает о политическом своем значении...» — и «стихи его приобрели народность»: но разве в глазах декабриста Пуцина народное признание не есть уже политическое значение?

Любопытно, что совершенно независимо от Пуцина сходные в некоторых отношениях мысли немного позже выскажет Вяземский (в письме к Пушкину от 28 августа и 6 сентября 1825 г.): «Ты любишься в гонении: у нас

¹ Вообразим естественное нежелание Пушкина говорить, например, о его чувстве к Воронцовой. «Сожженное письмо» закончено всего за несколько дней до приезда Пуцина.

² Внезапно (*лат.*).

оно, как и авторское ремесло, еще не есть почетное звание <...> Оно — звание только для немногих; для народа оно не существует <...>. Ты можешь быть силен у нас одною своею славою, тем, что тебя читают с удовольствием, с жадностью, но несчастье у нас не имеет силы ни на грош <...> Поверь, что о тебе помнят по твоим поэмам, но об опале твоей в год и двух раз не поговорят, разумеется, кроме друзей твоих...» (XIII, 221 — 222).

Очевидно, подобные мысли были распространены среди прогрессивных кругов. Слова Пушкина можно понять так, что напрасно поэт надеется, будто Александр I видит в нем серьезную политическую величину (и оттого испугался появления в столице). А между тем через несколько десятилетий после того, как был записан пушкинский рассказ об испуге Александра I, обнаружилось документальное подтверждение его точности: действительно, царь в ноябре 1824 года был встревожен сообщением о прибытии в столицу Пушкина, по поводу чего возникла переписка в высших инстанциях¹.

Александр Сергеевич в этом месте разговора, как обычно (по его собственному выражению), «подсвистывает» императору, может быть, думая, что Пушкин поддержит тему. Как только случалась оказия, да и без нее, Пушкин не пропускал случая сказать нечто вроде: «Царь, говорят, бесится — за что бы, кажется, да люди таковы» (XIII, 130); «со мною он <царь> поступил не только строго, но и несправедливо» (XIII, 121). Скорее всего за несколько недель до прибытия Пушкина был сочинен «Воображаемый разговор с Александром I», где находим параллели с беседой 11 января:

«Ваше величество, вспомните, что всякое слово вольное, всякое сочинение противузаконное приписывают мне <...> «Но вы же и афей? вот что уж ни куда не годится». — Ваше величество, как можно судить человека по письму, писанному товарищу, можно ли школьническую шутку взвешивать как преступление, и две пустые фразы судить как бы всенародную проповедь? <...> «Признайтесь, вы всегда надеялись на мое великодушие» — Это не было бы оскорбительно вашему величеству, но вы видите, что я бы ошибся в своих расчетах» (XI, 23—24)².

На предыдущих страницах воспоминаний читатель встречался с Пушкиным, заигрывающим в театре с тог-

¹ См.: «Русская старина», 1901, № 2, с. 436.

² С учетом поправок, сделанных С. М. Бонди.

дашними петербургскими «львами» — Орловым, Чернышевым, Киселевым. Пущин ему говорит: «Что тебе за охота, любезный друг, возиться с этим народом: ни в одном из них ты не найдешь сочувствия и пр.»; в другом месте: «Пушкин кружился в большом свете, а я был как можно подальше от него». Наверное, нечто подобное почудилось декабристу в пушкинском рассказе о страхе императора, и он считает нужным как бы вернуться к старым послелицейским разговорам: «Невольно из дружбы к нему желалось, чтобы он наконец настоящим образом взглянул на себя и понял свое призвание».

Пушкин, как известно, не любил выслушивать мораль — но Пущин с первых лет умел с ним ладить. На первых, «лицейских», страницах «Записок...» находим строки, конечно же, относящиеся и к 11 января 1825 года:

«Чтоб полюбить его <Пушкина> настоящим образом, нужно было взглянуть на него с тем полным благорасположением, которое знает и видит все неровности характера и другие недостатки, мирится с ними и кончает тем, что полюбит даже и их в друге-товарище. Между нами как-то это скоро и незаметно устроилось» (54).

В словах Пущина о политическом значении и народности поэта, очевидно, был еще оттенок, связанный с существованием тайных обществ, но об этом — чуть позже.

Кольнув Пушкина «мечтами о политическом значении», гость тут же, как видим, хорошо и дружески сумел сказать о благодарности читателей, о памяти и любви близких, друзей: ведь Пушкин слушает терпеливо, и следующие несколько строк завершают это второе «обострение» приятельской беседы.

«Он терпеливо выслушал меня и сказал, что несколько примирился в эти четыре месяца с новым своим бытом, вначале очень для него тягостным; что тут хотя и невольно, но все-таки отдыхает от прежнего шума и волнения; с Музой живет в ладу и трудится охотно и усердно. Скорбел только, что с ним нет сестры его, но что, с другой стороны, никак не согласится, чтоб она, по привязанности к нему, проскучала целую зиму в деревне. Хвалил своих соседей в Тригорском, хотел даже везти меня к ним, но я отговорился тем, что приехал на такое короткое время, что не успею и на него самого наглядеться. Среди всего этого много было шуток, анекдотов, хохоту от полноты сердечной. Уцелели бы все эти до-

рогие подробности, если бы тогда при нас был стенограф» (81).

«Стенограф» — прямое обращение к увлекавшемуся стенографией, «фотографу» и «литографу» Евгению Якушкину. То есть, если бы он был при той встрече (состоявшейся ровно за год до его рождения) — сколько бы фактов сохранилось! Угадываем «бесконечные расспросы» Е. Якушкина о Пушкине, требование новых деталей, «стенографических подробностей»...

Но тут разговор, или воспоминание о нем, идет к третьему «пику».

«Пушкин заставил меня рассказать ему про всех наших первокурсных Лицея, потребовал объяснения, каким образом из артиллеристов я преобразовался в Судьи. Это было ему по сердцу, он гордился мною и за меня! Вот его строфы из «Годовщины 19 октября» 1825 года, где он вспоминает, сидя один, наше свидание и мое суждение:

И ныне здесь, в забытой сей глуши,
В обители пустынных выюг и хлада,
Мне сладкая готовилась отрада,

...Поэта дом опальный,
О Пущин мой, ты первый посетил;
Ты усладил изгнанья день печальный,
Ты в день его Лицея превратил.

Ты, освятив тобою избранный сан,
Ему в очах общественного мненья
Завоевал почтение граждан» (81).

Пущин цитирует «19 октября», вписанное в его тетрадь заветных сокровищ, что велась на каторге и в ссылке. Однако последние три строки стихотворной цитаты — черновые, и он мог узнать их от Е. Якушкина или Анненкова только накануне или даже после возвращения из Сибири. Очень любопытно, что последовательность разговора в изложении Пущина совпадает и с тем, что мы находим в другом пушкинском черновике (близком по смыслу к «19 октября») — первом варианте «Мой первый друг, мой друг бесценный...». Ведь стихотворение писалось до восстания, и после 14 декабря Пушкин изъясил строки о гражданском служении Пущина... Однако между январем и декабрем 1825 года Пушкин стихотворно записывает (а Пущин много лет спустя прочтет) то, о чем говорили 11 января: воспоминания о Лицее, «о всех наших первокурсных».

По «стихотворным протоколам» — черновикам «19 октября» и «Мой первый друг...» — находим также имена, о которых говорилось больше всего: *Горчаков* (мелькает вариант «где Горчаков? Где ты? Где я?»); *Малюшкин*, наконец, *Малиновский*: поскольку мы знаем, что Пущин только что виделся с ним, на рождестве, понимаем дружеский упрек в первоначальном варианте «19 октября»:

Что ж я тебя не встретил тут же с ним,
Ты, наш казак, и пылкий и незлобный,
Зачем и ты моей сени надгробной
Не озарил присутствием своим?
Мы вспомнили б, как Вакху приносили
Безмолвную мы жертву в первый раз,
Как мы впервой все трое полюбили,
Наперсники, товарищи проказ...

Затем, если идти «по течению» стихотворения «Мой первый друг...», следует объяснение насчет необычайной, удивившей друзей пуштинской карьеры — переходе из гвардии в суд:

Скажи, куда девались годы,
Дни упований и свободы,
Скажи, что наши? что друзья?
Где ж эти липовые своды?
Где ж молодость? Где ты? Где я?
Судьба, судьба рукой железной
Разбила мирный наш лицей,
Но ты счастлив, о брат любезный,
На избранной чреде своей.
Ты победил предрассужденья
И от признательных граждан
Умел истребовать почтенья,
В глазах общественного мненья
Ты возвеличил темный сан.
В его смиренном основанье
Ты правосудие блюдешь,
Ты честь

Конечно, интересно было бы услышать объяснения самого Пущина, как он «из артиллеристов преобразовался в судьи» — и мы, пусть не дословно, можем восстановить его ответ, представить реакцию второго собеседника. Эта часть разговора восстанавливается прежде всего по рассказу Е. Якушкина, записанному за самим Иваном Ивановичем и вполне корректируемому показаниями декабриста на следствии и свидетельствами современников¹.

¹ См.: Е. Якушкин. Воспоминания об И. И. Пущине. — Газета «Северный край», Ярославль, 1899, 18—19 мая.

Рассказ Пушкина обязательно включал в себя следующие элементы:

Столкновение с Михаилом Павловичем (1823 г.).

На выходе во дворце великий князь резко выговаривает Пушкину, что у того «не по форме был повязан темляк на сабле». Пушкин тотчас подает в отставку.

Затем — поиски новой службы.

Пушкин демонстративно хочет занять должность квартального надзирателя, «желая показать, что в службе государству нет обязанности, которую можно было бы считать унижительной». Родные возмущены, сестра на коленях умоляет брата не делать глупостей. Пушкин несколько уступает и переходит на должность, тоже немислимую для лицейца, гвардейского офицера и сына сенатора, но несколько более «солидную» — сначала в Петербургскую палату уголовного суда, где в то время служил и другой отставной офицер, Кондратий Рылеев; с весны же 1824-го Пушкин — московский надворный судья.

Пушкину нравится достоинство друга, сохраненное после стычки с великим князем. В его духе и такой общественный вызов, как переход в квартальные надзиратели, надворные судьи: ведь это находится в совершенном соответствии с тем, чего он сам добивался в отношениях с Воронцовым, и всего за полгода до того, просясь в отставку, объяснял (дружески настроенному начальнику канцелярии Воронцова А. И. Казначееву):

«О чем мне жалеть? О своей неудавшейся карьере? С этой мыслью я успел уже примириться <...> Я не могу, да и не хочу притязать на дружбу графа Воронцова, еще менее на его покровительство: по моему, ничто так не бесчестит, как покровительство <...> На этот счет у меня свои демократические предрассудки, вполне стоящие предрассудков аристократической гордости.

Я устал быть в зависимости от хорошего или дурного пищеварения того или другого начальника, мне наскучило, что в моем отечестве ко мне относятся с меньшим уважением, чем к любому юнцу-англичанину, явившемуся щеголять среди нас своей тупостью и своей тарабарщиной.

Единственное, чего я жажду, это — независимости, (слово неважное, да сама вещь хороша); с помощью мужества и упорства я в конце концов добыю ее. Я уже поборол в себе отвращение к тому, чтобы писать стихи и продавать их, дабы существовать на это, — самый трудный шаг сделан. Если я еще пишу по вольной прихоти вдохновения,

то, написав стихи, я уже смотрю на них только как на товар по столько-то за штуку. — Не могу понять *ужаса* своих друзей (не очень-то знаю, кто они — эти мои друзья)» (XIII, 95, 528 перевод).

Ужас некоторых близких, по поводу литературной карьеры Пушкина, для поэта сродни тому ужасу, что испытывают друзья и родственники Пущина, узнав о переходе на полицейскую или судебную должность.

«Демократический предрассудок, вполне стоящий предрассудков аристократической гордости».

Правда, иной педантичный взгляд заметит, что Пушкин, в отличие от Пущина, не желал служить в канцелярии, — и разве командировка на саранчу, столь его задевшая, была, по тогдашним воззрениям, более унижительна, чем разбор всяческих судебных кляуз?

На это надо ответить, что взгляды Пущина и Пушкина далеко не тождественны, но все же — на саранчу Пушкина посылают против воли, Пущин же сам идет в судьи: «Это делает дьявольскую разницу», — как говаривал поэт.

Пущин видит в новой службе место своей максимальной общественной полезности — Пушкин видит подобное же в своем литературном труде (и тут Пущин с ним абсолютно согласен!).

Говоря о своей чиновной карьере, Пушкин писал (в другом письме к Казначееву): «Я сам заградил себе путь и выбрал другую цель. Ради бога, не думайте, чтоб я смотрел на стихотворство с детским тщеславием рифмача или как на отдохновение чувствительного человека: оно просто мое ремесло, отрасль честной промышленности, доставляющая мне пропитание и домашнюю независимость» (XIII, 93).

Пушкин не говорит в этом письме о своем общественном значении, но в 1826 году напишет «Пророка»...

«Саранча» соответствовала «не по форме завязанному темляку Пущина».

Воронцов — великому князю Михаилу Павловичу.

Литература — «тобой избранному сану».

Но тут пора задуматься о смысле сана, избранного Пущинным.

Мы-то спустя полтора века хорошо знаем, что скрытой задачей переезда в Москву члена Северной думы, виднейшего декабриста Ивана Пущина было оживление заглушенной деятельности тайного общества во второй столице, создание московской управы. Это было сделано, и к моменту

ту поездки вокруг Пущина уже имелась небольшая активная группа единомышленников. Позже, в феврале, один из директоров тайного общества Оболенский приедет из Петербурга утверждать московскую управу и Пущина как ее председателя.

Связь его судейской деятельности с нелегальной была несомненной и для следователей. На одном из первых допросов, 28 декабря 1825 года, декабриста спрашивают:

«Зачем оставили здешнее место службы и предпочли в Москве другое, весьма незначачее? Сие не могло быть иначе, как с намерением распространить там круг действительный заговорщиков».

Пущин отвечает лаконично, достойно и, как в других случаях, крайне осторожно и уклончиво: «Места сего, хотя и в нижней инстанции, я никак не почитал малозначущим, потому что оно дает направление делу, которое трудно, а иногда уже и невозможно поправить в высшем присутственном месте»¹.

У следственного комитета, однако, в руках было достаточно показаний насчет сущности московской управы. Пущин признал, что таковая была, но продолжал подчеркивать ее бездеятельность (тут была и правда, и маскировка, о чем скажем ниже).

В дальнейшем следствие сосредоточилось на деятельности Пущина в Петербурге во время восстания, а насчет старых московских дел не очень вникали. Между тем, при всей осторожности и уклончивости, Пущин в первом же пункте своих показаний от 28 декабря не скрыл, что он давний член тайного общества: «Убежденный в горестном положении Отечества моего, я вступил в общество с надеждою, что в совокупности с другими могу быть России полезным слабыми моими способностями и иметь влияние на перемену правительства оной».

А несколькими строками ниже: «В начале 1823 года <...> определен сверхштатно членом в С. Петербургскую уголовную палату для узнания хода дел, согласно изъявленному мною желанию в присутственных местах, где всякий честный человек может быть решительно полезен другим»².

Итак, декабрист хотел «иметь влияние на перемену правительства России» и полагал, что «служба в присут-

¹ ВД, т. II, с. 211.

² Там же, с. 210.

ственных местах может быть решительно полезна другим».

Пушкин не видит здесь никакого противоречия, не дели его и современники, причем любопытно совпадение мнений у людей, стоящих на разных общественно-политических полюсах. Греч в своих записках вспомнит о Пушкине, который служил «безвозмездно <...> в добродетельных порывах для благотворений человечества»¹.

Далекий от заговорщиков Федор Степанович Хомяков в конце декабря 1825 года, зная уже, кто арестован в Петербурге, запишет: «Пушкин первый честный человек, который сидел когда-либо в русской казенной палате»².

Наконец, государственный муж в ранге министра, многознающий верноподданный государственный секретарь Модест Корф, через четырнадцать лет после восстания, хорошо представляя, казалось бы, «программу максимум», к которой стремился его товарищ по Лицею в Москве, как уже отмечалось, запишет в дневнике, что Пушкин «пошел служить в губернские места, сперва в Петербурге, а потом в Москве, именно чтобы обогатить и возвысить этот род службы, где с благими намерениями можно делать столько частного и общественного добра. Но излишняя пылкость и ложный взгляд на средства к счастью России сгубили его».

По Корфу, активная гражданская деятельность Пушкина чрезвычайно полезна, поучительна, и в заговор его, очевидно, влекут «недостатки», являющиеся «продолжением достоинств».

Схема, как мы понимаем, неверная, ибо Пушкин прежде стал активным заговорщиком, а потом пошел служить «в губернские места». Сама по себе ситуация — завоевание декабристами различных должностей, как известно, была особенно распространена в практике «Союза благоденствия» (1818—1821). Но действия Пушкина тем и примечательны, что они предприняты много позже, когда старый план медленного завоевания государственного аппарата отброшен, когда Северное и Южное общества встали на путь подготовки коренного переворота — и не через двадцать, пятьдесят лет, а в ближайшие годы...

¹ Н. И. Греч. Записки о моей жизни. Цит. по первой публикации: «Полярная звезда» на 1862, кн. VII, вып. 2, Лондон, 1862, с. 107.

² «Русский архив», 1884, № 5, с. 222.

И все же из двух главных обществ Северное в большей степени унаследовало некоторые способы действия старого «Союза благоденствия» — в новых обстоятельствах¹.

Московский суд, конечно же, чрезвычайно удобное место для наблюдения, завязывания связей, овладения полезными навыками управления («узнания хода дел»)...

Но важно ли для члена тайного союза «быть решительно полезным другим», заниматься частной филантропией, разоблачением отдельных взяточников, зная твердо, что тысячи других будут процветать, пока не произойдет «перемены правительства»?

Если мы сведем всю деятельность Пущина и некоторых его единомышленников только к практическим целям тайного общества («под сенью явных присутственных мест» — многого не поймем, немало пропустим (точно так же, как при забвении тайных целей и доверия одним явным).

Отмеченная сложность «московских целей» и точность решения, выбранного Пущиным, неплохо выявляются в двух сопоставимых документах: старый член тайного общества, родственник и друг Пущина Павел Колошин пишет (апрель 1824 года) их единомышленнику Владимиру Вольховскому: «После долгого ожидания наконец Пущин прибыл к нам: все тот же. Принялся за дело и думает надворный суд свой исправить: дело важное и трудное. Что до меня, то я службу оставил, дабы не дожидаться, чтоб она меня оставила»².

По всей видимости, пессимизм Колошина относится не только к «ближним», но и к «сокровенным целям», что видно из комментариев, которым сам Пущин сопроводил это письмо: кажется, с той же почтой, 8 апреля 1824 года, он объясняет Вольховскому: «Жить мне у Павла <Колошина> прелестно; семья вся необыкновенно мила — он так счастлив, что, кажется, совсем забыл о...³ надобно надеяться, однако, на время, которое возвратит его друзьям таким, каким он был прежде <...> Не верь его отчаянию, можно служить, довольствуясь тем, что удастся сделать хорошею» (92).

¹ См.: И. В. Порох. Деятельность декабристов в Москве.— Сб.: «Декабристы в Москве», с. 69—89.

² Н. Г а с т ф р е й н д. Товарищи Пушкина по Императорскому лицей, т. I. СПб., 1912, с. 162.

³ Красноречивый пропуск в письме, подразумевающий тайное общество, прежние клятвы и решения (см.: П у щ и н, с. 401, прим. 2 (I); комментарии С. Я. Штрайха).

Нравственная сторона, общественное мнение, «почтение граждан», создание благоприятной атмосферы вокруг себя — эти задачи декабристы, особенно северные, хорошо осознавали. «Полярная звезда» не просто ведь орган тайного союза: в ней печатаются разные более или менее прогрессивные литераторы; «Горе от ума», стихи Пушкина, судейская деятельность Пущина и самого Рылеева — это одна из сторон декабризма, существенная практически и важная нравственно.

Когда Рылеев пишет (в марте 1825 года): «Кто любит Пущина, тот уж непременно сам редкий человек»¹, — это больше чем личная характеристика, скорее отзвук старых идей «Союза благоденствия», что в ходе благородной деятельности участники облагораживают, разрабатывают сами себя. Кто же знает, сколько времени продлится ожидание решающих событий? Положительная деятельность в духе Пущина — прекрасный, реальный путь сохраниться, не подвергнуться разрушающему, разъедающему, утомительному влиянию тайного заговора, глухой конспирации.

Очень узкий круг людей знал или подозревал о Пущине — одном из лидеров Северного общества: широкий круг мог знать о необыкновенном судье, высоконравственном человеке. Отсюда — характерное восклицание Матюшкина при известии об аресте Пущина:

«Егор Антонович! Верить ли мне? Пущин! Кюхельбекер! Кюхельбекер может быть, несмотря на его доброе сердце, он был несчастен. Он много терпел, все ему накущило в жизни, он думал везде видит злодеев, везде зло. Он — энтузиаст-фанатик, он мог на все решиться и все в одно мгновение. Но Пущин. Нет, Пущин не может быть виноват, не может быть преступником. Я за него отвечаю. Он взят по подозрению, и по пустому подозрению, — дружба его с Рылевым, слово, сказанное неосторожно, но без умысла. Признаюсь Вам, Егор Антонович, когда я прочел его в списке <нрзб.> я думал, что и я виноват, я его так любил, так люблю. Разберите его жизнь, его поступки — никто из нас не сделал столько добра как человек и как русский... Мы здесь не имеем никаких подробностей о происшествиях, случившихся в Петербурге — или лучше сказать — имеем их слишком много... Товарищам, друзьям неужели я должен <нрзб.> сказать, что я их <не> люб-

¹ Письмо к В. И. Штейнгейлю. — К. Ф. Рылеев. Полн. собр. соч., с. 491.

лю. Нет, я их люблю, они непричастны этим ужасным покушениям. Пуштин! Пуштин! Но, Пуштин, мы с тобою увидимся, я тебя еще обниму — ты оправдан»¹.

По этому письму мы почти видим Пуштина на новогодней лицейской сходке у Энгельгардта (с Малиновским, Матюшкиным, Л. Пушкиным), угадываем, как они его воспринимают, любят. Тут было много общего и с разговором, что произойдет в Михайловском 11 января. Однако есть и громадная разница: если даже для близкого, доброго, впрочем, непричастного к тайным обществам Матюшкина совсем ускользает связь «Пуштин — человек добра» и «Пуштин — заговорщик», то Пушкин слишком близок, достаточно проникателен, очень долго жил в Петербурге и на юге в декабристской среде, чтобы не почувствовать, не уловить этой связи — тем более имелись «старые подозрения», ощущения, будто Жанно что-то скрывает. Например, при внезапной встрече у Николая Тургенева (1819 год), когда Пушкин воскликнул: «Наконец, поймал тебя на самом деле <...> Пожалуйста, не секретничай: право, любезный друг, это ни на что не похоже!» (72).

Поэтому разговор о Пуштин-судье максимально приблизил щекотливую для обоих собеседников тему тайного общества...

«Незаметно коснулись опять подозрений насчет общества. Когда я ему сказал, что не я один поступил в это новое служение отечеству, он вскочил со стула и вскрикнул: «Верно, все это в связи с майором Раевским, которого пятый год держат в Тираспольской крепости и ничего не могут выпытать». Потом, успокоившись, продолжал: «Впрочем, я не заставлю тебя, любезный Пуштин, говорить. Может быть, ты и прав, что мне не доверяешь. Верно, я этого доверия не стою — по многим моим глупостям». Молча, я крепко расцеловал его; мы обнялись и пошли ходить: обоим нужно было вздохнуть» (81 — 82).

Место знаменитейшее, тысячекратно цитированное и все же во многом загадочное.

«Коснулись опять» — то есть через пять-шесть лет после впервые высказанного поэтом подозрения, что друг

¹ ПД, шифр 22. 774. С IXб. I л. 6. Письмо поразительно совпадает по тону и выражениям с известным письмом Матюшкина по поводу смерти Пушкина: «Яковлев! Яковлев! Как мог ты это допустить?»

секретничает. Понятно, и сейчас Пушкин начал разговор или скорее всего сделал намек, естественно вытекавший из обсуждения должности надворного судьи.

Пушкин на этот раз уже не может отмолчаться, отшутиться, и логика разговора представляется следующей: Пушкин завел разговор (намекнул, высказал подозрение) насчет потаенной деятельности одного Пуштина (*«гордился мною и за меня»*.) — Пуштин же отвечает — *«не я один»*; тут и оправдание прежнего молчания, и специфически пуштинская сдержанность.

Давно отмечена бурная реакция Пушкина, который «вскочил», «вскрикнул» и только потом, «успокоившись», продолжал».

Из этих строк хочется вычитать побольше, и разные исследователи видели тут разные вещи.

«Нельзя было сказать о существовании тайного общества и членстве в нем И. И. Пуштина, не сказав, во имя чего же общество существует, что собирается предпринять»¹.

«Несомненным является то обстоятельство, что на вопрос о существовании тайного общества Пуштин ответил красноречивым умолчанием, которое вероятнее всего было понято как признание принадлежности Пуштина к такой декабристской организации»².

Я разделяю в основном вторую точку зрения. Слова Пушкина «я не заставляю тебя, любезный Пуштин, говорить», «молча, я крепко расцеловал его», «обоим нужно было вздохнуть»; — передают предельно напряженную ситуацию полупризнания: нельзя сказать, но нельзя и скрыть, и если б только это! Члену тайного общества достаточно просто промолчать, загадочно улыбнуться... Но «крепко расцеловал» — это любовь, бережность, сожаление, неотвратимость разных путей, и совсем не тех разных, как, например, у Пушкина и Горчакова («вступая в жизнь, мы рано разошлись»).

Прибавим к этому еще соображения, высказанные Пуштиним чуть раньше: «совершенно напрасно <Пуш-

¹ М. В. Нечкина. Движение декабристов, т. II, с. 104.

² Сб.: «Пушкин. Итоги и проблемы изучения». М.—Л., 1966, с. 176—177 (со ссылкой на статью С. Гессена в кн.: «Пушкин». — «Временник Пушкинской комиссии», т. II. М.—Л., 1936).

кин> мечтает о политическом своем значении» и «стихи его приобрели народность во всей России»: здесь и одобрение, и констатация факта в том духе, что каждый делает свое дело, — «и так тому и быть».

Еще одно: мы недооцениваем интимный характер «Записок...» Пущина. Он почти не думает, что это будет когда-либо напечатано. Форма мемуаров — письмо к Е. Якушкину — освобождает, расковывает декабриста. Можно найти десятки мест в тексте, которые Пущин, при его редчайшей скромности, никогда бы не написал, если бы дело шло о предстоящем издании. Чего стоит одна фраза — «он гордился мною и за меня».

Однако освобождающий стиль «мемуарного письма» труден для понимания тому, кто вчитывается много лет спустя: есть фразы, мысли, понятия, ясные с полуслова или без слов только двум очень близким друг другу собеседникам (мы еще увидим позже пример с тостом «за нее»). В течение пяти лет (1853—1858) постоянные разговоры о Пушкине, тайном обществе позволяли Пущину не комментировать то, что ему и Евгению Ивановичу понятно с полунамека.

Отмеченную в прошлой главе роль мемуаров Ивана Дмитриевича Якушкина, отца Евгения Ивановича и ближайшего друга автора, тут нельзя недооценивать. Положив рядом с работой Пущина незадолго перед тем созданные «Записки...» Ивана Дмитриевича, находим, по существу, первые в России воспоминания о Пушкине и тайных союзах. Полупризнание Пущина сродни «шутливому признанию», сделанному декабристами в Каменке за несколько лет до того. Волнение поэта в острый момент михайловской беседы находит известную параллель в том, что произошло у Давыдовых: Пушкин «встал, раскрасневшись, и сказал со слезой на глазах: «Я никогда не был так несчастлив, как теперь...»¹ Якушкин, конечно, не «создавал» воспоминания Пущина, но, очевидно, повлиял на их направленность, в частности — на внимание к эмоциям, состоянию Пушкина, которому тема явно небезразлична.

Восклицание Пушкина насчет майора Раевского также связывает один дружеский разговор со многими другими. Майор Владимир Федосеевич Раевский, близкий кишиневский приятель поэта, участник многих разговоров и споров. Его отношения с Пушкиным — целый сложный мир,

¹ Якушкин, с. 43.

похожий на ту ситуацию, что образовалась у Пушкина с Пущиным. Полупризнание лицейского друга, естественно и быстро вызывает сходные ассоциации: близкие, самые искренние, дружеские отношения В. Раевского и Пушкина (Кишинев, начало 1820-х годов), но в то же время довольно существенные споры, призыв Раевского:

Оставь другим певцам любовь,
Любовь ли петь, где льется кровь...

Пушкин, предупреждающий Раевского о грозящей опасности, и в то же время не знающий, лишь догадывающийся о подлинных глубоких причинах преследования «первого декабриста»¹.

Все это чрезвычайно сложно и должно быть проанализировано особо. Повторим только, что между Пушкиным и тираспольским арестантом — дружеское доверие, но в то же время разница путей, конспиративное умалчивание упорного Владимира Федосеевича. Прочитав присланные из тюрьмы стихи Раевского («Как истукан, немой народ под игом дремлет в тайном страхе...») — Пушкин, по словам Липранди, говорит: «Это не в моем роде, а в роде Тираспольской крепости, а хорошо...»² То же самое поэт мог бы повторить, познакомившись с существенными суждениями Рыльева, Пестеля, Пущина.

Из «Записок...» Пущина видно, что вопрос поэта о Раевском остался без ответа, ибо Пушкин продолжает: «Впрочем, я не заставляю тебя, любезный Пущин, говорить». Однако И. И. Пущин в самом деле только в общих чертах был осведомлен насчет дела Раевского, арестованного еще в феврале 1822 года. Кишиневская ячейка была, как известно, довольно самостоятельной по отношению к южанам и северянам, представляя свою деятельность продолжением «Союза благоденствия» («Зеленой книги») ³.

Обратим внимание на фразу Пушкина: «Верно, я этого доверия не стою — по многим моим глупостям». Очень

¹ Поэт случайно слышит разговор генерала Сабанеева с Инзовым о предстоящем аресте Раевского и вовремя предупреждает его. Раевский, очевидно, успел уничтожить «компрометирующие» бумаги (см.: «Воспоминания В. Ф. Раевского». — ЛН, т. 60, кн. I, с. 75—80, а также ЛН, т. 16—18, с. 657—666).

² См.: «Русский архив», 1866, стлб. 1446—1452.

³ Рылеев вскоре сообщит Завалишину о Раевском почти теми же словами, как Пушкин (по записи Пущина): «Майор Раевский третий год сидит в крепости, а не открыл никого из своего общества. Да притом и общество в России не одно» (ВД, т. III, с. 258).

знаменитая фраза. По Якушкину, поэт еще раз произнесет нечто сходное: «В 27-м году, когда он пришел проститься с А. Г. Муравьевой, ехавшей в Сибирь к своему мужу Никите, он сказал ей: «Я очень понимаю, почему эти господа не хотели принять меня в свое общество; я не стоил этой чести»¹.

В главе, посвященной записи Горбачевского о Пушкине, уже отмечено, что подобный мотив у Пушкина был, такого рода фразы произносились. Из этого порой делался скороспелый вывод о чувстве вины, неполноценности, которое испытывал поэт перед деятелями тайного союза.

Как легко тут ошибиться! Во фразе, что цитирует Пущин, мы замечаем и сдержанную обиду, и очень характерное для Пушкина критическое самоуничижение, которое выказывалось лишь перед самыми близкими людьми и наедине с собою.

Недоверие друзей было бы оскорбительно, если бы великий поэт не поворачивал проблему «внутрь», в сторону самоанализа, разбора своих слабостей и т. п. «По многим моим глупостям» — эта формула к 1825-му, как мы знаем, связана с большими сомнениями, колебаниями в его душе, — в частности, насчет средств к достижению благородной цели.

Его позиция в отношении тайных обществ значительно богаче того образа «виноватого мальчика», который отчасти присутствует в этом месте пущинских «Записок...».

С другой стороны, в позиции Пущина, Якушкина, как в 1825-м, так и (пусть во многом иначе) — тридцать лет спустя выявляется та отличающаяся от пушкинской, морально-идеологическая установка, которая была представлена в предшествующих главах. Мемуарист, и в 1850-х годах верящий в святость и справедливость своей идеи, конечно, рассматривает сцену с позиции собственной причастности к заговору, восстанию, каторге, ссылке.

Впрочем, кое-какой спор, относящийся к теме тайных обществ, возможно, был и тогда (см. главу X), однако Пущин о том либо не помнит в 1858-м, либо не хочет писать. Ведь, по его понятиям, там, где Пушкин оппонирует декабристу-заговорщику, он не прав и удаляется от друзей.

Отметим только один штрих: через девять месяцев после этой встречи, в «19 октября» Пушкин говорит о своем недруге Александре I:

¹ Якушкин, с. 43.

Простим ему неправоe гоненье:
Он взял Париж, он основал Лицей.

Разумеется, эта формула, тоже крамольная (царя «прощают!»), все же резко отличается от декабристской: неправоe гоненье не прощать!

В начале «Записок...» мы видим на каждом шагу косвенную полемику, тему «тайного общества и поэта»; Пушкин, на взгляд Пущина, поступает в одних случаях чересчур легкомысленно, в других — чрезмерно унижается перед светскими львами.

Эта скрытая полемика в рассказе о михайловской встрече возникнет не далее как через два абзаца, но пока что «острый пик» снова миновал. Разрядка. Герои «обнялись и пошли ходить: обоим нужно было вздохнуть».

«Вошли в нянину комнату, где собрались уже швеи. Я тотчас заметил между ними одну фигурку, резко отличающуюся от других, не сообщая, однако, Пушкину моих заключений. Я невольно смотрел на него с каким-то новым чувством, порожденным исключительным положением: оно высоко ставило его в моих глазах, и я боялся оскорбить его каким-нибудь неуместным замечанием. Впрочем, он тотчас прозрел шаловливую мою мысль — улыбнулся значительно. Мне ничего больше не нужно было — я, в свою очередь, моргнул ему, и все было понятно без всяких слов.

Среди молодой своей команды няня преважно разгуливала с чулком в руках. Мы полюбовались работами, побалагурили и возвратились восвояси. Настало время обеда. Алексей хлопнул пробкой, начались тосты за Русь, за Лицей, за отсутствующих друзей и за нее. Незаметно полетела в потолок и другая пробка; попотчевали искрометным няню, а всех других — хозяйской наливкой. Все домашнее население несколько развеселилось; кругом нас стало пошумнее, праздновали наше свидание.

Я привез Пушкину в подарок «Горе от ума», он был очень доволен этой тогда рукописной комедией, до того ему вовсе почти незнакомой. После обеда, за чашкой кофе, он начал читать ее вслух; но опять жаль, что не припомню теперь метких его замечаний, которые, впрочем, потом частью явились в печати» (82).

С политических высот воспоминание уходит к минутам веселости, дружбы, озорства, радости, тостов. Деликатный Пущин опять сумел объясниться с Пушкиным о самых щекотливых вещах, здесь — о крепостной возлюбленной

поэта Ольге Калашниковой, вскоре родившей сына от Пушкина. Вероятно, личные обстоятельства Пущина, его внимание и забота о родившихся в Сибири «незаконных» детях — все это незримо присутствует возле только что цитированных строк. Впрочем, 11 января 1825 года двое молодых веселых людей балагурят со швеями — а потом пьют, и неизменный Алексей рядом — а за *нее*, конечно, не за женщину, как думали некоторые исследователи — а за свободу, и к прежним доводам прибавим еще один, видимо, решающий: подчеркнутые Пущиным слова обращены к определенным понятиям, близким адресату воспоминаний Е. И. Якушкину. Евгений Иванович, как и Пущин, хорошо помнил «обычай» ближайшего к ним человека, Ивана Дмитриевича Якушкина. *Она*, за *нее* — были важными в его речах словами.

А. Н. Афанасьев записал в своем дневнике (август 1857 года) следующие строки об умершем декабристе: «Жаль его: в этом старике так много было юношеского, честного, благородного и прекрасного <...> Еще помню, с каким одушевлением предлагал он тост за свою красавицу, то есть за русскую свободу, с какою верою повторял стихи Пушкина: «Товарищ, верь, взойдет она, заря пленительного счастья...»¹

«*За нее*» — это якушкинская (происходящая от пушкинской): «она» «красавица», свобода. Здесь описано естественное продолжение михайловского разговора о тайном обществе. *За нее* — значит, оба собеседника сошлись в общности идеалов, целей: *свобода* (о средствах и других подробностях речь не идет). Тост за свободу, чтение запрещенного «Горя от ума» — нормальная преддекабрьская ситуация: та широкая общественная волна, — много шире формальных рамок тайного общества, — которую составляло все мыслящее, передовое, яркое тогдашней России...

Снова задумаемся над обстоятельством, стимулирующим память старого Пущина: опубликование пушкинских замечаний насчет «Горя от ума». Речь идет о письме Пушкина к Александру Бестужеву, процитированном (осторожно, с зашифрованной фамилией адресата) в ряде работ 1853—1855 годов, в частности Анненковым². Для декабриста же здесь — очередной «опорный пункт»,

¹ ЦГАОР, ф. 279, № 1060, л. 177.

² П. В. Анненков. Материалы для биографии... Пушкина, с. 128—129.

мобилизующий соответствующие воспоминания 1825 года. Отметим еще раз и естественную впечатляющую *драматургию* эпизода: только что было напряжение, противоборство — и снова сцена «идиллическая»: Лицей, фактически второй лицейский день (пушкинское — «ты в день его лицея превратил...»). Ситуация доброжелательства, свободы, раскованности.

Беседа идет на высоком накале свободомыслия — внезапно, однако, вторгается грубая действительность и возникают не самые лестные для поэта пушкинские наблюдения:

«Среди этого чтения кто-то подъехал к крыльцу. Пушкин взглянул в окно, как будто смутился и торопливо раскрыл лежавшую на столе Четью-Минею. Заметив его смущение и не подозревая причины, я спросил его: что это значит? Не успел он ответить, как вошел в комнату низенький, рыжеватый монах и рекомендовал мне настоятелем соседнего монастыря.

Я подошел под благословение. Пушкин — тоже, прося его сесть. Монах начал извинением в том, что, может быть, помешал нам, потом сказал, что, узнавши мою фамилию, ожидал найти знакомого ему П. С. Пущина, уроженца великолукского, которого очень давно не видал. Ясно было, что настоятелю донесли о моем приезде и что монах хитрит. Хотя посещение его было вовсе не кстати, но я все-таки хотел *faire bonne mine à mauvais jeu*¹ и старался уверить его в противном; объяснил ему, что я — Пущин такой-то, лицейский товарищ хозяина, а что генерал Пущин, его знакомый, командует бригадой в Кишиневе, где я в 1820 году с ним встречался. Разговор завязался о том, о сем. Между тем подали чай. Пушкин спросил рому, до которого, видно, монах был охотник. Он выпил два стакана чаю, не забывая о роме, и после этого начал прощаться, извиняясь снова, что прервал нашу товарищескую беседу.

Я рад был, что мы избавились этого гостя, но мне неловко было за Пушкина: он, как школьник, присмирел при появлении настоятеля. Я ему высказал мою досаду, что накликал это посещение. «Перестань, любезный друг! Ведь он и без того бывает у меня — я поручен его наблюдению. Что говорить об этом вздоре!» Тут

¹ Сделать веселую мину при плохой игре (*фр.*).

Пушкин как ни в чем не бывало продолжал читать комедию — я с необыкновенным удовольствием слушал его выразительное и исполненное жизни чтение, довольный тем, что мне удалось доставить ему такое высокое наслаждение» (82—83).

Сцена начата и замкнута чтением Грибоедова, радостями Пушкина-читателя. Настоятель Святогорского монастыря — в этот момент личность, скорее способная повредить Пущину. Вопрос о Павле Сергеевиче Пущине тоже не праздный; опальный генерал, подозреваемый в связях с тайными обществами, бросает «тень» и на приезжего однофамильца. Сбываются, как видим, предостережения Александра Тургенева, Василия Львовича; однако Пуцин и много лет спустя считает их опасения «совершенно напрасными».

Впрочем, декабрист человек скромный, не в его натуре подчеркивать свою смелость, да и рассказ совсем не о том: о Пушкине. Только что — свободный взлет духа, и вдруг, на взгляд декабриста (пожалуй, несколько односторонний), поэт «как школьник присмирел». Пущину неловко быть свидетелем этой сцены и — берет вину на себя: он «накликал», а Пушкин с его тончайшим, чутким восприятием человеческой природы, конечно, не мог не понять всего, но — преодолевает неловкость, поддержав предложенный другом выход: «Он и без того бывает у меня¹ — что говорить об этом вздоре». Инцидент внешне исчерпывается. Декабрист смотрит на происходящее пристрастно, придирчиво. После зафиксированных Пуциным состояний — «смутился», «торопливо рассказал», «присмирел», — следует «как ни в чем не бывало», — и мы, конечно, сгустили бы краски, утверждая, будто Пуцин подразумевает здесь нечто вроде: «Не такого типа люди должны быть заговорщиками, членами тайных союзов»; но было бы неосмотрительно совершенно отрицать раздумья в этом направлении, посещавшие мемуариста в те минуты и после.

«Потом он мне прочел кой-что свое, большею частью в отрывках, которые впоследствии вошли в состав замечательных его пьес, продиктовал начало из поэмы

¹ И частенько бывает! В доносе агента Бошняка игумен Иона фигурирует как постоянный потребитель пушкинской наливки, присказка же монаха: «А то будет, что нас не будет!» — первоначально намечалась эпиграфом к «Повестям Белкина».

«Цыганы» для «Полярной звезды» и просил, обнявши крепко Рылеева, благодарить за его патриотические «Думы» (83).

Пушкин вкушает разнообразные плоды первой михайловской осени, и мы можем только угадывать, чем потчевал его Александр Сергеевич. Т. Г. Цявловская полагает, что Пушкину были прочтены разнообразные, еще не опубликованные или не предназначенные для печати стихи, эпиграммы, сатиры, проза, записки.

Не отрицая того, что Пушкин познакомил друга с потаенной частью своего творчества, заметим все же, что у них оставалось немного времени (ведь нужно было прочесть и разобрать «Горе от ума», переписать «Цыган» и проч.). Кроме того, Т. Г. Цявловская, составляя примерный перечень прочитанного, исходит из того, что «не мог не читать Пушкин другу, признавшемуся ему в этот памятный день о существовании тайного общества...»¹. Мы же сохраняем впечатление, что полупризнание Пушкина еще не означало установления полного единства взглядов двух собеседников; что огромное доверие к лицейскому другу не отменяло присущей Пушкину осторожности и опасения «попасть в крепость за песенки»². Все это заставляет сомневаться в тезисе Т. Г. Цявловской о вручении Пушкину некоторых запретных текстов «для передачи товарищам-единомышленникам»³. Отношения поэта с главными друзьями Пушкина хотя и налаживались, но были еще далеки от уровня взаимопонимания, какой был в это время у Пушкина, скажем, с Вяземским или Дельвигом. Только здесь, в Михайловском, Пушкин соединяет давно знакомых, но еще далеких друзей-поэтов Рылеева и Пушкина. Пушкину вручается записочка Рылеева, в которой, кроме цитированных выше строк, есть и такие: «Рылеев обнимает Пушкина и поздравляет с Цыганами. Они совершенно оправдали наше мнение о твоём таланте. Ты идешь шагами великана и радуешь истинно русские сердца... Прощай, будь здоров и не ленись: ты около Пскова: там задушены последние вспышки русской свободы, настоящий край вдохновения — и неужели Пушкин оставит эту землю без поэмы» (XIII, 133).

¹ Т. Г. Цявловская. «Муза пламенной сатиры» — Сб.: «Пушкин на юге», т. II. Кишинев, изд-во «Штиинца», 1961, с. 172.

² Фраза из письма Льву Пушкину за три недели до приезда Пушкина (XIII, 130).

³ Т. Г. Цявловская. «Муза пламенной сатиры», с. 173.

В Петербурге, вручая Пущину письмо, Рылеев, естественно, вел серьезный разговор о Пушкине: идея более тесного привлечения лучшего русского поэта к декабристским изданиям и декабристскому делу, конечно, подразумевалась; однако (подчеркиваем еще раз) не следует преувеличивать достигнутого единства.

Пушкин не смог тут же ответить: время слишком дорого, напишет через несколько дней, и отсюда начнется переписка, дальнейшее сближение. В следующей главе эта переписка будет рассмотрена как своеобразное продолжение разговоров, начатых 11 января. Она откроет нечто в теме «Пущин — Пушкин», потому что многое из того, что обсуждалось в переписке Пушкина с Рылеевым и Бестужевым, могло быть сказано еще в Михайловском (или недосказано, но подразумевалось).

Пущин (как отмечалось в прошлой главе) признавался в 1858-м, что отношения Рылеева с Пушкиным для него «в тумане».

Исследователи неоднократно констатировали характерную «декабристскую» ошибку пущинской памяти: Пушкин больше всего ценил у Рылеева «Войнаровского», к «Думам» же относился холодно. Однако тут важна не скрупулезность деталей, но общее ощущение: Пущин, с его высокими понятиями о дружбе, представляет, рекомендует Рылеева, говорит о своей любви к человеку, известному Пушкину в основном издалека и недостаточно; говорит о Рылееве, с которым у него теснейшее единомыслие, которого он два года назад принял в тайный союз, а теперь избрал вместе с другими в вожди этого союза...

Пущин, конечно, не раскрывает в Михайловском «секретную биографию» Рылеева, но соединяет поэтов, укрепляет их литературную, издательскую близость — и Пушкин (который опять же без лишних слов понимает политическую роль Рылеева) вряд ли полемизирует или отмечает недостатки «Дум». Вполне вероятно, — идет на встречу Пущину, говорит то, что приятно другу: как Пущин Пушкину при тех обстоятельствах не может сказать всего, так и Пушкин — Пущину.

Позже, когда приедет Дельвиг, Пушкин более открыто и критически ответит о «Думах», и этот отзыв станет известен Рылееву.

Разговор о Рылееве, по всей вероятности, пересекался с проблемой возможного тайного приезда поэта на день-другой в столицу.

Именно в этой части нашего повествования мы и коснемся столь известной, давно и жарко обсуждаемой версии о тайном отъезде Пушкина в Петербург в декабре 1825 года по вызову Пущина, о «неблагоприятных приметах» и возвращении обратно, в Михайловское...

Наиболее обоснованной, ясной и простой представляется следующая давно и не раз описанная цепочка событий: в конце ноября 1825 года Пущин просится в отпуск, в Петербург, так же, как в конце прошлого, 1824-го. Возможно, совпадение этого прошения с известием о смерти Александра I — случайность.

Из Москвы Пущин выезжает только 5 или 6 декабря, потому что значится среди «приехавших в столичный город Санкт-Петербург с 6 по 9 число декабря 1825 года»¹, и при этом числится на семнадцатом месте среди двадцати прибывших². Поскольку список заполнялся в «порядке поступления», смело определяем дату появления Пущина в столице — 8 — 9 декабря 1825 года.

Так или иначе — до отъезда из Москвы Пущин, конечно, узнал о смерти Александра I, но ничего не ведал о междоусобии, напряженной переписке Николая с Константином и т. п. Во-первых, в Москве об этом, по всей видимости, не знал ни один человек: судим по записям и письмам осведомленнейшего Александра Булгакова, который с 27 ноября ежедневно толкует о будущем царствовании Константина и в последний раз мирно об этом рассуждает... 16 декабря, через день после восстания, но за день до первых известий о событиях³. Кроме того, только после приезда Пущина, 9 декабря, члены Северного общества сумели узнать о предстоящей переприсяге и увидели возможность своего вмешательства. До того следовало считаться с вероятным воцарением Константина, и вопрос о немедленном восстании скорее всего не был бы поднят: требовалось сориентироваться в новой обстановке, срочно договориться с Южным обществом и т. д.

Перед выездом Пущин, очевидно, дал знать Пушкину, что едет в столицу (воспоминаниям декабриста Н. И. Лорера, основанным на рассказе Льва Пушкина, должно

¹ «Санкт-Петербургские ведомости», 1825, 11 декабря, № 99.

² Среди них, между прочим, генералы Аракчеев, Клейнмихель, Толь, спешившие ко двору.

³ Из писем А. Я. Булгакова к брату.— «Русский архив», 1901, № 6-7.

верить) ¹. Это было продолжение разговора 11 января — то, о чем условились при встрече в Михайловском: если не наступит внезапной амнистии, то в следующий же приезд Пущина в Петербург он даст сигнал Пушкину и тот явится... Подобная тема возникала в разные моменты их встречи: и тогда, когда Пушкин посмеивался над царским беспокоейством в связи с приездом Льва Сергеевича; и когда размышлял о внезапном, смелом появлении самого Пущина в Михайловском. Эквивалентом могло быть столь же внезапное появление Пушкина в Петербурге... Пущин — смелый, дерзкий, озорной, конечно, не станет читать по этому поводу «смирительных правоучений» (мы уже упоминали, между прочим, о его смелом нелегальном набеге в Петровский завод, к Горбачевскому — как за двадцать четыре года до того к Пушкину...) И разве пушкинский Дон Гуан (задуманный в 1825 году) не приезжает тайком без разрешения из ссылки в столицу, чтоб повидать своих? ² На этот случай Пущин, имевший опыт конспирации, очевидно, дал поэту тот совет, который в начале декабря 1825 года едва не был исполнен...

Надеясь на сумятицу после смерти Александра I, Пушкин думает ехать в Петербург на квартиру Рылеева... О том, что это достаточно надежное убежище, именно Пущин мог дать наилучшее пояснение (круг знакомств иной, нежели у Пушкина, и потому не грозящий прищельцу слишком большой и смертельно опасной для него оглаской) ³.

Что же касается неблагоприятных примет, заставивших Пушкина возвратиться, то наиболее глубокую трактовку находим у В. Э. Вацура: «Исторический шквал, потрясший русское общество 14 декабря, в личной судьбе Пушкина обернулся сцеплением случайностей <...> Все происходит в единый момент, неожиданно и чудовищно парадоксально: неудачная попытка выезда, восстание, смятение и драма, пережитая без единого свидетеля: рисунок

¹ См.: «Записки декабриста Н. И. Лорера». М., Соцэкгиз, 1931, с. 199.

² На уникальность этого мотива в разработке темы Дон Жуана и на связь его с биографией самого Пушкина обратила внимание А. А. Ахматова в своей работе «Каменный гость» Пушкина» (см.: Анна Ахматова. О Пушкине. Л., «Советский писатель», 1977, с. 94).

³ «Он положил захватить сперва на квартиру к Рылееву, который вел жизнь не светскую, и от него записать сведениями» (С. А. Соболевский. — См.: «Пушкин в воспоминаниях...», т. II, с. 7).

виселицы, запись «и я бы мог», — затем фельдъегерь, Чудов дворец, свобода. Сознание начинает мистифицировать действительность. Пушкин был не более суеверен, нежели другие его старшие и младшие современники, — семейство Карамзиных, Дельвиг, Лермонтов или Ростопчина, — просто ему больше выпало на долю.

Современники передавали его рассказы, подчеркивая и усиливая их <...>

Если мы возьмем на себя труд убрать облекающие их позднейшие легенды и наслоения, они предстанут перед нами как драгоценный и уникальный историко-психологический документ»¹.

Отчего же в записках Пущина обо всем этом ни слова?

Да оттого, что Пушкин не приехал, и Пущин, конечно, тому радовался: ведь он звал друга-поэта в мирное убежище, а не на гибель. К тому же эта история для Пущина продолжения не имела. Сведения о пушкинской попытке выехать из Михайловского были в 1850-х годах достаточно туманными, чтобы декабрист мог связать их с разговорами 11 января 1825 года. Он, конечно, помнил свое письмо, посланное Пушкину в конце ноября — начале декабря 1825 года с предложением приехать в столицу; но кто мог сказать — дошло ли послание к адресату? Пушкин не приехал, грянуло 14 декабря, и есть ли о чем толковать?

«Время не стояло. К несчастью, вдруг запахло угаром. У меня собачье чутье, и голова моя не выносит угара. Тотчас же я отправился узнавать, откуда эта беда, нежданная в такую пору дня. Вышло, что няня, воображая, что я останусь погостить, велела в других комнатах затопить печи, которые с самого начала зимы не топились. Когда закрыли трубы, — хоть беги из дому! Я тотчас распорядился за беззаботного сына в отцовском доме: велел открыть трубы, запер на замок дверь в натопленные комнаты, притворил и нашу дверь, а форточку открыл.

Все это непрятно на меня подействовало, не только в физическом, но и в нравственном отношении. «Как, — подумал я, — хоть в этом не успокоить его, как не устроить так, чтоб ему, бедному поэту, было где подвигаться в зимнее ненастье». В зале был бильярд; это могло бы служить для него развлечением. В порыве досады я

¹ В. Э. Вацуро. А. С. Пушкин в сознании современников. — «Пушкин в воспоминаниях...», с. 16—17.

даже упрекнул няню, зачем она не велит отапливать всего дома. Видно, однако, мое ворчанье имело некоторое действие, потому что после моего посещения перестали экономничать дровами. Г-н Анненков в биографии Пушкина говорит, что он иногда один играл в два шара на бильярде. Ведь не летом же он этим забавлялся, находя приволье на божьем воздухе, среди полей и лесов, которые любил с детства. Я не мог познакомиться с местностью Михайловского, так живо им воспетой: она тогда была закутана снегом» (83—84).

Память Ивана Ивановича исчерпала, вероятно, почти все сложные изгибы того разговора, который, не останавливаясь, продлился часов девятнадцать (с восьми утра до трех ночи). Снова, после радостей и наслаждений дружбы — момент спада и грусти: печаль от невеселого, тяжкого положения Пушкина, брошенного в глушь, в маленький домик, где поэта подстерегают холод и угар. Видно, впечатление было очень сильным, если добрейший Пущин напустился с упреками на Арину Родионовну... Впрочем, зима, снег, угар — это, как уже говорилось, для Пущина 1858 года символы собственной тридцатилетней неволи. Оттого он особенно тонко чувствует, и через треть века, угрюмое пушкинское заточение. «Зима» — это как общий знак их судеб — *«перед грозным временем, перед грозными судьбами»*.

«Между тем время шло за полночь. Нам подали закусить; на прощанье хлопнула третья пробка. Мы крепко обнялись в надежде, может быть, скоро свидеться в Москве. Шаткая эта надежда облегчила расставанье после так отраднo промелькнувшего дня. Ямщик уже запряг лошадей, колоколец брякал у крыльца, на часах ударило три. Мы еще чокнулись стаканами, но грустно цились: как будто чувствовалось, что последний раз вместе пьем, и пьем на вечную разлуку! Молча я набросил на плечи шубу и убежал в сени. Пушкин еще что-то говорил мне вслед; ничего не слыша, я глядел на него: он остановился на крыльце, со свечой в руке. Кони рванули под гору. Послышалось: «Прощай, друг!» — Ворота скрипнули за мной...» (84).

Последние строки об этой встрече. За ними в тетради Пущина просвет — и затем сразу:

«Сцена переменялась.

Я осужден; 1828 года, 5 генваря, привезли меня из Шлиссельбурга в Читу...» (84).

Хронологический перерыв в рассказе — ровно три года без шести дней. Пущину кажется, и нам вслед за ним, — что он слышит ту январскую ночь 1825-го: хлопанье третьей пробки, слова о свидании в Москве.

Пушкина привезут действительно в Москву — через год и восемь месяцев, но Пущина там не будет.

А пока что *звуки*: бряцанье колокольчика, бой часов. Что-то говорит Пушкин, молчит Пущин — «прощай, друг» — скрип ворот. Только свеча в руке вышедшего на крыльцо Пушкина — единственный световой тон в прощании звуков.

Больше никогда не увиделись — и Пущину в 1858 году кажется, будто в ту далекую январскую ночь они это предчувствовали.

«ПУЩИН ПОЗНАКОМИТ НАС КОРОЧЕ...»

«Я пишу к тебе: ты... не ленись».

Рылеев. Из первого его письма к Пушкину. 1825, 5—7 января

«Клянюсь планщику Рылееву... Но я, право, более люблю стихи без плана, чем план без стихов. Желаю вам, друзья мои, здравия и вдохновения».

Пушкин. Из последнего его письма к А. Бестужеву и Рылееву. 1825, 30 ноября.

Пуштин уезжает — через Петербург в Москву; разговор продолжается. Иван Иванович везет гостинцы Рылееву и Александру Бестужеву: отрывок из «Цыган» прямо отправляется в третью книгу «Полярной звезды», которая выйдет в марте; Вяземскому в Москву — тот же текст¹, а кроме того, денежный долг и письмо².

Вскоре Пуштин уж дома, близ Арбата у Спаса на Песках. 18 февраля извещает: «Опять я в Москве, любезнейший Пушкин — действую снова в суде» (XIII, 144).

Это первое из трех сохранившихся писем Пуштина к Пушкину (18 февраля, 12 марта, 2 апреля 1825 года). В последнем, апрельском, находим фразу: «Наконец получил послание твое в прозе, любезный Пушкин! Спасибо и за то» (XIII, 159)³.

¹ Вряд ли во время однодневного свидания с другом Пушкин дважды переписывал стихотворный отрывок: скорее, попросил Пуштина на досуге снять копию для Вяземских.

² Письмо, отправившееся с Пуштинным, по-видимому, носило столь откровенный характер, что было из предосторожности уничтожено адресатом (см.: Т. Г. Цявловская. Записка к В. Ф. Вяземской. — «Прометей», кн. X, с. 165).

³ Я. Д. Казимирский вспоминал, будто Пуштин читал в Ялutorовске письма Пушкина; скорее всего имелись в виду послания в стихах — «Мой первый друг...»; «Бог помочь вам...». От адресованной ему корреспонденции Пуштин перед восстанием, очевидно, избавился.

В трех пушкинских посланиях, отправленных по почте, Пушкин находит (продолжение январской встречи!) толки о лицейских и иных друзьях: «Кюхельбекера здесь нет»¹ «И. И. Дмитриев меня забросал вопросами за обедом у Вяземского».

Только в обозначении даты второго письма — «марта 12-го. *Знаменательный день*» (XIII, 151) — исследователи улавливают намек на политические обстоятельства (вероятно, созвучный некоторым михайловским разговорам) — день царевубийства, позволившего Александру I занять престол вместо Павла², а почти всем опальным и высланным — вернуться³.

Наконец, постоянная пушкинская тема — *Рылеев*: «На днях тебе пришло Рылеева произведения, которые должны появиться: Войнаровский и Думы» (XIII, 144); «Рылеев поручил мне доставить тебе труды его — с покорностью отправляю» (XIII, 151).

Дело не только в том, что сочинения Рылеева издаются в Москве и Пушкин мог их быстрее переслать в Михайловское, нежели сам автор: отношения Пушкина с Пушкиным теперь не могут обойтись без «рылеевских мотивов».

Это обстоятельство важно для завершения нашего рассказа о встрече Пушкина с Пушкиным по нескольким причинам:

Единомыслие Пушкина, Рылеева (и, понятно, также Александра Бестужева) очень велико⁴.

Переписка 1825 года между Пушкиным с одной стороны — Рылеевым и Бестужевым с другой сохранилась

¹ Из лицейской шуточной «Кюхельбекериады»:

Все немилло, все постыло
Кюхельбекера здесь нет...

² Т. Г. Цявловская. «Муза пламенной сатиры». — Сб.: «Пушкин на юге», т. II, с. 169.

³ Как легко выстроить линию: разговор о тайном обществе — разговор о царевубийстве — признание Пушкина, что все это близко, и т. п. Но повторим, Пушкин в это время не сторонник царевубийства (хотя, как отмечалось, допускает такую ситуацию); легче вообразить разговор о возможных переменах, вообще не связанных прямо с деятельностью тайного общества. Впрочем, тут мы вступаем в область зыбких предположений и истолкований.

⁴ Речь, конечно, идет о главных чертах сродства, а не о полном совпадении взглядов и вкусов: смешно искать слишком глубокий смысл в том, например, что Рылеев и Бестужев подвергают критике первую главу «Евгения Онегина», тогда как Пушкин извещает: «Все тужи московские тебе кланяются и с большим удовольствием читают *Онегина*» (XIII, 159).

почти полностью, и, можно сказать, благодаря случаю, «чуду»¹.

Из всего этого следует (как уже отмечалось в прошлой главе), что некоторые мотивы михайловской встречи 11 января могут быть сопоставлены с «разговорами» Пушкина и редакторов «Полярной звезды».

Подчеркнем, что слишком далеко заходить в этих сопоставлениях не собираемся; однако считаем, что возможность разных сближений и сравнений существует.

Переписка Пушкина с Рылеевым и Бестужевым представлена в 1825 году *шестнадцатью* сохранившимися и *тремя* несохранившимися посланиями: десять писем Рылеева, Бестужева или совместных, из которых не хватает письма А. Бестужева, отправленного в начале января (возможно, тоже через посредство Пущина); из девяти пушкинских посланий — недостает письма к Бестужеву во второй половине января и Рылееву — во второй половине февраля 1825 года².

Переписка — интереснейшая во многих отношениях: и по «авторам-адресатам», и по содержанию, и по времени (последние письма Пушкина приходят на адрес Рылеева — «у Синего мосту в доме Американской компании» уже в междупарстие, за несколько дней до 14 декабря).

Наиболее оживленным был обмен посланиями в январе — марте: одиннадцать писем из девятнадцати, в ту пору письмо получено — быстро отвечено, вдогонку пишется еще, разговор подхватывается на лету...

К лету 1825 года темп замедляется, обмен мнениями чуть охлаждается. Затем — немалый перерыв, и последняя вспышка накануне 14 декабря. Однако при всех изменениях тона и ритма — это переписка дружественная;

¹ Как известно, в конце 1825 — начале 1826 г. несколько десятков писем, адресованных Рылееву, Бестужеву, Корнилову, Грибоедову и другим декабристам-литераторам, были взяты у них при аресте и обыске, а после приговора изъяты из дел следственной комиссии одним из ее чиновников, литератором А. А. Ивановским (см. о нем: В. Э. Вацуро, М. И. Гиллельсон. Сквозь умственные плотины. М., «Книга», 1972, с. 12—16). Позже драгоценные документы, и в их числе подлинное письмо Пушкина к издателям «Полярной звезды», попали к смоленскому губернскому прокурору А. А. Шахматову, а через посредство его сына, великого филолога А. А. Шахматова, переданы внуку декабриста В. Е. Якушкину. Документы в основном опубликованы в 1888—1892 гг. и в настоящее время находятся в Отделе рукописей Пушкинского дома.

² См.: «Летопись...», с. 550, 556, 568.

общность «по душе и мыслям» рождает простую, теплую форму обращения.

Рылеев: «Пишу к тебе *ты*, потому что холодное *вы* не ложится под перо; надеюсь, что имею на это право и по душе, и по мыслям».

«Благодарю тебя, милый Поэт, за отрывок из Цыган и за письмо; первый прелестен, второе мило».

«Очень рад, что Войнаровский понравился тебе...»

«Чародей... Милая сирена... Чудотворец... Гений...»

«Ты великий льстец: вот все, что могу сказать тебе на твое мнение о моих поэмах. Ты навсегда останешься моим учителем в языке стихотворном».

Пушкин (*Рылееву*, *Бестужеву*): «Благодарю тебя за *ты* и за письмо <...> Жду Полярной Звезды с нетерпением...»

Рылеев «идет своею дорогою. Он в душе поэт. Я опасюсь его не на шутку <...> — да черт его знал. Жду с нетерпением Войнаровского и перешлю ему все свои замечания. Ради Христа! чтоб он писал — да более, более!»

«Бестужев... вообрази: у нас ты будешь первый во всех значениях этого слова, в Европе также получишь свою цену — во-первых, как истинный талант, во-вторых, по новизне предметов, красок, etc... Подумай, брат, об этом на досуге... да тебе хочется в ротмистра!»

«Ты — да, кажется, Вяземский — одни из наших литераторов — учатся: все прочие разучаются».

Рылеев, *Бестужев*: «Как благодарить тебя, милый Поэт, за твои бесценные подарки нашей *Звезде*? <...> Мы с Бестужевым намереваемся летом проведать тебя: будет ли это к стати?»

Пушкин: «Желаю вам, друзья мои, здравия и вдохновения».

Всесторонне разобрать эту переписку — значит рассказать всю историю 1825 года. Конечно, не было почти ни одной значительной работы о том годе без цитирования или хотя бы упоминания этих писем¹.

Не ставя слишком широких задач, мы выскажем некоторые соображения о трех важных диспутах, которые в изучаемом эпистолярном комплексе хорошо заметны и продолжаютя от письма к письму.

¹ См., например, важные наблюдения Д. Д. Благого об эволюции пушкинского взгляда на народную стихию в связи с поэмой «Цыганы» и полемикой с Рылеевым (и Вяземским) относительно ее главного героя (Д. Д. Благой. Творческий путь Пушкина (1813—1826). М.—Л., Изд-во АН СССР, 1950, с. 309—313).

Первый спор: «Евгений Онегин» — лучшее или не лучшее из сочинений двадцатипятилетнего поэта?

Пушкин: «Бестужев пишет мне много об Онегине — скажи ему, что он не прав: ужели хочет он изгнать все легкое и веселое из области поэзии? куда же денутся сатиры и комедии? следственно, должно будет уничтожить и *Oglando furioso*¹, и *Гудибраса*, и *Rucelle*², и *Вер-Вера*, и *Ренике-фукс*, и лучшую часть *Душеньки*, и сказки *Лафонтена*, и басни *Крылова* etc. etc. etc. Это немного строго. Картины светской жизни также входят в область поэзии» (XIII, 134).

Рылеев: «Разделяю твое мнение, что картины светской жизни входят в область поэзии. Да если б и не входили, ты с своим чертовским дарованием втолкнул бы их насильно туда. Когда Бестужев писал к тебе последнее письмо, я еще не читал вполне первой песни Онегина. Теперь я слышал всю: она прекрасна; ты схватил все, что только подобный предмет представляет. Но Онегин, сужу по первой песне, ниже и *Бахчисарайского фонтана*, и *Кавказского пленника*» (XIII, 141).

Рылеев: «Не знаю, что будет Онегин далее: быть может, в следующих песнях он будет одного достоинства с *Дон Жуаном*: чем дальше в лес, тем больше дров: но теперь он ниже *Бахчисарайского Фонтана* и *Кавказского Пленника*. Я готов спорить об этом до второго пришествия <...> Несогласен и на то, что Онегин выше *Бахчисарайского Фонтана* и *Кавказского Пленника*, как творение искусства. Сделай милость, не оправдывай софизмов *Воейковых*: им только дозвоительно ставить искусство выше вдохновения. Ты на себя клепешь и взводишь бог знает что» (XIII, 150).

Бестужев: «Поговорим об *Онегине* <...> Нет, Пушкин, нет, никогда не соглашусь, что поэма заключается в предмете, а не в исполнении! — Что свет можно описывать в поэтических формах — это несомненно, но дал ли ты Онегину поэтические формы, кроме стихов? поставил ли ты его в контраст со светом, чтобы

¹ «Неистового Роланда» (итал.).

² «Девственницу» (фр.), то есть Вольтерову «Орлеанскую девственницу».

в резком злословии показать его резкие черты? — Я вижу франта, который душой и телом предан моде — вижу человека, которых тысячи встречаю на яву, ибо самая холодность и мизантропия и странность теперь в числе туалетных приборов. Конечно, многие картины прелестны, — но они не полны, ты схватил петербургский свет, но не проник в него <...> Не думай однакож, что мне не нравится твой *Онегин*, напротив. Вся ее мечтательная часть прелестна, но в этой части я не вижу уже Онегина, а только тебя. Не отсоветываю даже писать в этом роде, ибо он должен нравиться массе публики, — но желал бы только, чтоб ты разуверился в превосходстве его над другими. Впрочем, мое мнение не аксиома, но я невольно отдаю преимущество тому, что колеблет душу, что ее возвышает, что трогает русское сердце; а мало ли таких предметов — и они ждут тебя! Стоит ли вырезывать изображения из яблочного семечка, подобно браминам индейским, когда у тебя, в руке резец Праксителя? Страсти и время не возвращаются — а мы не вечны!!!» (XIII, 148 — 149).

Пушкин: «Твое письмо очень умно, но все-таки ты не прав, все-таки ты смотришь на Онегина не с той точки, все-таки он лучшее произведение мое. Ты сравниваешь первую главу с Дон Жуаном. — Никто более меня не уважает Дон Жуана (первые 5 песен, других не читал), но в нем ничего нет общего с Онегиным. Ты говоришь о сатире англичанина Байрона и сравниваешь ее с моею, и требуешь от меня таковой же! Нет, моя душа, много хочешь. Где у меня *сагира*? о ней и помину нет в *Евгении Онегине*. У меня бы затрещала набережная, если б коснулся я сатире. Самое слово *сагирический* не должно бы находиться в предисловии. Дождись других песен... Ах! Если б заманить тебя в Михайловское!..» (XIII, 155).

Пушкин (отзываясь на «Обозрение русской литературы», напечатанное Бестужевым в «Полярной звезде» на 1825 год): «Об *Онегине* ты не высказал всего, что имел на сердце; чувствую почему и благодарю — но зачем же ясно не обнаружить своего мнения? — покамест мы будем руководствоваться личными нашими отношениями, критики у нас не будет — а ты достоин ее создать» (XIII, 180).

Итак, первая песнь «Онегина» для лидеров «Полярной звезды» — наилучшее выражение того, «что только подобный предмет представляет».

Но существует ли предмет? Трижды Рылеев повторяет, готов спорить «до второго пришествия», что, судя по первой главе, Онегин ниже «Бахчисарайского фонтана» и «Кавказского пленника». На этом стоит твердо. Даже восторженные похвалы «Цыганам» несут оттенок назидательности: вот — истинная поэзия, дух вольности, то, «что колеблет душу, что ее возвышает, что трогает русское сердце». К тому же, как известно, Рылеев находил, что «характер Алеко несколько унижен. Зачем водит он медведя и собирает вольную дань? Не лучше ли б было сделать его кузнецом?» (XIII, 169) ¹.

Если же Пушкин не намерен облагораживать своих читателей высоким романтизмом «кавказских, крымских, цыганских» вольных страстей — если предметом избран большой свет, — тогда декабристы-литераторы требуют «резкого злословия», конфликта героя с обществом. Бестужев когда пишет об этом, то ссылается на политический пример Байрона и, конечно же, подразумевает Грибоедова, Чацкого, — ведь Пушкин из рук Пущина прочитал «Горе от ума» и в январе — феврале обменивался с Бестужевым мыслями о пьесе.

Не можем не отметить любопытного «типологического» совпадения хронологически далеких суждений: сорок лет спустя другой суровый критик «Евгения Онегина», Д. И. Писарев, также отдаст явное предпочтение Чацкому и напишет о пушкинском герое несколько «бестужевских фраз»:

А. А. Бестужев: «Я вижу франта, который душой и телом предан моде...» и т. д.

Д. И. Писарев: Пушкин «употребил все силы своего таланта на то, чтобы из мелкого, трусливого, бесхарактерного и праздношатающегося франтика сделать трагическую личность, изнемогающую в борьбе с непреодолимыми требованиями века и народа» ².

Конечно, тут дело не в литературном заимствовании:

¹ Несколько лет спустя Пушкин, произируя по этому поводу, запишет: «Всего бы лучше сделать из него чиновника 8 класса, или помещика, а не цыгана. В таком случае, правда, не было бы и всей поэмы» (XI, 153).

² Д. И. Писарев. Соч. в 4-х томах, т. 3. М., Гослитиздат, 1956, с. 330, 337.

бестужевского письма Писарев, по всей вероятности, и не знал (оно будет опубликовано через тринадцать лет после его смерти). Сходные слова у сходно думающих!

Бестужев и Рылеев находят в «Онегине» недостаток сатиры.

Пушкин рад спору, хочет вынесения его «на поверхность» и выговаривает Бестужеву за то, что в «Полярной звезде» он ограничивается комплиментами поэме, «не обнаружив своего мнения».

Позиция Пушкина очень примечательна: он признает, что внутри своей системы рассуждений Бестужев последователен («твое письмо очень умно»), но находит, что «Онегин» рассмотрен *«не с той точки»*. Произносится одна из самых трудных и смелых фраз — для такой беседы: «Онегин <...> все-таки лучшее произведение мое».

«Не с той точки»... Пушкин почти не объясняет — с какой «точки» он предлагает взглянуть: тут потребовалось бы полное изложение своего кредо, обширный рассказ о тех обстоятельствах, что вызвали к жизни весной 1823 года первые строфы такой поэмы. Для этого надо встретиться, и Пушкин ждет друзей в Михайловском, а они собираются, да не успеют...

«Не с той точки» — тут романтическая, «рылеевско-бестужевская» система пересекалась с новым, пушкинским взглядом на жизнь и литературу — взглядом, обозначенным уже самим фактом появления на свет «Евгения Онегина» и «Бориса Годунова». Издатели «Полярной звезды» противопоставляют новым песням поэта старые: «Фонтан» и «Пленника». А для Пушкина это уже день вчерашний... Но умница Бестужев ставит существенный вопрос — *о сатире*. Фактически спрошено — разве у декабристов-издателей и Пушкина разные враги, разные предметы любви и ненависти?

Пушкин принимает *вызов*: Онегин — одно, сатира — другое, а разделив их, прозрачно намекает: «Дождись других песен... Ах, если бы заманить тебя в Михайловское».

Бестужев понял, конечно: речь идет об эпиграммах, «сатирах», накопленных и готовых к обращению; и если они двинутся, то затрещат набережные, то есть царские дворцы и особняки на Петербургских набережных.

И тут уж доносится сочиненное летом 1824 года:¹

¹ См.: Т. Г. Цявловская. «Муза пламенной сатиры». — Сб.: «Пушкин на юге», т. II, с. 160.

О муза пламенной сатиры!
Приди на мой призывный клич!
Не нужно мне гремящей лиры,
Вручи мне Ювеналов бич!

Вопрос о месте политической сатиры в пушкинских сочинениях того времени, о предполагаемом, но не осуществленном сборнике его эпиграмм — в нашей работе подробно не рассматривается.

Т. Г. Цявловская, подвергнув многостороннему анализу все данные о «пламенной сатире» преддекабрьского времени, указывает на шестнадцать политических эпиграмм и сатир, написанных Пушкиным в ссылке; пишет о политическом смысле этого явления, значение которого «трудно переоценить»¹.

Рылеев и Бестужев могли быть довольны большим декабристским единомыслием с Пушкиным «по сатирической части» — но притом чувствовали, что тут не *весь* Пушкин, что «часть его большая» — в «Онегине» и других сочинениях, которые он сам считает лучшими; что в Михайловском прокладываются какие-то иные поэтические пути, не получающие полного признания у петербургских друзей.

Обеим сторонам ясно, что расхождение хоть и остается в пределах теплой, творческой дружбы, но — из-за вопросов не второстепенных, не мелких.

Речь ведь идет о цели и назначении поэзии.

О ПОЭЗИИ

Цель поэзии — второй «диспут», который мы вычлением из переписки 1825 года.

Рылеев: «...Не ленись: ты около Пскова: там задушены последние вспышки русской свободы; настоящий край вдохновения — и неужели Пушкин оставит эту землю без поэмы» (XIII, 133).

Бестужев (в недошедшем письме), очевидно, противопоставляет поэзию Пушкина отрицательному «мистическому» влиянию стихов Жуковского.

Пушкин: «...Не совсем соглашаюсь с строгим приговором <Бестужева> о Жуковском. Зачем кусать нам

¹ Т. Г. Цявловская. «Муза пламенной сатиры». — Сб.: «Пушкин на юге», т. II с. 160.

груди кормилицы нашей? потому что зубки прорезались? Что ни говори, Жуковский имел решительное влияние на дух нашей словесности; к тому же переводный слог его останется всегда образцовым. Ох! уж эта мне республика словесности. За что казнит, за что венчает? Что касается до Батюшкова, уважим в нем несчастия и не созревшие надежды» (XIII, 135).

Рылеев: «Не совсем прав ты и во мнении о Жуковском. Неоспоримо, что Жуковский принес важные пользы языку нашему; он имел решительное влияние на стихотворный слог наш — и мы за это навсегда должны остаться ему благодарными, но отнюдь не за влияние его на дух нашей словесности, как пишешь ты. К несчастью, влияние это было с лишком пагубно: мистицизм, которым проникнута большая часть его стихотворений, мечтательность, неопределенность и какая-то туманность, которые в нем иногда даже прелестны, растлили многих и много зла наделали. Зачем не продолжает он дарить нас прекрасными переводами своими из Байрона, Шиллера и других великанов чужеземных. Это более может упрочить славу его. С твоими мыслями о Батюшкове я совершенно согласен: он точно заслуживает уважения и по таланту и по несчастью» (XIII, 141 — 142).

Разговор о назначении поэзии переходит на другие предметы. Пушкин в несохранившемся письме запальчиво отстаивал точку зрения Байрона о том, что любой предмет, даже самый «низменный», например, колода карт, может быть предметом «поэтическим»; и если описан талантливо — то это более высокая поэзия, чем всякое отображение вещей более «возвышенных», например, деревьев¹. Понятно, что речь и тут шла об «Онегине»: Рылеев, Бестужев критикуют выбор объектов, Пушкин подразумевает, что «картины светской жизни также входят в область поэзии». Однако Пушкин счел существенным и возражение Рыльева; «Мнение Байрона, тобою приведенное, несправедливо. Поэт, описавший колоду карт лучше, нежели другой деревья, не всегда выше своего соперника. У каждого свой дар, своя Муза» (XIII, 150). Тут подчеркивалось значение поэтической темы, смысла — чего Пуш-

¹ Речь шла об известной полемике Байрона с поэтом Боулсом — какие предметы предпочтительнее для поэтического отображения.

кин не мог отрицать; к тому же серьезный вопрос не решался схоластическим: «Что лучше?..»

Пушкин (Бестужеву): «Скажи ему <Рылееву>, что в отношении мнения Байрона он прав. Я хотел было покривить душой, да не удалось» (XIII, 155). Он честно признает невозможность спора в этой плоскости, свою здесь неправоту — однако переносит диспут на другую, более широкую основу.

Рылеев (о своих «Думах»): «Знаю, что ты не жалуешь мои Думы, несмотря на то я просил Пущина и их переслать тебе. Чувствую сам, что некоторые так слабы, что не следовало бы их и печатать в полном собрании. Но зато убежден душевно, что Ермак, Матвеев, Волинской, Годунов и им подобные хороши и могут быть полезны не для одних детей» (XIII, 150).

Пушкин: «Что сказать тебе о думах? во всех встречаются стихи живые, окончательные строфы *Петра в Острогжске* чрезвычайно оригинальны. Но вообще все они слабы изобретением и изложением. Все они на один покров: составлены из *общих мест* <...> Описание места действия, речь героя и — правоучение. Национального, русского нет в них ничего, кроме имен (исключая Ивана Сусанина, первую думу, по коей начал я подозревать в тебе истинный талант) <...>

Об Исповеди Наливайки скажу, что мудроно что-нибудь у нас напечатать истинно хорошего в этом роде. Найдю отрывок этот растянутым: но и тут, конечно, наложил ты свою печать» (XIII, 175 — 176).

Другим собеседникам Пушкин высказывается о «Думах» более резко.

Пушкин — Вяземскому (при обсуждении «Чернеца» И. Козлова): «Эта поэма, конечно, полна чувства и умнее Войнаровского, но в Рылееве есть более замашки или размашки в слогe. У него есть какой-то там палач с засученными рукавами, за которого я бы дорого дал. За то Думы дрянь и название сие происходит от немецкого *dum*¹, а не от польского, как казалось бы с первого взгляда» (XIII, 184).

Пушкин — Жуковскому: «Ты спрашиваешь, какая цель у Цыганов? вот на! Цель поэзии — поэзия — как говорит Дельвиг (если не украл этого). Думы Рылеева и целят, а все не в попад» (XIII, 167).

¹ Глупый (нем.).

Рылеев — Бестужеву:

Хоть Пушкин суд мне строгий произнес
И слабый дар, как недруг тайный, взвесил,
Но от того, Бестужев, еще нос
Я недругам в угоду не повесил.

Моя душа до гроба сохранит
Высоких дум кипящую отвагу;
Мой друг! Недаром в юноше горит
Любовь к общественному благу!

Поэтические и политические оценки как будто не сходятся, сталкиваются, заостряются в полемике: взгляд Пушкина на «цель поэзии», конечно, много сложнее шутливой формулы Дельвига; Рылеев же обижен, но вряд ли откажет Пушкину *в отваге высоких дум*.

Спор 1825 года на том, как известно, не кончается, возобновляясь по новым поводам.

А. Бестужев пишет в последней «Полярной звезде» о первенстве в России критики над литературой (имеется в виду, конечно, декабристская идейная критика), полагает, что в России отсутствуют гении и недостает талантов.

Пушкин: «У нас есть критика, а нет литературы. Где же ты это нашел? именно критики у нас и недостает <...> Что же ты называешь критикою? Вестник Европы и Благонамеренный? библиографические известия Греча и Булгарина? свои статьи? но признайся, что это все не может установить какого-нибудь мнения в публике, не может почесться уложением вкуса. Каченовский туп и скучен, Греч и ты остры и забавны — вот все, что можно сказать об вас — но где же критика? Нет, фразу твою скажем на оборот; литература кой-какая у нас есть, а критики нет. Впрочем, ты сам немного ниже с этим соглашаешься.

У одного только народа критика предшествовала литературе — у германцев.

Отчего у нас нет гениев и мало талантов? Во-первых, у нас Державин и Крылов — во-вторых, где же бывает много талантов» (XIII, 177—178).

Пушкин (30 ноября 1825 года): «Кланяюсь планцику Рылееву, как говаривал покойник Платов — но я, право, более люблю стихи без плана, чем план без стихов» (XIII, 245).

Обе стороны идут на уступки. Пушкин признает, что «хотел было покривить душой», соглашаясь с мнением

Байрона в споре с Боулсом, в то время как оба «заврались». Рылеев смягчает не дошедшее к нам резкое суждение Бестужева о Жуковском и особенно о Батюшкове.

За вычетом этих эпизодов каждый стоит на своем, и связь «второго диспута» с первым, об Онегине, очевидна: Рылеев и Бестужев подсказывают Пушкину полезные и благородные темы (край русской свободы близ Пскова, сатира), а Пушкин, нарочито смешивая серьезность с шуткой, парадоксально заостряя реплики, противопоставляет «планам», «высокой цели» — «стихи без плана», «цель поэзии — поэзия»... Бестужев, говоря о том, что критика в России сильнее литературы, подразумевает, конечно, что его направления ближе к общероссийским, высоким задачам, чем «цех поэтов»; Пушкин же понимает, что не нужно преувеличивать зрелость «бестужевского направления» («литература кой-какая у нас есть, а критики нет»).

Изучение этих споров — дело очень непростое¹. Огромность пушкинского гения может создать преувеличенное представление о его правоте в дискуссиях с менее талантливыми собеседниками. Это было бы особенно существенно, когда бы предметом обсуждения стали чисто поэтические материи. Но ведь речь идет, в сущности, о смысле жизни, о судьбах человеческих и народных. Мы понимаем, что Пушкин прав, не видя подлинного историзма в рылеевских «Думах», хотя герои и события там взяты из российского прошлого. Однако Рылеев ведь ищет ответа в другой «системе координат»; и в то время, как Пушкин найдет отрывок из поэмы «Наливайко» растянутым и с трудом напишет автору несколько добрых слов — братья Бестужевы, например, услышат пророческое звучание в строках:

...Известно мне: погибель ждет
Того, кто первым восстает
На утеснителей народа,—
Судьба меня уж обрекла...

Обе стороны отстаивают свою правду. Каждая из сторон идет своим единственным путем к своим оценкам².

¹ См. о них: Б. С. Мейлах. Пушкин и русский романтизм. М.—Л., Изд-во АН СССР, 1937.

² Огарев: «Пушкин своей всеобъемлющей впечатлительностью не мог понять исповеди Наливайки; публика поняла ее и откликнулась. Пушкин искал образа казацкого вождя, чтоб быть вполне удовлетворенным этим отрывком, и не находил его — и был прав;

Отзывы о Жуковском — пример яркий: Пушкин, хорошо ощущая литературную опасность «туманного» начала в стихах Жуковского и его подражателей, — склонен притом к широкому взгляду на литературные партии: «Зачем кусать нам груди кормилицы нашей». Для Рылеева и Бестужева, однако, дух Жуковского «растлил многих и много зла наделал», то есть, попросту говоря, увел в сторону от насущных, высоких, декабристских идей... Здесь любопытно сталкиваются две концепции «единства». Ведь и Рылеев с Бестужевым — объединители разных художественных сил. В «Полярной звезде» печатаются Пушкин, Грибоедов, Вяземский, Рылеев, Булгарин, Туманский, Жуковский и многие другие: стремление к широкой, влиятельной «республике словесности» на декабристской основе.

Пушкин же, смеясь над иными литературными расприями, также чувствует свое единство с литераторами-современниками, от Рылеева и Бестужева до Вяземского, Жуковского и Дельвига; но чувствует иначе, чем лидеры «Полярной звезды», не принимая их односторонней, по его мнению, непримиримости: «Ох, уж эта мне республика словесности. За что казнит, за что венчает?»

Вызывающая, афористическая строка Рылеева (из вступления к «Войнаровскому») — «Я не поэт, а гражданин» — не приемлема в системе воззрений Пушкина, а также Вяземского, Дельвига (Вяземский находит, что ранее и не к этому случаю написанное им — «Я не поэт, а дворянин» — неожиданно становится пародией на рылеевскую формулу). Пушкин же, по воспоминаниям Вяземского, говорил: «Если кто пишет стихи, то прежде всего должен быть поэтом; если же хочет просто гражданствовать, то пиши прозой»¹. Рылеев о подобных шутках знал и незадолго до восстания охотно посмеивался в письмах над собственной формулой:

Дельвигу (5 декабря 1825 года): «...не поэт, а гражданин желает здоровья, благоденствия и силы духа, лень поборяющей»².

Пушкину (ноябрь 1825 года): «Тебя любят, тебе верят, тебе подражают. Будь Поэт и гражданин» (XIII, 241).

он только забыл в заглавие поставить: исповедь Рылеева, но тогда бы он удовлетворился» (Н. П. Огарев. Избранные произведения, т. 2. М., Гослитиздат, 1956, с. 471).

¹ «Остафьевский архив», т. 1, с. 511.

² Рылеев. Полн. собр. соч., с. 496.

Шутки, однако, били мимо цели, так как обе стороны говорили о разном. Рылеев, по существу, формулировал не столько поэтическую, сколько политическую программу: «Гражданин», «Гражданское мужество», «Я ль буду в роковое время // Позорить гражданина сан». Вспоминается пушкинская строка, через полтора года, «в другой зре» написанная (и так похожая на рылеевскую «Высоких дум кипящую отвагу»):

Дум высокое стремленье...

Позже один из наследников декабристов, Н. П. Огарев, тонко заметит: «В «Думах» видна благородная личность автора, но не виден художник <...> Влияние «Дум» на современников было именно то, какого Рылеев хотел: чисто гражданское»¹.

Как легко заковать в схему живые, подвижные образы и мысли из переписки трех мыслителей: чуть-чуть «пережать» — возникает идиллическое единство взглядов (и ведь в самом деле — дружба, общие враги и друзья, сатира, «дум высокое стремленье»); но чуть-чуть сгустить оттенки несогласия, спора — и Пушкин делается чужим для людей, ему далеко не чуждых; и легко забыть, что подобные диспуты сами по себе — важный показатель немалой близости, потребности обсуждать сообща... Заметим только, что Пушкин глубже, «художественнее» понимал позицию Рылеева, нежели Рылеев — позицию Пушкина. Тончайшая интуиция гениального поэта уже «освоила» точку зрения издателя «Полярной звезды» и вышла далеко за пределы «той точки»... Новая поэзия Пушкина — «Евгений Онегин», «Борис Годунов» — в широком, историческом смысле больше способствовала «общественному благу», освобождению человека и человеческого, нежели его прежние, более прямые стиховые атаки против самодержавия. Здесь происходило художественное проникновение в главнейшую для русской общественной мысли проблему — проблему народа, народных масс, проблему их роли и участия во всемирно-историческом процессе. Новый пушкинский подход Рылеев и Бестужев не приняли, не поняли — и переписка их с Пушкиным главное тому свидетельство².

¹ Н. П. О г а р е в. Избранные произведения, т. 2. с. 448.

² Интересные наблюдения на эту тему см. в статье Е. Маймина «О теме свободы в романтической лирике Пушкина». — «Известия АН СССР», серия литературы и языка, т. 33, 1974, май — июнь.

Конечно, мотивы этой переписки отразились во многих исследовательских работах¹. Нисколько не претендуя на принципиальную новизну в их изучении, заметим, что обилие разных формулировок и оценок отражает не только изменения, достижения и потери научной мысли: показывает и трудность *точных определений*. Порою стремление «вывести формулу» того, что на этом уровне не может быть определено достаточно резко, не приближает, а удаляет от истины.

Не забудем и того, что, перечитывая шестнадцать важных писем 1825 года, мы видим только некоторые элементы *настоящего разговора*. В переписке лидеров тайного общества с поднадзорным поэтом обе стороны сознают опасность чрезмерной откровенности. Мы ищем поэтому в дополнение другие, глубинные слои тех чрезвычайно интересных и важных обсуждений, где участвует первый русский поэт и первые русские революционеры. Специалисты, конечно, с огромным вниманием и тщательностью штудируют прямые и косвенные отголоски 1825-го, но сознают — какое неимоверное количество драгоценнейших письменных и устных свидетельств сгорело в печах и каминах накануне обысков и арестов, ушло на казнь и в сибирское забвенье вместе с героями 14 декабря. Тем ценнее — что осталось и еще до конца не пройдено.

О БАЙРОНЕ

Третий из выбранных нами диспутов между Пушкиным и издателями «Полярной звезды» — о Байроне.

Байрон (Бейрон) — уж год, как окончил дни среди греческих повстанцев, но поразившие весь образованный мир обстоятельства его гибели на тридцать шестом году жизни не переставали вызывать отклики — в стихах, прозе, публицистике, письмах. Покойный англичанин, естественно, почетный участник множества российских бесед

¹ Отметим, в частности, вступительную статью А. Г. Цейтлина к Полному собранию сочинений Рылеева (М.—Л., «Academia», 1934); вступительную статью Ю. Г. Оксмана к Полному собранию стихотворений Рылеева (Л., Изд-во писателей в Ленинграде, 1934); вступительную статью В. Г. Базанова к кн.: «Рылеев. Стихотворения. Статьи. Очерки. Докладные записки. Письма». М., Гослитиздат, 1956.

и диспутов 1824 — 1825 годов, невидимый член всех литературных и политических обществ.

Напомним некоторые важные высказывания:

Рылеев (стихи при жизни его не публиковались, но прекрасно отображают взгляд декабриста на Байрона и поэзию):

Был, к удивленью века, он
Умом Сократ, душой Катон
И победителем Шекспира.

Он все под солнцем разгадал;
К гоеньям рока равнодушен,
Он гению лишь был послушен,
Властей других не признавал.

(«На смерть Байрона»)

Бестужев — Пушкину: «Прочти Байрона; он, не зная нашего Петербурга, описал его схоже — там, где касалось до глубокого познания людей. У него даже притворное пустословие скрывает в себе замечания философские, а про сатиру и говорить нечего. Я не знаю человека, который бы лучше его, портретнее его, очеркивал характеры, схватывал в них новые проблески страстей и страстишек. И как зла, и как свежа его сатира <...> я с жаждою глотаю английскую литературу, и душой благодарен английскому языку — он научил меня мыслить, он обратил меня к природе — это неистощимый источник! Я готов даже сказать: «*Il n'y a point du salut hors la littérature Anglaise*»¹ (XIII, 149—150).

Рылеев: «Как велик Байрон в следующих песнях Дон-Жуана! Сколько поразительных идей, какие чувства, какие краски. Тут Байрон вознесся до невероятной степени: он стал тут и выше пороков, и выше добродетелей. Пушкин, ты приобрел уже в России пальму первенства: один Державин только еще борется с тобою, но еще два, много три года усилей, и ты опередишь его: тебя ждет завидное поприще: ты можешь быть нашим Байроном, но ради бога, ради Христа, ради твоего любезного Магомета не подражай ему. Твое огромное дарование, твоя пылкая душа могут вознести тебя до Байрона, оставив Пушкиным» (XIII, 173).

¹ «Вне английской литературы нет спасенья» (*Фр.*).

Два мотива важны для литераторов-декабристов: Байрон — современнейший из поэтов по мысли и манере; и в то же время (не случайно, разумеется!) — участвует в освободительных битвах не только стихом, но и *делом* — сражается, гибнет. От первого поэта России, думающего о многом сходно с первым англичанином, ждут достойного отклика люди довольно различных воззрений. Вяземский пишет А. И. Тургеневу (26 мая 1824 года): «Какая поэтическая смерть — смерть Байрона. Это океан поэзии. Надеюсь на Пушкина»¹. Тургенев отвечает (3 июня): «Смерть в виду всей возрождающейся Греции, конечно, завидная и поэтическая. Пушкин, вероятно, схватит момент сей и воспользуется случаем»². Д. В. Дашков в те же дни надеется: «Авось Пушкин (не Василий Львович) напишет что-нибудь достойное умершего»³. Вяземский постоянно спрашивает жену, живущую в Одессе, не написал ли уже Пушкин о Байроне? А Вера Федоровна объясняет, со слов Пушкина, что раньше должен быть окончен «Онегин»⁴. Как известно, Пушкин осенью 1824 года посвящает Байрону несколько замечательных строк в стихотворении «К морю»:

...как бури шум,
Другой от нас умчался гений,
Другой властитель наших дум.

Исчез, оплаканный свободой,
Оставя миру свой венец.
Шуми, взволнуйся непогодой:
Он был, о море, твой певец.

Твой образ был на нем означен,
Он духом создан был твоим:
Как ты, могущ, глубок и мрачен,
Как ты, ничем не укротим.

Мир опустел...

(В черновике стихотворения Байрон назван «кумиром избранных сердец».)

Эти стихи, постепенно распространившиеся в течение 1825 года (напечатаны в октябре 1825-го) — нашли долж-

¹ «Остафьевский архив», кн. III, с. 48.

² Там же, с. 51.

³ ЛН, т. 58, с. 46.

⁴ См.: «Остафьевский архив», т. V, вып. 1, с. 11, 15, 17, 26; вып. 2, с. 11.

ное понимание у друзей и читателей, но, как видно, не отменили «ожидания» — что на смерть поэта Пушкин ответит стихотворением, поэмой, а не только «маленьким поминаньем за упокой души раба божия Байрона» (из письма Пушкина к Вяземскому; XIII, 111). Еще прежде Пушкин признавался Вяземскому: «Гений Байрона бледнел с его молодостию. В своих трагедиях, не выключая и Каина, он уж не тот пламенный демон, который создал Гаура и Чильд Гарольда. Первые 2 песни Дон Жуана выше следующих. Его поэзия видимо изменялась. Он весь создан был на выворот; постепенности в нем не было, он вдруг созрел и возмужал — пропел и замолчал; и первые звуки его уже ему не возвратились — после 4-ой песни Child-Harold Байрона мы не слышали, а писал какой-то другой поэт с высоким человеческим талантом. Твоя мысль воспеть его смерть в 5-ой песне его Героя прелестна — но мне не по силам» (XIII, 99) ¹.

Когда дойдет до споров 1825-го — «Дон Жуан» выдвигается как высший образец для автора Онегина и Пушкин, только что (в апреле) заказавший в Вороничской церкви заупокойную обедню по Байрону («болярину Георгию»), вынужден объяснить, в чем состоит решительное отличие его поэзии от байроновской. Но вот живое противоречие живого спора: Рылеев и Бестужев, с одной стороны, стараются «байронизировать» Пушкина — видят в английском мастере пример и образец; и в то же время, прямо или косвенно, сражаются с тем, что считают «байронизмом», подражательством...

Так, Бестужев находит Байрона в «Евгении Онегине» и, напротив, подчеркивает оригинальность «Цыган»; из Петербурга в Михайловское доносится дружеское: «Будь самим собой», — но Пушкин ведь знает, что именно *Онегин* — путь к самому себе.

¹ Вяземский намеревался продлить байроновского «Чайльд-Гарольда» (включавшего четыре песни) и в сочиненной им самой пятой песни описать смерть Байрона (см. примечания Б. Л. Модзалевского в кн.: «Пушкин. Письма», т. I. М.—Л., Госиздат, 1926, с. 334, 425—426).

Сложные оттенки отношения Пушкина и его современников к Байрону, постепенное усиление критических мотивов рассмотрены Ю. Н. Тыняновым в работе «Архаисты и Пушкин» (см.: Ю. Н. Тынянов. «Пушкин и его современники». М., «Наука», 1968, с. 113—115); ЛН, т. 58, с. 8—9 (Д. Д. Благой). См. также: В. М. Жирмуцкий. Байрон и Пушкин. Л., «Наука», 1978.

Разговор о лорде-поэте быстро и естественно сцепляется с диспутом «о назначении поэта»: писать «как Байрон» или иначе...

Между тем весной и летом 1825 года Пушкин находит собеседника, с которым на эту тему достигает максимальной откровенности. Сопоставить только что выслушанные споры с этим единомыслием интересно и поучительно — но для того нужно прежде обратиться к одному из самых важных, программных пушкинских сочинений 1825 года.

«АНДРЕЙ ШЕНЬЕ» И НИКОЛАЙ РАЕВСКИЙ

Погибни, голос мой, и ты, о
призрак ложный,
Ты, слово, звук пустой...

О пет!

Пушкин.

«Андрей Шенье», 1825

Я могу творить.

Пушкин —

Н. Н. Раевскому
(младшему), 1825

«Андрей Шенье» — для Пушкина стихотворение необычно большое (187 стихотворных строк), почти поэма («Домик в Коломне» — 320, «Газит» — 256). Сочинение сложной текстологии, сложного смысла, сложной судьбы.

Только через пятьдесят пять лет после написания оно было впервые полностью напечатано. С тех пор несколько поколений пушкинистов заметили в этих стихах многое, но во многом и не сошлись друг с другом.

Было установлено между прочим:

Что Пушкин интересуется стихами и биографией Шенье с того времени, когда французский поэт был вновь открыт (в 1819 году, через четверть века после гибели Шенье на эшафоте, во Франции выходит первое собрание стихотворений с биографической статьей де Латуша).

Что именно в Михайловском, в 1824—1825 годах, Пушкин переводит Шенье: «Ты вянешь и молчишь...», «Покров, упитанный язвительною кровью...» (работа над этим стихотворением была закончена через несколько лет).

Что элегия «Андрей Шенье» может быть сопоставлена с рядом современных ей сочинений о поэтах-узниках¹.

Ни один исследователь, кажется, не отрицал того, что «Пушкина привлекло увиденное им соответствие со своей судьбой».

¹ «Сетования Тасса» Байрона, «Умиравший Тасс» Батюшкова, «Тасс в темнице» Плетнева, «Байрон в темнице» П. Габбе, «Певец в темнице» В. Ф. Раевского (Пушкин, как известно, готовил, но не завершил стихотворный ответ В. Раевскому).

Эта цитата взята из новейшей работы, целиком посвященной пушкинской элегии, — статьи В. Б. Сандомирской «Андрей Шенье»¹. Автор разбирает труды многих предшественников и отмечает существование двух точек зрения о соотношении «исторического и лирического» в пушкинском стихотворении. Одни (прежде всего Б. В. Томашевский) находят в стихах «сложную аллюзию», когда вся историческая часть (французская революция, реальные события из жизни Шенье) — лишь «сознательная забота о принципе иносказания». Другие пушкинисты делают упор на объективную сторону: разумеется, Пушкин думал о своей судьбе, но создавал «подлинную историческую элегию» (Д. Д. Благой). В. Б. Сандомирская, отмечая огромную сложность соединения «объективного» и «субъективного», в общем ближе ко второй позиции.

Несколько наблюдений и замечаний, находящихся в статье, для нашего повествования существенны.

Первым событием, «определившим настроения, которыми была вдохновлена эта работа», Сандомирская считает приезд Пущина в Михайловское: «Мысль о революции в России, возрожденная свиданием с Пуциным, явилась почвой, на которой и родилось стихотворение, посвященное французской революции»².

Как видим, влияние *11 января* на создание элегии представлено достаточно просто и несколько прямолинейно. Переписка Пушкина с Рылевым и Бестужевым тоже включена в предысторию «Шенье» — но об этом говорится кратко, а споры о поэзии, о «Думах» Рылева и т. п. рассматриваются в чисто художественном плане. Возможно, впрочем, что этот лаконизм объясняется особой задачей исследования, где, по словам автора, «внимание сосредоточено преимущественно на вопросах творческой истории и текстологии»³.

Действительно, размышляя над «Андреем Шенье», надо охватить слишком многое, и разбор, который сейчас начнется, абсолютно не претендуя на многосторонность, будет касаться лишь некоторых историко-философских проблем; тех, что уже появлялись на прошлых страницах в связи с беседами Пушкина, Пущина, Рылева, Бестужева.

¹ «Стихотворения Пушкина 1820—1830-х годов». Л., «Наука», 1974, с. 8—34.

² Там же, с. 12.

³ Там же, с. 11.

Вслед за В. Б. Сандомирской сначала углубимся в сохранившуюся черновую рукопись стихотворения, подумав над его датой и, наконец, займемся проблемой, почти не затронутой исследовательницей: посвящением элегии.

ИСПОВЕДЬ

187 стихов, из них 145—монолог приговоренного поэта, 42—от автора.

Черновик начинался строками (затем перенесенными в середину стихотворения):¹

Куда, куда завлек меня враждебный гений?
Рожденный для любви, для мирных искушений,
Зачем я покидал безвестной жизни тень,
Свободу, и друзей, и сладостную лень?
Судьба лелеяла мою златую младость;
Беспечною рукой меня венчала радость...

Большинство исследователей, справедливо искавших пушкинское, личное в «Андрее Шенье», почти не останавливалось на несомненном автобиографическом звучании именно этих строк. Поэт, который «был рожден для жизни мирной» («Евгений Онегин»), «рожденный для любви, для мирных искушений» («Андрей Шенье») — это, конечно, не *идиллическая цель*, к которой стремится Пушкин: скорее размышление, возможность, вопрос, требующий ответа. Не автопортрет, но — самоанализ. В черновике «Андрея Шенье» герой вспомнит *«всю жизнь души моей, записанную мной»* (II, 718).

Тысячекратно обсужденный, вечный вопрос снова перед нами: сходство и различие героя стихов и самого поэта.

¹ В. Б. Сандомирская считает, что начало было не таким, что эти строки нарушали бы «цельное, стройное развитие замысла элегии в черновике» и потому являются «элементом окончательной редакции элегии» (с. 17). Однако вряд ли следует отказывать Пушкину в праве на «беспорядок» при самом упорядоченном обдумывании; в праве перестановок, неожиданных решений и т. п. Между тем положение отрывка в начале чернового текста, почерк — все это говорит как раз в пользу того, что элегия *начиналась* с этих слов; такое простое и, по законам научного мышления, естественное заключение может быть опровергнуто только очень вескими доводами.

Таким образом, мы совершенно разделяем в этом отношении взгляд редакторов публикации в академическом издании Пушкина (Т. Г. Цявловской, Д. Д. Благого).

. . . Увы, моя глава
Безвременно падет: мой педозрелый гений
Для славы не свершил возвышенных творений...

После семи строк «от Пушкина» — вторая речь Шенье подхватывает унылую ноту, что была в конце первой:

Куда, куда завлек меня...—

но после возвращается к тому, с чего начиналось:

Ты презрел мощного злодея...

Падешь, тиран...

Два полюса поэмы и пушкинской политической мысли.
Нельзя не восстать!

Надо ли поэту кидаться туда, «где ужас роковой»?

Бездна мыслей, из которых мы часто выбираем одну-другую, не раздумывая — можно ли так *отделять*? В пушкинском сознании (или поэтическом подсознании, «невольно увлеченном восторгом поэзии») — тут, конечно, возникает параллель: певец в темнице — Пушкин в опале, ссылке — тирания, несправедливость — гонители поэта, грозящая расплата...

Судьба стихотворения в 1826—1827 годах повлияла на известную однозначность последующих толкований. Переписанный и пошедший по рукам отрывок элегии (с произвольной надписью «На 14 декабря») вызвал, как известно, целое судебное дело и необходимое объяснение поэта.

Пушкин оправдывался по двум линиям: во-первых, стихи написаны «гораздо прежде последних мятежей»; во-вторых, «они явно относятся к французской революции, коей А. Шенье погиб жертвою».

Уже отдавая элегию в печать, в свой сборник стихотворений, поэт, вероятно, видел возможность самозащиты против цензурных и иных обвинений (что не помешало цензору осенью 1825 года уловить общий дух свободы даже в самых резких инвективах по адресу Конвента). Пушкинские оправдания перед властью в 1827 году исследователи справедливо определяли как известное лукавство, вынужденный камуфляж, но — порой слишком увлекались этим мотивом. Меж тем взгляд *1820-х годов* на *1793—1794-й* — важная и непростая тема. Не раз отмечалось, что элегия построена на традиционном противопоставлении «деспотизма и свободы», что, «воспитанный на отри-

пательном отношении к режиму политического произвола Наполеона, Пушкин и к фактам революционной диктатуры относился как к явлениям самодержавного произвола <...> Режим Робеспьера он охотно сопоставлял с реакционной практикой русского самодержавия, по чисто юридическому принципу объединения власти в руках одного человека»¹.

Таким образом, русский прогрессивный деятель 1820-х годов, резко отзывающийся о 1793-м, — это не только и не столько замаскированный выпад против своего деспота, сколько серьезные раздумья о революции, о порывах народной стихии.

Французская революция 1789 — 1794 годов для Пушкина — недавнее, «вчерашнее» дело, историческая репетиция будущих событий. Не только поэт обращается к тени Шенье — целое мыслящее поколение сопереживает тому, что произошло: сначала радость великого освобождения — и двадцать четыре строки стиха об этой радости концентрируют в пушкинской элегии то, о чем говорили «все» и «везде»:

Приветствую тебя, мое светило!
Я славил твой небесный лик,
Когда он искрою возник,
Когда ты в буре восходило...

Далее в стихах — взятие Бастилии, клятва в зале для игры в мяч, Мирабо, похороны Вольтера и Руссо в Пантеоне — свобода, равенство, братство.

Если бы элегия кончилась после этого двадцатичетырехстрочного гимна словами —

Оковы падали. Закон,
На вольность опершись, провозгласил равенство,
И мы воскликнули: *Блаженство!* —

тогда бы ее оптимистический тон не вызывал сомнений. Но Пушкин и его единомышленники не могут остановиться на этом...

И мы воскликнули: *Блаженство!*
О горе! о безумный сон!
Где вольность и закон? Над нами
Единый властвует топор.

¹ Б. В. Томашевский. Пушкин и Франция. Л., Изд-во АН СССР, 1960, с. 180, 185—188. Представляется весьма спорным мнение Томашевского, что, в отличие от стихотворений начала 1820-х годов, Пушкин избрал в элегии манеру, которая «освобождала автора от исторической верности» (там же, с. 185).

Мы свергнули царей. Убийцу с палачами
Избрали мы в цари. О ужас! о позор!
Но ты, священная свобода,
Богиня чистая, нет, — не виновна ты...

Свобода не виновна — но «свободы сеятель» мог выйти слишком рано, «до звезды». Отсюда современнику событий легко, очень легко впасть в страшную, самоубийственную ересь: навсегда отречься от свободы. В гениальном пушкинском отрывке 1824 года, начинающемся словами «Зачем ты послан был...», наблюдается быстрая череда событий: после того как нагрянула «буря свободы» — «явился муж судеб» (Наполеон), и «рабы затихли вновь»... После того:

Рекли безумцы: нет Свободы,
И им поверили народы.

Тут видим один из подступов к будущему «Андрею Шенье». Ведь как только «поверили народы», воцаряется страшное ко всему равнодушие, апатия:

И безразлично, в их речах,
Добро и зло, все стало тенью —
Все было предано презренью,
Как ветру предан дольный прах.

На этом отрывок 1824 года обрывается — «продолжение» же находим в «Андрее Шенье»: свобода может уйти лишь на время, «безумцы» заблуждаются — народы не должны им верить:

В порывах буйной слепоты,
В презренном бешенстве народа,
Сокрылась ты от нас; целебный твой сосуд
Завешен пеленой кровавой;
Но ты придешь опять со мщением и славой,—
И вновь твои враги падут;
Народ, вкусивший раз твой нектар освященный,
Все ищет вновь упиться им;
Как будто Вакхом разъяренный,
Он бродит, жаждою томим;
Так — он найдет тебя. Под сению равенства
В объятиях твоих он сладко отдохнет;
Так буря мрачная минет!

Свобода вернется — однако поэт может не дожить («...я не узрю вас, дни славы, дни блаженства...»). Тут стихия чувства. Тут и стихия предчувствия.

Уже говорилось о тягчайшем испытании 1824 года —

на грани безумных поступков, самоубийства — когда «всякий казался мне изменник или враг...».

Затем поэзия спасла, «как ангел-утешитель». Поэт «воскрес душой» — но тем более задумывается о судьбе; слишком знает и чувствует себя, чтобы не предвидеть возможной гибели — при таком характере, темпераменте, даровании. Никакой мистики — реальный самоанализ! Если уж друзья, удаленные за сотни верст, боятся за него, все время предостерегают против опрометчивых шагов, резких поступков, если уж друзья так чувствуют¹ — что же он сам, гений, предвидит?

Глубоко, но, к сожалению, лаконично разбирая элегию, А. Слонимский находит, что это стихотворение, написанное под впечатлением разговоров с Пушкиным и «полное загадочных предчувствий». «Нет ли тут, — спрашивает автор, — чего-то вроде предвидения своей судьбы в случае успеха революции?»²

Вокруг Пушкина, в мире реальности и мире воображаемом, все время гибнут поэты, великие мастера. Если составить «летопись» этих преждевременных смертей (соединив подлинные и «сочиненные»), то, вероятно, еще приблизимся к пушкинскому глубинному чувству опасности:

Овидий — 1821 (стихотворение «К Овидию»: медленная гибель от тоски в изгнании).

Байрон — 1824 («К морю»).

Шенье — 1825.

Рылеев — 1826.

Ленский — 1825 — 1826³ (возможная участь этого поэта — «или быть повешен, как Рылеев», — VI, 612).

Грибоедов — 1829 («Путешествие в Арзрум»)

Моцарт — 1830.

¹ «Будь благоразумен <...> Я все еще опасаясь какого-нибудь неосторожного поступка» (Н. Н. Раевский-младший, 1824; XIII, 107, 531 перевод). «Право, образумься, и вспомни собаку Хемницера, которую каждый раз короче привязывали, есть еще и такая привязь, что разом утомонит дыхание» (Вяземский, 1825; XIII, 199). «Нам надобна твоя жизнь. Нельзя ли взять на себя труд об ней позаботиться, хотя из некоторого внимания к друзьям своим» (Жуковский, 1825; XIII, 204).

² Пушкин. Соч., под ред. А. Венгерова, т. II. СПб., 1908, с. 526.

³ О Шенье и Ленском см.: В. Б. Сандомирская. «Андрей Шенье», с. 31—32.

Радищев — 1830-е («Путешествие из Москвы в Петербург,» «Александр Радищев»).

К тому же чума грозит гениальному поэту Вальсингаму, веревка — менестрелю Францу...

Ни в коей мере мы не пытаемся этим перечнем представить Пушкина — обреченного, подавленного. Наоборот, ощущение постоянного соседства *Черного человека*, или предсказанной еще в юности смертельной опасности от некоего зловещего для Пушкина *Белого человека*, — все это для поэта, «воскресшего душой», источник вдохновения особого рода!

Все, все, что гибелью грозит,
Для сердца смертного таит
Неизъяснимы наслажденья...

И снова два полюса видны в «Андрее Шенье», меж которых движется мысль и страсть: светлый, оптимистический тон элегии и — «плачь, муза, плачь!».

Конечно, нельзя назвать одно событие, разговор, наблюдение, породившее подобный ход мысли, ведь тут — *«вся жизнь души моей, записанная мной...»*.

Отдельный факт, письмо, встреча могли, однако, ускорить, кристаллизовать важную идею, давно зреющую в поэте. Вот отчего точная дата «Андрея Шенье» — вопрос не узко академический: она может открыть, какие события, страсти отозвались в этих ста восьмидесяти семи стихах!

Конечно, миллионы людей получали и будут получать высокое наслаждение от поэзии, не раздумывая, в каком году и месяце написан тот или другой стих; однако «Андрей Шенье» — один из особенно ярких случаев, когда литературно-исторический комментарий может сомкнуться с поэтическим смыслом, не мешая, но обогащая...

ДАТА

Принятая прежде дата написания «Андрея Шенье» — «май — июнь 1825»¹ — сегодня немного сдвигается назад: В. Б. Сандомирская определяет — «конец апреля — конец июня»: ² как известно, 13 июля 1825 года Пушкин уж был уверен, что Вяземский прочитал «А. Шенье в темнице»

¹ См.: «Летопись...», с. 608.

² В. Б. С а н д о м и р с к а я. «Андрей Шенье», с. 15—16.

(XIII, 188); около 19 июля Плетневу посланы еще «поправки в А. Шенье» (XIII, 189); таким образом, стихи давно закончены, уж сделаны поправки и «еще поправки»; времени прошло достаточно, чтобы и Вяземский под Москвою успел получить текст (впрочем, как выяснилось вскоре, еще не получил). В то же время по рукописи Пушкина видна одновременность черновика «Шенье» и работы над стихами «Желание славы» (цензурное разрешение 1 июня 1825 года).

Верно заметив необходимость более широкой хронологии, Сандомирская, на наш взгляд, принимает слишком осторожное решение¹. Отсутствие упоминания об элегии в марте и апреле 1825-го не означает, будто работа над нею не начиналась: мы вынуждены считаться с тем, что в так называемой «второй масонской тетради» (которая заполнялась, в общем, довольно последовательно) черновик «Андрея Шенье» начинался всего через семь листов после отрывка из «Онегина» с датой: «1 генв. 1825».

Январь — июнь 1825 года, — очевидно, самая широкая хронологическая атрибуция, включающая и замысел, вынашивание, черновик, беловую отделку рукописи. Период, который окрашен приездом Пущина и теми разговорами, спорами, что явились прямым продолжением *11-го января*. Время работы над элегией точно укладывается в этот период: она пишется не только в том же году — в те же недели и дни, когда разворачивается интенсивнейшая переписка Пушкина с Рылевым, Бестужевым, когда разговоры о сегодняшних поэмах, думах, комедиях, стихах заостряются вокруг имени Байрона и подразумевают возможный, ожидаемый, крутой поворот истории...

Сильное эмоциональное впечатление от разговоров *11 января*, умноженное и закрепленное перепискою с Рылевым и Бестужевым.

И без конкретных подробностей о состоянии тайных обществ и подготовке восстания — письма издателей «Полярной звезды» говорят их необыкновенному читателю куда больше, чем в них написано. Тон, убеждение, ожидание, предчувствие, уверенность и неуверенность Пущина, Рылева, Бестужева — все Пушкиным уловлено, понято, переведено на язык своего мироощущения, и здесь-то важнейшие (не все, конечно, но *важнейшие*) истоки программного стихотворения 1825 года. Подтверждение

¹ В. Б. Сандомирская. «Андрей Шенье», с. 14—15.

тому — и в посвящении «Андрея Шенье». Оно написано, как видно по рукописи, после того, как элегия вчерне завершена¹. Таким образом, строки, предназначенные к началу стихотворения, сочинялись как итог, завершение...

Датировка вступления оказалась сравнительно простой — оно прямо «пересекается» с черновиком «Желания славы».

Вступление сочинялось вчерне примерно в 20-х числа мая 1825 года. Имея в виду время на перебелку, датируем его *концом мая — началом июня* 1825 года.

Посвящено Н. Н. Раевскому

Меж тем, как изумленный мир
На урпу Байропа взирает,
И хору европейских лир
Близ Данте тень его внимает,

Зовет меня другая тень,
Давно без песен, без рыданий
С кровавой плахи в дни страданий
Сошедшая в могильну сень.

Певцу любви, дубрав и мира
Несу надгробные цветы.
Звучит незнаемая лира.
Пою. Мне внемлет он и ты.

В первых же строках — известное противопоставление: великий Байрон и поэт другой судьбы, иной славы («без песен, без рыданий»). Через год после гибели английского поэта, среди непрерывающегося «хора европейских лир», в который друзья просят вступить Пушкина, — первый русский поэт «вдруг» объявляет, что будет петь о «другой тени», желает отдать долг «певцу любви, дубрав и мира» (в то время как Байрон — это страсть, буря, битва, мрачность, неукротимость). Пушкин, так много думавший и писавший о Байроне, так глубоко его почитавший, выбирает собеседником другого...² Отказ мог бы показаться демонстративным, если б автор прямо сопоставлял себя с Байроном. Однако Пушкин объявляет себя «лирой незнаемой», имеющей внутреннее право на иной, более скромный

¹ См.: II, 925; ПД, ф. 244, оп. 1, № 835, л. 64.

² Между прочим, в «Андрее Шенье» содержится и ответ на хвалу Байропу в обзоре А. А. Бестужева «Взгляд на русскую словесность в течение 1824 и начале 1825 годов» («Полярная звезда» на 1825 г.). — См.: «Литературно-критические работы декабристов». М., «Художественная литература», 1978, с. 72.

выбор: его поймет тень погибшего поэта и ты — кому посвящены стихи: *Николай Николаевич Раевский* (младший).

Этому человеку уже был посвящен «Кавказский пленник». Николай Раевский рассказал Пушкину историю, превратившуюся в «Братьев-разбойников», с ним поэт делится сокровенными планами — а ведь мы едва видим контуры этих важнейших взаимоотношений. Редки, случайны уцелевшие фрагменты переписки; целые документальные пласты, вероятно, уничтожены после 14 декабря, и в результате трудно, почти невозможно понять особой роли этого члена славной семьи, оттесненного в пушкиниане его братом-антиподом, «демоном», и сестрами — Орловой, Волконской.

Двумя годами моложе Пушкина, Николай Раевский был, вероятно, самым юным (неполных одиннадцать лет) участником войны 1812 года; его послужной список открывается делом при местечке Мире 27 июня 1812 года, затем — 2 июля при Романове, 3 августа при Смоленске, 6 августа при Дорогобуже, затем — в действительном сражении при Бородине¹.

Мы в жизни розно шли: в объятиях покоя
Едва, едва расцвел и вслед отца-героя
В поля кровавые, под тучи вражьих стрел,
Младенец избранный, ты гордо полетел.
Отечество тебя ласкало с умиленьем...

(Из «Посвящения» Н. Н. Раевскому
поэмы «Кавказский пленник»)

За пушкинские царскосельские и петербургские годы — смутные, скудные сведения о знакомстве пятнадцатилетнего лицеиста с тринадцатилетним лейб-гвардии гусарского полка подпоручиком;² позже стихи «Раевский, *молоденец* прежний...» (1819) открывают не только теплоту, но и высокое равенство отношений.

Именно в ту пору начались интереснейшие разговоры Пушкина с Раевским о поэзии, в частности, о Байроне.

¹ ПД, ф. 233, № 101. Копия формулярного списка Н. Н. Раевского.

² При знакомстве с любым жизнеописанием Н. Н. Раевского-младшего (1801—1843) видно, что основная масса фактов и документов освещает последние семнадцать лет его биографии, в основном — службу на Кавказе. Однако Н. Н. Раевского до 1826 г. мы почти не представляем. Большинство материалов собрано Л. Н. Майковым («Пушкин». СПб., 1899, с. 137—161).

По всей видимости, именно Николай Раевский впервые познакомил Пушкина с Байроном. Когда в ноябре 1825 года зашла речь о Байроновом «Дон Жуане», Пушкин сразу вспомнил Раевского: «Что за чудо Дон Жуан! я знаю только 5 первых песен: прочитав первые 2, я сказал тотчас Раевскому, что это chef-d'oeuvre Байрона» (XIII, 243), Байрон, как видно, своеобразный спутник, обязательно присутствующий при душевных разговорах Пушкина с Раевским, — от первых лет до вступления к «Андрею Шенье»...

К сожалению, мы не ведаем, какие «важные услуги <...> вечно незабвенные» оказал некогда молодой Раевский молодому Пушкину (см. XIII, 17); задумываемся над правдивостью слуха, будто перед самой высылкой из Петербурга Пушкин уж собирался «бежать с молодым Раевским в Крым»¹.

В Посвящении «Кавказского пленника» находим строки особой любви и дружбы:

Когда я погибал, безвинный, безотрадный,
И шепот клеветы внимал со всех сторон,
Когда кинжал измены хладный,
Когда любви тяжелый сон
Меня терзали и мертвили,
Я близ тебя еще спокойство находил:
Я сердцем отдыхал — друг друга мы любили:
И бури надо мной свирепость утомили,
Я в мирной пристани богов благословил...

К этому добавляются ценные свидетельства разных очевидцев и осведомленных приятелей: в августе или сентябре 1820 года в Гурзуфе Пушкин перечитывает сочинения Вольтера, которые нашлись в старинной библиотеке; читает стихотворения А. Шенье, которые дает Пушкину Н. Н. Раевский-младший; изучает с его помощью английский язык, читая Байрона, в частности, «Корсара»².

Вот когда впервые сошлись имена Байрона, Шенье, Пушкина, Раевского — мы видим это и в стихотворном посвящении 1825 года! Лев Пушкин утверждал, что Андрей Шенье сделался кумиром его брата, который «первый в России и, кажется, даже в Европе, достаточно оценил его»³. Читая это, мы понимаем, что для Льва Сергеевича

¹ «Летопись...», с. 214; Т. Г. Цявловская. Неясные места биографии Пушкина. — «Пушкин. Исследования и материалы», кн. IV. М., Изд-во АН СССР, 1962, с. 41—43.

² «Летопись...», с. 237.

³ Л. Н. Майков. Пушкин. СПб., 1899, с. 10.

(вспоминающего много лет спустя) несущественно, когда и при каких обстоятельствах его старший брат высказывался о французском поэте, — но очень вероятно, что первые высокие оценки Шенье делались в присутствии Николая Раевского¹.

Чтения в Гурзуфе, может показаться, легко объясняют обращение к Н. Н. Раевскому в «Андрее Шенье»: Пушкин просто вспоминает встречи и разговоры тех лет... Вывод этот необходим, но недостаточен, он бросает свет разве что на «первый слой» вступления — наша цель проникнуть глубже. Ведь Раевскому посвящается задумшевнейшее творение: «внемлют *он* и *ты*!» К тому же в 1820-м еще далеко до зрелых мыслей 1825-го. Тема Байрона — Шенье только рождалась, англичанин был еще жив, и не было «двух теней».

Расставшись в Крыму, Пушкин и молодой Раевский в следующие несколько лет видятся очень редко. Достоверно знаем только о встрече в начале 1824-го, когда двадцатитрехлетний полковник заехал на короткий срок в Одессу (по пути из Петербурга в Киев, к месту службы) — а Лев Пушкин вскоре получит нагоняй от брата за то, что в столице чинился перед Раевским «и не поехал повидаться со мною» (XIII, 85), то есть не воспользовался случаем, столь верным, как если бы сам Александр Сергеевич приехал².

Как ни мало сохранились следы общения Пушкина с Н. Н. Раевским, видно, сколь важен был для них обмен литературными мнениями. Пушкин часто знакомит друга — раньше всех — с новым собственным сочинением или с заинтересовавшим его образцом российской словесности; ждет и ценит ответные отзывы. Раевский при случае «посредничает» между европейским просвещением и российским поэтом — как незадолго перед тем представил Байрона и Шенье.

8 декабря 1822 года Н. Раевскому, первому читателю, сообщены «Братья-разбойники», а через полгода Пушкин признается Бестужеву:

¹ Впрочем, если прав А. Л. Слонимский, то первая апология Шенье еще в оде «Вольность» («возвышенный галл»). — См.: «Пушкин. Исследования и материалы», кн. IV, с. 327—335.

² Приезд Раевского совпадает с появлением у Пушкина некоторых северных новинок, преимущественно рылеевских, бестужевских; в частности, крамольных стихов «Ах где те острова, где растет трын-трава, братцы». Полускрытая цитата из них — в письме Пушкина брату в начале 1824 г. (XIII, 86).

«Разбойников я сжег — и по делѳм. Один отрывок уцелел в руках Николая Раевского, если отечественные звуки: харчевня, кнут, острог — не испугают нежных ушей читательниц Полярной Звезды, то напечатай его» (XIII, 64).

Может быть, именно потому, что отрывок отличается непривычными для тех времен реальными «отечественными звуками», он оставлен у такого читателя, который сможет оценить (запомним эту подробность, значение которой возрастет в соединении с некоторыми фактами 1825-го). Правда, в письме к Льву Сергеевичу (в начале 1824 года) Пушкин просил не верить Н. Раевскому, «который бранит его <Онегина> — он ожидал от меня романтизма, нашел сатиру и цинизм и порядочно не расчухал» (XIII, 87); и позже Н. Раевский остается как будто при своем мнении, внешне близком ко взглядам Рыльева и Бестужева, — предпочитая «романтизм» «пестрым картинкам» Онегина. Однако по сути эволюция литературных вкусов поэта и его друга в основном совпадает: Байрон, постоянная фигура литературного обсуждения, обеими сторонами не признается пределом литературного развития; «ожидание романтизма» не мешает стремлению Раевского-читателя к истинной, высокой реалистической пушкинской простоте.

Драгоценным подтверждением являются два сохранившихся письма 1825 года.

ТРАГЕДИЯ И ЭЛЕГИЯ

Раевский пишет Пушкину 10 мая 1825 года из Белой Церкви в Михайловское: явно в ответ на прежде полученное, но нам неизвестное письмо Пушкина:

«Прости, дорогой друг, что я так долго не писал тебе; но служебные обязанности, отсутствие досуга и общества, которое могло бы вывести мой ум из оцепенения, не дали мне возможности написать ни единого письма за полгода. Для тебя первого нарушаю я молчание: Спасибо за план твоей трагедии. Что сказать тебе о нем? У тебя блестящие замыслы, но тебе не хватает терпения, чтобы осуществить их. Итак, тебе будет суждено проложить дорогу и национальному театру. — Если же говорить о терпении, то я хотел бы, чтобы ты сам обратился к источникам, из которых черпал Карамзин, а не ограничивался только его пересказами. Не забывай, что Шиллер изучил астрологию, перед тем как написать своего «Валленштейна». Признаюсь, я

не совсем понимаю, почему ты хочешь писать свою трагедию только белым стихом. Мне кажется, наоборот, что именно здесь было бы уместно применить все богатство разнообразных наших размеров. Конечно, не перемешивая их между собой, как это делает князь Шаховской, но и не считая себя обязанным соблюдать во всех сценах размер, принятый в первой. — Хороша или плоха будет твоя трагедия, я заранее предвижу огромное значение ее для нашей литературы; ты вдохнешь жизнь в наш шестистопный стих, который до сих пор был столь тяжеловесным и мертвенным; ты наполнишь диалог движением, которое сделает его похожим на разговор, а не на фразы из словаря, как бывало до сих пор. Ты окончательно утвердишь у нас тот простой и естественный язык, который наша публика еще плохо понимает, несмотря на такие превосходные образцы его, как «Цыганы» и «Разбойники». Ты окончательно сведешь поэзию с ходуль» (XIII, 535) ¹.

До того Н. Н. Раевский писал Пушкину 1 августа 1824-го, сразу после высылки поэта с юга, и получил ответ (может быть, потому нам неизвестный, что письмо взял брат, Александр Раевский) ².

¹ Подлинник по-французски (XIII, 172). Обращение Пушкина и Раевского друг к другу на *вы*, зафиксированное в переводе (см.: XIII, 535), мы заменяем на — *ты*. Пушкин и Раевский, несомненно, были «на ты». Одно из доказательств — посвящение «Андрея Шенье», где «мне внемлет он и ты». Необходимость именно такого эквивалента признает в некоторых случаях и сама редакция академического собрания сочинений поэта, заменив буквальный перевод французского «vous» (вы) русским «ты» в письме Раевского от апреля 1832 г. (см.: XV, 18, 312 перевод), а также в шуточных репликах, которыми обменялись Пушкин и Раевский (о них вспоминает поэт в письме к жене от 27 сентября 1833 г.; см.: XV, 77, 319 перевод).

² См.: «Архив Раевских», кн. 1. СПб., 1908, с. 251. Хотя отношения Пушкина с Николаем Раевским были совсем иными, чем с Александром, — несомненна связь двух писем, отправленных братьями в конце августа 1824 г. с юга в Михайловское. Сопоставляя послания Раевских (см.: XIII, 105—107), находим, что оба сетуют на отсутствие точного адреса поэта и в конце концов пользуются информацией какого-то общего знакомого. Этот знакомый, как видно, уверял Раевских, будто Пушкин боится их скомпрометировать перепиской.

Николай пишет: «Не бойся меня скомпрометировать: моя дружеская связь с тобой началась гораздо раньше твоей несчастной истории: она не имеет отношения к событиям, происшедшим потом и вызванным заблуждениями твоей ранней молодости. Хочу дать тебе совет — будь благоразумен; не то, чтобы я боялся их повторения, но я все еще опасаясь какого-нибудь неосторожного поступка, который мог бы быть истолкован в этом смысле, а твое прошлое, к несчастью, дает к тому повод» (XIII, 531).

Как видно, Николай Николаевич в следующие месяцы пропустил свою «очередь» в переписке — и тем любопытнее желание Пушкина поделиться сокровенной идеей — замыслом трагедии, любимейшего до конца дней сочинения. Поэт вспомнит позже: «Писанная мною в строгом уединении, вдали охлаждающего света, трагедия сия доставила мне все, чем писателю насладиться дозволено: живое вдохновенное занятие, внутреннее убеждение, что мною потреблены были все усилия, наконец, одобрения малого числа [людей избранных]» (XI, 140).

Н. Раевский среди *избранных*. Даже постоянный корреспондент и один из самых близких людей П. А. Вяземский получит сведения о трагедии много позже (см. XIII, 188). Пожалуй, только Дельвигу во время его апрельского визита в Михайловское замысел «Бориса» был открыт почти одновременно с отправкой письма-плана Раевскому.

По ответу Раевского угадываем жалобу Пушкина на собственное настроение, которое вдруг да «помешает довести замысел»; признание, что пользуется как источником — Карамзиным, ибо других книг в деревне почти не найти; сообщению насчет белого стиха, которым пишется «Борис Годунов», и, конечно, полушутя, полусерьезно представлены главные лица, а также словарь, где *превзойдены «Братья-разбойники»*: харчевня, кнут, юродивый, казаки (отсюда замечание Раевского: «Ты наполнишь диалог движением, которое сделает его похожим на разговор»).

Главная мысль — в последней фразе приведенного отрывка: «Ты окончательно сведешь поэзию с ходуль».

Любопытна разница в рассуждениях Раевского и Рылева — Бестужева (которые, впрочем, «Бориса» не знают). Раевский говорит не о *цели* (в программном, общественном смысле), но исключительно о поэзии, «которая есть цель самой поэзии», — и из этого само собою происходит (так думает и Пушкин) движение к общественно-политическим вершинам: у Раевского находим такие обороты, как дорога к «национальному театру», «огромное значение для нашей литературы»...

В этой связи очень интересно продолжение цитированного письма, где некоторые конкретные мысли и примеры Раевского сходятся с рылевско-бестужевскими,

однако при том каждая сторона идет своим, особым путем.

«Родители твоей графини Наталии Кагульской здесь уже с неделю. Я читал им в присутствии гостей твоего «Онегина»; они от него в восторге. Но сам я раскритиковал его, хотя и оставил свои замечания при себе <...>. Отрывок из твоих «Цыган», напечатанный в «Полярной звезде» вместе с продолжением, которого я не знал, является, может быть, самой живой картиной, полной великолепнейшего колорита, какую я когда-либо встречал на каком бы то ни было языке. Bravo, bravissimo! Твой «Кавказский пленник», хоть его и нельзя назвать хорошим произведением, открыл дорогу, на которой споткнется посредственность. Я отнюдь не поклонник длинных поэм; но отрывки такого рода требуют всего богатства поэзии, крепкой обрисовки характера и положения. «Войнаровский» — произведение мозаическое, составленное из кусочков Байрона и Пушкина, склеенных вместе без большой затраты мысли. Я возду ему должное за местный колорит. Он неглупый малый, но отнюдь не поэт. В отрывках из Наливайко больше достоинств. Я нахожу подлинную чувствительность, наблюдательность (чуть было не сказал — знание человеческого сердца), удачный замысел, хорошо выполненный, наконец чистоту слога и истинную поэзию в «Чернеце», покуда Козлов говорит от себя; но зачем он избрал рамкой пародию на «Гяура», а кончил длинной парафразой одного места из «Мармион»? Он подражает, иной раз весьма удачно, твоей быстроте изложения и оборотам речи Жуковского. Должно быть, он знает английский язык и изучал Кольриджа.

Прости, дорогой друг, скучный тон моего письма, я пишу тебе по обязанности, а не от избытка сердечных чувств, для этого я слишком отупел. Я сам вижу также ошибки во французском языке и в орфографии, допущенные мною, но нет сил исправить их. Пишу не для того, чтобы порисоваться; но мне хотелось бы рассказать тебе что-нибудь более интересное. Напечатай же скорее твоих «Цыган», раз уж ты не хочешь прислать мне их в рукописи; ради бога, пиши мне и передай мой привет твоему брату, которого я очень люблю, хоть видел его лишь мельком.

В следующий раз я напишу тебе более обстоятельно по поводу твоей трагедии» (XIII, 172 — 173; 535 — 536 перевод).

Перед нами замечательный эпистолярный документ — произведение культуры, которое всегда богаче самого подробного пересказа или анализа. Мы говорим лишь о некоторых линиях, созвучных нашему основному повествованию.

Литературные вкусы Раевского не во всем сходны с пушкинскими: «Наливайко» Рылеева оценен Раевским более положительно. К «Войнаровскому» же лучше относятся Пушкин. Однако общий взгляд на российскую словесность и ее задачи у великого поэта и талантливого читателя едины. Почти незаметно, но постоянно в литературном обсуждении присутствует Байрон. Упрек Рылееву за соединение «кусочков Байрона и Пушкина» дополняется неудовольствием Раевского насчет байроновской рамки («Гяур»), у Ивана Козлова: осторожность, даже настороженность к культу великого романтика — желание простоты, естественности, собственного писательского пути.

Снова сопоставим даты.

Пушкин посылает Раевскому план «Бориса» в конце апреля. Ответ Раевского приходит в мае: это месяцы и недели, когда идет главная работа над «Андреем Шенье». По случайному совпадению, возможно, в тот же день или с разницей в один-два дня, пришли письма — Раевского от 10 мая и Рылеева от 12 мая (где гимн Байрону, который «стал тут выше пороков и выше добродетелей» и где Пушкину говорится — «ты можешь быть нашим Байроном»).

Трудно определить последовательность событий: душевные ли движения, побудившие Пушкина написать Раевскому, породили и посвящение к Шенье; или обрадовавший поэта великолепный ответ Раевского стимулировал первые двенадцать строк элегии?

Пока что резюмируем:

1. Время завершения «Андрея Шенье» и вступления к элегии — период острого творческого обмена мыслями с Николаем Раевским.

2. Хронологически, тематически мы видим важные сближения: Пушкин, Раевский, Шенье, Годунов. Это не удивляет: глубочайшее пушкинское самовыражение, утверждение своего пути отражается в двух столь же разных, сколь внутренне близких вещах, как элегия и трагедия¹.

¹ «Андрей Шенье» и «Борис Годунов» не раз соседствуют в пушкинской переписке 1825 г. (см.: XIII, 249, 266).

Два месяца спустя Пушкин продолжит, разовьет эти мотивы разговоров с Раевским; имя Шекспира — как сводящего поэзию с ходуль — не упомянуто в письме Раевского, но Пушкин назовет вещи своим именем в письме Раевского около 19 июля 1825 года (черновик, возможно, и не отосланный — что в данном случае не имеет существенного значения).

«Где ты? из газет я узнал, что ты переменял полк. Желаю, чтоб это развлекло тебя. Что подделывает твой брат? ты ничего о нем не сообщаешь в письме твоём от 13 мая; ¹ лечится ли он? <...>

Покамест я живу в полном одиночестве: единственная соседка, у которой я бывал, уехала в Ригу, и у меня буквально нет другого общества, кроме старушки-няни и моей трагедии; последняя подвигается, и я доволен этим. Сочиняя ее, я стал размышлять над трагедией вообще <...>.

Правдоподобие положений и правдивость диалога — вот истинное правило трагедии. [Шекспир понял страсти; Гёте — нравы] <...> до чего изумителен Шекспир! не могу притти в себя. Как мелок по сравнению с ним Байрон-трагик! Байрон, который создал всего-навсего один характер (у женщин нет характера, у них бывают страсти в молодости, вот почему [поэту] так легко изображать их), этот самый Байрон [в трагедии] распределил между своими героями отдельные черты собственного характера; одному он придал свою гордость, другому — свою ненависть, третьему — свою тоску и т. д. и таким путем из одного цельного характера, мрачного и энергичного, создал несколько ничтожных — это вовсе не трагедия...

Вспомни Шекспира. Читай Шекспира [это мой постоянный припев], он никогда не боится скомпрометировать своего героя, он заставляет его говорить с полнейшей непринужденностью, как в жизни, ибо уверен, что в надлежащую минуту и при надлежащих обстоятельствах он найдет для него язык, соответствующий его характеру <...>. Чувствую, что духовные силы мои достигли полного развития, я могу творить» (XIII, 406 — 407; 571 — 573).

Последняя фраза равнозначна тому, что будет писано позже —

¹ Видимо, описка поэта. Письмо Раевского, на которое отвечает Пушкин, сопровождается датой «10 мая».

Но здесь меня таинственным щитом
Святое провиденье осенило,
Поэзия, как ангел-утешитель,
Спасла меня, и я воскрес душой.

Самая важная, заветнейшая мысль сообщена Раевскому: высочайшая степень близости, для которой «Годунов» — серьезный повод.

Вот, по-видимому, главная причина посвящения «Андрея Шенье» Н. Н. Раевскому.

Реплики насчет драматургии Байрона — эхо того, что немного раньше появилось во *вступлении*:

Меж тем, как изумленный мир
На урну Байрона взирает...
Зовет меня другая тень.

Известное отрицание Байрона — утверждение собственного пути. Байрон, байронизм — в определенном смысле «знаки» той системы, от которой Пушкин уходит и в которой его удерживают искренне любящие Рылеев и Бестужев.

«Знаковая система» Пушкина — Шекспир, Борис Годунов, Шенье. Система, включающая в себя важнейшие проблемы народной жизни, народного движения, народного мнения. Для Рылеева и его единомышленников этот путь, однако, представлялся слишком абстрактным, медленным и потому неприемлемым.

Для Рылеева Байрон был «победителем Шекспира». Пушкин зовет «к Шекспиру». Литературные проблемы легко переходят в общественно-политические, в проблемы смысла существования¹.

Узнав о поражении восстания 14 декабря, Пушкин отзовется в письме Дельвигу словами, поражающе близкими к «литературной терминологии» предыдущих месяцев: «Не будем ни суеверны, ни односторонни — как французские трагики; но взглянем на трагедию взглядом Шекспира» (XIII, 259).

¹ Многосторонний анализ шекспиризма Пушкина см.: М. П. Алексеев. Пушкин. Сравнительно-исторические исследования. Л., «Наука», 1972, с. 240—280.

Формально с пушкинским противопоставлением *Байрон — Шекспир* совпадало мнение Кюхельбекера, сравнившего «огромного Шекспира — и однообразного Байрона» (сб.: «Литературная критика декабристов». М., «Художественная литература», 1978, с. 196). Однако это было написано до гибели английского поэта, которого Кюхельбекер оплакал в панегирической оде «На смерть Байрона».

«Шекспир; — заметил С. М. Бонди; — был для Пушкина знаменем не только литературного (или театрального) направления, но целого нового мировоззрения»¹.

По сути, в первой половине 1825 года происходил важнейший обмен мнениями Пушкина, Раевского, Пущина, Рыльева, Бестужева; пусть большая часть записанных мнений многим участникам диспута осталась неизвестной — неважно! К тому же фактическими участниками тех разговоров были Вяземский, Жуковский, Дельвиг, Плетнев и другие литераторы — но мы не пишем полной истории тогдашнего литературного движения, и, конечно же, многое очень важное «за скобками».

И все же названные замечательные люди горячо обсуждали в 1825-м проблемы не только того года и даже того века:

- О лучшем роде поэзии.
- О цели поэзии.
- О поэте и революции.
- О назначении поэта.

Спор особенно интересен тем, что действующие лица не враги, не антиподы — но друзья, «на ты», и вместе составляют то, что можно было бы назвать мыслящей оппозицией, противостоящей «власти роковой»; все они почти сходны в идеалах — желают для России реформ, перемен. Однако в *средствах* порою основательно расходятся. То, что сближало, соединяло этих людей, — столь же важно и поучительно, как то, что их разделяло, заставляло спорить...

Поражение 14 декабря, огромные внешние перемены, казалось, затемняли, отменяли старые споры и вопросы. Многие строки, написанные перед восстанием, — объективно приобретают новое, политическое звучание.

«НА 14 ДЕКАБРЯ»

Финалом главы об «Андрее Шенье» послужит дополнение к давно известной истории гонений, возникших в связи с этими стихами.

¹ С. М. Бонди. *Драматургия Пушкина и русская драматургия XIX века.* — Сб.: «Пушкин — родоначальник новой русской литературы». М.-Л., Изд-во АН СССР, 1941, с. 374.

Элегия была напечатана в составе «Стихотворений Александра Пушкина» в самом конце 1825 года без сорока пяти стихов, запрещенных цензурой (с 24-го по 64-й и 150-й) ¹.

Длинное, мучительное для Пушкина дело обрушилось на него уже после возвращения из ссылки. В феврале 1826 года в Новгороде штабс-капитан Александр Ильич Алексеев вручил прапорщику Молчанову отрывки из не-напечатанной части пушкинской элегии. Дальнейший ход событий хорошо известен: ² в конце июня 1826 года Молчанов в Москве дал списать отрывок учителю А. Ф. Леопольдову, тот приделал к нему крамольнейшее заглавие — «На 14-е декабря» — и показал стихи некоему Коноплеву. Коноплев был агентом тайной полиции, вследствие чего осенью того же года соответствующий донос уже был вручен Бенкендорфу, а в 1827-м идут аресты, допросы — и Пушкина заставляют объяснять происхождение стихов.

Между тем и на следствии, и после остался неясным серьезный вопрос — откуда же получил отрывок из элегии его первый обладатель Александр Алексеев?

Сам он в своих показаниях сослался на некоего москвича (чье имя «не упомянул»), у кого еще осенью 1825 года будто бы списал пушкинские стихи. Это звучит весьма неправдоподобно. Сопоставим даты: элегия закончена к июню 1825 года, тут же отправлена Плетневу для подготавливаемого сборника стихотворений. 8 октября «знаменитый» цензор Бируков разрешил сборник, очевидно, произведя некоторые изъятия, 28 декабря 1825 года сборник вышел в свет ³.

До цензурного разрешения и выхода книги распространение именно того отрывка, который не будет пропущен, крайне маловероятно. К тому же полным текстом элегии располагало всего несколько человек: Бируков, Плетнев, вероятно, Дельвиг в столице, П. Вяземский в Москве

¹ Два месяца спустя, получив от Плетнева какие-то сообщения о трудностях нового издания стихотворений, Пушкин тут же определяет наиболее опасный раздел своего собрания: «Ты говоришь, мой милый, что некоторых пиес уже цензор не пропустит; каких же? А. Шенье?» (XIII, 266).

² П. Е. Щеголев. Из жизни и творчества Пушкина, изд. 3-е. М., 1931, с. 95—126.

³ См.: А. П. Могилянский. К уточнению данных «Летописи жизни и творчества А. С. Пушкина». — «Пушкин. Исследования и материалы», т. I. М.-Л., Изд-во АН СССР, 1956, с. 394—395.

(элегия дошла к нему в конце лета 1825-го), может быть, еще один-два близких .приятеля, хорошо знавших, как Пушкин не любил предварительное распространение предназначенных для печати стихов.

А. И. Алексеев был племянником известного Ф. Ф. Вигеля (дядюшка его в те годы находился на юге). Никакого особого места в светских и литературных кругах этот офицер не занимал.

Таким образом, совершенно фантастической выглядит версия о возможности списать «у какого-то москвича» осенью 1825-го строки из «Андрея Шенье». Тут явная маскировка, имеющая, вероятно, целью отвлечь внимание следствия от подлинных дат и реальных людей. Это обстоятельство довольно явно ощущалось на следствии. Невзирая на все увещевания, Алексеев утверждал, что не помнит — от кого получил стихи. «Может ли быть, — спрашивал всеведущий А. Я. Булгаков, — чтобы он не помнил, от кого получил эти мерзости? Отец, к коему он был приведен, угрожал ему проклятием; как ни был он тронут, как ни плакал, а все утверждал, что не помнит»¹.

Командир Алексеева генерал Чичерин обратил внимание следствия на то, что, «не помня», от кого заимствована рукопись, Алексеев «помнил» — где, когда ее получил, каким почерком была написана и т. п.

Первоначально за свое *упрямство* Алексеев был приговорен к смертной казни, позже отправлен на Кавказ — но так и «не вспомнил» никакого имени... Между тем другая жертва того же процесса, прапорщик Молчанов, опровергал утверждение Алексеева, будто он получил стихи Пушкина еще в октябре 1825 года. Молчанов присягал, что Алексеев в феврале 1826 года, показывая сорок четыре строки из «Шенье», говорил — «это последнее его <Пушкина> сочинение». Из показаний Леопольдова (следующего после Молчанова читателя стихов), выходило, что сделанная им надпись «На 14 декабря» отражала само собой разумеющееся для него и Молчанова и что Молчанов уже прежде знал, на какой случай написаны стихи².

¹ «Русский архив», 1901, № 2, с. 402—403.

² Между прочим, за облегчение участи Молчанова будет хлопотать в 1827 г. его тетка Е. П. Вадковская перед Н. Н. Раевским (младшим), в подчинении которого на Кавказе находился ее племянник.

В общем, из следственных материалов с большой вероятностью выходило, что Алексеев получил стихи не в октябре 1825-го, а позднее — уже после 14 декабря, незадолго до новгородской встречи с Молчановым в феврале 1826-го.

Понятно, заслуживает внимания географическая близость первого достоверного появления списка и места ссылки автора: Новгородская и Псковская губернии! Один любопытный документ, может быть, позволит продвинуться еще вперед в разгадках и гипотезах.

В Пушкинском доме хранится листок с пометой Л. Б. Модзалевского: «Из архива с. Тригорского. Из бумаг Л. Н. Майкова»¹.

Листок исписан рукой *Анны Николаевны Вульф* и представляет *тот самый отрывок из «Андрея Шенье», который явился предметом политического процесса 1826—1828 годов.*

Те самые сорок три строки, от слов — «Приветствую тебя, мое светило...» и кончая строкой — «Так буря мрачная минет» (на самом деле здесь должны быть сорок четыре строки, но одна — «Уже сиял твой мудрый гений» — была случайно пропущена при переписке)².

Как объяснить существование такого списка?

Вариант 1. А. Н. Вульф, подобно Молчанову, снимает копию у Алексеева (или у кого-то другого). Версия абсурдная, учитывая близость, постоянное общение тригорской барышни с Пушкиным.

Вариант 2. А. Н. Вульф списывает текст с рукописи «Андрей Шенье». В этом случае непонятно, почему она копирует именно сорок четыре строки: ведь Пушкин ей мог предоставить все стихотворение, все сто восемьдесят семь стихов. Соседка, правда, могла бы попросить те строки, что не прошли в печать, но в подобном случае логичнее списать все же весь текст; или — как это обычно делалось — вписать, вклеить дополнение в уже имеющееся печатное издание. Таким образом, версия о простом копировании недостающих в печати сорока четырех стихов сомнитель-

¹ ПД, ф. 244, оп. 4, № 114.

² Пропуск довольно типичный, если учесть, что две соседствующие стихотворные строки (17-я и 18-я) начинаются с одного и того же слова:

Уже сиял твой мудрый гений
Уже в бессмертный Пантеон...

на. Достоверно в ней только то, что А. Н. Вульф заимствовала текст у самого Александра Сергеевича¹.

Вариант 3. Сам Пушкин скомпоновал из не прошедших в печать стихов элегии — отдельное, по сути, самостоятельное стихотворение, и А. Н. Вульф (как, может быть, и другие тригорские соседи) была в числе первых читателей.

Эта гипотеза представляется наиболее вероятной. Если она подтвердится — мы сможем говорить об особом стихотворении великого поэта, авторски «вырванном из контекста» уже готовой элегии, но лишенном конкретных черт своего происхождения: имя Шенье не названо, французская революция, конечно, угадывается по смыслу — но отсутствие реальных названий, событий делает описание максимально обобщенным и применительным к различным историческим ситуациям.

Взглянем на хорошо известный фрагмент из знаменитой элегии как на самостоятельный текст:

Приветствую тебя, мое светило!
Я славил твой небесный лик,
Когда он искрою возник,
Когда ты в буре восходило.
Я славил твой священный гром,
Когда он разметал позорную твердыню
И власти древнюю гордыню
Развеял щеплом и стыдом,
Я зред твоих сынов гражданскую отвагу,
Я слышал братский их обет,

¹ Не считая пропущенной 17-й строки стихотворения, в списке А. Н. Вульф наблюдается восемь различий с пушкинским текстом. Большая их часть легко объяснима трудностью переписки, особенно для девушки, непривычной к русскому письму: «рассеял» — вместо «развеял» (строка 8); «провозглашал» — вместо «провозгласил» (строка 23); «скрывалось» — вместо «сокрылось» (строка 34). Вариант: «И буря мрачная минет» (вместо пушкинского: «Так буря мрачная минет») — известен по многим спискам стихотворения (см.: II, 953—954); он легко объясняется читательским неприятием, заменой двойного пушкинского «так» («Так он найдет тебя... Так буря мрачная минет»).

Наконец, два различия, возможно, восходят к вариантам неизвестной нам белой пушкинской рукописи; у Вульф: «Разоблачался древний трон» (строка 21) — вместо пушкинского: «ветхий трон»; однако в черновой рукописи поэта мелькает слово «древний» (II, 940). Текст: «И вновь твои враги падут» (вместо окончательного — «враги твои»; строка 37) — наблюдается и в пушкинском черновике (II, 941), и во многих авторитетных списках (II, 954).

Великодушную присягу
 И самовластия бестрепетный ответ.
 Я зрел, как их могучи волны
 Все ниспровергли, увлекли,
 И пламенный трибун предрек, восторга полный,
 Перерождение земли.
 Уже сиял твой мудрый гений,
 Уже в бессмертный Пантеон
 Святых изгнанников входили славны тени,
 От пелены предрассуждений
 Разоблачался ветхий трон;
 Оковы падали. Закон,
 На вольность опершись, провозгласил равенство,
 И мы воскликнули: *Блаженство!*
 О горе! о безумный сон!
 Где вольность и закон? Над нами
 Единый властвует топор.
 Мы свергнули царей. Убийцу с палачами
 Избрали мы в цари. О ужас! о позор!
 Но ты, священная свобода,
 Богиня чистая, нет — не виновна ты,
 В порывах буйной слепоты,
 В презренном бешенстве народа,
 Сокрылась ты от нас; целебный твой сосуд
 Завешен пеленой кровавой;
 Но ты придешь опять со мщением и славой,—
 И вновь твои враги падут;
 Народ, вкусивший раз твой нектар освященный,
 Все ищет вновь упиться им;
 Как будто Вакхом разъяренный,
 Он бродит, жаждою томим;
 Так — он найдет тебя. Под сеню равенства,
 В объятиях твоих он сладко отдохнет;
 Так буря мрачная минет!

Ассоциативность этого отрывка, неожиданная, не существовавшая ранее связь с нахлынувшими политическими событиями, конечно, не укрылись от Пушкина, и, может быть, явились стимулом к «автономии» текста. Пушкина и раньше изумляло, восхищало быстрое осуществление некоторых пророчеств, провозглашенных в элегии. Очевидно, сопоставляя предсказание неизбежного возмездия тиранам и внезапную смерть Александра I, поэт 4—6 декабря 1825 года радостно пишет Плетневу: «Душа! я пророк, ей-богу пророк! Я Андрея Шенье велю напечатать церковными буквами во имя отца и сына etc» (XIII, 249).

Что же касается *сорока четырех строк*, то все звучание их не в узком, буквальном, но в самом широком, духовном смысле соответствовало настроениям, мыслям, событиям в первые месяцы после 14 декабря.

Речь идет, понятно, не о гимне павшим декабристам — содержание отрывка достаточно сложно, и в нем описываются события, внешне полярные тому, что произошло в 1825—1826 годах. В Париже «свергнули царей», в Петербурге — «цари» взяли верх. Однако внутренняя, глубинная связь *сорока четырех строк* с тем, что произошло только что в России, несомненно, имеется: гимн свободе, картина террора, вера в грядущее возвращение вольности: «Так буря мрачная минет». Прямолинейная аналогия, пришедшая в голову не слишком искусственному читателю и побудившая его озаглавить отрывок «На 14 декабря», была принята и «признана» карающей властью, которая отнюдь не нашла явного противоречия между произвольным заглавием и пушкинским текстом. Даже не имея уже сомнений, что Пушкин сочинил элегию за несколько месяцев до восстания, — сенат все равно квалифицировал ее как «сочинение соблазнительное и служившее к распространению в неблагонадежных людях того пагубного духа, который правительство обнаружило во всем его прострастве»¹.

Все это свидетельствует о существовании объективной социальной ситуации для восприятия *сорока четырех строк* как самостоятельного целого. То, что заметили разные читатели 1826 года, по всей вероятности, заметил довольно рано сам автор.

Прибавив к этому прежние соображения — о невозможности отдельной жизни такого отрывка до выхода в свет «Стихотворений Александра Пушкина», о времени и месте первого появления фрагмента (Новгород, февраль 1826 года), — заключаем, что сорок четыре строки, вероятно, были выделены Пушкиным как отдельное стихотворение в первые месяцы 1826 года.

В следующей главе этот период пушкинской биографии будет рассмотрен подробнее; необходимая в последекабрьские месяцы осторожность, сдержанность соединялась с волнением, скорбью, сочувствием попавшим в беду друзьям. Вполне возможно, что сорок четыре строки «Приветствую тебя, мое светило...» предназначались для чтения в самом узком, *своем* кругу. Привлеченный в 1827 году к следствию, Пушкин подчеркивал, что из полного текста

¹ П. Е. Щеголев. А. С. Пушкин — в политическом процессе 1826—1828 гг. — Сб.: «Пушкин и его современники», вып. 11. СПб., 1909, с. 45.

элегии не делал тайны, но в ответ на предложение назвать имена первых читателей отвечал точно, как А. И. Алексеев: «Не помню, кому мог я передать мою элегию».

Отсюда видно, что поэт допускал многознание следователей и старался избежать ловушки. А ведь число лиц, которым во второй половине 1825 года и начале 1826-го в Михайловском могла быть показана элегия, — наперечет! А. Н. Вульф, конечно, в этот круг входила, списать же стихи могла в связи с отъездом из Тригорского — сначала в Тверской край, а затем в столицы. Это произошло в конце февраля 1826 года. Сохранились ее влюбленные, ревнивые письма к Пушкину за период с начала марта по сентябрь 1826 года: из Малинников — конец февраля — 8 марта (XIII, 267), вторая половина марта (XIII, 270), 20 апреля (XIII, 273—274), 2 июня (XIII, 280—281), 11 и 16 сентября из Петербурга (XIII, 294—295, 296—297). Важно отметить, что письма из Малинников написаны точно на такой бумаге, как и скопированный А. Н. Вульф отрывок из «Андрея Шенье», последние же письма, из Петербурга, — на другой бумаге¹.

Пушкин, разрешив Анне Вульф снять копию, мог недооценивать общественную опасность возникавшей ситуации: действительно, образовывалась связь сорока четырех строк с последними событиями — «На 14 декабря», и Пушкин мог это в своем кругу сказать, и отсюда начинается сначала устная, а потом закрепленная чужой рукой версия, распространения которой поэт вряд ли желал...

Впрочем, формальных «российских» признаков в стихотворении нет; поэт всегда может сослаться (как он и делает позже) на то, что речь идет о событиях во Франции, что автор выступает *против* «якобинского террора» и т. п.

Что же произошло дальше?

А. Н. Вульф во время путешествия из Тригорского в Малинники, возможно, поделилась кое с кем своим списком.

Гипотеза о некоторой взаимозависимости двух известных нам списков сорокачетырехстрочного отрывка из «Андрея Шенье», о возможных контактах А. Н. Вульф и А. И. Алексеева опирается на отмеченную уже близость «обстоятельств места».

В одном из писем А. Н. Вульф к Пушкину (20 апреля

¹ Автор обязан этими сведениями Р. Е. Тереховой.

1826 года) сообщается о «приятном молодом человеке» из Новгорода — Л. И. Павлицеве (XIII, 274). Меж тем этот гость вскоре будет назначен одним из ассессоров для следствия над приятелем и сослуживцем А. И. Алексеевым¹. Не исключаем, что упорный отказ Алексеева вспомнить, от кого получил стихи, объясняется нежеланием замешать в дело молодую женщину.

В то же время проблема осложняется расхождением двух интересующих нас списков — известного по судебному делу Алексеева—Молчанова—Леопольдова и снятого рукою А. Н. Вульф.

В списке А. Н. Вульф, как отмечалось, восемь отличий от пушкинского текста, в «судебном» списке — пять отличий.

Совпадают только два разночтения: «трон» вместо «гром» — в пятом стихе; «Он бредит, жаждою томим» (вместо — «бродит») — в стихе сорок первом.

Эти варианты, как и большинство других, легко объясняются характерными ошибками переписчика.

В «судебном» списке: «во страхе» — вместо «восторга» (стих 15-й); «от пепела» — вместо «от пелены» (стих 20-й).

Таким образом, версия о взаимосвязи двух списков осложняется каким-то дополнительным фактором — возможным хождением и других копий.

Многие элементы этой истории нам остаются неизвестными. Делу, вероятно, может помочь сплошное изучение старинных списков всего стихотворения «Андрей Шенье» (а не только отрывка «Приветствую тебя, мое светило...»).

Еще раз повторим: все приведенные рассуждения находятся на стадии гипотезы, которая, может быть, немного облегчит наше углубление в таинственные, еще непонятные страницы и главы пушкинской биографии.

¹ Л. Павлицев потом породнится с Пушкиным через своего брата Николая, который женится на Ольге Сергеевне, сестре поэта.

«ПРИДЕТ ЛИ ЧАС МОЕЙ СВОБОДЫ?»

Свободы сеятель пустынный...

Пушкин, 1823

О сеятель благополучный...

Пушкин, 1824

Четырнадцатого декабря 1825 года ночью во дворец привозят первых арестантов; 4 сентября 1826 года Пушкину вручают *вызов* из ссылки в Москву. «Зная за собою несколько либеральных выходов, Пушкин убежден был, что увезут его прямо в Сибирь. В длиннополом скюртуке своем собрался он наскоро»¹. Вскоре, однако, выясняется, что может «ехать в своем экипаже свободно, не в виде арестанта, но в сопровождении только фельдъегеря».

Между двумя датами расстояние в двести шестьдесят четыре дня. Это один из самых драматических периодов в жизни Пушкина.

Как это ни парадоксально, драматизм 1825 — 1826-го все возрастает в следующие годы, усиливаясь и тогда, когда уже нет на свете Пушкина. Проходит сто пятьдесят лет — а напряжение 1826-го все не исчерпано. Новые материалы, которые будут сейчас приведены, в соединении с хорошо известными старыми, подливают «масла в огонь»...

Мы постоянно мечтаем о «полнейшем собрании сочинений» А. С. Пушкина и о биографии поэта, столь же законченной.

Но можно и по-другому взглянуть: с каждым человеком происходят события, о которых он либо узнает много времени спустя, либо не узнает никогда. Между прочим,

¹ Н. И. Лорер (со слов Льва Пушкина). — «Записки декабриста Н. И. Лорера». М., Соцэкгиз, 1931, с. 200.

десятки случаев, целые пласты из пушкинской биографии мы знаем лучше, чем Александр Сергеевич.

Нам известны, например, важные, имеющие прямое отношение к Пушкину слова и дела его близких друзей (Пушкина, Кюхельбекера и других), чему поэт порадовался бы или опечалился — да не успел узнать.

Пушкин был уверен до конца дней насчет нескольких своих сочинений — что их никто больше не прочтет, а они в наш век печатаются и перепечатываются.

Наконец — секретная слежка, тайные доносы: Пушкин кое о чем в лучшем случае подозревал, а мы не только знаем имена сыщиков, но ухитрились познакомиться, по крайней мере, с *избранными* их сочинениями.

Так и продолжается уже второе столетие двойное биографическое повествование: Пушкин нам — о себе; мы (себе и ему) — о нем.

Соотношение двух биографий, *его* и *нашей*, все время меняется — но самое необычайное их сочетание относится все же к последним месяцам михайловской ссылки.

«Станным сближением» называл Пушкин первую же пару совпавших в тот период событий.

14 декабря 1825 года — Сенатская площадь.

14 декабря 1825 года — закончен начатый накануне легкий, веселый «Граф Нулин».

«Станные сближения» — Пушкин, пожалуй, мог бы так отозваться и о многих событиях последующих недель, если бы знал о них побольше.

В самом деле, вот некоторые, почти случайные, примеры.

29 декабря 1825 года. В официальной газете «Русский инвалид» впервые публикуется подробное (по сравнению с предшествующими краткими сообщениями) описание «происшествия, случившегося в Санкт-Петербурге 14 декабря 1825 года». Названы «главные виновные», среди которых Рылеев, Бестужевы, Пушкин, Кюхельбекер (его еще не схватили и пока считают погибшим). Через несколько дней газета придет в псковскую уездную глушь; но с той же почтой доставят в Тригорское и другую газету, «Северную пчелу» (от того же *29 декабря*), а там объявление, что завтра, 30-го, поступит в продажу новая книга — «Стихотворения Александра Пушкина»...

Но это еще не все. Лишь свойственная тому веку *растянутая одновременность* не позволит даже в столицах

(а что о деревне толковать!) сопоставить с только что названными явлениями начавшееся именно 29 декабря восстание Черниговского полка.

3 января 1826 года. Пушкин, повинувшись устойчивой привычке, завершает финальной датой готовую четвертую главу «Евгения Онегина», а близ Трилес на Украине гибнет южное восстание, и конвойный офицер Мариупольского гусарского полка по дороге рассказывает пленному Михаилу Бестужеву-Рюмину, что «вольнодумческие стихи Пушкина в рукописях распространены по всей армии».

5 января. В «Journal de St. Pétersbourg» сообщается о создании следственной комиссии для расследования «ужасного заговора»; а в «Северной пчеле», как будто с другой планеты, только что написанное:

Примите «Невский альманах».
Он мил и в прозе, и в стихах:

Моя стихи скользнули в Лету.
Что слава мира?.. дым и прах.
Ах, сердце ваше мне дороже!..
Но, кажется, мне трудно тоже
Попасть и в этот альманах.

(«Н. Н. Примите
«Невский альманах»)

На замерзших от страха листах январских журналов и газет — новые стихи Пушкина расхвалены и поощрены уцелевшими критиками (кажется, позже никогда от Булгарина не поступало столько комплиментов); и Пушкин через друга — издателя Плетнева — посылает свою книжку Карамзину, а Николай Михайлович, прочитав латинский эпиграф («Первая молодость воспевает любовь, более поздняя — смятение»), вдруг догадывается, что тут намек на последние политические события, и восклицает: «Что это Вы сделали? Зачем губит себя молодой человек?» Плетнев вынужден объяснять, что Пушкин разумел смятение душевное... Находящийся под арестом в Главном штабе Александр Сергеевич Грибоедов просит Булгарина: «Пришли мне Пушкина стихотворения на одни сутки».

Итак, аресты, допросы, очные ставки, переполненная крепость, первые безумцы и самоубийцы. «Этих дней, или, вернее сказать, этих месяцев,— вспомнит современник,— кто их пережил, тот, конечно, никогда их не забудет».

И Пушкин, хоть питается газетными крохами да мутными слухами, — в 20-х числах января, между прочим, заметит близким людям: «Верно Вы полагаете меня в Перчинске. Напрасно, я туда не намерен — но неизвестность о людях, с которыми находился в короткой связи, меня мучит (XIII, 256).

Если б Пушкин хандрил, не писал, мы бы, конечно, нашли объяснение: не до литературы, «того и гляди...». Но никак не укладываются характер и поступки михайловского ссыльного в рамки ясных причин и следствий. В январе, после окончания четвертой главы «Онегина» быстро пошла пятая, и к концу месяца двадцать строф готовы, да сочинены еще десять строф «Путешествия Онегина», и скоро на столе — глава шестая, а также планы, черновые наброски будущих «Скупого рыцаря», «Мозарта и Сальери» — да начат перевод «Неистового Роланда»; настроение — едва ли не «болдинское»: может, не случайно многие наброски и планы этих дней завершены именно осенью 1830-го; кругом чума политическая, «карантины» — чего же гадать напрасно, если судьба подобна «огромной обезьяне, которой дана полная воля»?..¹ А потому — стихи, пиры, проказы с Алексеем Вульфом (впрочем, в одну из январских ночей ему прочтен весь «Борис Годунов»), любезничание с тригорскими девицами, да крепостной возлюбленной Ольге Калашниковой скоро ехать рожать в нижегородскую деревню...

Еще немного подобных красок, и кажется, совсем нет внешнего мира, но возле легких строф и быстрых планов — много мужских профилей: Кюхельбекер, еще Кюхельбекер — в ту пору, когда его ошибочно считают погибшим, — Пущин, Рылеев, Пестель (позже начнутся рисунки виселиц); и тогда же горят в михайловском камине «Автобиографические записки» и сотни других опасных строк, губительных при неожиданном, а впрочем, все время ожидаемом обыске.

¹ Сравнение из письма Пушкина к Вяземскому в мае 1826 г. (XIII, 278). По подсчетам Д. Д. Благого, в Михайловском за два года Пушкин сочинил «около 90 пьес» («Творческий путь Пушкина», с. 374). Однако нельзя согласиться с мнением, будто в 1826 г. «творческая энергия, только что бившая в Пушкине таким небывалым могучим ключом, несомненно, оказалась как-то ослабленной» (там же, с. 509). Здесь сведены воедино активное поэтическое настроение первой половины года и определенный спад в последние месяцы ссылки.

К тому же в гости из столиц, конечно, никто не едет, в то время как в прошедшем, 1825-м, побывали Пушкин, Дельвиг, Горчаков. Не только не едут — молчат: «Что делается у вас в Петербурге? Я ничего не знаю, все перестали ко мне писать». В самом деле, хотя не все письма сохраняются, но все же количество уцелевших кое-что говорит о размере всей корреспонденции. От первой половины 1825 года осталось 55 писем (33 пушкинских, 22 к Пушкину), за первые же шесть месяцев 1826-го — 36 писем (17 Пушкина и 19 к Пушкину), к тому же письма 1826-го много короче, испуганнее 1825-го: писать побаиваются. Даже надзирать за поэтом побаиваются (как можно брать на себя ответственность!) — и сразу же после начала декабрьских событий уездный предводитель дворянства А. Н. Пещуров (дядюшка лицеиста Горчакова, прозванный в Тригорском «лукавым ходатаем») отказывается от наблюдения за Пушкиным, и родня одобряет, потому что это «рано или поздно доставило бы Пещурову много хлопот».

Двухгодичная деревенская тюрьма при таких обстоятельствах чуть ли не вольный остров: уже третий авторитетный надзиратель не желает надзирать! Сначала сказался большим соседний помещик Рокотов; затем согласился было Сергей Львович Пушкин «иметь бдительное смотрение и попечение за сыном своим»¹, а генерал-губернатор Пауллуччи одобрял, поясняя, что «родительская власть неограниченнее посторонней». Однако статский советник Сергей Пушкин вскоре объявил, что не может воспользоваться оказанным ему доверием, «так как дела его требуют пребывания в Москве и Петербурге», и мы знаем, какая острая сцена, завершившаяся длительным разрывом отношений, разыгралась между отцом и сыном...

Так, среди стихов и арестов, пира и чумы проходит первый месяц. Итог подведен в очень важном письме к Жуковскому, которое, безусловно, отправляется с оказией (первые слова: «Я не писал к тебе, во-первых, потому, что мне было не до себя, во-вторых, за неимением верного случая»). Мы не знаем, каков был «верный случай» в 20-х числах января 1826 года и кому можно было дове-

¹ Н. О. Лернер. Из неизданных материалов к биографии Пушкина. — «Русская старина», 1908, № 10, с. 113.

речь опаснейшее, откровенное послание. Кажется, никому, кроме обитателей тригорского дома: кто-то из хозяев или верных слуг едет в Петербург.

«...Вот в чем дело: мудрено мне требовать твоего заступления пред государем; не хочу охмелить тебя в этом пиру. Вероятно, правительство удостоверилось, что я заговору не принадлежу и с возмутителями 14 декабря связей политических не имел — но оно в журналах объявило опалу и тем, которые, имея какие-нибудь сведения о заговоре, не объявили о том полиции. Но кто же, кроме полиции и правительства, не знал о нем? о заговоре кричали по всем переулкам, и это одна из причин моей безвинности. Все-таки я от жандарма еще не ушел, легко может уличат меня в политических разговорах с каким-нибудь из обвиненных. А между ими друзей моих довольно (NB оба ли Раевские взяты, и в самом ли деле они в крепости? напиши, сделай милость). Теперь положим, что правительство и захочет прекратить мою опалу, с ним я готов уговариваться (буде условия необходимы), но вам решительно говорю не отвечать и не ручаться за меня. Мое будущее поведение зависит от обстоятельств, от обхождения со мною правительства etc.

Итак, остается тебе положиться на мое благоразумие. Ты можешь требовать от меня свидетельств об этом новом качестве. Вот они.

В Кишиневе я был дружен с майором Раевским, с генералом Пуциным и Орловым.

Я был массон в Кишиневской ложе, т. е. в той, за которую уничтожены в России все ложи.

Я наконец был в связи с большей частью нынешних заговорщиков.

Покойный император, сослав меня, мог только упрекнуть меня в безверии.

Письмо это не благоразумно конечно, но должно же доверять иногда и счастью. Прости, будь счастлив, это покамест первое мое желание.

Прежде, чем сожжешь это письмо, покажи его Карамзину и посоветуйся с ним. Кажется, можно сказать царю: Ваше величество, если Пушкин не замешан, то нельзя ли наконец позволить ему возвратиться?—

Говорят, ты написал стихи на смерть Александра — предмет богатый! — Но в течение десяти лет его царствования, лира твоя молчала. Это лучший упрек ему. Никто более тебя не имел права сказать: глас лиры, глас народа.

Следственно, я не совсем был виноват, подсвистывая ему до самого гроба» (XIII, 257—258).

Максимальная откровенность перед самыми верно-подданными из друзей, Жуковским и Карамзиным (Карамзин, по сути, второй адресат послания). В письме заметны два пласта: один — как бы программа для переговоров, пределы, в которых друзья могут хлопотать; здесь многое, может быть, почти все, будет позже повторено Пушкиным во время первой беседы с Николаем I. Поэт как бы выработывает ту систему откровенности, которой намерен держаться: признание во всех «декабристских связях» — и в то же время реплика против Александра I — «подсвистывал» (да ведь и Жуковский, при всей верноподданности, того царя не слишком одобрял!); знакомство со многими «опаснейшими людьми» — но не в чем было упрекнуть: покойный царь «мог *только...*» (то есть придрался к нескольким фразам из перехваченного письма).

Второй пласт — продолжение старинных споров и разговоров с Жуковским и Карамзиным: за пушкинским монологом слышится диалог, обычные упреки друзей в легкомыслии, неблагоразумии, пожелания беречь талант; и вот — им ответ.

Ожидания, отраженные в письме, хорошо видны: первое — могут отпустить; второе — могут покарать: как повернется дело? Что поставят в строку — вольные эпиграммы или тихое михайловское сидение? Участие в равных декабристских сходках или неучастие в поздних? Между прочим, Пушкин знал, что братья Раевские, особенно Николай Николаевич — младший, находились примерно «на таком же расстоянии» от заговора, тайного общества, как и он сам; поэтому, если таких людей берут в крепость — значит, и поэт «от жандарма не ушел»...

Обращение к Жуковскому противоречиво — и оттого особенно искренне и естественно: просьба «не ручаться» — и одновременно просьба о заступничестве; «свидетельство благоразумия» и — «письмо это не благоразумно конечно». Послание, как видим, не было сожжено. Возможно, сохранено как подспорье для начавшихся просьб и ходатайств. Далее мы поговорим о действиях друзей в пользу Пушкина в зимне-весенние месяцы 1826 года — о действиях, которые должны были нейтрализовать немалое число фактов и обстоятельств, отдалявших пушкинскую свободу.

Пока же, как видно и из письма к Жуковскому, поэт старается угадать, воображением проникнуть в тайны молчаливого процесса, узнать, часто ли и в какой связи упоминается его имя на следствии. Карамзин и Жуковский, со своей стороны, тоже собирают сведения и, конечно, добывают их с большим успехом, чем михайловский ссыльный. Позже, возвратившись, Пушкин, естественно, спросит Жуковского и других осведомленных людей: «Что там говорилось?» Но и друзья слыхали далеко не обо всем. К тому же осенью 1826 года их больше радовал важный итог — милость, освобождение Пушкина, нежели козни и тайны предшествующих месяцев...

«Пушкин, принял бы ты участие в 14 декабря, если бы был в Петербурге?» — «Непременно, государь, все друзья мои были в заговоре, и я не мог бы не участвовать в нем. Одно лишь отсутствие спасло меня, за что я благодарю бога!» — «Довольно ты подурачился <...> Отныне я сам буду твоим цензором»¹.

В последние десять лет жизни Пушкину, как известно, не раз пришлось столкнуться со слишком явными признаками тайного надзора (чего стоил выговор, полученный за вольные строки в одном из писем к жене). Жуковский, разбирая бумаги погибшего поэта, напишет Бенкендорфу: «Во все эти двенадцать лет, прошедшие с той минуты, в которую государь так великодушно его присвоил, его положение не переменялось: он все был как буйный мальчик, которому страшился дать волю, под строгим, мучительным <сначала было — «непрестанным»> надзором <...> Позвольте сказать искренно. Государь хотел своим особенным покровительством ослепить Пушкина и в то же время дать его гению полное его развитие, а вы из сего покровительства сделали надзор, который всегда притеснителен»².

Это письмо Жуковский, вероятно, не пошлет шефу жандармов.

Голландский посланник Геверс, сменивший Геккерна, собирал данные у самых осведомленных лиц и затем до-

¹ «Русский архив», 1867, стлб. 1066. Согласно М. Корфу, царь рассказывал: «Что сделали бы вы, если бы 14 декабря были в Петербурге?» — спросил я его, между прочим. «Стал бы в ряды мятежников», — отвечал он».

² П. Е. Щеголев. Дуэль и смерть Пушкина, изд. III. М.-Л., Госиздат, 1928, с. 246, 252; «Пушкин в воспоминаниях...», т. 2, с. 359, 363—364.

ложил своему правительству об «антипатии, которую питала к Пушкину в течение всей его жизни некоторая часть знати (и особенно высшие должностные лица) — антипатии, которая не угасла и с его смертью. Это объясняет и то, почему Пушкин, казалось, пользующийся милостью монарха, не переставал оставаться под надзором полиции»¹.

Для 1837 года тема тайного надзора была почти исчерпана. Поэт погиб, семья получила некоторые высочайшие милости, и *зачем вспоминать*, что было до гибели и что тем милостям может помешать?

«Пушкин и тайный надзор» — этот сюжет прячется в архивы, уходит в дебри воспоминаний, редкие и тихие разговоры переживших его приятелей; но и приятели постепенно сходят со сцены. Остаются кое-какие смутные рассказы, неохотные намеки, опасные недомолвки; нечто просачивается лет через двадцать на страницы вольных изданий Герцена, но еще больше наружу не выходит: молчаливые архивы оберегают циркуляры, доносы, секретные записки.

Пушкин попадает в список лиц, «которые по представлению петербургского градоначальника могли бы быть освобождены от надзора», а затем и освобождается от него... одновременно с Достоевским, в 1875 году². После смерти Пушкина прошел период, как раз равный прожитой им жизни, — и вот вспомнили, что поэт все под надзором.

Возможно, не случайно, что именно с 1870-х годов в печать начинают просачиваться первые ручейки из запертых за десятью замками жандармских резервуаров. Сначала посмертная публикация статьи известного чиновника III Отделения М. М. Попова «Александр Сергеевич Пушкин», где впервые цитируются шестнадцать писем

¹ Н. Я. Эйдельман. Секретное донесение Геверса о Пушкине. — «Временник Пушкинской комиссии, 1971». Л., 1973, с. 15.

² См.: Г. Ф. Коган. Разыскания о Достоевском. — ЛН, т. 86, с. 600. Этот факт просочился в 1899 г. в газеты и вызвал заметку В. Г. Короленко «Стереотипное в жизни русского писателя», где, между прочим, говорилось об «освобождении великой тени от негласного надзора полиции тогдашним шефом жандармов <...>. Мезенцев тотчас же, конечно, распорядился очистить списки благонадежных лиц от ушедших литераторов, чтобы в них осталось более протора живым» (Сб.: «В. Г. Короленко о литературе». М., Гослитгиздат, 1957, с. 157—158). На эти строки указал автору А. В. Храбровицкий.

поэта к Бенкендорфу¹. Кое-что в книге П. В. Анненкова «Александр Сергеевич Пушкин в Александровскую эпоху». Это 1874 год.

Книга (С. Сухонина) — «Дела III Отделения» имеет выходную дату: 1906. Известные труды П. Е. Щеголева о Николае I и Пушкине впервые опубликованы в 1910—1912 годах. Наконец, труд Б. Л. Модзалевского «Пушкин под тайным надзором» печатается в «Былом» (1918 год), а затем тремя отдельными изданиями в 1920-х годах...

Как видим, между тайным фактом и рассказом о нем проходит почти столетие. За век до выхода книг о тайном надзоре — кто знал подробности? Царь, несколько лиц, представлявших так называемую *высшую полицию*, и несколько мелких агентов, представлявших *полицию низшую*. Этот круг успел многое скрыть и надолго...

Пока же постараемся ответить на вопрос — что угадывается в пушкинском письме к Дельвиу (написанном примерно тогда же, когда и Жуковскому):

«Милый барон! вы обо мне беспокоитесь и напрасно. Я человек мирный. Но я беспокоюсь — и дай бог, чтобы было понапрасну» (XIII, 256).

ДЕКАБРЬ — ФЕВРАЛЬ

Когда следователи по делу декабристов впервые услышали на допросах имя поэта? «Летопись жизни и творчества А. С. Пушкина» отвечает: «17 декабря. Петербург. Николай I допрашивает И. И. Пущина»².

Сейчас мы подробно разберем этот эпизод. Опережая собственные рассуждения, сразу заметим, что верим в ту беседу о Пушкине, которая была у царя с «первым другом» поэта, но предполагаем, что она могла быть позже — во время каких-то допросов 1826 года, может быть, даже в марте — апреле, когда заочное следствие над Пушкиным зашло особенно далеко. Однако нельзя отвергать возможность подобного разговора и через три дня после восстания, поэтому с него начинаем...

16 декабря 1825 года у себя дома, на Мойке, был арестован Иван Пущин. Во всем его следственном деле нет

¹ «Русская старина», 1874, № 8, с. 681—714.

² «Летопись...», с. 659.

ни одного упоминания о Пупкине, и это, конечно, несколько странно. Впрочем, как известно, далеко не все слова записывались. Обычно, например, не протоколировались беседы заключенных с Николаем I, и содержание их восстанавливается лишь по косвенным данным.

17 декабря могла состояться первая беседа Пущина с императором¹.

Тридцать пять лет спустя русское правительство напало (за пожизненную пенсию и приличный орден) французского историка Поля Лакруа для создания апологетической биографии Николая I, адресованной западному читателю. Об этом довольно откровенно писал министру двора В. Ф. Адлербергу один из главных инициаторов всего предприятия М. А. Корф: «Нужно, чтобы Лакруа был внутренне убежден, что наше правительство ни в коей мере не стремится повлиять на ход и тенденцию его работы. Надо избегать утверждений, что эта книга инспирирована и куплена Россией <...>, если же общий расход на нее составит 60 000 франков или 15 000 рублей, то это не очень дорого для биографии императора Николая I, написанной рукой мастера и распространенной по всей Европе»².

Корф был фактическим руководителем и основным информатором Лакруа: после сомнительного успеха его собственного труда «Восшествие на престол императора Николая I» он старался выполнить старую задачу, апологию Николая I, руками французского историка-литератора. Сохранились самые благоприятные отзывы Корфа на вышедшие тома сочинения Лакруа, свидетельствующие, что статс-секретарь наблюдал за этой работой от начала до конца³. Благодаря его посредничеству, историк, между прочим, записал рассказы крупнейших сановников, в том числе лиц, имевших отношение к следствию 1825—1826 годов (Адлерберга, А. Ф. Орлова); затем Лакруа, выражаясь современным языком, «завизировал» сделанные записи⁴. Возможно, от этих персон или от чрезвычайно осведомленного знатока лицейских судеб Модеста

¹ «Былое», 1906, № 5, с. 200.

² ЦГАОР, ф. 728 (рукописное собрание библиотеки Зимнего дворца), оп. 1, № 2610, л. 12—13 (на французском языке).

³ ГПБ., ф. 380 (М. А. Корфа), № 292.

⁴ Книга написана на французском языке. См.: Paul Lacroix. Histoire de la vie et du règne de Nicolas I, v. 2, 1864, p. XV (Поль Лакруа. История жизни и правления Николая I, т. 2, 1864, с. XV).

Корфа француз узнал следующую подробность, представленную в его труде (и с некоторыми любопытными отличиями — в наборном экземпляре его рукописи, попавшем после смерти автора в Петербург) ¹.

«Коллежский ассессор Иван Пуцин был активнейшим энтузиастом заговора. Было засвидетельствовано, что Пуцин побуждал многих к сопротивлению, но более всего содействовало его обвинению письмо, которое он написал накануне событий одному из своих родственников, советнику Семенову, в Москву» (далее следует верный пересказ известного письма И. И. Пуцина о предстоящем восстании и о том, что «ежели мы ничего не предпримем, то заслуживаем во всей силе имя подлецов»).

«Император, обманутый сходством фамилий Пуцин и Пушкин ², спросил, не посылал ли Пуцин подобного письма своему родственнику поэту Пушкину, чьи либеральные мнения известны всей России» (далее Лакруа приписал, затем зачеркнул пояснение: «Пушкин... который был не раз скомпрометирован... Кого злонамеренность собственных речей и сочинений привела к ссылке в родовое имение близ Пскова...»).

«Я не родственник нашего великого национального поэта Пушкина, — отвечал Иван Пуцин, — а всего лишь товарищ его по Царскосельскому лицее; но ведь общеизвестно, что Пушкин, знаменитый автор «Руслана и Людмилы», был всегда противником тайных обществ и заговоров. Не говорил ли он о первых, что они крысоловки, а о последних, что они похожи на те скороспелые плоды, которые выращиваются в теплицах и которые губят дерево, поглощая его соки?»

«Император был весьма удовлетворен тем, что знаменитый поэт, друг Бестужева, Рыльева и Кюхельбекера, не замешан ³ в заговоре; но Иван Пуцин, коллежский ритор (как его называли), не внушил государю ничего, кроме презрения и сожаления, тем более что обвиняемый пытался защищать свои теории больше, чем свою голову».

Этот текст, конечно, требует осторожного подхода, имея в виду задачу информаторов французского истори-

¹ Ср. П. Лакруа, т. 2, 1865, с. 68—69, и ГПБ., шифр фр. 01V, 179, т. II, л. 53. Частично процитировано в «Летописи...», с. 659.

² Здесь и ниже выделены слова, которые явно вписаны в готовую к набору рукопись.

³ В рукописи — «совершенно не замешан», но в последний момент Лакруа зачеркивает слово «совершенно» (absolument).

ка и его собственные, вполне определенные, воззрения. Впрочем, в любом случае запись интересна в «историко-графическом смысле»: вот так смотрели на дело в 1860-х годах Корф и его единомышленники... Однако Поль Лакруа, по всей видимости, передает, пусть искривленно, реальный исторический диалог. Ведь смелое поведение и бесстрашие Пущина подчеркнуты автором — апологетом Николая, и это заставляет отнестись с определенным доверием к тексту. Слои поздних, объяснительных поправок, внесенных в рукопись перед набором и предназначенных для читателя Западной Европы, позволяет предположить, что сначала была записана сравнительно краткая версия, со слов Корфа и других лиц: в основе, как видим, лежит анекдотический нюанс, не слишком лестный для Николая I, путающего Пушкина и Пущина. Это обстоятельство тоже говорит в пользу реальности сообщаемого эпизода... Немного отвлекаясь от основного повествования, заметим здесь, что Поль Лакруа и в некоторых других случаях добросовестно (но, вероятно, не без лукавства!) помещал в свой труд факты, снижавшие образ царя для любой категории читателей. Разговор с Пущиным является как бы логическим продолжением другого разговора о Пушкине, достоверность которого почти не вызывает сомнения: рассказывается о недоверии юного Николая, еще великого князя, к поэтам, склонным «к утопиям и опасным мыслям»; однако старший брат, Александр I, на примере Пушкина знакомит будущего царя с разными сторонами проблемы: «Руслан и Людмила» очень интересна, автор же «повеса с большим талантом». Император Александр I знал о безразличии брата Николая к поэзии вообще. «Запомни,— сказал однажды государь великому князю,— поэзия для народа играет приблизительно ту же роль, что музыка для полка: она усиливает благородные идеи, разгорячает сердце, она говорит с душой посреди печальных необходимостей материальной жизни». Это рассуждение, столь справедливое и сильное, запечатлелось в памяти великого князя, который вспоминал его позже при каждом случае и сблизился с поэзией, читая прекрасные стихи Пушкина¹.

Мы находим здесь приукрашенную версию, отражающую действительные разговоры двух царей о поэзии и Пушкине.

¹ П. Лакруа, т. 1, с. 199—200. Частично цитируется в «Летописи...», с. 298.

Так же надо подходить и к записи о беседе Николая I с Пуцциным. Логический переход от письма Пуццина Семенову — к письму в Михайловское понятен; несомненный факт отправки Пуцциным какого-то послания Пушкину перед восстанием делает вопрос царя вполне возможным. С датировкой, однако, возникают существенные затруднения: 17 декабря царь еще не имел сведений о письме Пуццина к Семенову; только в январе 1826 года, после показаний М. Ф. Орлова и других, это обстоятельство было освоено следователями. Поэтому логичнее представить подобный допрос Пуццина через месяц после восстания или позже.

Что же касается слов Пушкина о заговорах и тайных обществах (будто бы сообщаемых Пуцциным на допросе), то эта тема особая, чрезвычайно деликатная. Разумеется, Лакруа, Корф и другие слишком хотели, чтобы подобные слова были произнесены, однако яркость, афористичность приведенных фраз о «крысоловках» и «скороспелых плодах» позволяет допустить их пушкинское происхождение; Пуццин, во спасение Пушкина, мог действительно привести фразу, сказанную поэтом. Лакоичность ответов Пуццина на допросах, его постоянная сдержанность позволяют, однако, заметить: либо все эти слова выдуманы Лакруа, что маловероятно; либо они сказаны Пуцциным — и в этом случае доносят эхо слов Пушкина...¹

Столь подробный разбор «пуццинского эпизода» важен, между прочим, и потому, что в сохранившемся тексте уже ясно видны обе кривых, что сходились и расходились в те месяцы над головой Пушкина: сведения «неблагоприятные», близость к заговорщикам; и данные «во спасение» — сравнительная удаленность, неучастие.

Сохранившаяся хроника первых месяцев процесса неплохо представляет эти линии².

¹ В любом случае эта полемика о заговорах, тайных обществах интересно соотносится с ценными наблюдениями С. С. Ланды о «типологии» тайных союзов, спорах в России 1820-х гг. между сторонниками просветительской конспирации и тайного политического общества (см.: С. С. Ланда. Дух революционных преобразований, с. 250—305).

² Подобная хроника составляется впервые: в работах П. Е. Щеголева, М. В. Нечкиной, М. А. и Т. Г. Цявловских, В. В. Пугачева учтены почти все упоминания о Пушкине на декабристском процессе, однако по большинству дел было не опубликовано, датировки многих показаний давались приближенно, например: «январь 15 — май 3» (Бестужев-Рюмин о Пушкине).— См.: «Летопись...», с. 675.

22 декабря 1825. На Украине предатель Майборода сообщает допрашивающим его генералам Чернышеву и Киселеву, что Пестель недавно с помощью декабриста Лорера и некоего Гореславского сжег «сочинения Пушкина»¹. Через несколько дней эти материалы лягут на стол следственной комиссии и попадут к царю. В период поисков спрятанных декабристских сочинений, в частности, «Русской правды», известие о сожженных Пестелем пушкинских стихах звучало для поэта крайне опасно.

Вопрос о сожженных стихах существовал до *середины января*, когда доставленный в Петербург Лорер показал: «Насчет же сочинений Пушкина я чистосердечно признаюсь, что я их не жег, ибо не полагал, что они сомнительны, зная, что почти у каждого находятся и кто их не читал!»²

Стараясь избавиться от конспиративного толкования пушкинской темы, Лорер представляет важность, всеобщность запретных пушкинских стихов, их влияние на горячие головы («у каждого... кто их не читал!»); именно этот мотив в первые месяцы следствия становится основным.

Между тем, 26 декабря 1825 года, следственный комитет читает близкие по духу объяснения Александра Бестужева:

«Свободный образ мыслей заимствовал из книг наиболее <...> Что же касается до рукописных русских сочинений, они слишком маловажны и ничтожны для произведения какого-либо впечатления. Мне же не случилось читать из них ничего, кроме: «О необходимости законов» (покойного фон-Визина), двух писем Михаила Орлова к Бутурлину и некоторых блесок А. Пушкина — стихами...»³

Влияние Пушкина и других сочинителей на умы смягчено определениями «маловажны и ничтожны» — но художник, издатель «Полярной звезды», тут же *проговаривается* — «блестки».

11 января 1826 года В. И. Штейнгель в известном письме Николаю I выводит определенные закономерности

¹ ВД, т. IV, с. 21.

² Там же, т. XII, с. 47. Показание дано между 13 и 16 января. Читано следователями 16 января 1826 г. (ВД, т. XII, с. 42).

³ Там же, т. I, с. 410. Дата в «Летописи...» — «16... 19 декабря» неточна: 23 декабря следственный комитет постановил составить «проекты допросов». 26 декабря ответы А. Бестужева были записаны (ЦГАОР, ф. 48, № 26. л. 17—23).

литературных влияний: «...Высшее заведение для образования юношества, Царскосельский лицей дал несколько выпусков. Оказались таланты в словесности; но свободомышление, внушенное в высочайшей степени, поставило их в совершенную противоположность со всем тем, что они должны были встретить в отечестве, при вступлении в свет <...>. Непостижимо, каким образом <...> пропустились статьи, подобные «Волынскому», «Исповеди Наливайки», «Разбойникам-братьям» и пр. <...>. Кто из молодых людей, несколько образованных, не читал и не увлекался сочинениями Пушкина, дышавшими свободою»¹.

В этот же день комитет находит признание пушкинского влияния в показаниях мичмана Петра Бестужева, одного из младших представителей славной фамилии².

Наш рассказ, в центре которого — Пушкин, может создать ложное впечатление, будто именно поэт был главным объектом внимания карающей государственной машины тех месяцев. Разумеется, это не так. После первых откровенных показаний (Трубецкого и др.) отсутствие имени Пушкина среди членов тайных обществ было достаточно красноречивым. Б. С. Мейлах обратил внимание на *защитное* молчание о Пушкине ряда декабристов — Пуцина, Кюхельбекера, Рылеева, А. Бестужева³. Однако вопрос об идейных истоках, вдохновителях, учителей этих людей еще не был решен. Каждый из доставленных арестантов получал, между прочим, стандартный вопрос: «С которого времени и откуда заимствовали Вы свободный образ мысли, то есть от сообщества ли или внушения других, или от чтения книг, или сочинений в рукописях и каких именно? Кто способствовал укреплению в Вас сих мыслей?»

Объяснение Штейнгеля, переносившего вину, так сказать, на правительство, разумеется, мало смягчало дело с точки зрения царя и следователей. После отмеченных уже упоминаний Пушкина на допросах — Пуцин (17 декабря), Майборода (22 декабря), А. Бестужев (26 де-

¹ «Исторический сборник Вольной русской типографии в Лондоне», кн. 1. Лондон, 1859, с. 117—122; ВД, т. XIV, с. 188—190.

² ВД, т. XIV, с. 326. Вопросы даны Бестужеву 8 января 1826 г., перед тем непосредственно были заданы общие вопросы о воспитании и влияниях.

³ Б. С. Мейлах. Жизнь Александра Пушкина. Л., 1974, с. 220—221.

кабря), П. Бестужев (около 11 января), Штейнгель (11 января), Лорер (16 января) — поэт попадает в следственные бумаги 21 января: мичман Василий Дивов показал, что «свободный образ мыслей получил <...> частью от сочинений рукописных; оные были свободные стихотворения Пушкина и Рылеева и прочих неизвестных мне сочинителей, кроме одних стихов князя Вяземского на вельмож...»¹.

27 января (накануне допроса в следственном комитете) эмоционально рассказывает о себе М. П. Бестужев-Рюмин: «Первые либеральные мысли почерпнул в трагедиях Вольтера... Между тем везде слышал стихи Пушкина, с восторгом читанные. Это все более и более укрепило во мне либеральные мнения»².

28 января. Показания И. Н. Горсткينا о том, как в Петербурге, у князя Ильи Долгорукова («осторожного Ильи») «Пушкин читывал свои стихи, все восхищались острогой»³.

7 февраля. Перед допросом в комитете Штейнгель отвечает приблизительно в том же духе, как прежде Александр Бестужев: ставит стихи Пушкина в ряд печатных и рукописных трудов, повлиявших «к развитию либеральных понятий»; но притом замечает, что те сочинения «вообще читал из любопытства и решительно могу сказать, что они не произвели надо мною много действия, кроме минутной забавы: подобные мелочи игривого ума мне не по сердцу, но я увлекался более теми сочинениями, в которых представлялись ясно и имелись истины, неведение коих было многих зол человечества причиной»⁴.

Тут нет никакого противоречия с тем, что Штейнгель писал царю 11 января: там речь шла о влиянии на молодежь сочинений, «дышащих свободой», — и сорокадвухлетний Штейнгель как бы отделяет себя от той молодежи, но не упускает случая и в новом показании сослаться на объективную ситуацию, ведущую к свободомыслию: сам ход истории, особенно события в царствование Алексан-

¹ ВД, т. XIV, с. 307. Этот ответ, как и другие подобные, не датирован. Однако общие сведения составлялись непосредственно перед допросом в комитете. Здесь и позже в подобных случаях указывается дата ближайшего заседания следственного комитета.

² Там же, т. IX, с. 49.

³ М. Нечкина. Новое о Пушкине и декабристах (ЛН., т. 58, с. 158—159).

⁴ ВД, т. XIV, с. 177.

дра I, по Штейнгию, куда больше разогревают ум, чем те или иные рукописи...

Проходит еще пять дней.

12 февраля. Член Общества соединенных славян В. А. Бечаснов говорит нечто, с виду прямо противоположное Штейнгию, но, по сути, отвечающее его мнению о влиянии поэта на молодые умы: «Борисовы и Люблинский советовали мне бросить романы, как не заслуживающие потери времени, предлагали читать хороших писателей— трагедии, стихотворные сочинения Пушкина и других»¹.

«Пушкиниана» двух месяцев процесса подходит к концу (в марте—апреле начнется особый период «заочной» пушкинской биографии). Заметим только, что 17 февраля В. К. Кюхельбекер впервые называет имя Льва Сергеевича Пушкина: «Кроме пистолета, дал мне кто-то из черни палаш жандарма, которого удалось нам выручить из рук их: отдал же я палаш сей молодому Льву Пушкину, пришедшему, однако же, на площадь, как полагаю, из одного ребяческого любопытства; вскоре потом увидел я его, Пушкина, без палаша...»².

Ощущение поэта, что «от жандарма еще не ушел» и что на процессе может возникнуть его имя—верное... Два обстоятельства увеличивали опасность: во-первых, следствие над декабристами только началось, испуганные верхи еще не разобрались в том, кто главный и кто неглавный заговорщик,— хватают при случае и людей незамешанных.

Во-вторых, безопасности Пушкина постоянно вредят различные слухи, распространяемые на разных общественных полюсах; то, к чему применим знакомый термин «социальная репутация». «Летопись жизни и творчества...» фиксирует далеко не все, но достаточно типические разговоры, записи, где выражается удивление, что Пушкин еще на свободе. 13 января 1826 года Павел Болотов сообщал отцу, ученому и публицисту Андрею Болотову: «В числе сих возмутителей видим имена известного Рыльева, Бестужевых, Кюхельбекера как модных стихотворцев, которые все дышали безбожною философиею согласно с модным их оракулом Пушкиным, которого стихотворения столь многие твердят наизусть и, так сказать, почти бредят ими.—

¹ ВД, т. V, с. 277.

² Там же, т. II, с. 173.

Следовательно, корни этой заразы весьма глубоко распростирались, и нелегко выдернуть их и уничтожить...»¹

Человек совсем иного круга, чешский поэт Челаковский 3/15 февраля писал: «В этом проклятом заговоре замешаны также знаменитые писатели Пушкин и Муравьев-Апостол <!>. Первый — лучший стихотворец, второй — лучший прозаик. Без сомнения, оба поплатятся головой»². Тайный агент Локателли передавал начальству: «Все чрезвычайно удивлены, что знаменитый Пушкин <...> не привлечен к делу»³.

А. Ф. Воейков, вероятно, представлял «общий глас», когда подчеркивал через двенадцать дней после восстания, что Кюхельбекер воспитывался в Лицее, в «одно время с Пушкиным»⁴. Ему вторит человек другого ранга: 16 февраля великий князь Константин Павлович, вспомнив об исключенном некогда из Лицея Гурьеве, комментирует: «Он товарищ известным писакам — Пушкину и Кюхельбекеру»⁵.

Лицейская тема вообще фигурирует в течение всего политического процесса. Приведем один прежде неизвестный эпизод. Весной 1826 года в «Лионской универсальной газете» была напечатана статья (и как заметили в России — перепечатана в газете «L' Etoile», № 3059), где утверждалось, что «большая часть молодых людей, вышедшая из знаменитого Царскосельского лицея, в той или иной степени замешана в заговоре». При этом французские газеты не без злорадства подчеркивали отсутствие заговорщиков среди выпускников иезуитских колледжей.

Испуганный за своих учеников, бывший лицейский директор Е. А. Энгельгардт подал специальную записку, которая сохранилась в архиве Министерства народного просвещения. Энгельгардт приводил данные о верноподданной, успешной службе выпускников первых лицейских

¹ Н. А. Шиманов. Из переписки Болотовых о декабристах и Пушкине. — «Литературный архив», т. I. Изд-во АН СССР, 1938, с. 279.

² П. А. Лавров. Пушкин и славяне («Пушкинские дни в Одессе»). — «Сборник Императорского Новороссийского университета». Одесса, 1900, с. 117). Подразумевается отец трех декабристов И. М. Муравьев-Апостол.

³ Б. Л. Модзалевский. Пушкин под тайным надзором. СПб., изд-во «Парфенов», 1922, с. 11.

⁴ Сборник старинных бумаг, хранящихся в музее П. И. Щукина, кн. 5, с. 249.

⁵ «Русская старина», 1873, № 9, с. 374—375.

курсов и подчеркивал, что «лишь двое, по официальному правительственному сообщению, участвовали в гнусном заговоре, Пушкин и Кюхельбекер, причем последний вообще давно уже замечен в повреждении ума»¹. Энгельгардт просил разрешения публично защищать Лицей в немецком журнале, издававшемся Ольдекопом.

На просьбе лицейского директора с датой «апрель 1826» осталась запись министра народного просвещения Шишкова: «Докладывал на Елагине острову мая 21 дня 1826 года. Высочайшего соизволения не последовало»².

Вскоре в недрах тайной полиции будет составлена особая, болгаринская, записка «О Царскосельском лицее и духе оногo», но это произойдет уже после вынесения приговора декабристам...

Прежде коснемся событий весны и лета 1826 года.

МАРТ — АПРЕЛЬ

Проходит третий и четвертый месяц петербургского процесса и михайловского ожидания. 16 апреля псковский гражданский губернатор Адеркас представляет генерал-губернатору Паулуччи и министру внутренних дел список лиц, состоящих под надзором полиции, где под третьим (и последним!) номером значится «коллежский секретарь Александр Пушкин — по Высочайшему повелению за распространение в письмах своих предосудительных и вредных мнений исключен из списка чиновников коллегии иностранных дел и выслан в 1824 году из Одессы по распоряжению Новороссийского генерал-губернатора для жительства Псковской губернии в имении родителей под присмотром полиции <...> Ведет себя очень хорошо, занимается сочинениями»³.

В первые весенние месяцы следователи время от времени получают от заключенных показания в том же духе, что и прежде: влияние Пушкина на мысли, сожжение его опасных стихов.

3 марта. Член Общества соединенных славян, прапорщик И. Ф. Шимков объясняет, откуда у него «стихи,

¹ ЦГИА, ф. 735, № 171, л. 1 (на французском языке).

² Там же, № 171, л. 3.

³ Государственный архив Псковской области, ф. 20 (канцелярия псковского губернатора), оп. 1, № 743, л. 4—5.

наполненные мерзостным ругательством»: «найлены мною в местечке Белой Церкви 1824 года в августе месяце <...> написано П. ш. н., сие я почел за Пушкин <...>. Впоследствии времени я списал их собственною моею рукою»¹.

8 марта. Комитет заслушивает Василия Давыдова, старинного пушкинского приятеля по Каменке: «У меня же никаких бумаг, до общества касающихся, не было, кроме учреждения десяти министерств, на одном листе сочинения Пестеля <...> еще были у меня некоторые стихи Пушкина и выписки из политических сочинений. Я все сие сжег, что и другие сделали»².

Это отдельные, друг с другом не связанные, хотя и опасно накапливающиеся детали. Но вот возникает последовательная цепочка показаний. Еще 2 февраля с юга привезли арестованного Михаила Паскевича, штаб-ротмистра Белорусского гусарского принца Оранского полка. В его бумагах следователи находят два стихотворения, которые аттестуются как «богопротивные и в трешет приводящие»³.

Паскевич признался, что это перевод с французского двух стихотворных фрагментов, посвященных известному политическому событию, случившемуся в Париже в 1820 году, — убийству герцога Беррийского седельщиком Лувелем⁴. В деле Паскевича сохранились только те французские строки, с которых офицер сделал русский перевод; любопытно, что Паскевич (согласно его собственным показаниям), вырвал из контекста стихотворения, сочувственного к убитому члену королевской фамилии Бурбонов, «только то место, где убийца, стараясь идти на оное, <убийство> говорит для своего ободрения» (ситуация эта несколько напоминает историю с отрывком из пушкинского «Андрея Шенье», к которому прибавили заглавие «На 14 декабря»). Объясняя, откуда он почерпнул вольнодумческие и либеральные мысли, Паскевич ссылался на книги, «встречи с людьми такого мнения, а более от чтения вольных сочинений господина *Пушкина*»⁵.

Это показание было сделано 22 февраля⁶.

¹ ВД, т. XII, с. 261—262.

² Там же, т. IX, с. 216. Обоснование датировки — там же, с. 314.

³ ЦГАОР, ф. 48, № 94, л. 22 об.

⁴ Там же, л. 2, 24—26.

⁵ Там же, л. 2.

⁶ В деле дата отсутствует, допрос Паскевича зафиксирован в журнале заседаний следственного комитета (ЦГАОР, ф. 48, № 26; запись о заседании от 22 февраля 1826 г., л. 214—218).

Вскоре начинается самый опасный для поэта момент процесса. 27 февраля привозят с юга члена Общества соединенных славян чиновника десятого класса Илью Иванова — а у него разные вольные стихи известных и неизвестных авторов.

Иванов не назвал сочинителей, заметив, что об этом лучше знают другие «соединенные славяне»: поручик Петр Громницкий, который и передал Иванову стихи, а также майор Михаил Спиридов и поручик Николай Лисовский¹.

Почему Иванов не назвал имени авторов крамольных стихотворений, но сослался на товарищей? Не хотел их компрометировать? Думал, что товарищи тоже ответят неопределенно?

16 марта был допрошен Громницкий² спрошенный не он ли сочинил стихи, найденные у Иванова, Громницкий отказался от опасной славы, но вспомнил, что осенью 1825 года в Лещинских лагерях Бестужев-Рюмин в присутствии Громницкого, Спиридова и Тютчева прочитал «Кинжал». «Произнеси стихи сии, Бестужев спросил: «Не желает ли кто иметь их?» И, немедленно переписав, вручил их Спиридову, у которого я после брал с тем, чтобы переписать, но, носивши при себе несколько дней, я потерял оные и теперь написал только то, что мог вспомнить. Но Бестужев должен знать их, ибо он очень твердо перечитывал их наизусть...»

Как известно, вместе с этим показанием сохранился записанный Громницким текст «Кинжала», тщательно вымаранный следователями, но не выданный из дела, так как на обороте находились важные показания. Впервые, кажется, следственным документом становились уже не ссылки на стихи Пушкина, но сами стихотворные строки...

Лемносский бог тебя сковал
Для рук бессмертной Немезиды...

17 марта опять был вызван Илья Иванов — снова уклончивый ответ.

Затем перерыв в процессе декабристов: привозят и хоронят Александра I, но в конце марта следствие с особой энергией пускается по пушкинскому следу (одновременно выясняя и круг читателей Михаила Паскевича).

¹ ВД, т. XIII, с. 298.

² Там же, с. 299. «Датировка в «Летописи...» «9 февраля» — ошибочна.

31 марта. О «Кинжале» спрашивают Лисовского: неопределенный ответ. В тот же день допрос Тютчева и Спиридова. Они подтверждают, что слышали это и другие «неистовые стихотворения» от Бестужева-Рюмина, списали у него и распространили. Несколько показаний (Иванов, Лисовский, Громницкий, Тютчев, Спиридов) ведут к одному из пяти главнейших — Бестужеву-Рюмину. При этом сохраняется уже прежде выявившееся «единство судеб» Пушкина и Паскевича: несоизмеримость талантов, но сопоставимость политического звучания! И строки Паскевича, оказывается, тоже списаны и использовались для агитации Бестужевым-Рюминым.

Чем выше «ранг» читателя, распространителя — тем опаснее для автора. Мало того, там, в Лещинских лагерях, Бестужев-Рюмин взял с «соединенных славян» клятву — и они присягали на образе, что готовы нанести смертельный удар тирану. Эта клятва была среди главнейших обвинений, поведших Иванова, Громницкого, Тютчева, Спиридова, Лисовского в Сибирь, откуда никто из них не вернется. Чтение «Кинжала» одновременно с этой клятвой — часть обряда, агитационного призыва к самому страшному, по понятиям самодержавной власти, государственному преступлению.

Вероятно, Пушкина арестовали бы или, по крайней мере, доставили на следствие, если б он уже и так не был ссыльным...

Но разве Александр Сергеевич знает обо всем этом? В марте он занят пятой главой «Онегина», а найдя в «Северной пчеле» выпады Булгарина против «Эды» Баратынского, тут же отвечает веселым обращением к самому Баратынскому:

Стих каждый в повести твоей
Звучит и блещет, как червонец.
Твоя чухоночка, ей-ей,
Гречанок Байрона милей,
А твой зоил прямой чухонец.

К 5 апреля следственный комитет готовит вопросы Бестужеву-Рюмину, где, между прочим, будет и о Пушкине; а 7 апреля Россия получит необыкновенный подарок, значение которого не сразу поймут: выйдет альманах «Северные цветы» на 1826 год, а в нем впервые — стихи, к которым мы так привыкли, что невозможно представить, будто была литература без них, что был день, 7 апреля 1826 го-

да, когда в первый раз можно было прочесть «Подражания Корану» или отрывок со слов: «Ее сестра звалась Татьяна...» — или:

Быть может, лестная надежда,
Укажет будущий невежда
На мой прославленный портрет
И молвит: то-то был поэт!..

Вот что получила Россия посреди допросов, очных ставок насчет «Кинжала» и других злонамеренных стихов. Однако черная изнанка тех дней нами еще не вся рассмотрена: одна линия следствия, от «соединенных славян» к Бестужеву-Рюмину, готова слиться со второй, не менее опасной. Еще месяц назад «марта 7 дня 1826-го» довольно откровенные показания дал Михаил Пыхачев; поведение его во время восстания Черниговского полка было на грани предательства: он дал слово, на него надеялись, но воинская часть, где он служил, без всякого его противодействия разгромила восставших... На вопрос: «Кто из членов наиболее стремился к выполнению преступного предприятия советами, сочинениями и влиянием своим на других», — Пыхачев ответил: «Судя по превозносимым от Бестужева-Рюмина каким-то стихам, кои он раздавал всякому и называл сочинителями их Пушкина и Дельвига, почему я и полагаю их членами к преступным предприятиям...»¹.

По этой причине на допросе 5 апреля Бестужева-Рюмина спросят не только о пушкинском «Кинжале», но и о том, не члены ли тайного общества Пушкин и Дельвиг.

Мало того — возникает еще третья опасная линия, грозящая поэту. Следствие занялось показаниями Александра Поджио от 12 марта о совещании, которое происходило осенью 1823 года в Петербурге, на квартире Пуштина. Вспоминая о намерении Рылеева «писать катехизис свободного человека» и «о мерах действовать на ум народа», Поджио припомнил, что речь шла о сочинении песен и пародий «наподобие «Боже, спаси царя» Пушкина»². Спрашивая других старинных гостей Пуштина, комитет в начале апреля услышал от Матвея Муравьева-Апостола еще

¹ ЦГАОР, ф. 48, № 93, л. 23.

² ВД, т. XI, с. 74. Стихи эти Пушкину не принадлежали: в семье Бестужевых автором их считали Дельвига (см.: «Воспоминания Бестужевых». М.-Л., Изд-во АН СССР, 1951, с. 414, 797; комментарий М. К. Азадовского).

подробности о вольных стихах и снова о том, что их переписал Бестужев-Рюмин: ¹ третья пушкинская линия опять выводила на крупнейшего заговорщика.

И, как часто бывает, обилие опасностей порождает, притягивает новые...

8 марта 1826 года жандармский полковник И. П. Бибииков из Москвы пишет Бенкендорфу о «массе мятежных стихотворений, которые разносят пламя восстания во все состояния и нападают с опасным и вероломным оружием насмешки на святость религии, этой узды, необходимой для всех народов, а особенно — для России (см. «Гавриилиаду», сочинение А. Пушкина)» ².

Поэт, как известно, не признавался в авторстве «Гавриилиады», и хотя полковник Бибииков призывал не только к строгости, но и к тому, чтобы «польстить тщеславию этих непризнанных мудрецов» — его донесение заняло свое место на столе Бенкендорфа среди разнообразных неблагоприятных сведений о Пушкине.

ДЕЛО ПЛЕТНЕВА

Для полноты картины «март — апрель» не хватает еще одного эпизода, может быть, главного. Именно в эти дни возникло известное дело о Пушкине и Плетневе. Материалы, опубликованные в разное время, до сих пор не были должным образом сопоставлены и проанализированы. Между тем вопрос заслуживает размышлений.

Всего сохранилось шесть основных документов об этой истории с датами 4, 9, 16, 23 апреля, 5 или 6 и 29 мая.

Приведем самый ранний.

Докладная записка дежурного генерала Потапова — начальнику Главного штаба Дибичу, 4 апреля 1826 года.

«Поэма Пушкина «Цыганы» куплена книгопродавцом Иваном Слениным, и рукопись отослана теперь обратно сочинителю для каких-то перемен.

Печататься она будет нынешним летом в типографии министра просвещения. Комиссионером Пушкина по сему предмету надворный советник Плетнев, учитель истории в Военно-сиротском доме, что за Обуховым мостом, и там живущий.

¹ ВД, т. IX, с. 263.

² Б. Л. Модзалевский. Пушкин под тайным надзором, с. 9—10.

О трагедии «Борис Годунов» неизвестно, когда выйдет в свет»¹.

Даже по форме документа видно, что ему явно предшествовали другие. Это уже ответ «младшего», Потапова, на запрос старшего, Дибича. Поскольку же ответ быстро отправляется к царю (23 апреля Дибич писал, что докладывал императору о всем деле), то ясно, что до 4 апреля существовала секретная и до сей поры не обнаруженная переписка важных лиц, в ходе которой сам царь нечто приказал, Дибич передал Потапову, Потапов узнал — и сведения двинулись обратно наверх.

Содержание царского приказа Дибичу видно из самого ответа Потапова: во-первых, начальство встревожено по поводу рукописи «Цыган» и воображает, что тут очередное бесцензурное, нелегальное творение, которое вот-вот должно пойти или уже ходит по рукам; ведь все происходит как раз в те дни, когда насчет «Кинжала» и других запрещенных пушкинских сочинений идут очные ставки, допросы, когда получены показания, что Пушкин и Дельвиг, возможно, — члены общества...

Второй рукописью, заподозренной в нелегальном распространении, является «Борис Годунов».

Очевидно, в руки властей попал в те дни некий документ, отвечающий следующим признакам:

1. В нем говорится о «Цыганах» и «Борисе», законченных, но еще не напечатанных, — причем так говорится, что наверху может создаться впечатление, будто это противоположительные сочинения.

2. Упоминается Плетнев в каком-то невыгодном для него контексте.

Такой документ легко обнаруживается в Полном собрании писем Пушкина².

Пушкин — Плетневу.

7 марта 1826 года (или на день-два позже):

«Мой милый, очень благодарен тебе за все известия. — Вместе с твоим получил я письмо и от Заикина с уведомлением о продаже *Стихотворений Александра Пушкина* и

¹ Я. К. Грот. Пушкин, его лицейские товарищи и наставники, с. 255. Грот благодарит за доставку материала академика Н. Ф. Дубровина.

² На возможность перлюстрации как повода для «плетневского дела» указывал П. Е. Щеголев («Из жизни и творчества Пушкина». М.-Л., ГИХЛ, 1931).

с предложениями. Ты говоришь, мой милый, что некоторых пиэс уже цензор не пропустит; каких же? А. Шенье? итак *погодим с новым изданием; время не уйдет, все перемелется — будет мука — тогда напечатаем второе, добавленное, исправленное издание* (однако скажи: разве были какие-нибудь неудовольствия по случаю моих Стихотворений? или это одни твои предположения?). *Знаешь ли? уже если печатать что, так возьмемся за Цыганов. Надеюсь, что брат, по крайней мере, их переписшет — а ты пришли рукопись ко мне — я доставлю предисловие и, может быть, примечания — и с рук долгой.* А то всякий раз, как я об них подумаю или прочту слово в журналах, у меня кровь портится — в собрании же моих поэм для новинки поместим мы другую повесть в родѣ *Верро*¹ которая у меня в запасе. Жду ответа.

При сем письмо к Жуковскому в треугольной шляпе и в башмаках. Не смею надеяться, но мне бы сладко было получить свободу от Жуковского, а не от другого — впрочем, держусь стоической пословицы: не радуйся нашед, не плачь потеряв.

Какого вам Бориса, и на какие лекции? в моем Борисе бранятся по-матерну на всех языках. Это трагедия не для прекрасного полу.

Прощай, мой друг; деньги мои держи крепко, никому не давай. Они мне нужны. Сдери долг и с Дельвига (XIII, 266).

Мы выделили строки письма, которые могли произвести на непрошенных читателей то впечатление, которое потом отразилось в их ведомственной переписке. По всей видимости, именно это письмо было перехвачено петербургскими «шпекиными». Поскольку в тот же конверт было вложено официальное письмо Пушкина к Жуковскому, для передачи по инстанциям, с точной датой «7 марта», то и письмо Плетневу считается отправленным 7-го или в ближайшие мартовские дни. В столицу оно пришло 11 марта или на день-два позже; вторая половина марта в этом случае была занята перехватом, перлюстрацией пушкинского письма, доставкой выписки «куда следует», передачей текста царю, распоряжениями Николая I, Дибича, Потапова: времени как раз достаточно, чтобы к 4 апреля

¹ «Повесть в родѣ *Верро*» (Байрона).— Имеется в виду «Граф Нулин».

Потапов уже приготовил ответ на задачу, заданную ему выше.

9 апреля 1826 года Дибич, очевидно считая, что для доклада царю потаповская записка содержит слишком мало сведений, обращается к петербургскому генерал-губернатору П. В. Голенищеву-Кутузову (будущему распорядителю казни декабристов) с просьбой «объясниться с ним, начальником Главного штаба, о сем Плетневе при свидании»¹.

Очевидно, тема была столь деликатной, что требовала разговора с глазу на глаз: во-первых, перлюстрация, во-вторых, интерес императора. Темой беседы двух генералов должен быть Пушкин и его «новые нелегальные рукописи»; Дибич по должности знает о всех деталях происходящего декабристского процесса...

Неясно, откуда один из исследователей почерпнул сведения, будто объяснение Дибича с Кутузовым не состоялось?²

Переписка о Пушкине и Плетневе продолжалась скорее всего потому, что царь в этот момент был особенно настроен против поэта (допросы «соединенных славян», Бестужева-Рюмина, Паскевича).

Уж не к этим ли неделям относится и допрос Пуццина, описанный Лакруа?

16 апреля Голенищев-Кутузов подал вполне успокоительные сведения, что «рукопись Цыган была составлена следующим образом: служащий в департаменте народного просвещения родной брат Пушкина, при свидании с ним, читая сею поэму, выучил оную наизусть; потом, по возвращении в Санкт-Петербург, написал ее с памяти и отдал книготорговцу Сленину для напечатания, а сей отослал уже оную к автору для поправки стихов и смысла, но рукопись еще обратно не получена.

О «Борисе Годунове» известно, что Пушкин писал к Жуковскому, что она не прежде им выдана будет в свет, как по снятии с него запрещения выезжать в столицу. Наконец, сообщалось, что П. А. Плетнев «поведения весьма хорошего, характера тихого и даже робкого, живет скромно <...>, особенных связей с Пушкиным не имеет, а зна-

¹ «Русская старина», 1899, № 6, с. 509; ср.: ЦГВИА, ф. 36 (канцелярия дежурного генерала по секретной части), оп. 4/847, № 586, л. 16.

² И. С. Симонов («Педагогический сборник», 1917, № 12, с. 638).

ком с ним как литератор. Входя в бедное положение Пушкина, он по просьбе его отдает на комиссии и на продажу напечатанные его сочинения и вырученные деньги или купленные на них книги и вещи пересылает к нему»¹.

Как получил Кутузов все эти сведения, не совсем ясно. Вероятно, подсылал агента к Плетневу, Сленину или Льву Пушкину, но не исключаются и беседы с Жуковским, который именно в эти дни (см. ниже) пытался как-то улучшить участь Пушкина.

На этом, однако, не кончились репрессии, пока заочные, странным образом обрушившиеся на одного из самых мирных и далеких от заговора пушкинских приятелей. Дибич около 23 апреля докладывает обо всем Николаю I, во царю, невзирая на все успокоительные данные, «угодно было повелеть» Дибичу — «покорнейше просить <Голенищева-Кутузова> усугубить возможные старания узнать достоверно, по каким точно связям знаком Плетнев с Пушкиным и берет на себя ходатайства по сочинениям его, и чтобы ваше превосходительство изволили приказать иметь за ним ближайший надзор»².

После того уже Голенищев-Кутузов вызвал Плетнева (очевидно, это было 5 или 6 мая)³, и мы догадываемся, каков был разговор, из позднейшего рапорта генерал-губернатора (29 мая), завершающего все дело: «Имею честь уведомить, что надворный советник Плетнев действительно не имеет особенных связей с Пушкиным, а только по просьбе Жуковского смотрел за печатанием сочинений Пушкина и вырученные за продажу оных деньги пересылал к нему, но и сего он ныне не делает и совершенно прекратил с ним всякую переписку»⁴.

Итак, Плетнев защищается именем Жуковского: позднее расскажет друзьям, как Кутузов «сделал ему выговор за то, что он переписывается с находящимся под гневом властей сочинителем»⁵.

¹ Я. К. Грот. Пушкин, его лицейские товарищи и наставники, с. 255—256.

² «Русская старина», 1899, № 6, с. 510; см. также: ЦГВИА, ф. 36, оп. 4/847, № 586, л. 16 об.—17.

³ «Педагогический сборник», 1917, № 12, с. 639; «6 мая» — дата приказа генерал-майору Арсеневу иметь за Плетневым «секретное и неослабное наблюдение».

⁴ «Русская старина», 1899, № 6, с. 510.

⁵ «Русский архив», 1869, № 12, стлб. 2069. Данные близко знавших Плетнева Я. К. Грота и П. И. Бартечева.

Регулярная переписка Плетнева и Пушкина с апреля прекращается; только в июне, через Дельвига: «Плетнев тебе кланяется, он живет теперь на Кушелевой даче, верст семь от городу, и я довольно редко с ним выдаюсь. Его здоровье очень плохо. Теперь, кажется, начало поправляться, но до сих пор мы думали и его проводить к отцу Ломоносову» (XIII, 285).

Пушкин стороной как-то узнал, что не надо тревожить приятеля; пять лет спустя с Плетневым пошутит: «Уж не запретил ли тебе генерал-губернатор иметь со мною переписку?» А еще через два с половиной месяца: «Уж не воспоследовало ли вновь тебе от генерал-губернатора милостивое запрещение со мною переписываться?» (XIV, 141, 158).

То, что было весело в 1831-м,— невесело в 1826-м. Известие о Плетневе должно было объяснить Пушкину, что его дела плохи: по сути, из всего этого следовало, что поэту *запрещено печататься* (ведь Плетнев — его издатель), а также, как арестанту — *переписываться*...

Пожалуй, мы недооценивали до сих пор «апрельской грозы» — и как *вещь в себе*, и как ощущение Пушкина.

Все повисло на волоске. Все решает равнодействующая впечатлений царя, следственного комитета — и постоянных усилий немногих друзей.

АПРЕЛЬ

На допросе Бестужева-Рюмина следователи слышали уже двадцатое по счету упоминание Пушкина.

Итак, спрашивают о «Кинжале» (показания «соединенных славян» и Паскевича), а также о роли Пушкина и Дельвига (Пыхачев).

Ответ Бестужева-Рюмина зачитывается в комитете 9 апреля:¹ «Показание Спиридова, Тютчева и Лисовского совершенно справедливо. Пыхачев также правду говорит, что я часто читал наизусть стихи Пушкина (Дельвиговых я никаких не знаю). Но Пыхачев умалчивает, что большую часть вольнодумческих сочинений Пушкина, Вяземского и Дениса Давыдова нашел у него еще прежде принятия его в общество <...>

¹ ВД, т. IX, с. 289. Вопросы были заданы 5 апреля.

Рукописных экземпляров вольнодумческих сочинений Пушкина и прочих столько по полкам, что это нас самих удивляло <...>

<...> Принадлежат ли сии сочинители обществу или нет, мне совершенно неизвестно. Я Дельвига никогда не видал. С. Муравьев с ним не знаком. С Пушкиным я несколько раз встречался в доме Алексея Николаевича Оленина в 1819 году, но тогда еще был я ребенком. С. Муравьев с тех пор, что оставил Петербург, Пушкина не видал».

Пока пишет свои ответы Бестужев-Рюмин (уже почти два месяца закованный в кандалы «по замеченным в ответах его уверткам и уклонениям от истины»), следствие атакует Паскевича. Некая связь между его сочинительством и пушкинским замечена, и (нужды нет, что оба сочинителя никогда не встречались) мы легко угадаем не названное, но подозреваемое имя великого поэта в некоторых вопросах, что заданы Паскевичу «апреля 8 дня в присутствии высочайше учрежденного комитета»: ¹

«...3. Что вас побудило к изъяснениям на бумаге таких богопротивных и в трепет приводящих мыслей, каковы выражены в стихах ваших?»

4. Сие сочинение был ли плод собственных ваших мыслей, или внушенных повятий от других, и от кого именно?»

7. Кто, кроме вас, занимается подобным сочинением и старался распространить их?»

8. Комитету известно, что многие офицеры 3-й Гусарской дивизии имели у себя подобные вышеприведенным вольнодумческие стихи, и, читая сами, передавали их своим товарищам <...> Кто именно прилеплялся к сочинительству такого рода?»

На другой день, 9 апреля (как раз когда в комитете читали ответы Бестужева-Рюмина насчет «вольнодумческих сочинений»), Паскевич составил письменные ответы, где имя Пушкина появляется дважды. На пункт 3 и 4: «Читавши многие вольные стихотворения господина Пушкина, я, признаюсь, был увлечен его вольнодумством и его дерзкими мыслями, но, не находя в себе самом подобных чувств, я, по малодушию своему, и без всякого к тому таланта, хотел было подражать ему². У Паскевича сохранилось десять стихотворных строк, прославляющих тираноубийцу и начинающих со слов: «*Detruire un ty-*

¹ ЦГАОР, ф. 48, № 94, л. 22 об.— 23.

² Там же, л. 25 об.

ran ne fut jamais un crime» — «Убить тирана не преступно»¹.

На вопросы же о распространении опасных стихов среди товарищей Паскевич отвечал: «Насчет того, кто имел у себя вольномысленные стихи из офицеров в 3-й Гусарской дивизии, скажу, что сочинения сего роду Пушкина, Рыльева и многих других были известны всем почти, кто только любил заниматься чтением стихов, а в это несчастное время ослепления умов оные были читаны без всякого опасения один другому»².

Паскевича, продержав два месяца в крепости, выпустили, оставив под надзором: он сумел доказать, что не был членом тайного общества и что стихи распространились без его согласия. Такое сравнительно легкое по тем временам наказание за столь «неистовые» строки — само по себе создавало выгодный для Пушкина прецедент. Однако судьба Паскевича окончательно решится только через два с лишним месяца;³ пушкинский же вопрос теми ответами в начале апреля далеко не исчерпан.

В следующие дни Бестужева-Рюмина еще дважды спрашивают насчет стихов Пушкина и сопоставляют с его показаниями сведения, полученные от Матвея Муравьева-Апостола — но дело ограничивается перечислением приведенных Муравьевым стихов: «Ода на свободу», «Кинжал», «Деревня»; все эти названия (сами по себе уже являющиеся важной частью запретных стихотворений!) были затем так же *вымараны*, как рифмованные строки⁴. На очной ставке с Пыхачевым, 26 апреля, каждый остался при своем: Бестужев-Рюмин, к этому времени уже обремененный грузом различных обвинений, обреченный виселице, настаивал на богатом рукописном собрании Пыхачева; тот признавал за собою лишь обладание анонимными стихами «У вас Нева, // У нас Москва...»⁵.

К концу апреля широкое распространение вольных стихов Пушкина доказано, и Бестужев-Рюмин только под-

¹ М. В. Нечкина. О Пушкине, декабристах и их общих друзьях. — «Каторга и ссылка», 1930, № 4, с. 14—15.

² ЦГАОР, ф. 48, № 94, л. 26. Выделенные слова подчеркнуты карандашом — вероятно, кем-то из следователей.

³ 19 июня 1826 г. (см.: ЦГАОР, ф. 48, № 26; 146-е заседание следственного комитета, л. 540—552).

⁴ Показания М. И. Муравьева-Апостола от 10 и 12 апреля (ВД, т. IX, с. 261—262).

⁵ ВД, т. IX, с. 125. Автор стихотворения «Сравнение Петербурга с Москвой» — П. А. Вяземский.

крепяет несомненное, когда пишет: «это нас самих удивляло...»

Единственное «смягчающее обстоятельство» — что среди молодых офицеров ходят ранние стихи Пушкина, «грехи молодости».

Действительно, в 1825 — 1826 годах поэт уже далеко не тот, кем был в период «Вольности» и «Кинжала»: на многое он смотрит иначе, чем пять лет назад; держится с достоинством, не отказываясь от прошлого, но и не скрывая новых мыслей. Юношеские стихи, вольные эпиграммы живут, однако, уже независимо от автора, возвращая к прошлому иногда против воли... «Ваше величество, — отвечает Пушкин на вопросы Николая I через несколько месяцев, — я давно ничего не пишу противного правительству, а после «Кинжала» и вообще ничего не писал»;¹ это объяснение, сохраненное двумя людьми с сильной памятью — Л. С. Пушкиным и, вслед за ним, Н. И. Лорером, очень важно для поэта: самая большая опасность для него — любая полученная властями новость о свежих, недавно вышедших наружу вольных словах или сочинениях (как в случае с Плетневым при перехвате письма от 7 марта).

Между тем именно в эти первые месяцы 1826 года начинается распространение сорока четырех запрещенных строк из «Андрея Шенъ», и это обстоятельство, пожалуй, случайно не делается важнейшим препятствием к освобождению из ссылки...

Пушкин о том ничего не ведает, так же как о главных перипетиях декабристского процесса. Все названные опасности тем не менее — реальный факт его весенней биографии.

ДРУЗЬЯ

Что же делали и сделали друзья поэта «во спасение»? Жуковский отчетливо представляет, как низки акции Пушкина-верноподданного в апреле 1826 года. Известные его

¹ «Записки декабриста Н. И. Лорера», с. 200. Подразумевается, конечно — ничего не писал после «Кинжала» против правительства; поскольку же между «опасными стихами», известными властям еще по Петербургу, — и «Кинжалом» (1821) прошел определенный промежуток времени, поэт мог сказать, что вообще давно ничего не пишет против власти (вспомним, что в 1820 г. он дал слово Карамзину сдерживаться по этой части в течение двух лет).

строки из письма к Пушкину приобретают особый смысл, если иметь в виду дату *12 апреля* (сразу после показаний Бестужева-Рюмина, в разгар плетневского дела): «Что могу тебе сказать насчет твоего желания покинуть деревню? В теперешних обстоятельствах нет никакой возможности ничего сделать в твою пользу. Всего благоразумнее для тебя, остаться покойно в деревне, не напоминать о себе и писать, *но писать для славы*. Дай пройти несчастному этому времени <...> Ты ни в чем не замешан — это правда. Но в бумагах каждого из действовавших находятся стихи твои. Это худой способ подружиться с правительством. Ты знаешь, как я люблю твою музу и как дорожу твоею *благоприобретенною* славой: ибо умею уважать Поэзию и знаю, что ты рожден быть великим поэтом и мог бы быть честью и драгоценностью России. Но я ненавижу все, что ты написал возмутительного для порядка и нравственности. Наши отроки (то есть все зреющее поколение), при плохом воспитании, которое не дает им никакой подпоры для жизни, познакомились с твоими буйными, одетыми прелестью поэзии мыслями; ты уже многим нанес вред неисцелимый. Это должно заставить тебя трепетать. Талант ничто. Главное: величие нравственное. — Извини эти строки из катехизиса. Я люблю и тебя и твою музу, и желаю, чтобы Россия вас любила. Кончу началом: не просись в Петербург. Еще не время. Пиши Годунова и подобное: они отворят дверь свободы» (XIII, 271).

Постоянный заступник, Василий Андреевич, очевидно, только что побеседовал с кем-то из очень осведомленных, может быть, даже с наиболее осведомленным лицом.

В письме близко к тексту пересказываются последние документы секретного следственного комитета:

Паскевич: «Я, признаюсь, был увлечен его вольнодумством и его дерзкими мыслями»;

Жуковский: «Наши отроки... познакомились с твоими буйными, одетыми прелестью поэзии мыслями»;

Бестужев-Рюмин: «Рукописных экземпляров Пушкина... столько по полкам»;

Жуковский: «В бумагах каждого из действовавших находятся стихи твои».

Подчеркивая в своем письме, *«писать для славы»*, Жуковский умоляет, предостерегает не писать для других целей, то есть нелегально, в обход цензуры и типографии (видимо, «плетневская история» ему уже известна). Больше того — Жуковский, очевидно, допускает, что его по-

слашие также будет вскрыто, и посему употребляет сильные обороты не только для вразумления *непутевого* поэта, но и для «всевидащих». «Я ненавижу все, что ты написал возмутительного...», «талант ничто...» — разве Василий Андреевич на самом деле именно так думал?

Жуковский, конечно, не показал наверху сдержанного, холодного прошения Пушкина (от 7 марта), предназначенного для передачи важнейшим персонам и кончавшегося: «Каков бы ни был мой образ мыслей, политический и религиозный, я храню его про самого себя и не намерен безумно противоречить общепринятому порядку и необходимости» (XIII, 265—266). Однако не таков был Жуковский, чтобы отступить, не дать хода просьбе друга, не попытаться хоть что-нибудь сделать.

В те неблагоприятные мартовские или апрельские дни он говорил либо сам, либо через посредство Карамзина, и получил в ответ: «Еще не время!»

М. В. Нечкина в свое время обратила внимание на один очень интересный документ: анонимное свидетельство насчет роли Карамзина, содержащееся в «Записке о Пушкине» из Вюртембергского архива¹. Недавно удалось выяснить, что это свидетельство принадлежало уже упоминаемому нидерландскому посланнику Геверсу: «По настоятельным просьбам историографа Карамзина, преданного друга Пушкина и настоящего ценителя его таланта, император Николай, взойдя на трон, призвал поэта»².

По всей видимости, Геверс пользовался информацией Вяземского, Жуковского или близких к ним лиц³. Это обстоятельство делает очень вероятным факт каких-то хлопот умирающего Карамзина за опального поэта. Ведь известно, что именно в эти месяцы Карамзин не без успеха хлопотал перед посещавшим его царем за других членов Арзамасского братства (благонадежность которых, впрочем, была несоизмерима с пушкинской!). Ведь именно Карамзину были обязаны своим выдвижением Д. Н. Блудов и Д. В. Дашков, будущие министры николаевского правительства⁴. При обмене мнениями Карамзина с Ни-

¹ См.: М. В. Нечкина. Лев Пушкин в восстании 14 декабря 1825 года. — «Историк-марксист», 1936, № 3.

² «Временник Пушкинской комиссии, 1971». Л., 1973, с. 16.

³ Там же, с. 21—23.

⁴ См.: Е. Ковалевский. Граф Блудов и его время (царствование императора Александра I). СПб., 1866, с. 169. Характерно для Карамзина тех месяцев противоборство двух чувств: неприязни к

колаем I естественно возникновение пушкинской темы, и писатель-историк мог посоветовать царю для его собственной славы приблизить, *приручить* Пушкина. Можно даже восстановить примерные даты вероятных ходатайств Карамзина.

Согласно точным, основанным на дневниковых записях воспоминаниям постоянного посетителя дома Карамзиных К. С. Сербиновича, в декабре 1825 года «Николай Михайлович ежедневно бывал у императрицы и так часто у государя, что даже прошел слух, будто государь желает поручить ему собственную свою канцелярию с званием статс-секретаря»¹.

Именно в эти дни — непосредственно после 14 декабря — Карамзин (согласно Сербиновичу) и рекомендовал царю Блудова и Дашкова; первые разговоры о Пушкине в то время, вероятно, происходили, но следствие над декабристами только начиналось...

Позже Карамзин надолго заболевает. Сербинович отмечает, что уже 15 января 1826 года болезнь была известна всем близким. Только в марте наступает улучшение: Карамзин может принимать друзей и знакомых. Улучшение было кратким — чуть более месяца; именно в этот период — март — апрель 1826 года — происходят последние, довольно интенсивные его встречи с друзьями и единомышленниками — Жуковским, А. И. Тургеневым, Блудовым, а также — Сперанским². В начале апреля, когда созрело семейное решение об отъезде Карамзина за границу, царская фамилия проявляла особую милость и внимание к больному писателю (собственноручное письмо Николая I от 6 апреля, письма императрицы-матери, ее визит к Карамзину 15 апреля, какие-то просьбы Карамзина, которые Мария Федоровна передает «своим любезным детям»³). 9 апреля, в тот день, когда комитет слушал показания Бестужева-Рюмина о «Кинжале», — на квартире

«бунтовщикам» — Рылеву, Корнилову, и в то же время опасения, что ситуация будет использована для гонения на грамотность и просвещение (см.: М. П. Погодин. Н. М. Карамзин по его сочинениям, письмам и отзывам современников, ч. II. М., 1866, с. 471—472).

¹ «Воспоминания К. С. Сербиновича». — «Русская старина», 1874, № 10, с. 259.

² Там же, с. 259—266.

³ М. П. Погодин. Н. М. Карамзин по его сочинениям, письмам и отзывам современников, с. 479—490.

Карамзина толковали с хозяином о его «Истории Государства Российского» А. И. Тургенев, Сербинович, Полетика — «и я слышал, — записывает Сербинович, — отзывы некоторых. Известный Толстой, прозванный Американцем, когда прочитал ее, сказал: «Теперь узнаю, что у меня есть отечество»; а Пушкин выразился так о живости в ней описания событий: «Это вчерашняя газета».

Любопытна зафиксированная мемуаристом логика развития все той же беседы — после цитирования Пушкина: «Довольно распространялись о мнениях молодых людей насчет самодержавия и вольнодумства, которое проходит с летами. Николай Михайлович вспомнил о чрезмерном вольнодумстве одного из близких знакомых в молодости его, так что некто почтенный муж, слушая его речи, сказал ему: «Молодой человек! Ты меня изумляешь своим безумием!»

Николай Михайлович два раза повторил это с заметной пылкостью: «но, — прибавил он, — опыт жизни взял свое».

Возможность применения этой ситуации к Пушкину, с точки зрения Карамзина, Жуковского, несомненна; о Пушкине только что говорилось. Именно в эти дни (12 апреля) Жуковский после долгого молчания отвечает в Михайловское: «Еще не время!» — 13-го Жуковский вместе с А. Тургеневым и Блудовым — у Карамзина;¹ такова вероятная внешняя канва важных для Пушкина переговоров.

Об активности сторонников Пушкина в эту опасную для поэта весну очень интересные и малоизвестные подробности содержатся в записках И. П. Липранди, которые, как известно, были основаны на дневниковых записях. Напомним, что Липранди, арестованный по делу 14 декабря, был в феврале 1826 года, однако, выпущен с оправдательным аттестатом, вернулся на службу к графу Воронцову и весной 1826 года прибыл в Петербург уже в деловую командировку.

«В апреле 1826 года, — сообщает Липранди, — я приехал в Петербург и посетил старика Пушкина». Хотя «Санкт-Петербургские ведомости» не известили в ту пору о появлении Липранди в столице, но, по всей видимости, он приехал вместе с М. С. Воронцовым, который значится

¹ «Русская старина», 1874, № 10, с. 266. О Карамзине в последние месяцы жизни см.: В. Э. Вацуро, М. И. Гиллельсон. Сквозь умственные плотины, с. 72—75.

прибывшим из Одессы между 11 и 14 апреля 1826 года¹. Важно заметить, что «отставной 5-го класса Пушкин», то есть отец поэта, прибыл в Петербург из Москвы незадолго перед тем, «между 17 и 21 марта»: ²

Во время второй встречи с Пушкиными, «дней через десять», Липранди узнает от Льва Пушкина, что брат его «связался в деревне с кем-то и обращается с предметом уже не стихами, а практической прозой»³. Как известно, после 25 апреля М. И. Калашников с дочерью Ольгой переезжал из Михайловского в Болдино (и Пушкин просил помощи П. А. Вяземского в организации этого переезда⁴).

Итак, датировки в воспоминаниях Липранди соответствуют известным нам фактам⁵. Это позволяет отнестись с должным доверием и к следующему тексту: «От старика Пушкина я узнал об Александре Сергеевиче, что ему обещается разрешение приехать из псковского имения в Петербург за поручительством отца. На другой день старик приехал ко мне вместе с сыном Львом, который имел намерение поступить в военную службу и получил от графа Бенкендорфа предложение вступить юнкером в образовавшийся тогда дивизион жандармов». Отец и сын «питали нерасположение к этого рода службе», но Липранди их уверял, будто в жандармском дивизионе «служба чисто военная». На другой день Липранди снова встречает С. Л. Пушкина: «Старик... с самодовольной гордостью сообщил мне, что все, что он опровергал вчера поутру, по поводу вступления Леона в жандармский дивизион, вечером он сознал необходимостью <...> Кто-то (мне не сказывали имени, но по всему должно полагать, что лицо влиятельное в обществе и в семействе Пушкиных) представил ему, что этим отказом могут окончательно повредить Александру

¹ «Санкт-Петербургские ведомости», 1826, 16 апреля, № 31.

² Там же, 23 марта, № 24.

³ «Русский архив», 1866, стлб. 1489.

⁴ См.: XIII, 274—275. Несомненно, Пушкин перед тем адресовался к родителям по поводу их крепостных людей Калашниковых. Уж не с этим ли обстоятельством связан какой-то резкий выговор поэта Льву Сергеевичу, о чем Плетнев писал 14 апреля: «Твое письмо к брату убийственно. У меня бы рука не поднялась так отвечать» (XIII, 272).

⁵ Липранди, по его словам, дней через десять «должен был по поручению графа Воронцова внезапно уехать в Аккерман для некоторых приготовлений к имевшемуся быть там конгрессу». Вопрос о конгрессе решился после 28 апреля; открытие состоялось 13 июля 1826 г.

Сергеевичу, потому что предложение Льву Сергеевичу сделано было самим графом Бенкендорфом через лицо, ходатайствовавшее об Александре Сергеевиче, и что вместе с обещанием принять участие в ссыльном предложено было шефом жандармов и принятие брата под свое покровительство <...> А потому отказ вступить в жандармы может охладить графа к облегчению участи Александра Сергеевича и даже оскорбить графа». После этого отец и сын отбрасывают всякие сомнения: «За обедом все лица были веселы в ожидании скорого прибытия Александра Сергеевича. Дней через десять Лев Сергеевич пришел ко мне уже в военной форме, которая к нему очень шла»¹.

Предположение М. В. Нечкиной, что «значительным лицом», ходатайствовавшим за Александра Сергеевича, был Карамзин, представляется вполне вероятным (разумеется, при этом не исключается и активность Жуковского). Заметим, что Лев Пушкин до конца апреля 1826 года непосредственно подчинен по службе (в департаменте духовных дел и иностранных вероисповеданий) К. С. Сербиновичу и упоминается в его дневниках.

Возможные контакты с Карамзиным осуществлялись, таким образом, очень просто². Незадолго перед тем, 31 марта, имя Льва Пушкина в последний раз прозвучало на следствии: Кюхельбекер выразил опасения, как бы «молодой Пушкин не пострадал через его показание» (сделанное 17 февраля). 2 апреля вопрос был рассмотрен в комитете³. Не разделяя точку зрения, будто Льва Пушкина оставили в покое, как своеобразного «заложника» для воздействия на поэта⁴, мы не можем совершенно игнорировать связь между положением старшего брата и младшего.

Непривлечение *Левушки* к следствию после его пребывания среди восставших на Сенатской площади, отсутствие его имени в «Алфавите» декабристов, а также в обширном «Списке лиц, прикосновенных к тайному обществу и состоящих под надзором и замечанием»⁵ (чему, кажется, не могли помешать любые планы «заложничества»), — все это объясняется, по всей видимости, сравни-

¹ «Русский архив», 1866, стлб. 1487—1488.

² См.: ЛН, т. 58, с. 252—253.

³ ВД, т. II, с. 180.

⁴ См.: М. В. Нечкина. Лев Пушкин в восстании 14 декабря 1826 года. — «Историк-марксист», 1936, № 3, с. 85—100.

⁵ См.: ЦГВИА, ф. ВУА, оп. X, № 6.

тельно поздней датой показаний Кюхельбекера (17 февраля — 31 марта). Если бы подобное признание было сделано в начале политического процесса, тогда Льва Пушкина действительно могла постигнуть судьба Цебрикова или Горского, примкнувших на краткое время к мятежникам и осужденных. Однако в конце февраля и в марте комитет уже довольно отчетливо представлял список «заговорщиков», а 26 марта узнали «высочайшую волю, чтобы комитет, при открытии новых лиц, участвовавших в тайном обществе, представлял бы к взятию тех только, кои по показаниям и справкам окажутся сильно участвовавшими в преступных намерениях и покушениях общества...»¹.

Лев Пушкин, конечно, не подходил под категорию «сильно участвовавшего». И при всем том *неблагонадежность* была существенным фактором его биографии, а правительство обращало внимание на общность духа двух братьев еще до 14 декабря. В известном эпизоде (ноябрь 1824 года), когда власти заинтересовались приехавшим из Новоржева «дворянином Пушкиным» (не Александр Сергеевич ли без разрешения?), начальник Главного штаба Дибич запрашивал: «Какой Пушкин, как же он дворянин без чина и служит по министерству?» Министр народного просвещения отвечал, между прочим, что Л. С. Пушкин «обучался около двух лет в здешнем университетском пансионе и исключен из оного в начале 1821 года по поводу обиды, сделанной учениками сего пансиона учителю Пенинскому. В департаменте духовных дел не замечан он в худых поступках <...> Между тем требую я точнейшей справки, за что именно Пушкин исключен из пансиона и об последствии не умедлю вас, милостивый государь мой, уведомить»².

Проверка благонадежности Льва Пушкина в 1826 году предложением, исходящим от Бенкендорфа, — была вполне возможной. В этот период формировалось будущее III Отделение, куда старались привлечь и некоторых вчерашних вольнодумцев (как это позже удалось, например, с Дубельтом, числившимся по «Алфавиту» декабристов). Да и сам А. С. Пушкин отвергнет сделанное ему предложе-

¹ ЦГАОР, ф. 48, № 26; 87-е заседание следственного комитета, 26 марта 1826 г.

² «Русская старина», 1901, № 1, с. 436; ср.: ЦГВИА, ф. 36, оп. 3/847, № 61, л. 3.

ние — отправиться на Кавказ, числясь по штату Бенкендорфа¹. И ведь Липранди, хоть и не служивший в III Отделении, но исполнявший в царствование Николая I различные поручения по части политического сыска, — прежде был близок к декабристам, попадал под арест, в «Алфавит». Его совет Льву Сергеевичу принять предложение Бенкендорфа отражает «личный опыт».

Так или иначе, но жандармская инициатива была проявлена; впрочем, как мы знаем, дело обшлося, Лев Пушкин не стал жандармом: возможно, тут была простая проверка благонамеренности, совпавшая с *максимальным гневом* властей против поэта. Не исключено также, что сам Бенкендорф не пожелал иметь столь ненадежного сотрудника.

Несколько месяцев спустя, осенью 1826 года, Лев Пушкин по-прежнему скорбит о разбитой карьере и решает записаться в армию, действующую против Персии. Реакция Сергея Львовича в связи с этим чрезвычайно примечательна, и, хотя дело было уже после освобождения Александра Сергеевича, об этом уместно поговорить сейчас: через посредство одного документа перед нами предстанет во всей определенности и сам Пушкин-отец, и его отношения с сыновьями, и те разговоры, что в доме Пушкиных велись постоянно, особенно в 1826 году.

Текст, который будет сообщен, никогда не печатался. История его такова: в документах по секретной части канцелярии дежурного генерала Главного штаба сохранилось дело с занятным названием «О препровождении к генерал-адъютанту Бенкендорфу выписок из писем разных лиц для объяснения по оным с г. начальником Главного штаба Его Величества. Начато 21 октября 1826 года, кончено 29 декабря того же года»².

Большую часть этого дела составляют сопроводительные бумаги насчет перлюстрированных писем, вскрытых службой Дибича и пересылаемых Бенкендорфу. Всего в деле упоминается тридцать девять писем, из которых со-

¹ «Бенкендорф <...> благосклонно предложил средство ехать в армию. «Какое?» — спросил Пушкин. Бенкендорф отвечал: «Хотите, я вас определю в мою канцелярию и возьму с собою?» — «В канцелярию III Отделения!» — Разумеется, Пушкин поблагодарил и отказался от этой милости» («Из записной книжки Н. В. Путяты». — «Русский архив», 1899, № 6, с. 351, где напечатано без последней фразы; подлинник в ЦГАЛИ, ф. 394, оп. 1, № 46, л. 62).

² ЦГВИА, ф. 36, оп. 4/847, № 488.

хранился текст лишь семи: остальные в основном отложились в архиве III Отделения и оттуда более полувека назад были извлечены Б. Л. Модзалевским. Это относится, в частности, к перехваченным письмам С. Л. Пушкина — брату Василию Львовичу и мужу сестры Матвею Михайловичу Сонцову — оба письма от 17 октября 1826 года¹.

В числе же бумаг, почему-то оставшихся в военном ведомстве, интересная выписка «из письма с подписью Serge P. из Санкт-Петербурга от 12 октября 1826 года к Василию Львовичу в Москву»². Serge P., конечно, Сергей Львович Пушкин. Содержание же выписки (в переводе с французского языка) таково:

«Полагаясь на волю божью, в связи с тем горем, в котором ты принимаешь участие³, я узнаю вдобавок о решении Льва отправиться в Персию, поскольку он не видит другого средства для продвижения.

Я не могу тебе представить даже приблизительный перечень всего того, что я пережил. — Если мы ему решительно запретим и если он ничего не достигнет здесь — что за упреки он будет иметь право обрушить на нас! Этому я так же обязан Александру Сергеевичу. Лев никогда не желал быть военным, но сколько он испытал разочарований в гражданской службе только потому, что он его брат; Льва приказано не продвигать и держать под надзором.

Я боюсь в самом деле передать тебе мои страдания, чтобы не возбудить слишком сильно твою чувствительность. Моли бога за меня».

Итак, старший сын, вредящий карьере младшего, — Александр Сергеевич, из-за которого Лев Сергеевич может погибнуть в Персии: концепция «злого гения семейства», сложившаяся во время осенней ссоры 1824 года (когда Сергей Львович согласился надзирать за старшим сыном) — она теперь развита и дополнена. Между тем Сергей Львович пишет брату вскоре после освобождения сына-поэта из ссылки!

Возможно, что приказание «не продвигать» Льва Сергеевича относится и к его несостоявшейся службе в ве-

¹ Б. Л. Модзалевский. Пушкин под тайным надзором, с. 31—32.

² ЦГВИА, ф. 36, оп. 4/847, № 61, л. 5.

³ Подразумевается, очевидно, конфликт Сергея Львовича с Александром Сергеевичем, о чем см.: Б. Л. Модзалевский. Пушкин под тайным надзором, с. 31—32:

домстве Бенкендорфа. Теперь мы понимаем, что на письмо (от 12 октября) последовал несохранившийся ответ Василия Львовича: дядюшка поэта заверял брата, что его отношения со старшим сыном исправятся; Сергей Львович отвечал новым каскадом жалоб и угроз (уже известным по публикации Б. Модзалевского):

«Нет, добрый друг, не думай, что Александр Сергеевич почувствует когда-нибудь свою неправоту передо мной <...> Не забудь, что в течение двух лет он питает свою ненависть, которую ни мое молчание, ни то, что я предпринимал для смягчения его изгнания, не могли уменьшить <...> Как повелевает теперешнее Евангелие, я люблю в нем моего врага»¹.

Сам факт вскрытия посланий Пушкина-отца к дядюшке, конечно, тоже говорит о многом, но относится уже к периоду за рамками нашего рассказа; пока же, весной 1826 года какой-то невидимый, но влиятельный ходатай «заставляет» брата Льва соглашаться на голубой мундир (конечно, отец и здесь видел вину старшего сына). Впрочем, благонамеренность проявлена, и, вероятно, это сыграло свою роль в борьбе за участь поэта весной 1826 года.

Весеннее обострение, можно сказать, кончается ничем. Верховная власть сильно хмурится при упоминании о Пушкине, друзья лишь несколько нейтрализуют высочайший гнев...

МАЙ — ИЮЛЬ

«Грустно мне, что не прощусь с Карамзиным,— пишет Пушкин 27 мая,— бог знает, свидимся ли когда-нибудь». А Николая Михайловича Карамзина уж пять дней, как нет в живых.

29 мая. Секретный приказ царя — «из дел вынуть и сжечь все возмутительные стихи», чтобы какой-нибудь любознательный чиновник вдруг не выучил наизусть.

Горит или густо зачеркивается «Кинжал» и другие негосударственные стихотворения.

3 июня. Пушкин (в Пскове) выигрывает, проигрывает в карты и обращается к партнеру Ивану Великопольскому:

С тобой мне вновь считаться довелось,
Певец любви то резвый, то унылый;

¹ Б. Л. Модзалевский. Пушкин под тайным надзором, с. 31.

Играешь ты на лире очень мило,
Играешь ты довольно плохо в штосс.

Начало июня. В Тригорском получены газеты, сообщающие, что следствие над декабристами окончено и назначается Верховный уголовный суд.

Середина июня — середина июля. Поэт Языков гостит в Тригорском и у Пушкина: танцы, экспромты, жженка, путешествия по округе; «обхождение, — вспомнит Языков, — совершенно вольное и беззаботное, потом деревенская прелесть природы, наконец, сладости и сласти искусственные, как-то: варенья, вина и проч., — и все это вместе составляет нечто очень хорошее, почтенное, прекрасное, восхитительное, одним словом — житье!»

Впрочем, П. А. Осипова позже вспомнит: «Лето 1826 года... Удушающая жара, отсутствие дождей»; Языков же, через несколько дней после отъезда из Тригорского, сочинит:

Рылеев умер, как злодей —
Вспомяни о нем, Россия...

Пушкин пишет Вяземскому:

«Счастливее, чем Андрей Шенье, — я заживо слышу голос вдохновения» (XIII, 278).

Фраза примечательная: Пушкин счастливее казенного французского поэта, но и он — «заживо...»; среди веселых языковских дней и ночей возникают мысли и строки, прежде — зимой — не слышные: некоторая усталость, раздражение; такого *болдинского* обилия стихов, как в начале года, не наблюдаем, — зато проступают контуры «Пророка» и гневное «Так море, древний душегубец...». Мысль, что *заберут*, не снимала легкой насмешливости, творческого порыва; но теперь возникает другое опасение:

Забудут: «Незабавно умереть в Опоческом узде».

Вяземский советует написать царю, тем более что следствие окончилось. Пушкин отвечает 10 июля: «Твой совет кажется мне хорош — я уже писал царю, тотчас по окончании следствия, заключая прошение точно твоими словами. Жду ответа, но плохо надеюсь. Бунт и революция мне никогда не нравились, это правда: но я был в связи почти со всеми и в переписке со многими из заговорщиков. Все возмутительные рукописи ходили под моим именем, как все похабные ходят под именем Баркова. Если бы я был потребован комиссией, то я бы, конечно, оправдал-

ся, но меня оставили в покое, и, кажется, это не к добру. Впрочем, черт знает» (XIII, 286).

Повод для прошения — старый, как в прошлом, 1825-м: плохое здоровье, варикозное расширение вен. На имя Николая I составляется послание — «с надеждой на великодушие Вашего императорского величества, с истинным раскаянием <за давнее «легкомысленное суждение касательного афеизма»> и с твердым намерением не противуречить моими мнениями общепринятому порядку (в чем и готов обязаться подпискою и честным словом)» (XIII, 283).

Вяземский найдет это обращение к царю недостаточно горячим, слишком уже отличающимся от множества просьб, написанных в те месяцы на высочайшее имя со слезами, мольбой, сильнейшим выражением верноподданнических чувств. Пушкин же, получив упрек Вяземского вскоре после приговора декабристам, ответит: «Ты находишь письмо мое холодным и сухим. Иначе и быть невозможно. Благо написано. Теперь у меня перо не повернулось бы» (XIII, 291).

В те печальные летние месяцы — среди казней, каторжных приговоров, тюремных сроков, ссылок, надзора — Пушкин держится с прекрасным достоинством свободного человека.

В его прошении говорится о расстроенном здоровье, «роде аневризма», из чего выводится необходимость ехать лечиться в чужие края. Прежде чем это послание медленню (как полагается, по инстанциям — через псковского губернатора, а затем генерал-губернатора) — двинулось к престолу, оно было сопровождено медицинской справкой, подтверждавшей, что проситель не лжет и болен в самом деле; справку, как видно, потребовал добрый псковский губернатор фон Адеркас, и по дате, которая выставлена на пей, мы узнаем, когда прошению был дан «официальный ход».

Дата — *19 июля 1826 года*. Задержимся на этом дне.

Пушкин в Пскове встречается с лекарем, провожает Языкова.

Шесть дней назад на кронверке Петропавловской крепости казнили пятерых декабристов — но об этом, видимо, еще не знает даже губернатор фон Адеркас. Только 24 июля Пушкин прочтет в «Северной пчеле»¹ и через несколь-

¹ «Северная пчела», 1826, 17 июля, № 85. Сообщено А. Г. Петровым.

ко дней запишет, на листке, возле стихов «Под небом голубым страны своей родной...»: «Узнал о смерти Р. П. М. К. Б.».

19 июля еще не вышли — через несколько дней появятся — газеты с перечислением осужденных в каторгу, и Пушкин прочитает: «Пушкин, Кюхельбекер, Александр Бестужев, Василий Давыдов, Никита Муравьев, Волконский, Якушкин, Лунин...» еще ряд знакомых или хорошо известных. Заочно — Николай Тургенев. «Повешенные повешаны, — напишет Пушкин через три недели, — но каторга 120 друзей, братьев, товарищей ужасна...» Во всеподданнейшем докладе Верховного уголовного суда содержались обвинительные формулировки, легко применимые к поэту (распространение «возмутительных сочинений», полное или неполное знание «сего умысла» и т. п.¹).

19 июля 1826 года из Петербурга в Новоржев выедет коллежский советник Александр Бошняк и фельдъегерь Василий Блинков с открытым листом (то есть ордером) на «арестование и отправление Пушкина куда следует, буде бы оказался действительно виновным».

«ОТКРЫТОЕ ПРЕДПИСАНИЕ»

Александр Карлович Бошняк — очень важный человек в истории тех лет, однако ни в одном официальном документе его имя не было прямо обозначено: только один раз косвенно (в «Донесении Следственной комиссии») — «агент графа Витта». Впервые об этих людях будет громко объявлено с парижской кафедры шестнадцать лет спустя — 7 июня 1842 года. Адам Мицкевич, в последней лекции «второго курса» своего чтения о славянских литературах, расскажет:

«Сын польского генерала и гречанки, граф Витт сам не знал толком, к какой национальности он принадлежит и какую религию исповедует. Он был ревностным представителем иностранной партии, существовавшей тогда в России. Он возглавлял в ту пору полицейские власти в южных губерниях. Граф Витт уже имел сведения о существовании заговора от одного из своих агентов, фамилию которого я назову, так как она не упоминается ни в одном официальном документе, ни в одной истории, от некоего

¹ См.: Б. С. Мейлах. Жизнь Александра Пушкина, с. 227.

Бошняка, предателя, шпиона, более ловкого, нежели все известные герои этого рода в романах Купера.

Этот Бошняк, литератор <...> всюду сопровождал графа Витта под видом натуралиста. Он хорошо говорил чуть ли не на всех языках, сумел втереться в разные тайные общества, и он сообщал графу Витту секретные сведения о заговоре»¹.

Современники свидетельствуют, что Бошняк, человек просвещенный, в юности учившийся вместе с Жуковским, обедавший с Вяземским и Карамзиным, рассматривался другими просвещенными людьми как представитель своего круга, что почти ограждало его от подозрений в связях с властью, доноситељстве.

Великий польский поэт сам был под надзором Витта — Бошняка и чудом уцелел². Возможно, Мицкевич сумел позже кое-что рассказать Пушкину об опасности, которой тот подвергался еще на юге, находясь в сфере наблюдения Ивана Осиповича Витта; однако лишь в 1870-х годах Анненков впервые предал гласности факт, что некий агент невидимо кружил над Пушкиным летом 1826 года³.

А. А. Шилов и Б. Л. Модзалевский опубликовали черновой отчет Бошняка о проверке лояльности Пушкина. Он начинается со следующего вступления:

«Командиру резервного кавалерийского корпуса генерал-лейтенанту графу Витту.

Коллегии иностранных дел от коллежского советника Бошняка

Р а п о р т

Вследствие словесного приказа вашего сиятельства, отъехав Псковской губернии в город Новоржев для порученного исследования, текущего года, июля 19-го дня, окончил я оное того же месяца 24-го числа вечером, почему и отправил ожидавшего меня на станции Бежаницах фельдъегеря Блинкова 25-го числа в 8 часов утра обратно

¹ А. Мицкевич. Собр. соч. в 5-ти томах, т. IV. М., Гослитиздат, 1954, с. 386—387.

² С. Я. Боровой. Мицкевич накануне восстания декабристов. — ЛН, т. 60, кн. I, с. 445—462; С. С. Ланда. Мицкевич накануне восстания декабристов (Из истории русско-польских общественных и литературных связей). — Сб.: «Литература славянских народов», вып. 4. М., 1959, с. 91—187.

³ П. Анненков. Александр Сергеевич Пушкин в Александровскую эпоху, с. 320.

в С.-Петербург. Что ж найдено мною, прямо касающегося до известного предмета, равно как и до других, довольно важных обстоятельств, изъяснено в двух прилагаемых при сем записках под литерами А и В. Равным образом честь имею при сем представить для препровождения куда следует выданный под мою расписку из канцелярии дежурства его императорского величества и оставшийся без употребления открытый лист за № 1273 на имя фельдъегеря Блинкова, также и отчет в издержанных на прогоны деньгах из числа выданных из той же канцелярии на оные 300 рублей, оставшиеся от которых 51 р. 70 к. при сем же прилагаются.

Москва. Августа 1-го 1826».

Прилагаемые к рапорту документы не оставляли сомнения, что «препорученное исследование» касалось поэта. Упомянутый же в нем (но к тому времени не обнаруженный) открытый лист за № 1273, понятно, был не чем иным, как «ордером» на арест, документом куда, в случае надобности, можно было вписать имя Пушкина.

Кажется, никогда не ставился вопрос о «ведомственном происхождении» этой командировки: какое отношение Витт, начальник южных военных поселений, имел летом 1826 года к Пушкину? Отчего именно по его «словесному приказанию» некто едет, да еще с «открытым листом № 1273» — проверять Пушкина?

Оказалось, что еще существуют некоторые неосвоенные архивные и литературные резервы, позволяющие углубиться в ту секретную игру, что разворачивалась вокруг великого поэта и которая, как говорилось, составляет важную часть его «невидимой биографии».

Вернемся несколько назад.

Разнообразные биографические сведения об Иване (Яне) Осиповиче Витте (1781—1840)¹ (к сожалению, не опирающиеся на его бесследно исчезнувший семейный архив²) позволяют ясно представить эту личность: маленького смуглого человека, чрезвычайно хитрого, по существ-

¹ Биография Витта, написанная Н. П. Чулковым в «Сборнике биографий кавалергардов», т. 2 (1762—1801). СПб., 1904, с. 448—458. Большой, интересный материал в статье С. С. Ланды «Мишкевич накануне восстания декабристов», с. 132—146.

² Наследницей Витта была малолетняя племянница Софья Львовна Нарышкина (будущая Шувалова).— ЦГИА, ф. 1092, оп. 1, № 280.

ву, малограмотного, но умеющего производить (особенно на высший генералитет Николая I) впечатление исключительной образованности и начитанности; нечистый на руку, необыкновенно ленивый, но в ответственные, краткие моменты — очень дельный администратор (у которого «ртуть в жилах», — заметит ненавидящий его Ф. Ф. Вигель); Витт — это интриган, умеющий надеть любую маску, прославленный донжуан, вкрадчивый карьерист, крупный мастер сыска и провокаций. Великий князь Константин Павлович, впрочем, еще с юных лет испытывавший к Витту острую неприязнь, в декабре 1825 года писал Дибичу: «Генерал Витт такой негодяй, каких свет еще не производил: религия, закон, честность для него не существуют. Словом, это человек, как говорят французы, достойный виселицы»¹.

Быстрой карьерой (в 20 лет полковник) Витт был обязан в значительной степени родственным связям с виднейшими польскими и русскими аристократами, которыми его наградила знаменитый отчим граф Станислав Щенсный Потоцкий;² впрочем, быстро продвигаясь в чинах, Витт не снискал славы знаменитого воина: когда на маневрах предводительствуемая им сторона начала безо всякой видимой причины отступать, генерал Ермолов объяснил изумленному Николаю I: «Вероятно, Витт принимает это дело за настоящее...» Зато очень рано генерал был оценен Александром I (как позже и Николаем I) за услуги «особого рода»; видимо, первые уроки были даны еще в детстве: мать Витта, знаменитейшая красавица Софья Витт³, еще в 1780-х годах «приобрела расположение самого светлейшего <Потемкина>, который давал ей тайные политические поручения»⁴. Началом своей «секретной карьеры» Витт считал 1809 год. В 1811 году он, вероятно, возглавлял полицейский сыск в польских провинциях. В дальнейшем, находясь фактически во главе военных поселений южной России, Витт сумел сохранить

¹ «Русская старина», 1882, № 7, с. 196.

² Единоутробные сестры Витта вышли замуж за виднейших сановников империи Л. А. Нарышкина и П. Д. Киселева.

³ Гречанка по происхождению, служанка в Турции, затем наложница польского дипломата, жена польского офицера Витта и, наконец, графиня Софья Потоцкая, в честь которой названа знаменитая Софиевка близ Умани.

⁴ Не вошедший в печатный текст фрагмент статьи Н. П. Чулкова о Витте (ЦГВИА, ф. 3545 (кавалергардского полка), оп. 4, № 511, л. 10).

особое расположение Александра I, несмотря на гигантский перерасход сумм (о чем было известно декабристам), а также ревнивую ненависть Аракчеева.

Весьма осведомленный А. Ланжерон свидетельствовал: «Абсолютное доверие, которым почтил Витт в последний период своего царствования император Александр; его, если можно так выразиться, слепота насчет Витта (если только это доверие не было основано на необходимости, которую император испытывал в нем) — все это было настолько удивительно, что все окружение государя и вся армия испытывали к Витту ненависть, столь же активную, сколько преувеличенную»¹.

В делах канцелярии Главного штаба сохранились некоторые документы, намекающие на тайную деятельность генерала. Дибич писал о нем: «Он человек чрезвычайно полезный в особенных обстоятельствах и способен к особенным должностям». 11 января 1823 года Дибич «по высочайшему повелению» предписывал киевскому губернатору «обратить должное внимание на изустное поручение, кое к вам имеет генерал-лейтенант граф Витт»².

«Император поручил мне три больших дела», — хвалился Витт «бофреру» Киселеву 4 мая 1823 года. Одной из этих работ было главное управление Ришельевским лицеем в Одессе, возможным рассадником вольномыслия на юге; почти совершенно развалив это учебное заведение (в котором хозяйничали адъютанты генерала и горничная его возлюбленной Каролины Собаньской), Витт тем не менее благодаря этой должности осуществлял секретное наблюдение за польскими профессорами, что внезапно привело и к «находкам», касающимся декабристов.

Втереться в доверие к оппозиционным и революционным кругам генералу помогла уже отмеченная постоянная его вражда с Аракчеевым³. Пушкину, не знавшему, конеч-

¹ «Записки Ланжерона», т. III, ГПБ., ф. 73 (В. А. Бильбасова), № 276, л. 93 (на французском языке). Эта запись была сделана в 1826 или 1827 г.

² См.: С. С. Ланда. Мицкевич накануне восстания декабристов (ЦГВИА, ф. ВУА, № 773). А. Ф. Ланжерон сообщает, что Витт переписывался с царем, минуя Аракчеева — через Ф. П. Уварова. «Записки Ланжерона», т. III, ГПБ., ф. 73, № 276, л. 93.

³ 23 декабря 1823 г. Витт решился даже пожаловаться царю на притеснения Аракчеева (ЦГВИА, ф. ВУА, № 17269, ч. 1, л. 1—3). Осенью 1826 г. появились слухи о возвращении Аракчеева, и Витт писал Дибичу, что «не желает иметь ничего общего с человеком, причинившим огромное зло стране и государю» (там же, л. 36; на французском языке).

но, о тайной деятельности Витта, могла, между прочим, импонировать и его неприязнь к Воронцову: рассчитывая без успеха на пост новороссийского генерал-губернатора, Витт, как свидетельствуют современники, имел от царя секретные инструкции — наблюдать за «склонным к либерализму» Воронцовым...¹

Витт был связан с провокатором Шервудом, однако главными его агентами были два человека: Каролина Собаньская, урожденная Ржевуская, многолетняя гражданская, а позже и законная супруга генерала; с апреля 1825 года возникает фигура Бошняка², отставного коллежского асессора, естествоиспытателя, костромского дворянина, оказавшегося на юге после получения по наследству имения близ Елисаветграда («столицы» южных военных поселений, где находилась штаб-квартира Витта).

Сведения о начале шпионской карьеры Бошняка противоречивы. Потомки утверждали, будто он был «бесхарактерной жертвой хитрого Витта»;³ согласно хвастливым рассказам самого генерала, воспроизведенным много лет спустя Ксаверием Браницким, Витт завербовал Бошняка, действительно «склонявшегося к вольнодумству», угрозой ареста, расправы...

Для более полной характеристики тех лиц, что летом 1826-го устремляются на Пушкина, отметим существование версии, будто и сам генерал Витт работал «надвое»: согласно Браницкому, Витт утверждал, что «вначале собирался примкнуть к заговору, полагая, что дело шло о свержении всесильного Аракчеева, отвратительного великого визиря Руси». Однако затем Витт будто бы догадался об истинной сущности заговора, и «все колебания показались преступными»⁴. Это удивительным образом совпадает с замечанием Мицкевича, что «граф не спешил предупредить правительство. С одной стороны, он хорошо знал генерала Аракчеева, в ту пору облеченного императором всей полнотой власти. С другой стороны, хотел выяснить, каковы планы заговорщиков и средства, которыми они располагали. Но донос Шервуда заставил Витта послать

¹ Об этом, между прочим, см.: X. Korczak-Branicky <К.с. Корчак-Браницкий>. Les Nationalités slaves. Paris, 1879.

² «Красный архив», 1925, № 2, с. 205.

³ Там же, с. 198.

⁴ X. Branicky. Les Nationalités slaves, p. 326.

рапорт в Петербург»¹. С этим согласуется и любопытная версия декабриста Сергея Волконского, который писал о превращении Бошняка в тайного агента: «При его образованности, уме и жажде деятельности помещичий быт представлял ему круг слишком тесный. Он хотел вырваться на обширное поприще и ошибся»².

Возможно, в самом начале и наблюдались какие-то сомнения Бошняка, однако летом 1825 года он уже верой, правдой и охотой служит могущественному генералу.

Разумеется, объяснения родственников Бошняка, будто его падение вызвано «неровностями характера», совершенно недостаточны. Однако для истории секретной поездки к Пушкину интересно воспоминание племянника (тоже Александра Бошняка): «Дядя <...> признавался моему отцу, что поэзия входившего тогда в славу Пушкина ему вовсе не нравится, но что он принужден восхвалять его, так как кругом его расточаются похвалы явившемуся поэту»³.

Ф. Ф. Вигель в своих записках говорит о тайной деятельности Витта и Собаньской как о широко известном факте, но он вспоминает много лет спустя⁴ («служба» Собаньской получила огласку, начиная с подавления польского восстания в 1831 году)⁵. В начале же 1820-х годов на юге, разумеется, ни Пушкин, ни южные декабристы обо всем этом не подозревали, да и Мицкевич многое осознал позже. Как известно, Пушкин еще незадолго до отъезда на север в 1824 году хлопотал об устройстве в ведомстве Витта, наверное, самого неподходящего для этого ведомства человека в России — Вильгельма Кюхельбекера...⁶

В 1825 году Витт, с помощью Собаньской и Бошняка получает важные сведения о южных декабристах и представляет их верховным властям⁷. Однако зимой и весной

¹ А. Мицкевич. Собр. соч., т. 4, с. 388. В этой связи следует задуматься над замеченным С. С. Ландой интереснейшим обстоятельством — стремлением Витта первоначально не включать в свои доклады известных ему сведений о польском тайном обществе.

² «Вестник всемирной истории», 1901, № 1, с. 102.

³ ЦГАОР, ф. 279, № 474, л. 4.

⁴ Ф. Ф. Вигель. Записки, ч. VII. М., 1893, с. 185—186.

⁵ «Рукою Пушкина». М.-Л., «Academia», 1935, с. 188—198.

⁶ См.: «Остафьевский архив», т. V, вып. 2. СПб., 1913, с. 121—123.

⁷ Провокационные методы Витта вызвали следующую оценку верноподданного Лапжерона: «Витт очень полезен для такой службы, но, вероятно, многие не захотели бы оказаться на его месте за любую цену» (ГПБ., ф. 73, № 276, л. 93—94; на французском языке).

1826 года Витт, как это видно по его переписке, сидя на юге, сильно взволнован: Бошняк находится в Петербурге уже несколько месяцев¹, давая необходимые показания против Лихарева, Давыдова и других декабристов; враг Витта Аракчеев явно не играет особой роли при новом дворе. Ситуация для карьеры генерала-интригана кажется очень благоприятной, он рвется с юга в Петербург, но пока его не призывают. В начале 1826 года Витт просится в отпуск в столицу, но получает через Дибича отказ: «Буде же, ваше сиятельство, имеете сообщить что-либо особенно важное и лично его величеству, то в таком случае можете донести об оном государю-императору в собственные руки в особом пакете на мое имя»². Тогда Витт ответил любопытной демонстрацией своих особых заслуг: «...Всемилоостивейший государь! Позвольте мне еще присовокупить, что блаженной памяти покойный государь удостоивал меня вполне своего доверия; еще с 1809 года и до последней минуты своей жизни возлагал на меня поручения особенной важности, поручения, большей частью никому, кроме его величества и меня, не известные; что по сим поручениям я имел счастье доносить прямо его императорскому величеству, и что ни от кого, кроме как лично от самого покойного государя, об известных ему предметах я не получал ни наставлений, ни разрешений, и потому ежегодно по одному или по два раза, смотря по обстоятельствам, приезжал я в столицу или в место пребывания его императорского величества и, доложив ему лично о нужном, принимал словесные государя приказания. Поелику сии поручения касались разнообразных предметов и часто требуют пространных объяснений, то, желая очистить себя совершенно по всему до меня возложенному, и осмеливаюсь я всеподданнейше испрашивать счастья лично быть допущенну к вашему императорскому величеству»³.

Верный помощник Александр Бошняк также не упускает случая подыграть шефу. 25 марта 1826 года он общал следственному комитету: «Почитаю нужным при-

¹ Вызван комитетом 16 января 1826 г. («Красный архив», 1925, № 2, с. 200).

² ЦГВИА, ф. 1, оп. 1, № 3545, исходный журнал, 29 января 1826 г.

³ Письмо Витта от 6 марта 1826 г. из Елисаветграда (ЦГВИА, ф. 1, оп. 1, № 3555, л. 2—3).

бавить, что я сообщил здесь только те сведения, которые получил чрез Лихарева и Давыдова; что, вероятно, граф Витт имел и других, кроме меня, агентов и, может быть, снабжен по предмету открытого мною заговора и еще некоторыми добавочными сведениями»¹.

Витт действует и через своего родственника Киселева (которого, впрочем, по некоторым сведениям, так же готов был предать, как и погубленных прежде декабристов)².

Наконец, желание генерала-шпиона сбылось: получен долгожданный вызов в столицу, и от его ловкости зависит дальнейшая фортуна. Витт прибывает в столицу между 23 и 25 мая 1826 года³, а 14 июня извещает П. Д. Киселева: «Зная, сколько вы принимаете участия во всем, что до меня касается, я с удовольствием сообщаю вам, дорогой Киселев, что польщен добротой ко мне его величества, что он много работает со мною и что он прекрасно видит положение вещей. Он очарован состоянием моих поселений и много занимается ими...»⁴

В архивах сохранились разнообразные следы той работы — бурной активности Витта, обращенной на самые разные предметы.

Для начала на нового императора обрушиваются одиннадцать заранее подготовленных докладных записок Витта⁵. Из них шесть касались специальных, чисто военных предметов (в основном военных поселений), остальные же относились к более общим вопросам. Особенно любопытна «Записка о недостатках нынешнего воспитания российского дворянства и средствах обратить оное совершенно на пользу императорской военной и гражданской службы». Документ находится в ряду других подобных, которые правительство требовало в это время (позже и Пушкину предложат составить «Записку о народном воспитании»). Витт всеми силами стремится подыграть новому монарху; обрушившись на домашнее воспитание и «благовоспитанную полуученость», генерал рисует «отрицательный тип», в котором легко узнать карикатуру на молодого человека

¹ «Красный архив», 1925, № 2, с. 216.

² См.: X. V. Gagnicky. Les Nationalités slaves, p. 335; Ф. Ф. Вигель, «Записки», ч. VI, М., 1892, с. 117.

³ «Санкт-Петербургские ведомости», 1826, 26 мая, № 45.

⁴ ПД, ф. 143 (Киселева П. Д.), 29.87, л. 51 (на французском языке).

⁵ ЦГВИА, ф.-1, оп. 1, № 3568.

декабристского круга: «Он есть невежда, исполненный самоуверенности и самолюбия, мечтающий присвоенными звуками языка иноземного изумлять слушателей или выученными отрывками стихов, им выкраденными, каламбурами, стяжать удивление модного света; одним словом, так называемый благовоспитанный человек есть полуиноземец, не имеющий никакого основательного сведения, но только немногие поверхностные познания, которые умеет он употреблять с успехом для ослепления больших против него невежд, космополит, изучавшийся нравственности в Дидероте, религии в Вольтере, мечтающий о переворотах и свободе, неспособный ни к какому занятию, ни к какой службе»¹.

Эта записка, как и другие, была в общем принята наверху весьма одобрительно². Даты прохождения записок Витта хорошо видны по сопроводительным пометам: между 15 июня и 4 июля 1826 года.

В числе *работ*, которыми генерал и царь были заняты в июне — июле 1826 года, — поощрение выдающегося сыщика Бошняка. Последний просил дать ему два гражданских чина сразу; сошлись на одном чине и наградных деньгах. «Бошняк, — докладывал царю дежурный генерал, — желает получить денежное вспомоществование, быть приняту в службу коллежским советником в иностранной коллегии, с тем, чтобы находиться при генерал-лейтенанте Витте»³. 15 июля 1826 года, через день после казни декабристов, царь одобрил записку и велел выдать Бошняку «из кабинета единовременно в вспомоществование три тысячи рублей ассигнациями»⁴.

Четыре дня спустя Бошняк уже пускается в путь, в Псковскую губернию к Пушкину: важный экзамен, проверка на первом царевом деле!

Очевидно, устное распоряжение царя было передано Виттом одновременно с выдачей *тридцати серебряников*; Николай I 19 июля находился уже в Торжке, по дороге в Москву, на коронацию⁵.

В чем же причина столь грозных распоряжений насчет

¹ ЦГВИА, ф. 1, оп. 1, № 3568, л. 5.

² Там же.

³ Там же, ф. 36, оп. 4/847, № 216; дело об отставном коллежском советнике Бошняке, л. 9—10.

⁴ Там же, л. 11.

⁵ Там же, ф. 1, оп. 1, № 3545, л. 51.

поэта в тот момент, когда следствие над декабристами закончено и приговор исполнен?

В черновом отчете, опубликованном Шиловым и Модзалевским, Бошняк, как известно, упоминает об отставном генерал-майоре Павле Сергеевиче Пуцине, «от которого вышли все слухи, сделавшиеся причиной моего отправления»¹.

Среди специалистов возникло разноречие: то ли отставной генерал Павел Пуцин (кишиневский приятель Пушкина, руководитель масонской ложи «Овидий») сообщил «куда не следует» порочащие поэта сведения, то ли тайная полиция использует какой-то перехваченный разговор. Последняя версия, конечно, более вероятна: отношения прежних кишиневских приятелей, ныне оказавшихся в Псковской глуши², хотя и охладились — но все же продолжались; П. С. Пуцин (попавший позже в «Алфавит» декабристов) не стремился вернуть карьеру; да и по сообщению самого Бошняка, посетившего П. С. Пуцину 23 июля 1826 года в его имении, тот не пускался в опасную откровенность. Возможный ключ к этой истории — в кратком сообщении о лицах, прибывших в Санкт-Петербург между 6 и 9 июня 1826 года: среди них — «отставной генерал-майор П. С. Пуцин»³. Понятно, прибытие в столицу опального, подозреваемого генерала не прошло незамеченным: в эти дни уже шел суд над декабристами. Без всяких сомнений можно утверждать, что за Пуциными установили бдительное наблюдение, и одна (а может быть, и не одна) из произнесенных где-то фраз была доставлена наверх. Мы не беремся точно восстанавливать сказанные слова, а также интерпретацию их доносчиком, но, как видно из рапорта Бошняка, П. С. Пуцин упомянул о Пушкине как вольнодумце. Можно было понять, что вольные мысли поэтом не очень скрываются, а проявляются в разговорах и даже «пущенных в народ песнях», и все это — недавно, сейчас. Совершенно естественно, что сведения, переданные Николаю I, были тут же сообщены Витту: во-первых, как мы уже знаем, именно в июне и начале июля Витт постоянно работает с императором (письмо Киселеву от 14 июня!), во-вторых, важным элементом этой

¹ Б. Л. Модзалевский. Пушкин под тайным надзором, с. 14.

² За участие в масонской ложе и связь с кишиневской вольницей П. С. Пуцин, как известно, был вынужден выйти в отставку и переехать с юга в псковское имение.

³ «Санкт-Петербургские ведомости», 1826, 11 июня, № 47.

работы, конечно, были те особенные задания по части сыска, которые Витт успешно выполнял на юге России. Павел Пущин, как «человек с юга», относился к сфере его компетенции; Пушкин до лета 1824 года тоже находился «под тенью Витта». Сведения о Пушкине, добытые у Павла Пущина, таким образом, были темой, о которой верховная власть сочла нужным посоветоваться с генералом Виттом. Поскольку в задании Бошняка — как видно из отчета — не входила проверка благонадежности генерала Пущина, ясно, что власть была напугана и рассержена только перехваченной информацией о Пушкине: агитация среди народа в роковые дни суда и казни! К тому же именно новые, только что «выпущенные» Пушкиным песни — вот чего искали в «шлетневской истории» и вот что «нашли» сейчас... Царь дает устное распоряжение Витту и Дибичу. Витт объясняет задачу Бошняку (человеку, которому «вовсе не нравится» поэзия Пушкина, но «призужденному восхвалять...!»). Бошняк отправляется в канцелярию дежурного генерала Главного штаба, где Дибич уже приготовил ему прогонные; при этом открытый лист № 1273 вручается фельдъегерю Блинкову.

Кроме пушкинского вопроса, Бошняку дано приказание заняться и другими: тайно произвести наблюдения в тех губерниях, через которые будет проезжать, и доложить о настроениях, злоупотреблениях и т. п. В этом отношении командировка Бошняка довольно типична: летом 1826 года не в одну губернию отправляются подобные более или менее засекреченные гонцы. Только по материалам Главного штаба видно, что была произведена проверка Нижегородской, Казанской, Симбирской, Саратовской, Пензенской, губерний; специальные чиновники исследуют Курскую, Архангельскую губернии...¹ Общая обстановка тревоги, ожидания, паники порождает поток разнообразных доносов и «открытий»².

¹ ЦГВИА, ф. 1, оп. 1, № 3545, л. 33—42, 77 и др.; см. также: Г. Дейч, Г. Фридлиндер. Пушкин и крестьянские волнения 1826 г. (ЛН, т. 58, с. 205—208).

² Так, неподалеку от местопребывания Пушкина, в Пскове, именно в эти дни заведено обширное дело о губернском секретаре Федоре Машницком, объявившем, что покойные император Александр I и императрица Елизавета Алексеевна «находятся в живых, имея пребывания в Москве» и что «мнимая смерть их императорских величеств учинена была для того, дабы через сие можно было открыть бунтовщиков» (Государственный архив Псковской области, ф. 20, оп. 1, № 776; л. 4, 16).

Фельдъегерь Блинков с открытым листом дождался на станции Бежаницы, а Бошняк с 20 по 24 июля, ловко прикидываясь странствующим ботаником, расспрашивает о поведении Пушкина, опасных стихах, песнях, разговорах разных обитателей Псковской губернии: хозяина Новоржевской гостиницы Катосова, уездного судью Толстого, смотрителя по винной части Трояновского, уездного заседателя Чихачева, помещика Львова, отставного генерала Павла Сергеевича Пущина и его семейства, крестьянина Ивана Столарева; беседует за крепкой наливкой со знаменитым святогорским игуменом Ионой¹, расспрашивает некоего крестьянина деревни Губиной, по соседству с Михайловским (Пушкин же, напомним, в эти дни играет в карты и показывается лекарю в Пскове, а затем, не торопясь и ни о чем не подозревая, возвращается в родную тюрьму — Михайловское).

Опытный агент Бошняк собирает множество сведений о поэте, из которых самым опасным с правительственной точки зрения было свидетельство о том, что поэт «иногда ездит верхом и, достигнув цели своего путешествия, приказывает человеку своему отпустить лошадь одну, говоря, что всякое животное имеет право на свободу»².

Тем не менее серьезных улик не имеется, и 25 июля в 8 часов утра Бошняк отправляет фельдъегеря Блинкова обратно в столицу сдавать невостребованный открытый лист № 1273. Агент, как видно из публикации Модзалевского и Шилова, приступает ко второй части задания, и раздел «В» его отчета содержит впечатляющие подробности о разных колоритных мошенничествах (например, о том, что в Лифляндской губернии жители «перестали умирать», ибо документы умерших переходят к заинтересованным лицам, которые, прикрываясь «мертвыми душами», могут убежать, совершать преступления и т. п.); на страницах черного отчета — жестокие убийства крестьян помещиками, слабость и нерешительность псковского губернатора Адеркаса («добрый человек, но слишком беден!»), волнения крестьян Гжатского уезда, проделки новоржевского помещика отставного поручика Голубцова, который «за несколько дней до 14 декабря, проезжая через станцию Крицы в товариществе с толстым, усатым мужчиной

¹ Не премкнув записать, что и Пушкин занимается с Ионой разговорами за стаканом той же наливки «de mauvais liqueur», буквально — «дурного ликера».

² Б. Л. Модзалевский, Пушкин под тайным надзором, с. 14.

и с шуткой, настоящим или ложным, хотел уверить смотрящего, что великий князь Константин Павлович проехал в Петербург по тракту в закрытой кибитке...»¹.

Исколесив за две недели четыре губернии, Бошняк доставляет свой отчет в Москву, куда на коронационные торжества, вслед за царем, прибывают Дибич, Витт и другие управляющие персоны. Прежде чем подать высокому начальству окончательный текст отчета, Бошняк свои повседневные дневниковые записи (на французском языке) превратил в черновой вариант рапорта, закончив эту работу в Москве 1 августа 1826 года². Черновик отчета (а также предшествующие ему записи) Бошняку тоже приказано было сдать, дабы кто-нибудь не узнал чего-нибудь. Девяносто лет спустя черновые бумаги были впервые обнаружены в архиве III Отделения, и, как уже известно, затем опубликованы А. А. Шиловым и Б. Л. Модзалевским.

Между тем камер-фурьерский журнал, дневник придворных событий 1826 года, сообщает подробности длительных и пышных коронационных торжеств во второй столице — тех торжеств, о которых сохранились многообразные воспоминания, и в их числе — одного мальчика, наблюдавшего все это.

«Победу Николая над пятью торжествовали в Москве молебствием. Середь Кремля митрополит Филарет благодарил бога за убийства. Вся царская фамилия молилась, около нее сенат, министры, а кругом, на огромном пространстве, стояли густые массы гвардии, коленопреклоненные, без кивера, и тоже молились; пушки гремели с высот Кремля.

Никогда виселицы не имели такого торжества; Николай понял важность победы!

Мальчиком четырнадцати лет, потерянным в толпе, я был на этом молебствии, и тут, перед алтарем, оскверненным кровавой молитвой, я клялся отомстить казненных и обрекал себя на борьбу с этим тронем, с этим алтарем, с этими пушками³.

¹ Некоторые фрагменты черновых записей Бошняка, относящихся ко второй части его задания, не попали в работы А. А. Шилова и Б. Л. Модзалевского. Ныне вся черновая рукопись в ПД, ф. 244, оп. 16, № 170.

² Б. Л. Модзалевский. Пушкин под тайным надзором, с. 12.

³ А. И. Герцен. Собр. соч. в 30-ти томах, т. VIII, с. 62.

Согласно камер-фурьерскому журналу, каждый день Николая начинался с доклада Дибича о всех главнейших делах¹. Впрочем, незадолго перед тем, 25 июня 1826 года, уже образовано III Отделение собственной его императорского величества канцелярии, и позже основные доклады царю будет делать Бенкендорф. В один из августовских дней переписанный набело отчет Бошняка, прочтенный и одобренный Виттом, был, несомненно, передан Дибичу и однажды утром доложен императору... Но где же этот бেলовик?

И где таинственный ордер, открытый лист № 1273, существование которого доказали А. А. Шилов и Б. Л. Модзалевский, но местонахождение которого оставалось неизвестным? Кроме сохранившихся в III Отделении черновики, вроде бы ничего не осталось...

Москва, Лефортовский дворец. Центральный Государственный военно-исторический архив.

Российская империя была государством военным; управление же считалось «отеческим», и поэтому совсем не удивительно, что в фонде бывшего Главного штаба или канцелярии военного министра вдруг обнаруживаются, наряду с делами артиллерийскими, кавалерийскими и пехотными — документы, к примеру, о разливе реки Невы, или пьяной драке, или неурядицах, замеченных в отдельных губерниях. Один из документов, изученный автором этой книги в 1975 году, назывался соблазнительно: *«Дело о разных сведениях, собранных коллежским советником Бошняком в Санкт-Петербургской, Псковской, Витебской, Смоленской губерниях на 25 листах. Начато 8 августа 1826 года, кончено 15 декабря 1826 года»*².

Первым листом этого дела была копия («Отпуск») некоего документа, основной экземпляр которого был передан в распоряжение Бошняка и его сопровождающего. Приведем полный текст:

«Открытое предписание.

Предъявитель сего фельдъегерь Блинков отправлен по высочайшему повелению Государя Императора для взятия и доставления по назначению, в случае надобности при опечатании и забрании бумаг, одного чиновника, в Псковской губернии находящегося, о коем имеет объявить при самом его арестовании.

¹ ЦГИА, ф. 516, оп. 1 (28/1618), № 133.

² ЦГВИА, ф. 36, оп. 4/847, № 385.

Вследствие сего по Высочайшей воле его императорского величества предписывается, как военным начальникам, так и гражданским чиновникам, земскую полицию составляющим, по требованию фельдъегера Блинова оказывать ему тотчас содействие и вспомоществование к взятию и отправлению с ним того чиновника, о котором он объявит.

В Санкт-Петербурге. Июля 19-го дня 1826 года.

Подписал военный министр Татищев. № 1273».

У нас нет сомнений в том, кто подразумевается под «одним чиновником в Псковской губернии...». Номер предписания, 1273, совпадает с тем, что указан в черновом рапорте Бошняка на имя Витта.

Это ордер на арест Александра Сергеевича Пушкина (точнее — его «дубликат»), который был бы предъявлен, если бы только Бошняк получил *хоть одно сведение*, подтверждающее «перехваченный разговор» П. С. Пуцина — о песне, будто распространяемой в народе, и т. п. Перед нами типичный документ, близкий к тем предписаниям, которые — правда, с вписанной фамилией — передавались разным фельдъегерям, отправлявшимся за тем или иным декабристом. Любопытно, что, как и «декабристские ордера», документ № 1273 подписан военным министром Татищевым, председателем следственной комиссии по делу декабристов.

Итак, судьба Пушкина снова была на волоске... Но не преувеличиваем ли мы реальную опасность этого обстоятельства для поэта? Разве он сам не желал предстать пред следственной комиссией: «Я бы, конечно, оправдался...» Бессмысленно слишком углубляться в несбывшееся, но все же заметим, что в случае ареста и привоза в столицу возможны были бы разные повороты судьбы: горячий, оскорбленный поэт легко мог бы повредить себе — и даже предвидел такую возможность, воображая разговор с Александром I: «Тут бы Пушкин разгорячился и наговорил мне много лишнего, я бы рассердился и сослал его в Сибирь, где бы он написал поэму *Ермак* или *Кочум* русским размером с рифмами» (XI, 24).

И разве не о том же смутные рассказы друзей насчет полного текста «Пророка», который поэт собирался предъявить Николаю I, если разговор не выйдет? Наконец, стечение неблагоприятных свидетельств, появление злополучного отрывка из «Андрея Шенье» — разве это не могло привести к новой ссылке или хотя бы к возвращению в ста-

рую — но уже без надежды; фактически (после истории с Плетневым) — без права издаваться? Что было бы в том случае с Пушкиным — лучше других понял Иван Иванович Пущин. Он, правда, имел в виду сибирское, каторжное житье — но размышления декабриста существенны для любого вида пушкинской неволи:

«Промысел <...> спасая его от нашей судьбы, сохранил Поэта для славы России. Положительно, сибирская жизнь <...> если бы и не вовсе иссушила его могучий талант, то далеко не дала бы ему возможности достичь того развития, которое, к несчастью, и в другой сфере жизни несвоевременно было прервано»¹.

Десять лет свободы, пусть призрачной, относительной, под Бенкендорфом и Николаем, — но ведь это годы Москвы, Арзрума, Болдина, Оренбурга, Петербурга, годы «Маленьких трагедий», «Медного всадника», последних глав «Онегина», «Повестей Белкина»...

Арест, захват, опала, возможно, лишили бы нас этого. Весной и летом 1826 года все зависело от случая, от пересечения разных, порою случайных, таинственных кривых, и на станции Бежаницы четыре дня скучает фельдъегерь, дожидаясь жертвы...

Однако вернемся к тому архивному делу, которое открывается документом № 1273.

Напомним, что, судя по опубликованным черновикам, отчет Бошняка состоял из рапорта Витту и двух самостоятельных частей — раздел «А» о Пушкине, раздел «В» о состоянии Санкт-Петербургской, Псковской, Витебской, Смоленской губернии. В документе же из Военно-исторического архива сразу после «Открытого предписания», на листе 2, мы находим следующий текст, выполненный писарским почерком:

«В. Записка о различных сторонних сведениях, во время проезда через Санкт-Петербургскую, Псковскую, Витебскую, Смоленскую губернию собранных». После этого заглавия — первая фраза, полностью совпадающая с началом раздела «В» в известном черновом отчете Бошняка: «Предписано было мне не только разыскать касающееся до г. Пушкина, но не упускать из вида и прочих случаев, которые могли бы казаться мне не недостойными внимания»². По пометам на листе видно, что текст был представлен 7 августа 1826 года Николаю I, что царь сде-

¹ Пущин, с. 87.

² ПД, ф. 244, оп. 16, № 170, л. 8.

лал при чтении некоторые карандашные замечания, а это вызвало соответствующую запись Дибича: «По секретной части. Для исполнения по отметкам». Далее идет текст, почти полностью повторяющий соответствующий раздел чернового отчета Бошняка;¹ на полях запись Николая I, требующая все выяснить о «лифляндских паспортах», о дурном поведении отставного поручика Голубцова, о погубившем своих крестьян помещике Витебской губернии Дыммане... После окончания текста Бошняка — в деле идут копии запросов, немедленно посланных соответствующим губернаторам по соответствующим делам, и вот уже 20 августа 1826 года рижский генерал-губернатор Пауллуччи сообщает об усилении надзора за паспортами в Прибалтике; 14 сентября он же рапортует о «праздной, развратной и буйной жизни» помещика Голубцова и его товарищей;² а помещик Дымман «повальным обыском одобрен», ибо «не отыскалось точных улик», доказывающих убийство им двух крестьян, и лишь «наведено подозрение в жестоком якобы обращении с крестьянами приказчика Шабулевича и старосты Лукьянова, которые по сему поводу поручены под надзор...»³

Самые поздние даты в этом деле относятся к декабрю 1826 года: 4 декабря 1826 года дежурный генерал Потапов пересылает Бенкендорфу документ насчет буйного поручика Голубцова, а 14 декабря отмечено, что на эту тему Бенкендорф «имел честь объяснитьсь» с Потаповым⁴.

Итак, перед нами прошло все делопроизводство по разделу «В», то есть второй части рапорта Бошняка. Но где раздел «А», который, несомненно, помещался в этом же комплексе — между «открытым предписанием» и второй частью отчета? Да и первые слова раздела «В» — «предписано было мне не только разыскать касающееся до г. Пушкина...» — выдают, что перед тем как раз шли листы, «касающиеся...».

Листов с разделом «А» нет. Их явно не было и тогда, когда дело сдавалось в архив и листы нумеровались. Более ста лет назад именно это дело изучал П. В. Анненков: заметив фразу «касающееся до г. Пушкина», он пытался проникнуть в ее скрытый смысл, но в конце концов запи-

¹ ЦГВИА, ф. 36, оп. 4/847, № 385, л. 11—15.

² Там же, л. 16—17.

³ Там же, л. 19—20.

⁴ Там же, л. 18, 20.

сал: «Что доносил Бошняк о Пушкине, не мог ни от кого узнать»¹. Не зная сокрытого в архиве III Отделения чернового отчета Бошняка, Анненков не мог также догадаться, в какого именно «чиновника, в Псковской губернии находящегося» делит «Открытое предписание № 1273».

В свою очередь, Шилов и Модзалевский не видели дела военного архива и не знали, на основании каких материалов Анненков пришел к выводу о слежке Бошняка за Пушкиным, а поэтому не смогли ввести в научный оборот «Открытое предписание № 1273» — ордер на арест поэта.

Наверное, как отмечалось, уже в конце 1826 года в «Деле № 385» после *листа 1 — предписания* сразу началась вторая часть отчета: слишком опасно было сохранять раздел «А» — документ, подробно рассказывающий о поездке шпиона, о том, как он кружил вокруг Пушкина, как фельдъегерь ждал на станции и «как все обошлось». Вероятно, прочитав, царь велел уничтожить пушкинскую часть отчета. Здесь та же логика, по какой 29 мая было велено из декабристских дел вырвать все опасные стихи, уничтожить копию перехваченного письма Пушкина к Плетневу, изъять донос о разговорах П. С. Пущина относительно Пушкина и т. д. Пожалуй, и открытое предписание было бы уничтожено, если бы в нем прямо упоминалось имя Пушкина, — но кто же догадается насчет «псковского чиновника»?

Впрочем, даже отсутствующие листы беловика позволяют кое-что восстановить в этом разделе секретной пушкинской биографии. Несомненно, царь читал первую часть отчета Бошняка тогда же, когда и вторую: утром 7 августа 1826 года. Так же несомненно, что на полях остались какие-то пометы, решавшие судьбу ссыльного поэта. 7 и

¹ В своей книге «Александр Сергеевич Пушкин в Александровскую эпоху» Анненков, как уже отмечено выше, даже не упоминает фамилии Бошняка, а просто сообщает об «особенном агенте», посланном из Петербурга «с поручением объехать несколько западных губерний для узнания местных злоупотреблений и при проезде через Псков собрать <...> сведения о самом поэте». Фамилия же Бошняка фигурирует у Анненкова в черновых заметках «для биографии Пушкина», опубликованных Б. Л. Модзалевским. В этих заметках Анненков точно повторяет первую фразу раздела «В»: «Предписано было мне не только разыскать касающееся до Пушкина, но и <...>». Затем первый пушкинист добавляет, как бы комментируя приведенные слова: «Что доносил Бошняк о Пушкине, не мог ни от кого узнать» (см.: Б. Л. Модзалевский. Пушкин. Л., «Прибой», 1929, с. 350—351).

8 августа Дибич уже должен был дать ход этим пометам (как было сделано по всем без исключения замечаниям царя к разделу «В») ... Тут, однако, мы еще не все знаем: в августовские коронационные дни происходят какие-то существенные разговоры, обсуждения. Как следствие царских замечаний на полях отчета Бошняка возникает новое «Дело о чиновнике 10 класса Пушкине». В нем соединились все документы и материалы, относящиеся к освобождению поэта. Дело это прежде находилось (как видно из старой описи) даже в делопроизводственной близости от доклада сыскного агента: тот же фонд канцелярии дежурного генерала по секретной части (№ 36), та же опись — № 4 (847); номер дела 422¹ (а отчет Бошняка — 385).

Новое дело было «начато 31 августа 1826 г.²— решено 21 сентября 1826 г.». Но что же происходило в течение августа? Почему после отчета Бошняка, как будто снимавшего политические подозрения с поэта, за Пушкиным не послали сразу?

Разумеется, царь чрезвычайно занят: коронация, начавшаяся война с Персией. Однако текущие дела не останавливаются: 7 августа, в тот же день, когда докладывали о Пушкине, Николай расследовал огромные злоупотребления в Архангельском порту; 13 августа распорядился рассмотрением сундука запечатанных бумаг недавно умершего графа Ф. В. Ростопчина³. Главный штаб и III Отделение работают на полную мощность.

Очевидно, в августе еще раз кладутся рядом показания декабристов «за» и «против», «плетневское дело», еще доносы, слухи — наконец и отчет Бошняка; как раз по инстанциям в начале августа приходит официальная просьба Пушкина, отосланная 19 июля вместе с медицинской справкой;⁴ на весы ложатся прежние ходатайства Карамзина и Жуковского: Карамзина уже нет, Жуковский за границей, но кто-то (Блулов, Дашков?), должно быть, напомнил об их мнении.

П. Е. Щеголев, опираясь на свидетельства Вигеля и других современников, высказал очень интересную и, к

¹ Ныне — «Дело Пушкина» в ПД, ф. 244, оп. 1, № 1609.

² Фактически 28 августа. См. с. 401.

³ ЦГВИА, ф. 1, оп. 1, № 3545, л. 77, 91.

⁴ 30 июля рижский генерал-губернатор Паулуччи препровождает прошение Пушкина к его прежнему начальнику, министру иностранных дел Нессельроде (см.: «Летопись...», с. 719).

сожалению, за полвека не проверенную гипотезу: что именно в эти коронационные дни Бенкендорф успел доложить царю предварительные результаты расследования об «Андрее Шенье» и что Николай поэтому распорядился привезти Пушкина под надзором фельдъегеря, а во время беседы 8 сентября 1826 года спрашивал поэта и о стихах «На 14 декабря»¹.

Так или иначе, но 28 августа Дибич записывает: «Высочайше повелено Пушкина призвать сюда...»² И вот Дибич пишет «любознейшее письмо» (точно знаем об этом факте от Пушкина, но само письмо не найдено), и 31 августа 1826 года за Пушкиным послано... А первая партия ссыльных декабристов в эти дни отправляется на восток; а Бошняк награжден орденом Святой Анны второй степени с алмазами, и ему назначено жалованье в пять тысяч рублей ежегодно; и Витт, награжденный алмазными знаками ордена Александра Невского, вскоре отправляется к себе на юг... А друзья рады первым известиям о свободе Пушкина: «Плачу добром за испуг,— успокаивал Дельвиг П. А. Осипову, очевидно, приславшую ему тревожный запрос о судьбе поэта.— Александр был представлен, говорил более часу и осыпан милостивым вниманием»³.

И Энгельгардт, директор Лицея, рад известиям о Пушкине,— но не без опасений и «назиданий»: 21 октября 1826 года пишет Вольховскому: «Пушкин получил позволение приехать в Петербург, вскоре сюда будет. Дай бог, в добрый час и впрок»⁴.

А какой-то московский друг, скорее всего Н. И. Бахтин, спешит обрадовать петербуржцев новостью о Пушкине, но и эта радость перехвачена тайной полицией: Дибич читает и 18 октября 1826 года передает Бенкендорфу (с просьбой «объясниться с ним») «Выписку из письма без подписи и без числа, поданного на почте в Москве 16 сентября 1826 года к Павлу Александровичу Катенину в Петербург»: «Вчера, почтеннейший Павел Александрович, узнал я, что *Александр Пушкин в Москве*, и, признаюсь, немало порадовался. Видно, и здоровье и обстоятельства его поправились: *здесь уже говорят, что его пригла-*

¹ См.: П. Е. Щеголев. Из жизни и творчества Пушкина, с. 258—259.

² «Летопись...», с. 724.

³ Ю. Верховский. Барон Дельвиг. Материалы биографические и литературные. П., Изд-во А. С. Каган, 1922, с. 32.

⁴ ПД, ф. 244, оп. 25, № 92, л. 9.

шают в службу, и он нейдет, и его просят, и он неумолим и проч. <...>¹.

Пушкин едет с фельдъегерем, но «не как арестант», и параллельно едет и разбухает дело об «Андрее Шенъе», грозит обогнать, помешать...

Пушкин входит в кремлевский дворец 8 сентября 1826 года. В камер-фурьерском журнале за этот день аудиенция не зафиксирована — зато на другой день особо выделено, что государь принял «французского автора Ансело»² (и как тут не отметить, что через год этот «французский автор» напечатает у себя на родине перевод пушкинского «Кинжала» — тех самых строк, о которых так спрашивали декабристов и которые столь усердно истреблялись в декабристских делах!).

Пушкин входит во дворец, и его спрашивают: «Где бы ты был?..»

Через четыре года Бенкендорф заверяет поэта: «Никогда, никакой полиции не давались распоряжения иметь за вами надзор» (XIV, 409).

Надзор за Александром Сергеевичем Пушкиным был снят в 1875 году.

¹ ЦГВИА, ф. 36, оп. 4/847, № 748; выделенные строки подчеркнуты карандашом (вероятно, Дибич). Перехваченный документ «тематически» связан с другой частью переписки III Отделения, касающейся Катенина (см. примечания Ю. Г. Оксмана к «Воспоминаниям П. А. Катенина о Пушкине». — ЛН, т. 16-18, М.-Л., 1934, с. 628).

² ЦГИА, ф. 516, оп. 1 (28/1618), № 133, л. 479—480.

1825 и 1826 годы были вехой, рубежом, разделившим многие биографии на периоды *до* и *после*...

Это относится, конечно, не только к членам тайных обществ и участникам восстания.

Уходила в прошлое определенная эпоха, люди, стиль. Средний возраст осужденных Верховным уголовным судом в июле 1826 года составлял двадцать семь лет: «средний год рождения» декабриста — 1799-й. (Рылеев — 1795, Бестужев-Рюмин — 1801, Пущин — 1798, Горбачевский — 1800...). Пушкинский возраст.

«Время надежд», — вспомнит Чаадаев о предекабристских годах.

«Лицейские, ермоловцы, поэты», — определит Кюхельбекер целое поколение. Дворянское поколение, достигшее той высоты просвещения, с которой можно было разглядеть и возненавидеть рабство. Несколько тысяч молодых людей, свидетелей и участников таких всемирных событий, которых хватало бы, кажется, на несколько старинных, дедовских и прадедовских, столетий...

Чему, чему свидетели мы были...

Часто удивляются, откуда вдруг, «сразу» родилась великая русская литература? Почти у всех ее классиков, как заметил писатель Сергей Залыгин, могла быть одна мать; первенец — Пушкин родился в 1799-м, младший — Лев Толстой в 1828-м (а между ними Тютчев — 1803, Гоголь — 1809, Белинский — 1811, Герцен и Гончаров — 1812, Лермонтов — 1814, Тургенев — 1818, Достоевский, Некрасов — 1821, Щедрин — 1826)...

Прежде чем появились великие писатели и одновременно с ними должен был появиться великий читатель¹.

Молодежь, сражавшаяся на полях России и Европы, лицеисты, южные вольнодумцы, издатели «Полярной звезды» и другие спутники главного героя книги — первые революционеры своими сочинениями, письмами, поступками, словами многообразно свидетельствуют о том особенном климате 1800—1820-х годов, который создавался ими сообща, в котором мог и должен был вырасти гений, чтобы своим дыханием этот климат еще более облагородить.

Без декабристов не было бы Пушкина. Говоря так, мы, понятно, подразумеваем огромное взаимное влияние.

Общие идеалы, общие враги, общая декабристско-пушкинская история, культура, литература, общественная мысль: поэтому так трудно изучать их порознь, и так не хватает работ (надеемся на будущее!), где тот мир будет рассмотрен в целом, как многообразное, живое, горячее единство.

Рожденные одной исторической почвой два столь своеобразных явления, как Пушкин и декабристы, не могли, однако, слиться, раствориться друг в друге. Притяжение и одновременно отталкивание — это, во-первых, признак родства: только близость, общность порождает некоторые важные конфликты, противоречия, которых и быть не может при большом удалении. Во-вторых, это признак зрелости, самостоятельности.

Привлекая новые и раздумывая над известными материалами о Пушкине и Пущине, Рылееве, Бестужеве, Горбачевском, автор пытался показать союз спорящих, несогласных в согласии, согласных в несогласии...

Пушкин своим гениальным талантом, поэтической интуицией «перемалывает», осваивает прошлое и настоящее России, Европы, человечества.

И внял я неба содроганье
И горний ангелов полет...

Поэт-мыслитель не только русского, но и всемирно-исторического ранга — в некоторых существенных отношениях Пушкин проникнул глубже, шире, дальше декабристов. Можно сказать, что от восторженного отношения

¹ Эта проблема была мною затронута в книге: «Апостол Сергей». М., Политиздат, 1975.

к революционным потрясениям он переходил к вдохновенному проникновению в смысл истории.

Сила протеста — и общественная инерция; «чести клич» — и сон «мирных народов»; обреченность героического порыва — и другие, «пушкинские», пути исторического движения: все это возникает, присутствует, живет в «Некоторых исторических замечаниях» и трудах первой Михайловской осени, в беседах с Пушциным и в «Андрее Шенье», в письмах 1825 года, «Пророке». Там мы находим важнейшие человеческие и исторические откровения, исполненное Пушкиным повеление, адресованное самому себе:

И виждь, и внемли...

Смелость, величие Пушкина не только в неприятии самодержавия и крепостничества, не только в верности погибшим и заточенным друзьям, но и в мужестве его мысли. Принято говорить об «ограниченности» Пушкина по отношению к декабристам. Да, по решимости, уверенности идти в открытый бунт, жертвуя собой, декабристы были впереди всех соотечественников. Первые революционеры поставили великую задачу, принесли себя в жертву и навсегда остались в истории русского освободительного движения. Однако Пушкин на своем пути увидел, почувствовал, понял больше... Он раньше декабристов как бы пережил то, что им потом предстояло пережить: пусть — в воображении, но ведь на то он и поэт, на то он и гениальный художник-мыслитель шекспировского, гомеровского масштаба, имевший право однажды сказать:

«История народа принадлежит Поэту».

- ВД — «Восстание декабристов», т. 1—XIV. М.—Л., 1925—1976.
- ГИМ — Государственный исторический музей. Отдел письменных источников.
- ГБЛ — Отдел рукописей Государственной библиотеки СССР имени В. И. Ленина.
- ГПБ — Отдел рукописей Государственной Публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина.
- «Летопись...» — М. А. Цявловский. Летопись жизни и творчества А. С. Пушкина, т. I. М., Изд-во АН СССР, 1951.
- Л и п р а н д и — И. П. Л и п р а н д и. Из дневника и воспоминаний. Рукопись. ПД, ф. 244, оп. 17, № 122.
- ЛН — «Литературное наследство», т. I. М., Изд-во АН СССР (ранее «Журнально-газетное объединение»). 1931—1979 (издание продолжается).
- ПД — Институт русской литературы АН СССР (Пушкинский дом). Отдел рукописей.
- «Пушкин в воспоминаниях...» — «А. С. Пушкин в воспоминаниях современников», в 2-х томах. М., «Художественная литература», 1974.
- П у щ и н — И. И. П у щ и н. Записки о Пушкине. Письма. М., Гослитиздат, 1956.
- ЦГАДА — Центральный Государственный архив древних актов.
- ЦГАЛИ — Центральный Государственный архив литературы и искусства.

- ЦГАОР — Центральный Государственный архив Октябрьской революции, высших органов государственной власти и государственного управления СССР, Москва.
- ЦГВИА — Центральный Государственный военно-исторический архив.
- ЦГИА — Центральный Государственный исторический архив СССР.
- Якушкин — И. Д. Якушкин. Записки, статьи, письма. Изд-во АН СССР, 1951.

* * *

Ссылки на сочинения и письма А. С. Пушкина даются в тексте (в скобках): римская нумерация — том, арабская — страница по изданию: Пушкин. Полн. собр. соч., т. I—XVII. М.—Л., Изд-во АН СССР, 1937—1959.

- Абрамович С. Л.—32.
Адеркас Б. А.—355, 380, 393.
Адлерберг В. Ф.—346.
Азадовский М. К.—22, 25, 28, 165, 359.
Аксаков С. Т.—77.
Александр I—13, 33, 39, 86, 90—93, 96—98, 100, 102, 119—121, 123—132, 135, 205, 214, 219, 241, 244, 259, 260, 274, 281, 282, 287, 332, 341, 342, 348, 352—353, 357, 370, 384, 385, 392, 396.
Александр II — 198.
Алексеев А. И.—328—330, 334, 335.
Алексеев А. С.—67, 70, 71.
Алексеев Д.—71.
Алексеев М. П.—326.
Алексеев Н. И.—66—69.
Алексеев Н. С.—20, 31, 40—56, 58—61, 63—75, 79, 107—121, 125—135, 155, 156.
Алексеев С. И.—71.
Алексеева Е. И.—69, 71.
Алексеева Н. И.—69—72, 74, 75.
Алексеева С. И.—66, 67, 69—71, 73.
Алексеева (урожд. Сытина) — 71.
Алексевы —70, 71, 73.
Анна Иоанновна — 87, 102.
Анненков И. В.—56, 64.
Анненков П. В.—45, 56—66, 70, 71, 73—75, 104, 107, 112, 113, 118, 119, 121, 125, 132, 133, 155, 156, 196, 202, 205, 210—212, 228, 230, 256—258, 262, 276, 284, 345, 382, 398, 399.
Анненков П. П.—58.
Анненков Ф. В.—56, 64, 74.
Анненковы — 56—57.
Ансело Ж.-Ф.—402.
Аракчеев А. А.—86, 93, 125, 214, 250, 281, 385, 386, 388.
Арина Родионовна (Яковлева) — 15, 240, 255, 256, 275, 283, 284.
Арсеньев — 364.
Арш Г. Л.—120.
Ассиер А. А.—70.
Ассиер Е. А.—70.
Афанасьев А. Н.—53, 55, 63, 75, 206, 276.
Ахматова А. А.—6, 156, 157, 160, 168, 282.
Базанов В. Г.—23, 301.
Байрон Дж.—11, 29, 45, 253, 291, 292, 295, 296, 298, 301—306, 309, 313, 315—320, 323—326, 358, 362.
Балш Т.—44.
Бакунин А. П.—213.

- Баратынский Е. А.—77, 358.
 Барков И. С.—134, 379.
 Барсуков Н. П.—14, 18.
 Бартепев П. И.—18, 20, 29—31,
 36, 57, 58, 65, 102, 146, 159,
 364.
 Барятинский А. П.—150.
 Басаргин Н. В.—33, 197.
 Батеньков Г. С.—203, 222, 233.
 Батлер С.—290.
 Батюшков К. Н.—77, 295, 298,
 306.
 Бахтин Н. И.—401.
 Белинский В. Г.—59, 196, 403.
 Бенкендорф А. Х.—134, 328, 343,
 345, 360, 373—376, 378, 395,
 397, 398, 401, 402.
 Берков П. Н.—98.
 Беррийский герцог — 356.
 Бестужев (Марлинский) А. А.—
 46, 77, 140, 154, 188, 222, 252,
 253, 276, 280, 286—300, 302,
 304, 307, 315, 316, 319, 320,
 322, 326, 327, 347, 350—353,
 381, 404.
 Бестужев М. А.—146—148, 150,
 152, 160, 161, 164.
 Бестужев Павел А.—181.
 Бестужев Петр А.—181, 351, 352.
 Бестужевы — 147, 148, 337, 353,
 359.
 Бестужев-Рюмин М. П.—22, 23,
 144, 148, 150—154, 161, 163,
 166, 193, 244, 338, 349, 352,
 357—360, 363, 365—367, 369,
 371, 403.
 Бетгер Е. К.—16.
 Бечаснов В. А.—353.
 Бибииков И. П.—360.
 Бильбасов В. А.—88, 385.
 Бирон Э. И.—82, 96, 97, 114.
 Бируков А. С.—328.
 Благой Д. Д.—289, 304, 307, 308,
 339.
 Блишков В. М.—381—383, 392,
 393, 395, 396.
 Блок М.—5.
 Блом — 13, 14.
 Блудов Д. Н.—370—372, 400.
 Богданович М. И.—120, 290.
 Боливар С.—29.
 Бологовский Д. Н.—31, 33.
 Болотов А. Т.—353, 354.
 Болотов П. А.—353, 354.
 Бонди С. М.—54, 260, 327.
 Борис Годунов — 7, 140—142,
 167, 188, 241, 293, 296, 300,
 322, 324, 326, 339, 361—363,
 369.
 Борисов П. И.—209.
 Борисовы — 152, 353.
 Боровой С. Я.—382.
 Боулс В.—295, 298.
 Бошняк А. К.—161, 278, 381, 382,
 386—388, 390—401.
 Браницкий Кс.— см. Корчак-
 Браницкий Кс.
 Броглио С. Ф.—54, 213.
 Бронников — 172, 200.
 Брут М.—123.
 Булавин К. А.—83.
 Булгаков А. Я.—281, 329.
 Булгарин Ф. В.—17, 297, 299, 338,
 358.
 Бурбоны — 16, 18, 85, 136, 356.
 Буренин В. П.—211.
 Бурцов И. Г.—22, 23, 181.
 Бутурлин Д. П.—350.
 Быстрицкий А. А.—144, 203.
 Вадковская Е. П.—329.
 Варфоломей Е. К.—48, 116.
 Варфоломей П. Е.—38, 45, 48,
 49.
 Вахтен О. И.—21, 24.
 Вацуро В. Э.—20, 30, 97, 163—165,
 190, 282, 283, 288, 372.

- Вейнер П. П.—68, 70.
 Великопольский И. Е.—378.
 Велло И. И.—76.
 Вельтман А. Ф.—20, 36, 52, 55,
 59.
 Венгеров С. А.—313.
 Венсан — 121.
 Верховский Ю.—401.
 Вигель Ф. Ф.—16, 64, 68, 71, 158,
 165, 329, 384, 387, 389, 400.
 Видок Э.-Ф.—17, 18.
 Витт И. О.—160, 161, 381—392,
 394—397, 401.
 Витт С. (Потоцкая) — 384.
 Воейков А. Ф.—290, 354.
 Войнаровский А.—251, 280, 287,
 289, 296, 299, 323, 324.
 Волконская М. Н. (урожд. Раев-
 ская) — 16, 161, 162, 176, 177,
 185, 186, 188, 203, 317.
 Волконский М. С.—149.
 Волконский С. Г.—16, 22, 23,
 149—151, 153, 154, 176, 193,
 203, 222, 229, 381, 387.
 Воынец А.— см. Липранди А. П.
 Воынский А. П.—296, 351.
 Вольперт Л. И.—102.
 Вольтер — 90—92, 95, 290, 311,
 318, 352, 390.
 Вольф — 45.
 Вольф Ф. Б.—172, 190.
 Вольховский В. Д.—173, 181, 182,
 215, 216, 243, 268, 401.
 Воронцов М. С.—17, 23—25, 29,
 32, 33, 35, 46, 60, 68, 76, 130,
 148, 156, 161, 240, 250, 258,
 264, 265, 372, 373, 386.
 Воронцов С. Р.—97.
 Воронцова Е. К.—32, 33, 160, 259.
 Воронцовы — 33, 97.
 Вульф Ал. Н.—240, 339.
 Вульф Анна Н.—330, 331, 334,
 335.
 Вульфы — 75, 256.
 Вяземская В. Ф.—6, 286, 303.
 Вяземский П. А.—17, 20—21, 49,
 51, 54,, 92, 97, 125, 136, 141,
 172, 173, 175, 184, 195, 208,
 218, 248, 250—252, 259, 279,
 286, 287, 289, 296, 299, 303,
 304, 309, 313—315, 322, 327,
 328, 339, 352, 365, 367, 370,
 373, 379, 380, 382.
 Габбе П. А.—306.
 Габсбургги — 85.
 Гаевский В. П.—54.
 Галич А. И.—118.
 Гастфрейнд Н.—268.
 Геверс И. К.—343, 344, 370.
 Геккерн Л.-Б.—343.
 Герцен А. И.—12, 39, 59, 63, 83,
 84, 139, 146, 147, 189, 191, 200,
 206, 207, 220, 228, 229, 236,
 344, 394, 403.
 Гершензон М. О.—24, 158.
 Гессен С. Я.—271.
 Гёте И.-В.—325.
 Гиллельсон М. И.—35, 97, 190,
 251, 288, 372.
 Гиппиус В. В.—105.
 Глинка Ф. Н.—67, 76, 77.
 Глинка У. К. (урожд. Кюхельбе-
 кер) — 209, 210.
 Гнедич Н. И.—76, 77, 79.
 Гоголь Н. В.—403.
 Голенищев-Кутузов П. В.—363,
 364.
 Голицын Д. В.—248, 250.
 Головин И. Г.—99.
 Голубцов — 393, 398.
 Гончаров И. А.—403.
 Горбачевский И. И.—143—156,
 160—162, 164—167, 171, 176,
 193, 194, 203, 274, 282, 403,
 404.
 Гореславский — 350.
 Горский О. В.—375.

- Горсткин И. Н.—352.
 Горчаков А. М.—6, 43, 174, 175,
 208, 215—217, 247, 256, 263,
 271, 340.
 Горчаков В. П.—20, 31, 32, 34—
 40, 52.
 Гофман — 236.
 Гофман М. Л.—66—68.
 Гохштанд Б. Я.—254.
 Грановский Т. Н.—59.
 Гревениц П. Ф.—213.
 Грессе Ж.-Б.-Л.—290.
 Греч Н. И.—76, 199, 267, 297.
 Грибовский М. К.—222.
 Грибоедов А. С.—71, 278, 288,
 292, 299, 313, 338.
 Гримм Ф.-М.—97.
 Громницкий П. Ф.—357, 358.
 Грот Я. К.—217, 218, 361, 364.
 Гурьев К. В.—354.

 Давыдов В. Л.—132, 137, 148, 150,
 161, 176, 356, 381, 388, 389.
 Давыдов Д. В.—40, 251, 365.
 Давыдов Ю. В.—199.
 Давыдовы — 23, 272.
 Даль В. И.—76, 192, 193, 229, 233.
 Данзас К. К.—181, 193, 208, 210,
 215, 233.
 Данте А.—316.
 Дашков Д. В.—303, 370, 371, 400.
 Дашков П. Я.—41, 75—78.
 Дегильи — 61.
 Дейч Г. М.—392.
 Дельвиг А. А.—5, 11, 43, 79, 97,
 163, 164, 173, 179, 186, 201,
 213, 215, 246—248, 253, 256,
 259, 279, 280, 283, 296, 297,
 299, 322, 326—328, 340, 345,
 359, 361, 362, 365, 366, 401.
 Державин Г. Р.—77, 96, 297, 302.
 Дибич И. И.—360—364, 375, 376,
 384, 385, 388, 392, 394, 395,
 398, 400, 401, 402.
 Дивов В. А.—352.
 Дидро Д.—95, 390.
 Дилигенская Н. А.—185.
 Дмитриев И. И.—77, 287.
 Долгорукие — 85, 87, 88, 95.
 Долгорукий Я.—84, 111.
 Долгоруков В. А.—206.
 Долгоруков И. А.—125, 352.
 Долгоруков П. И.—26, 86, 122,
 123, 136.
 Достоевский Ф. М.—344, 403.
 Дубельт Л. В.—42, 48, 75, 76, 104,
 200, 375.
 Дубровин П. Ф.—361.
 Дуров С. Ф.—203, 230, 231.
 Дурова Н. А.—5, 15.
 Дымман — 398.

 Егоров А.—254, 256, 275, 276.
 Ежовский Ю.—253.
 Екатерина I — 82, 96, 114.
 Екатерина II — 71, 77, 87—98,
 100, 102, 110, 135.
 Елизавета Алексеевна — 228,
 392.
 Елизавета Петровна — 82, 102,
 114.
 Ермак — 296, 396.
 Ермолов А. П.—384.
 Ершов П. П.—195.
 Есаков С. С.—173, 213, 215.
 Ефремов П. А.—55, 63, 65, 75,
 77, 133, 228.

 Жанлис М. Ф.—36, 37.
 Желтухин С. Ф.—24—26.
 Жирмунский В. М.—304.
 Житомирская С. В.—176.
 Жуковский В. А.—47, 49, 77, 148,
 151, 192, 193, 241, 242, 253,
 294—296, 298, 299, 313, 323,
 327, 340, 342, 343, 345, 362—
 364, 368—372, 374, 382, 400.

- Завалишин Д. И.—144, 273.
 Загоскин М. Н.—77.
 Заякин — 361.
 Зальгин С. П.—403.
 Занд К.—105, 107, 122, 136.
 Захаржевский Я. В.—246.
 Зильберштейн И. С.—184.
 Золотарев — 25.
 Зубков В. П.—49.
 Зубов П. А.—90—92.
 Иван Грозный — 99.
 Иванов И. И.—357, 358.
 Иванов К. И.—209.
 Ивановский А. А.—288.
 Ивашева К. П. (урожд. Ледан-
 тю) — 186.
 Илличевский А. Д.—173, 180,
 213.
 Инзов И. Н.—30, 45, 47, 60, 74,
 122, 148, 161, 273.
 Иовва И. Ф.—22, 28, 47.
 Иона — 277, 278, 393.
 Ипсилянги А.—20, 105, 107, 122,
 132.
 Каган А. С.—401.
 Кагульская Н.—323.
 Казимирский Я. Д.—194, 286.
 Казначеев А. И.—264, 265.
 Калашников М. И.—373.
 Калашникова О. М.—275, 276,
 339, 373.
 Калигула — 41, 97—100, 102, 135.
 Калвостро А.—48.
 Каподистрия И. А.—121.
 Карамзин Н. М.—60, 77, 80, 98—
 100, 124, 125, 177, 178, 320,
 322, 338, 341—343, 368, 370—
 372, 374, 378, 382, 400.
 Карамзины — 283, 371
 Карл XIII — 13.
 Карякин Ю. Ф.—95.
 Катакази К. А.—36—38, 46.
 Катакази Т. А.—36—38.
 Катенин П. А.—401, 402.
 Катон — 302.
 Катосов Д. С.—393.
 Качеповский М. Т.—297.
 Квист О. И.—146.
 Керн А. П.—256.
 Кетчер Н. Х.—191, 200, 207, 235.
 Кипренский О. А.—78, 257.
 Киселев П. Д.—21, 23, 28, 33, 46,
 47, 197, 261, 350, 384, 385,
 389, 391.
 Киселев С. Д.—52, 60.
 Киселевы — 47, 51.
 Клейнмихель П. А.—281.
 Клеопатра — 240.
 Княжнин Я. Б.—92, 93.
 Ковалевский Е.—370.
 Коган Г. Ф.—344.
 Козлов И. И.—77, 296, 323, 324.
 Козлов Н. Т.—11, 36, 37.
 Колошин П. И.—268.
 Кольридж С.-Т.—323.
 Комаров Н. И.—22.
 Комовский С. Д.—54, 208, 209,
 213.
 Коновницыны — 181.
 Коноплев В. Г.—328.
 Константин Павлович — 71, 281,
 354, 384, 394.
 Константинов А.—76, 77.
 Коншин И. М.—51.
 Корнилов А. А.—213.
 Корнилович А. О.—288, 371.
 Короленко В. Г.—344.
 Корсаков Н. А.—173, 213.
 Корф М. А.—76, 180, 208, 212—
 220, 229, 235, 267, 343, 346—
 349.
 Корчак-Браницкий Кс.—386, 389.
 Корш Ф. Е.—200.
 Костенский К. Д.—173, 213.
 Кочубей В. П.—219.
 Кочум (Кучум) — 396.
 Кошелев А. И.—251.

- Крессенштейн Н.—146.
 Крессенштейн Ф.—146.
 Крестова Л. В.—127.
 Круземарк — 121.
 Крупенская Е. X.—43.
 Крылов И. А.—77, 79, 290, 297.
 Крюков Н. А.—186.
 Куницын А. П.—118, 119.
 Купер Д.—Ф.—382.
 Кусова — 16.
 Кутузов М. И.—90, 92.
 Кюхельбекер В. К.—46, 160, 184,
 188, 194, 197, 210, 213, 215,
 220, 247, 269, 287, 326, 337,
 339, 347, 351, 353—355, 374,
 375, 381, 387, 403.
 Кюхельбекер Ю. К.—209.
- Лавров П. А.—354.
 Лакруа П.—346—349, 363.
 Ланда С. С.—23, 87, 125, 251,
 349, 382, 383, 385, 387.
 Лашжерон А. Ф.—88, 385, 387.
 Ланской П. П.—56, 57.
 Латуш — 306.
 Лафонтен Ж.—290.
 Лекс М. И.—29.
 Леопольдов А. Ф.—328, 329, 335.
 Лермонтов М. Ю.—207, 283, 403.
 Лернер Н. О.—51, 65, 340.
 Липранди А. И.—17.
 Липранди А. П.—17.
 Липранди Е. П.—16.
 Липранди И. П.—11—38, 40, 45,
 46, 48, 50—53, 56, 59, 68, 74,
 76, 273, 372, 373, 376.
 Липранди К. Р.—17.
 Липранди Павел И.—17, 24, 25.
 Липранди Петр И.—15, 16.
 Липранди П. П.—16, 21.
 Лисовский Н. Ф.—357, 358, 365.
 Лихарев В. Н.—161, 190, 388,
 389.
 Лобанов Л. М.—77.
- Лобанов М. Е.—76—79, 135.
 Лобановы — 77.
 Локателли И.—354.
 Ломоносов С. Г.—213, 365.
 Лонгинов Н. М.—76.
 Лорер Н. И.—190, 281, 282, 336,
 350, 352, 368.
 Лорис-Меликов М. Т.—77.
 Лотман Ю. М.—139—141, 163,
 164, 251.
 Лувель П.—Л.—105, 107, 122, 136,
 356.
 Лукьянов — 398.
 Лунин М. С.—86, 126, 176, 189,
 197, 381.
 Львов А. И.—393.
 Люблинский Ю. К.—353.
- Магницкий М. Л.—116—119, 125,
 131, 136.
 Майборода А. И.—350, 351.
 Майков Л. Н.—55, 65, 149, 317,
 318, 330.
 Маймин Е. А.—300.
 Малевский — 253.
 Малиновский В. Ф.—180.
 Малиновский И. В.—180, 181,
 186, 193, 209, 210, 215, 253,
 263, 270.
 Мальтенбрюн К.—30.
 Мандельштам О. Э.—3.
 Марат Ж.—П.—105, 107, 118, 122.
 Мария Федоровна — 371.
 Мартенс Ф. Ф.—123.
 Мартынов А. И.—215.
 Маслов Д. Н.—213.
 Матвеев А. С.—296.
 Матюшкин Ф. Ф.—186, 199, 203,
 208, 209, 213, 227, 228, 248,
 253, 263, 269, 270.
 Машницкий Ф.—392.
 Мезенцов Н. В.—344.
 Мейлах Б. С.—167, 184, 188, 298,
 351, 381.

- Меншиков А. С.—199.
 Меттерних К.—121, 136.
 Милонов М. В.—77.
 Мирабо О.—311.
 Мироненко М. П.—144.
 Михаил Павлович — 264, 265.
 Мицкевич А.—177, 253, 381—383, 386, 387.
 Могиланский А. П.—328.
 Модзалевский Б. Л.—57—59, 65, 66, 68, 73, 304, 345, 354, 360, 377, 378, 382, 391, 393—395, 399.
 Модзалевский Л. Б.—31, 111, 330.
 Мозалевский А. Е.—144.
 Молчанов Л. А.—328—330, 335.
 Мордвинов И. Н.—33.
 Морозов П. О.—65.
 Моцарт В. А.—313, 339.
 Муравьев А. Н.—22.
 Муравьев М. Н.—200.
 Муравьев Н. М.—86, 125, 172, 175, 176, 209, 235, 243, 274, 381.
 Муравьев Н. Н.—34.
 Муравьева А. Г.—145, 175, 176, 194, 197, 274.
 Муравьев-Апостол И. М.—354.
 Муравьев-Апостол М. И.—22, 23, 163, 165, 185, 195, 198, 203, 205—207, 219—222, 229, 242, 244, 359, 367.
 Муравьев-Апостол С. И.—22, 26, 144, 148, 151—154, 161—163, 166, 193, 242, 244, 366, 403.
 Муравьевы — 96.
 Мусин-Пушкин М. Н.—58.
 Муханов П. А.—184.
 Мюнстер Э. Ф.—99.
 Мясоедов А. П.—179.
 Мясоедов К. П.—179.
 Мясоедов Н. П.—179.
 Мясоедов П. Н.—178—180, 215.
 Набоков И. А.—179, 245, 246, 253.
 Набокова Е. И. (урожд. Пушкина) — 177—181, 245, 246, 253, 254.
 Назимов М. А.—190.
 Найдич Э. Д.—186.
 Наливайко С.—296, 298, 323, 324, 351.
 Наполеон — 3, 11, 12, 17, 39, 73, 83, 105—108, 111, 112, 120—122, 124, 138, 240, 311, 312.
 Нарышкин Л. А.—384.
 Нарышкин М. М.—190, 203, 204, 223, 224, 233, 242, 251.
 Нарышкина Е. П.—177—179, 204, 224, 233.
 Наумов И. Н.—112.
 Некрасов Н. А.—403.
 Нерон — 97, 100.
 Нессельроде К. В.—121, 400.
 Нечкина М. В.—27, 149, 271, 349, 352, 367, 370, 374.
 Николай I — 21, 84, 139, 146, 148, 184, 198, 199, 215, 218, 219, 236, 281, 342, 345, 346—350, 362, 364, 368, 370, 371, 376, 380, 384, 390—392, 394—398, 400, 401.
 Новиков Н. И.—92, 93.
 Норов В. С.—244.
 Обернон — 127, 128.
 Оболенский Е. П.—145, 147, 195, 197, 198, 203, 207, 208, 229, 233, 266.
 Овидий — 11, 30, 313.
 Оганян Л. Н.—22, 28.
 Огарев Н. П.—39, 59, 63, 146, 228, 298—300.
 Одоевский А. И.—176, 189—191.
 Одоевский В. Ф.—76.
 Озеров В. А.—40.
 Оксман Ю. Г.—28, 42, 301, 402.

- Оленин А. Н.—79, 366.
Олизар Г. Ф.—240.
Ольдекоп Е. И.—355.
Орлов А. Г.—89.
Орлов А. Ф.—261, 346.
Орлов Г. Г.—89, 91.
Орлов М. Ф.—20, 22—24, 26—
29, 74, 86, 87, 89, 121, 125,
136, 141, 160, 162, 341, 349,
350.
Орлова Е. Н. (урожд. Раев-
ская) — 158, 317.
Осипова П. А.—379, 401.
Охотников К. А.—21—23.
- Павел I—16, 31, 33, 41, 91, 97—
100, 102, 132, 135, 287.
Павлищев Л. И.—335.
Павлищев Н. И.—335.
Павлищева О. С. (урожд. Пуш-
кина) — 335.
Пальм А. И.—230.
Паскевич И. Ф.—216.
Паскевич М.—356—358, 363,
365—367, 369.
Паулуччи Ф. О.—340, 355, 398,
400.
Пенинский И. С.—375.
Перовский А. А.—76.
Перфильев С. В.—206.
Пестель П. И.—22, 23, 27, 28, 47,
50, 51, 74, 96, 107, 141, 144,
149—154, 243, 244, 273, 339,
350, 356.
Петр I — 3, 16, 41, 73, 77, 80, 82—
88, 93, 104—108, 111, 112, 124,
129, 133—135, 212, 250.
Петр III — 85, 134.
Петров А. Г.—380.
Пещуров А. Н.—43, 340.
Пещурова Е. Н.—43.
Пикулин П. Л.—200, 235, 236.
Писарев Д. И.—292, 293.
Платов М. И.—297.
- Плетнев П. А.—77, 240, 306, 315,
327, 328, 332, 338, 360—365,
368, 373, 397, 399.
Плимак Е. Г.—95.
Погодин М. П.—59, 371.
Поджио А. В.—359.
Полевой Н. А.—76, 251.
Полетика П. И.—372.
Полихроми К.—30, 45, 49.
Полторацкий С. Д.—39, 40, 59.
Помяловский И. В.—24.
Попов М. М.—344.
Порох И. В.—144, 242, 268.
Потапов А. Н.—360—363, 398.
Потемкин Г. А.—88, 90, 114, 384.
Потоцкий С.—384.
Поццо ди Борго К.-О.—121.
Пугачев В. В.—349.
Пугачев Е. И.—55, 67, 71, 82, 83,
141, 142.
Путята Н. В.—376.
Пушкин А. А.—102.
Пушкин В. Л.—248, 249, 278,
303, 377, 378.
Пушкин Л. С.—75, 76, 241, 252,
253, 259, 270, 279, 281, 282,
318—320, 336, 353, 363, 364,
368, 370, 373—378.
Пушкин С. Л.—340, 372, 373,
376—378.
Пушкина Н. Н. (урожд. Гонча-
рова) — 7, 56.
Пушкины — 72, 96.
Пушкин И. И.—4, 5, 43, 141, 145—
148, 150, 151, 154, 163, 164,
171—187, 189, 191—216, 219—
225, 227—236, 239—288, 292,
296, 307, 309, 313, 315, 327,
337, 339—341, 345—349, 351,
355, 359, 363, 381, 397, 403—
405.
Пушкин М. И.—173, 175, 177,
181—183, 206, 210, 212, 252.
Пушкин Н. И.—177, 180, 208.

- Пуцци П. С.—22, 47, 49, 50, 64,
 65, 116, 277, 278, 391—393,
 396, 399.
 Пущина А. И.—181, 182.
 Пущина А. К. (урожд. Рылее-
 ва) — 223—225, 233—235.
 Пущина Е. И.—181.
 Пущина М. И.—177.
 Пуцины — 254.
 Пыпин А. Н.—117.
 Пыхачев М. И.—359, 365, 367.
 Радич Я. Н.—26.
 Радищев А. Н.—92, 93, 134, 314.
 Раевские — 160, 162, 321.
 Раевский — 173.
 Раевский А. Н.—28, 40, 158—
 162, 321, 341, 342.
 Раевский В. Ф.—18, 20—27, 47,
 52, 53, 74, 107, 136, 137, 139,
 141, 147, 153, 270, 272, 273,
 306, 341.
 Раевский Н. Н. (мл.) — 28, 160,
 161, 306, 313, 316—327, 329,
 341, 342.
 Раевский Н. Н. (ст.) — 40, 148,
 158, 161.
 Рейналь Г.—95.
 Ржевский Н. Г.—213.
 Риго Р.—136.
 Ризнич А.—33.
 Робеспьер М.—3, 311.
 Родзянко А. Г.—164, 165.
 Розен А. В. (урожд. Малинов-
 ская) — 180.
 Розен А. Е.—180, 190, 203, 235.
 Рокотов И. М.—340.
 Романовы — 80.
 Ростовцев Я. И.—76.
 Ростопчин Ф. В.—400.
 Ростопчина Е. П.—283.
 Рунич Д. П.—118, 119.
 Руссо Ж.-Ж.—311.
 Рылеев К. Ф.—22, 46, 84, 140, 141,
 154, 163, 173, 181, 207, 222—
 225, 233—235, 243, 248, 251—
 253, 264, 269, 273, 279, 280,
 282, 286—290, 292—302, 304,
 307, 313, 315, 320, 322, 324,
 326, 327, 337, 339, 347, 351—
 353, 359, 367, 371, 379, 403,
 404.
 Рылеева Н. М.—181, 233.
 Рылеевы — 220—225.
 Сабанеев И. В.—22, 24—26, 28,
 121, 273.
 Сабуров Я. И.—48, 240.
 Саврасов П. Ф.—173, 213.
 Садиков П. А.—19, 21, 22.
 Салмина М. А.—69.
 Салтыков-Щедрин М. Е.—403.
 Сальери А.—339.
 Сандомирская В. Б.—307, 308,
 313—315.
 Сандулаки А.—45.
 Сафонов С. В.—25.
 Свистунов П. Н.—175, 186, 203,
 233.
 Селезнев И. Я.—118.
 Селивановский Н. С.—251.
 Семевский М. И.—146—149.
 Семенов С. М.—347, 349.
 Сербинович К. С.—76, 371, 372,
 374.
 Симонов И. С.—363.
 Сленин И. В.—360, 363, 364.
 Слонимский А.—313, 319.
 Смирнов Д.—123.
 Собаньская К.-А.—160, 385—
 387.
 Соболевский С. А.—49, 282.
 Сокольский Л. А.—144, 211.
 Сократ — 302.
 Соловкина Е. Ф.—45, 49, 50.
 Соловьев В. Н.—144, 203.
 Сонцов М. М.—377.

- Сонцова Е. Л. (урожд. Пушкина) — 377.
- Спасский И. Т.—151, 192, 193.
- Сперанский М. М.—97, 100, 117, 371.
- Спиридов М. М.—357, 358, 365.
- Сталь А.-Л.-Ж. де — 41, 98—100, 108, 114.
- Старов С. Н.—44.
- Стивен Ф. Х.—180, 213.
- Степанов А. П.—185.
- Столарев И. Н.—393.
- Страбон — 30.
- Султан-Шах М. П.—188.
- Сусанин И.—296.
- Сутгоф А. Н.—204.
- Сухинов И. И.—144.
- Сухонин С. С.—345.
- Сушков Н. В.—51.
- Сыроечковский—Б. Е.—144, 149.
- Талызина — 16.
- Тассо Т.—306.
- Татищев А. И.—396.
- Теребенина Р. Е.—66, 69, 334.
- Тимковский В. Ф.—46, 240.
- Тит — 95, 97, 98.
- Тиханов П. Н.—78.
- Толстой В. С.—244.
- Толстой Д. Н.—393.
- Толстой Л. Н.—212, 403.
- Толстой Ф. И.—372.
- Толь К. Ф.—281.
- Томашевский Б. В.—42, 54, 65, 68, 69, 80, 111, 132, 133, 139, 307, 311.
- Траян — 95, 97, 98.
- Трояновский — 393.
- Трубецкая Е. И.—177, 182.
- Трубецкой Б. А.—22.
- Трубецкой С. П.—22, 203, 222, 233, 351.
- Туманский В. И.—51, 247, 252, 299.
- Тургенев А. И.—138, 248—250, 254, 278, 303, 371, 372.
- Тургенев И. С.—403.
- Тургенев Н. И.—270, 381.
- Тургенев С. И.—250.
- Тургеневы — 92, 125.
- Тынянов Ю. Н.—65, 304.
- Тырков А. Д.—213.
- Тюдоры — 85.
- Тютчев А. И.—186, 357, 358, 365.
- Тютчев Ф. И.—403.
- Уваров Ф. П.—385.
- Унковский А. М.—234.
- Фаленберг П. И.—203.
- Фантон де Веррайон М.-Л.—20.
- Федоров Г. А.—254.
- Фейнберг И. Л.—42, 75, 92, 93, 104, 132, 133.
- Филарет — 197, 394.
- Флакк В.—30.
- Фонвизин Д. И.—92, 97.
- Фонвизин М. А.—86, 96, 190, 203, 350.
- Фонвизина Н. Д. (Пущина) — 190, 203—206, 209, 227, 229.
- Фонвизины — 178.
- Фотий — 86.
- Фохт И. Ф.—22, 190.
- Фридлиндер Г.—392.
- Фролов А. Ф.—203.
- Хвостов Д. И.—77.
- Хемницер И. И.—96, 313.
- Хлюстины — 41, 110.
- Холопова В. С.—71.
- Хомяков Ф. С.—267.
- Храбровицкий А. В.—344.
- Цебриков А. Р.—375.
- Цейтлин А. Г.—301.
- Цявловская Т. Г.—16, 80, 104, 105, 111, 157, 159, 160, 174,

- 175, 188, 279, 286, 287, 293,
294, 308, 318, 349.
- Цявловский М. А.—16, 30—32,
35, 57, 65, 86, 97, 104, 122,
139, 349.
- Чаадаев П. Я.—11, 95, 100, 403.
- Чайковский И. И.—70.
- Чайковский П. И.—70, 72.
- Челаковский Ф. Л.—354.
- Черейский Л. А.—20.
- Чернышев А. И.—261, 350.
- Чирков С. Г.—180.
- Чихачев П. Я.—393.
- Чичагов П. В.—120, 121.
- Чичерин — 329.
- Чулков Н. П.—383, 384.
- Шабулевич — 398.
- Шахматов Александр А.—288.
- Шахматов Алексей А.—288.
- Шаховской А. А.—77, 321.
- Шевырев С. П.—199.
- Шекспир В.—302, 325—327.
- Шенье А.—306—321, 324, 326—
332, 334, 335, 356, 362, 368,
379, 396, 401, 402, 405.
- Шервуд И. В.—386.
- Шереметев П. С.—32, 34, 35.
- Шереметев С. Д.—218.
- Шешковский С. И.—92, 93, 110,
114.
- Шиллер Ф.—295, 320.
- Шилов А. А.—382, 391, 393—395,
399.
- Шильдер Н. К.—40, 124, 125.
- Шиманов Н. А.—354.
- Шимков И. Ф.—355.
- Шишков А. С.—77, 355.
- Шлякин И. А.—228.
- Штейнгель В. И.—134, 147, 203,
219, 233, 251, 269, 350—353.
- Штрайх С. Я.—229, 231, 268.
- Шубинский С. Н.—76.
- Шувалова С. Л. (урожд. На-
рышкина) — 383.
- Шульман Ф. М.—38.
- Щеголев П. Е.—65, 147, 149, 328,
333, 343, 345, 349, 361, 400,
401.
- Щепкин М. С.—211.
- Щепкин Н. М.—211, 230.
- Щукин П. И.—354.
- Эйхенбаум Б. М.—105.
- Эйхфельдт И. И.—29, 44, 54.
- Эйхфельдт (Эйхфельд) М. Е.—
44, 45, 48—50.
- Энгельгардт Е. А.—173—175,
178, 179, 183, 185—187, 203,
208, 209, 216, 227, 243, 252,
253, 269, 270, 354, 355, 401.
- Энгельгардт М. Я.—209, 227.
- Юдин П. М.—213.
- Юшневская М. К.—203.
- Юшневский А. П.—151.
- Языков Д. И.—76.
- Языков Н. М.—240, 379, 380.
- Яковлев М. Л.—11, 186, 208, 213,
227, 228, 270.
- Яковлев П. Л.—11.
- Якушкин В. Е.—65, 104, 195,
202, 207, 229, 288.
- Якушкин Е. И.—53, 55, 63, 65,
75, 112, 125, 133, 171, 174,
195—207, 210, 211, 221, 222,
225, 228—231, 236, 262, 263,
272, 276.
- Якушкин И. Д.—154, 155, 163,
176, 194—197, 202, 203, 207,
211, 220, 221, 272, 274, 276,
381.
- Якушкины — 53, 220—222.
- Явчук Н. А.—78, 79.

А. С. Пушкин. Портрет О. А. Кипренского. Масло. 1827 г. (*Фрон-тиспис*).

В тексте:

«Некоторые исторические замечания». Первая страница белого автографа. Пушкинский дом.

Беловой автограф конца статьи «Некоторые исторические замечания». Пушкинский дом.

Черновой автограф «Некоторых исторических замечаний». Пушкинский дом.

«Некоторые исторические замечания». Копия Н. С. Алексеева. Пушкинский дом.

Конец статьи «Некоторые исторические замечания» и начало статьи М. Л. Магницкого «Мнение о науке естественного права». Копия Н. С. Алексеева.

Первая страница «Записок...» И. И. Пущина. Письмо к Е. И. Якушкину.

В альбоме:

Пушкин на юге. Автопортрет. Рисунок. 1823 г.

Дом И. Н. Инзова в Кишиневе. Гравюра на дереве. 2-я половина XIX в.

Кишинев. Рисунок Пушкина карандашом, сделанный из окна комнаты в доме Инзова. 1821 г.

И. П. Липранди (?). Г. Г. Гец. Акварель. 1820-е гг.

В. П. Горчаков. Художник Н. И. Тихообразов. Черная акварель. 1845 г.

Н. С. Алексеев. Рисунок Куазена. 1825 г.

Одесса. Литография Ф. Гросса. Конец 1830-х гг.

И. И. Горбачевский. Копия неизвестного художника с портрета работы Н. А. Бестужева. Карандаш. 1850-е гг.

А. Н. Раевский. Неизвестный художник. Масло. 1840-е гг.

И. Д. Якушкин. Художник К. Мазер. Акварель. 1851 г.

И. И. Пущин. Фотография с натуры. Москва. 1851 г.

- Е. И. Якушкин. Фотография.
- П. В. Анненков. Литография изд. Мюнстера. 1870 г.
- Михайловское. Литография П. А. Александрова с оригинала И. С. Иванова. 1837 г.
- И. И. Пущин. Рисунок Пушкина на полях рукописи «Евгения Онегина». 1826 г.
- И. И. Пущин. Художник Д. Н. Соболевский. Акварель. 1825 г.
- К. Ф. Рылеев. Рисунок неизвестного художника. Карандаш. 1820-е гг.
- А. А. Бестужев. Портрет работы Н. А. Бестужева. Гуашь. 1823—1824 гг.
- Н. Н. Раевский-младший. Портрет неизвестного художника. Масло. 1821 г.
- П. А. Плетнев. Гравюра на стали Ф. И. Иорданса. 1870-е гг.
- Н. М. Карамзин. Художник Ж.-Б. Дамон-Ортелани. Около 1805 г.
- В. А. Жуковский. Литография Эстеррайха. 1820 г.
- П. А. Вяземский. Литография. 1820-е гг.
- «Открытое предписание» — документ, позволявший агенту Бошняку и фельдъегерю Блинкову арестовать Пушкина «в случае надобности». Центральный Государственный военно-исторический архив. Публикуется впервые.
- Страница из рапорта Бошняка генералу Витту. Центральный Государственный военно-исторический архив. Публикуется впервые.

От автора	3
---------------------	---

Часть I

ЮГ

ГЛАВА I. «ГДЕ И ЧТО ЛИПРАНДИ?»	11
Тетрадь Ивана Липранди	29
Владимир Горчаков	34
ГЛАВА II. «СВОБОДЫ ДРУГ МИРОЛЮБИВЫЙ...»	41
Пушкиниана	53
Анненков	56
Потомки	65
ГЛАВА III. «ПО СМЕРТИ ПЕТРА I...»	73
«И сохраненная судьбой...»	75
«Прошло сто лет — и что ж осталось?..»	79
«Одна черта руки моей...»	102
Алексеевская копия	108
«В сгущенной мгле предрассуждений...»	116
«Александра больше нет...»	126
Еще о сборнике Алексеева	131
«Либеральный бред...»	134
ГЛАВА IV. «Я НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ...» (<i>Декабрист Горбачевский о Пушкине</i>)	143
В Верховной думе	151
«Жужжанье клеветы»	156
Тягостная путаница	163

Часть II

ПУЩИН — ПУШКИН

ГЛАВА V. «ПРЕД ГРОЗНЫМИ СУДЬБАМИ...»	171
В Сибирь	172
Из Сибири...	187

ГЛАВА VI. «МЫ БЛИЗИМСЯ К НАЧАЛУ СВОЕМУ»	192
Евгений Якушкин	195
«На первую родину...»	201
«И с вами снова я...»	207
Анненков	210
Антикорффика	212
Якушкины, Рылеевы	220
«Как быть!»	225
«А все-таки надо...»	233

Часть III
МИХАЙЛОВСКОЕ

ГЛАВА VII. 11 ЯНВАРЯ 1825 ГОДА	239
ГЛАВА VIII. «ПУЩИН ПОЗНАКОМИТ НАС КОРОЧЕ...»	286
Об Онегине	290
О поэзии	294
О Байроне	301
ГЛАВА IX. «АНДРЕЙ ШЕНЬЕ» И НИКОЛАЙ РАЕВ-СКИЙ	306
Исповедь	308
Дата	314
Трагедия и элегия	320
«На 14 декабря»	327
ГЛАВА X. «ПРИДЕТ ЛИ ЧАС МОЕЙ СВОБОДЫ?»	336
Декабрь — февраль	345
Март — апрель	355
Дело Плетнева	360
Апрель	365
Друзья	368
Май — июль	378
«Открытое предписание»	381
З а к л ю ч е н и е	403
Список условных сокращений	406
Именной указатель	408
Список иллюстраций	419

Эйдельман Н. Я.

Э 30 Пушкин и декабристы: Из истории взаимоотношений. — М., Худож. лит., 1979, 422 с.

Книга Н. Я. Эйдельмана посвящена биографии и творчеству Пушкина периода южной и михайловской ссылки. Основное внимание уделяется взаимоотношениям поэта с первыми русскими революционерами. Автору удалось обнаружить много новых, порою чрезвычайно ценных и не вводившихся ранее в научный оборот материалов, а также осмыслить по-новому уже известные факты.

70202-148
Э $\frac{\quad}{028(01)-79}$ 239-79

8Р1

Натан Яковлевич Эйдельман

ПУШКИН И ДЕКАБРИСТЫ

(Из истории взаимоотношений)

Редактор

С. Красова

Художественный редактор

Г. Масляенко

Технический редактор

Л. Ковнацкая

Корректоры

Т. Крылова и Д. Эткина

ИБ № 1529

Сдано в набор 08.08.78. Подписано в печать А 11861 от 12.04.79. Формат 84×108¹/₄. Бумага книжно-журнальная. Гарнитура «Обыкновенная». Печать высокая. 22,26+1 вкл.+альб.=23,152 усл. печ. л., 23,575+1 вкл.+альб.=24,277 уч.-изд. л. Тираж 25 000 экз. Заказ № 645. Цена 1 р. 30 к.

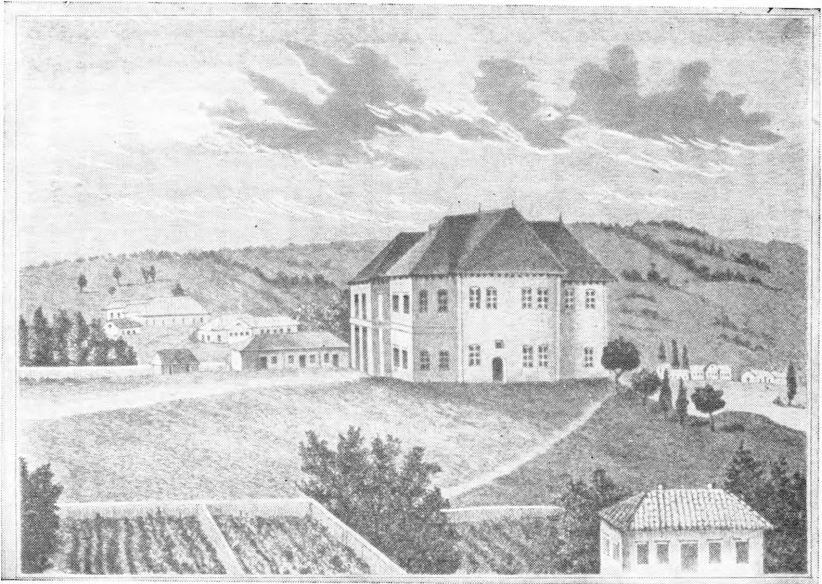
Издательство

«Художественная литература»

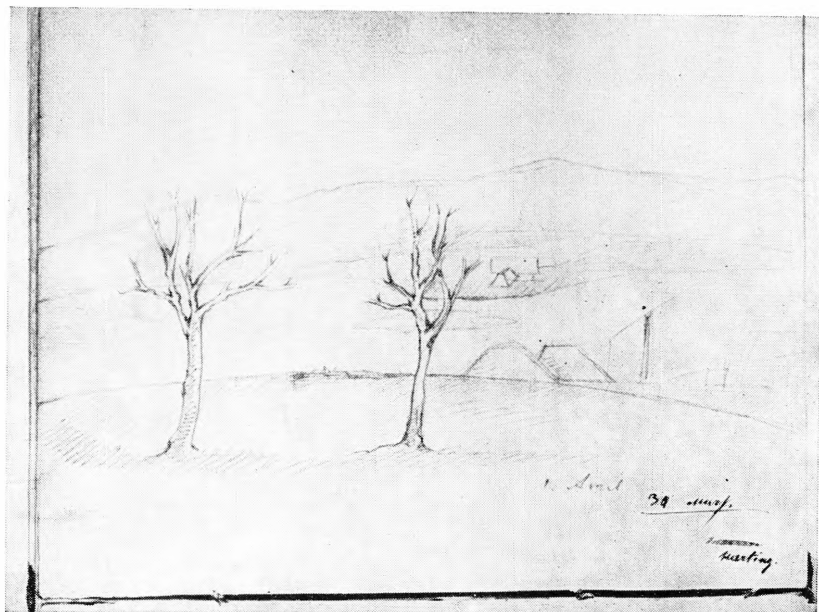
Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19.
Тульская типография Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, г. Тула, проспект Ленина, 109.



Пушкин на юге. Автопортрет.
Рисупок. 1823 г.



Дом И. Н. Инзова в Кишиневе. Гравюра на дереве.
2-я половина XIX в.



Кишинев. Рисунок Пушкина карандашом, сделанный из окна комнаты в доме Инзова. 1821 г.



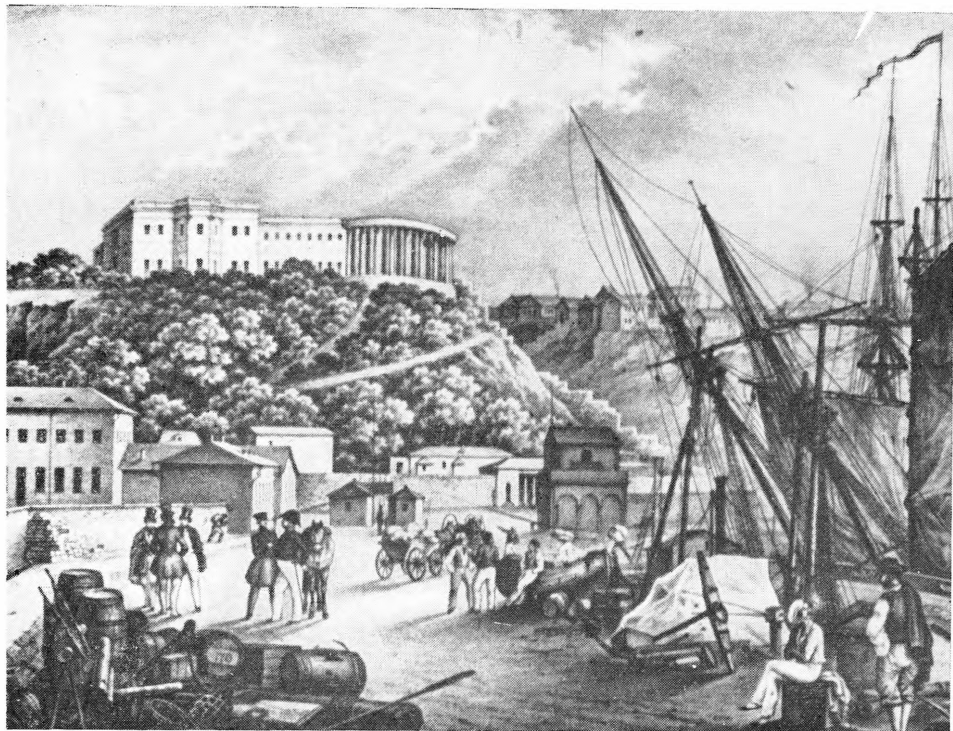
И. П. Липранди (?). Г. Гец. Акварель.
1820-е гг.



В. П. Горчаков. Художник Н. И. Тихообразов.
Черная акварель. 1845 г.



Н. С. Алексеев. Рисупок Жуазена.
1825 г.



Одесса. Литография Ф. Гросса. Конец 1830-х гг.



И. И. Горбачевский. Копия неизвестного
художника с портрета работы Н. А. Бестужева.
Карандаш. 1850-е гг.



А. Н. Раевский. Неизвестный художник. Масло. 1830-е гг.



И. Д. Якушкин. Художник
К. Мазер. Акварель. 1851 г.



И. И. Пущин. Фотография с натуры.
Москва. 1851 г.



И. И. Пущин. Рисунок Пушкина
на полях рукописи
«Евгения Онегина». 1826 г.



И. И. Пущин.
Художник Д. Н. Соболевский.
Акварель. 1825 г.



К. Ф. Рылов. Рисунок неизвестного художника. Карандаш.
1820-е гг.



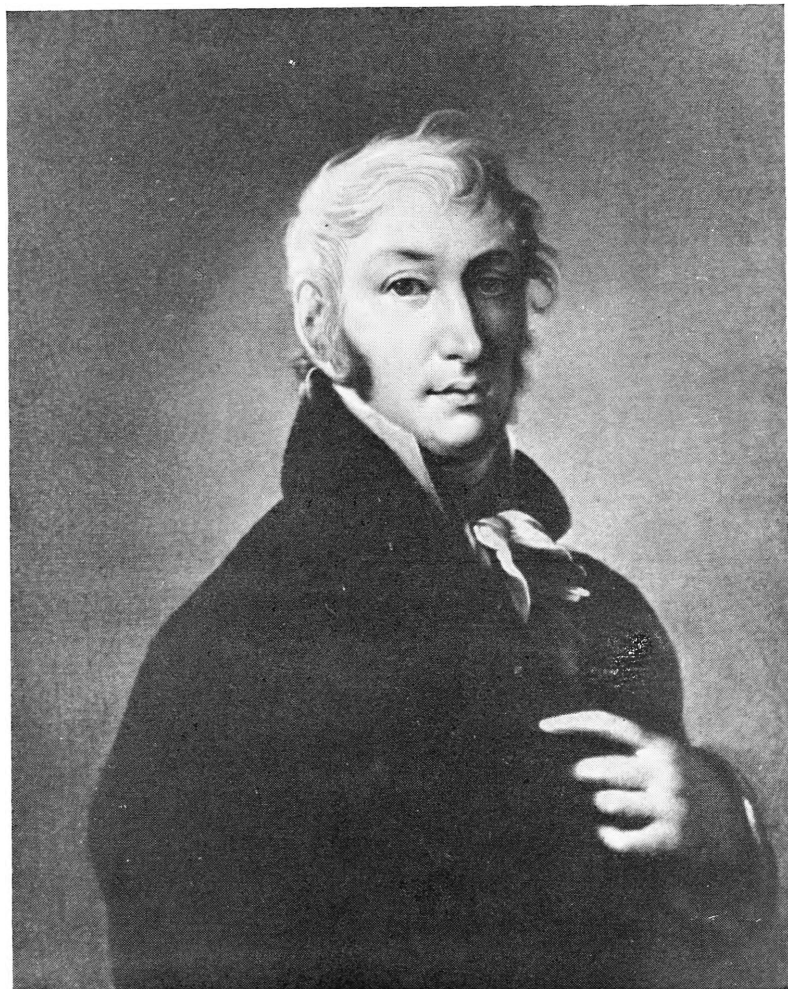
А. А. Бестужев.
Портрет работы Н. А. Бестужева.
Гуашь. 1823—1824 гг.



Н. Н. Раевский-младший. Портрет
неизвестного художника. Масло.
1821 г.



П. А. Плетнев. Гравюра на стали Ф. И. Иорданса.
1870-е гг.



Н. М. Карамзин. Художник Ж. Б. Дамон-Ортелани. *Около 1805 г.*



В. А. Жуковский.
Литография. Эстеррайха, 1820 г.



П. А. Вяземский. Литография. 1820-е гг.

3

В. / Замечка

... ..
... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..
... ..
... ..
... ..
... ..
... ..
... ..

... ..
... ..

... ..
... ..
... ..
... ..
... ..
... ..
... ..
... ..

... ..

Страница из рапорта Бошняка генералу Витту. Центральный Государственный военно-исторический архив. Публикуется впервые.